ГОСПОЖА РЕКАМЬЕ







Франсуаза Важнер

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга французской писательницы Франсуазы Важнер — о прекрасной женщине, госпоже Рекамье (1777–1849), чье имя олицетворяет отменный вкус и образованность. Она не писала романов и не создавала картин, но обладала удивительной способностью притягивать к себе неординарные личности, открывая их талант, помогая и поддерживая их. Ее красота, в сочетании с искренностью и умом, покорила многих художников.

Жюли Рекамье сделала свой салон центром оппозиционных настроений по отношению к Наполеону. Кроме политиков, к ней на огонек слетались самые известные личности той эпохи: знаменитая госпожа де Сталь — известная французская писательница начала XIX века, Жан Жак Ампер — сын великого французского ученого Андре-Мари Ампера, Евгения де Богарне — дочь Жозефины, первой жены Наполеона, г-н Бернадот — будущий король Швеции, писатели Проспер Мериме и Сент-Бёв, поэт и писатель, одинаково преуспевший как на литературном, так и на политическом поприще — Франсуа Рене де Шатобриан (последняя страстная любовь Жюли). Она была дружна с Оноре де Бальзаком и Виктором Гюго, ее связывали общность вкусов с Мюссе и Стендалем, ею восхищались художники Ж.-Л. Давид и Эжен Делакруа и многие-многие другие, цвет французского искусства и науки, люди, чьи имена навсегда стали составной частью мировой культуры.

Ouvrage réalisé avec le soutien du Ministère des affaires étrangères français et de l'Ambassade de France en Russie.

Издание осуществлено при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.

Перевод осуществлен по изданию Françoise Wagener, Madame Récamier. Editions. Jean-Claude Lattes, Pans, 1986.

- Франсуаза Важнер
  - ОНА БЫЛА ОЧЕНЬ КРАСИВА, ДОБРА… И УМНА
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава I
    -
    - Парижское воспитание
    - Начало Революции
  - Глава II
  - Глава III
    -
    - Явление молодой женщины…

- Безмолвная встреча…
- Ангел и чаровница
- Джульетта встречает Ромео…

○ Глава IV

-
- Дворец чудес
- «Вы любите музыку, мадам?»
- Портреты, достойные оригинала
- Ум и красота
- Некто Лассань приезжает в Париж…
- Английский дивертисмент
- День в замке Клиши
- В тюрьме Тампль…

○ Глава V

-
- Явление святого Матье
- Изгнание госпожи де Сталь
- Заговор XII года Республики
- Жюльетта становится заступницей несчастных
- Крах
- Смерть матери

○ Глава VI

-
- Коринна, торжествующая узница…
- Коппе, европейский салон
- Принц — достойная замена князю
- Разрыв
- Госпожа де Сталь от унижения переходит в наступление

○ Глава VII

-
- Поездка в Бюже
- Маленькая почта Шомона
- Запрет «О Германии»
- Появление ребенка
- «г-же Рекамье, урожденной Жюльетте Бернар, надлежит удалиться за сорок лье от Парижа…»
- Шалон-на-одиночестве
- Лионские друзья
- Рим, префектура Тибра
- В краю короля Иоахима…

○ Глава VIII

-
- Визит в Сен-Ле

- Бенжамен сходит с ума!
- Крушение иллюзий
- Смерть госпожи де Сталь

○ Глава IX
-
- Она и Он
- Первые симптомы
- «Пропасть, которая рядом с нею…»
- Ястреб в птичнике
- Салон превращается в кружок
- Посольство в Берлине
- Лондонское посольство
- От Вероны к Трокадеро

○ Глава X
-
- Сирена приручает Бабуина…
- Маскарадные игры с Гортензией
- Смерть герцогини Девонширской
- И все-таки Неаполь…
- «Я с сожалением покидаю прекрасную Италию…»

○ Глава XI
-
- Большой салон во втором этаже
- Смерть Матье
- Посольство в Рим
- Июльские дни…
- Арененберг, Коппе: поездка-паломничество…
- Первые чтения «Замогильных записок» в Аббеи

○ Глава XII
-
- Decrescendo[46]…
- Зов умерших

○ ЭПИЛОГ
○ ЗАВЕЩАНИЕ ГОСПОЖИ РЕКАМЬЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 1846 ГОДА
○ ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ГОСПОЖИ РЕКАМЬЕ
○ Иллюстрации

• notes
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47

Франсуаза Важнер
ГОСПОЖА РЕКАМЬЕ

ОНА БЫЛА ОЧЕНЬ КРАСИВА, ДОБРА… И УМНА

В «Предисловии» Франсуаза Важнер приводит слова современницы своей героини, под которыми, вероятно, готова подписаться и сама: «Прежде всего она добра, потом — умна и, наконец, очень красива». Что ж, прочитав книгу, с этим можно согласиться, лишь несколько переставив компоненты определения.

Красота, очевидно, должна быть поставлена на первое место — не отсюда ли бесконечные восторги современников и потомков (включая автора), и не это ли удостоверяет кисть Давида, Жерара и Гро? Но красота бывает разной. Она может быть бесчувственной, а то и злой. Сколько преступлений породила красота! Сколько жестоких красавиц сохранила история! Вспомним хотя бы царицу Клеопатру и таких демонических женщин Возрождения, как Джованна Неаполитанская или Бьянка Капелло, не говоря уже о кровавой Екатерине Медичи! Красота же мадам Рекамье была доброй. Доброта, доброжелательность, снисходительность к близким, да и ко всем людям (великая редкость!) четко просматриваются в большинстве ее намерений, реплик и поступков. И недаром тот, кто сближался с Жюли, уже не мог расстаться в течение всей последующей жизни: так было и с Полем Давидом, и с обоими Монморанси, и с Баланшем, и с Ампером. И даже отвергнутые кандидаты в любовники и в мужья, как Бенжамен Констан и принц Август, не становились ее врагами, продолжая ловить и ценить дружеские встречи. Все это, помимо прочего, свидетельствует и об *особенностях* ума мадам Рекамье.

«Ум» ведь понятие емкое и противоречивое, никак не поддающееся однозначной оценке. Ум может быть глубоким или поверхностным, созидательным или разрушительным, творческим или потребительским — да и мало ли еще различных нюансов и оттенков ему присущи! Великому политику свойствен государственный ум, великому писателю — ум сердцеведа и провидца, а преуспевающему дельцу — ум комбинатора и стяжателя. Жюли Рекамье не была ни политиком, ни писателем, ни дельцом. Она не обладала изощренностью преуспевающей фаворитки[1] типа Дианы де Пуатье или мадам Помпадур, не прославилась грязными интригами и развратом, как ее современница Тереза Тальен, не поражала искрометным блеском ума и литературным талантом, подобно своей любимой подруге

мадам де Сталь. Одним словом, за Жюли Рекамье не числилось «громких дел» (пусть даже со знаком минус), обычно насыщающих биографию выдающейся личности. И не из этого ли исходил ее первый биограф, Эдуард Эррио, когда утверждал, что мадам Рекамье «не сделала ничего весомого и значительного»?[2] Быть может, именно поэтому о ней, хотя имя ее было у всех на слуху, так мало писали: здесь, кроме «Воспоминаний» ее приемной дочери, мадам Ленорман[3], да упомянутого труда Эррио, явившегося, по выражению Важнер, ее «главным ориентиром», нельзя отметить, если не считать этой книги, ни одной сколь-либо серьезной работы[4].

Что ж, выходит, красавица была интеллектуальной пустышкой и не совершила в жизни ничего, достойного памяти?

Не станем торопиться с ответом.

Ф. Важнер (и в этом одно из главных достоинств ее труда) сумела разглядеть, выявить и сформулировать сущность интеллекта «красавицы из красавиц», назвав ее «гениальной посредницей». Действительно, природа наделила Жюли счастливым и редким свойством ума — ненавязчиво и плодотворно общаться с занимавшими ее людьми, создавать общий интеллектуальный круг, душой которого она становилась и членов которого умело стимулировала на раскрытие их мыслей, идей и талантов. Так было с юным Ампером, так было и с далеко не юными Баланшем и Констаном. Но с особой силой это незаурядное дарование мадам Рекамье проявилось в ее отношениях с единственным по-настоящему любимым ей человеком — Рене Шатобрианом, корифеем эпохи, писателем, которого Важнер считает (быть может, несколько завышенно) «наиболее значительным из всех ему современных».

Собственно, линия «Жюльетта — Рене» становится как бы осью всего повествования, постепенно превращающегося в подлинную «двуединую» биографию, поскольку чем ближе к занавесу, тем большее место в ней начинает занимать Шатобриан, временами даже тесня свою музу, пока не сливается с ней, подлинной вдохновительницей, если не соавтором, главного труда его жизни — «Замогильных записок». И однако при всей значительности (а может быть, и определяющей роли) линия эта является лишь одной из составляющих. Ибо «чаровница Парижа», умело раскрывая чужие таланты, сама подпитывалась ими, и чем дальше, тем в большей степени.

«Своим умственным пробуждением г-жа Рекамье была обязана г-же де Сталь», — замечает Важнер, и здесь нет преувеличения: вторая линия, «Жюльетта — Жермена», идет параллельно первой, где-то предваряя ее и пересекаясь с ней.

Именно дружба с Жерменой де Сталь, умнейшей и талантливейшей женщиной своего времени, много содействовала тому, что «девочка-конфетка», а потом суетная красавица, страдающая нарциссизмом, превратилась в одну из звезд общественной мысли Парижа, пропустив через свой салон виднейших писателей эпохи, в том числе Шатобриана и Ламартина, Стендаля и Мериме, а также молодого, но уже (вопреки утверждению Важнер) широко известного Оноре де Бальзака. Добавим, что в результате Жюли Рекамье в период наивысшего интеллектуального расцвета в чем-то даже превзошла свою гениальную подругу, растратившую часть таланта на бездарные любовные истории и борьбу с ветряными мельницами.

И, наконец, нельзя не сказать о третьей составляющей, которая, хотя и не выделяется автором, но просматривается довольно отчетливо. Это линия «Жюльетта — Матье». Из материала книги ясно, что нежная дружба Матье Монморанси, человека высокого духовного благородства и искренней веры, оказала сильное дополнительное влияние на природные добрые душевные качества Жюли, направляя их к благотворительности и желанию помочь ближнему в трудную минуту, как было, например, с господином Рекамье во время его второго финансового краха.

В целом, эти три взаимно дополняющие друг друга линии и составляют основную канву всей повести.

Остается добавить, что книга Важнер — не просто биографическая повесть, а целая эпопея, ибо автор сумела вписать историю героини в историю ее страны за целую эпоху, а эпоха-то какова! Ведь жизнь Жюли Рекамье, протекавшая между 1777 и 1849 годами, пришлась на две республики, две Реставрации, три монархии (из которых одна — империя Наполеона!) и три революции (из которых одна — Великая!). Было бы от чего закружиться голове иного автора! У Франсуазы Важнер этого не произошло. Она сумела увязать частное с общим, попутно познакомив нас с массой различных «исторических» и «неисторических» персонажей, и создать впечатляющую картину, которая еще долго остается в памяти после прочтения книги. И лишь некоторые утверждения Важнер вызывают неприятие или сомнения, с которыми нельзя не поделиться.

Наиболее существенное замечание относится к Великой французской революции, а точнее, ее якобинскому периоду в трактовке автора. Для этого времени Важнер не нашла ни единого доброго слова, зато из-под ее пера так и сыплются инвективы. «Организованное кровавое безумие», «бойня»,

«кровавая мясорубка», «примитивный вандализм» — таковы определения, которые она в изобилии присваивает якобинской диктатуре. С ее точки зрения, термидорианский переворот, покончив с «злодеяниями» якобинцев, принес «настоящее возрождение», поскольку «тюрьмы опустели» и «все вздохнули с облегчением». Здесь явный и умышленный перекос. Разумеется, нельзя не согласиться, что якобинский террор был теневой стороной Великой революции, что он унес много человеческих жизней. Но, во-первых, это были жизни в основном врагов революции — аристократов и функционеров Старого порядка (характерно, и из книги Важнер это видно, что никто из буржуазного окружения Жюли Рекамье и ее близких серьезно не пострадал), а во-вторых, террор был порожден в обстановке иностранного вторжения, угрожавшего жизни Республики. Да, после Термидора «тюрьмы опустели» и «вздохнули с облегчением». Но с облегчением вздохнули только толстосумы, а народ, восставший и в жерминале, и в прериале, требовал хлеба! Опустевшие же тюрьмы тотчас наполнились другими узниками, ибо террор, вопреки уверениям Важнер, не только не иссяк, но стал еще более жестоким, обратившись на другие слои населения, иначе говоря, из «красного» стал «белым»[5]. При этом нельзя забывать, что именно якобинцы остановили интервенцию, создав новую боеспособную армию, кадры которой позднее использовал Наполеон, сам получивший в тот период боевое крещение. И при этом велась непрерывная созидательная работа, плодами которой воспользуются потомки в пределах не только Франции, но и всего мира: впервые в истории декретировалось обязательное и бесплатное начальное образование, перестраивалась высшая и средняя школа, реформировались научные учреждения, библиотеки, архивы и музеи, открылся для публики Лувр, наконец, была создана метрическая система мер, и недаром на эталоне метра позднее появится гордая надпись: «На все времена — всем народам». Конечно, обо всем этом автор книги о мадам Рекамье могла и не писать, но в таком случае не следовало так перегибать палку и в обратную сторону, создавая ложное и однобокое представление у читателя.

Важнер напрасно обвиняет русского царя в инициативе реставрации Бурбонов. Из беседы Александра I с роялистом Витролем (март 1814 г.) ясно, что царь был много дальновиднее других монархов-победителей и считал, что «…республика более соответствовала бы духу французов». И позднее, в апреле, при отречении Наполеона, Александр продолжал относиться неприязненно к возможности воцарения Людовика XVIII, но его предупредила закулисная игра Талейрана.

Вряд ли можно согласиться с автором, когда она утверждает, что общество Второй реставрации было «процветающим и стабильным». Конечно, Людовик XVIII был умнее и хитрее своего преемника, Карла X, и пытался кое-как держаться на плаву, но его «бесподобная палата» и последовавшая министерская чехарда стали яркими симптомами крайней нестабильности общества, приведшей затем к третьему по счету (и окончательному) падению монархии Бурбонов.

Важнер явно преувеличивает, когда говорит о «политической прозорливости» Луи-Филиппа. «Король-гражданин» (он же «король-груша», предмет бесчисленных карикатур и памфлетов), обладая хитростью и беспримерной алчностью, вместе с тем отличался поразительным непониманием политической ситуации в стране — отсюда непрерывные катаклизмы и восстания, приведшие в конце концов «Июльскую монархию» к революции 1848 года.

Разумеется, все эти немногочисленные критические замечания отнюдь не меняют высказанного ранее отношения к книге, выход которой в серии «ЖЗЛ» является незаурядным событием.

А. П. Левандовский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Она, с одной стороны, имела обширные познания, с другой — владела магией, или, точнее и в прямом смысле, тем милым волшебством, которое состоит в умении мысленно проникать в другого человека.

Маргерит Юрсенар. (Из записных книжек к «Мемуарам Адриана»)

В «золотую легенду» Консульства и Империи вписаны имена трех *суперзвезд,* трех женщин, которые, подобно грациям, украшают собой разношерстную вереницу полубогов и героев тех времен: императрица Жозефина, упоминание о которой заставляет учащенно биться сердца, потому что она одновременно женщина, государыня и существо несчастное; г-жа де Сталь, верховная жрица разума, законченная интеллектуалка и бунтарка по отношению к власти; наконец, Жюльетта Рекамье, красавица из красавиц, чарующая своей томной белизной и собирающая вокруг себя цвет общества, людей самых разных взглядов.

Ее подруга, герцогиня Девонширская (Элизабет Форстер, тайная советчица кардинала Консальви), так говорила о ней: «Прежде всего она добра, потом — умна и, наконец, очень красива…» Есть отчего вскружиться голове менее крепкой, чем у Жюльетты Рекамье. Воплощение учтивости и хорошего вкуса, она была, что называется, «всеобщей гордостью». Слава о ней вышла за пределы цивилизованного мира. Адальбер де Шамиссо, поэт и путешественник на службе у прусского короля, расскажет Шатобриану, что на Камчатке, на берегу Берингова моря, он встретил туземцев, любующихся «парижской вещицей», как сказали бы мы сегодня, в данном случае — живописным портретом г-жи Рекамье, выполненным на стекле «довольно искусной рукой китайского художника», уточняет он. Портретом, завезенным кем-то с одного из американских кораблей, ведущих торговлю на побережье Сибири и островах Тихого океана.

Жюльетту Рекамье никогда не опьянял успех, ибо она прекрасно понимала, что в нем было преувеличено. И если, как гласит расхожее мнение, за славу надо платить, то она заплатила,

но, пожалуй, не так дорого, как другие. Когда праздник закончился и начались суровые будни, она познала трудности и даже настоящие удары судьбы; император отправил ее в ссылку — она сумела сохранить спокойствие, доброе имя и друзей. В сорок лет она познала личное счастье, и, факт примечательный, эта богиня оказалась женщиной, сумевшей красиво состариться.

***

Что нам известно о ней? Современники без устали ее прославляли, и один из самых блистательных сделался ее первым биографом. Г-н де Шатобриан превозносил ее, потому что любил и вместе с тем сознавал, что не всегда был по отношению к ней безупречен. Но, по своему обыкновению, он о многом умалчивает. К тому же он не знал конца истории.

После смерти Жюльетты Рекамье ее племянница и приемная дочь, г-жа Ленорман, ловко обошлась с рукописями, которые у нее имелись. Для будущих поколений она добросовестно составила довольно выхолощенную компиляцию, старательно удалив из нее все, что могло бы «затмить светлую память» о Жюльетте. Книги г-жи Ленорман, представляющие собой подборку ладно скроенных сказок и фрагментов писем, из которых были тщательно вымараны нежелательные места, пользовались популярностью. Их моральный конформизм, типичный для настроений второй половины XIX века, если не искажает, то отнюдь не обогащает Историю: он лишь деликатно подправляет ее.

Есть еще Эдуар Эррио. Молодой, блестящий и решительный выпускник Нормальной школы[6] взял на себя труд первооткрывателя. Его большая заслуга в том, что он определил место г-жи Рекамье в ее времени и среди ее многочисленных друзей. Мы многим обязаны его кропотливому и исчерпывающему исследованию. Это значит — и он сам торопится в этом признаться, — что героиня интересовала его в той же мере, что и ее окружение, о котором в начале века было известно мало. Кроме того, поскольку Эррио работал с частными в ту пору архивами, а в 1904 году все сказать было невозможно, он, предугадывая и отмечая теневые моменты в жизни Жюльетты, слишком подробно на них не останавливался.

Эррио утверждает: «Сама г-жа Рекамье не сделала ничего весомого и значительного». Мнение спорное. Напротив, троякая роль Жюльетты — общественная, политическая и литературная — доказывает, что ее имя осталось в Истории.

Ни одна из ныне существующих биографий г-жи Рекамье не является вполне удовлетворительной. Подлинное лицо Жюльетты еще предстоит открыть. И если книга Эррио остается для нас главным ориентиром, необходимо попытаться спустя восемьдесят лет освежить и углубить наши познания и даже сделать новые выводы.

***

Принимаясь за работу, я поставила перед собой две главные цели.

Прежде всего развенчать легенду. Чтобы проверить утверждения, касающиеся Жюльетты Рекамье, мне потребовалось методично изучить все известные источники, будь то опубликованные или рукописные. Иногда я действовала как полицейский: предпринимала расследования, экспертизы, сопоставления и сличения (все это хлеб насущный для любого уважающего себя биографа), а иногда — как судмедэксперт. Надо было отважиться на то, чтобы вскрыть хрустальную раку, где покоится в неизменном виде одно из самых красивых, самых милых созданий, когда-либо живших на земле, и снять с тела несколько бинтов, пусть даже в случае необходимости все пришлось бы аккуратно вернуть на место.

Затем, мне хотелось понять женщину. Кем была г-жа Рекамье? Да и была ли она вообще? Где искать скрытую сущность, ключ к тайне? Задача эта сегодня выглядит более простой — из-за обилия информации. Что касается трех ее близких друзей — г-жи де Сталь, Бенжамена Констана и Шатобриана, то мы можем утверждать, что располагаем почти всеми их произведениями и личными записями. Все это благодаря прозорливости таких комментаторов, как Морис Левайан и Анри Гийомен, уму некоторых потомков, таких, как графиня Жан де Панж, деятельности научных обществ.

Мы можем по-разному толковать этот исторический материал. Биограф теперь не ведет себя как услужливый портретист или робкий агиограф; он сделался следователем, а кроме того, графологом, астрологом, врачом и, если надо, психоаналитиком. Он знает, что человек носит маски. Фрейд и Пруст научили его выявлять сложный душевный склад человека, беспрестанную и хитроумную работу его памяти. Анализируя записи, высказывания, поступки своего персонажа, он способен обнаружить притворство, выявить те или иные стороны характера, порой противоречивые, увидеть неизбежные

проявления двойственности человеческой натуры. Иными словами, совершенствуя свой анализ, он использует средства, позволяющие добиться наибольшей достоверности.

***

Г-жа Рекамье заслуживает внимания. Родившаяся при короле Людовике XVI, умершая во времена президентства Луи Наполеона Бонапарта, она пережила бурные годы, как никакие другие во французской истории богатые событиями и отмеченные периодами расцвета. Она славилась красотой. Ее окружали друзья и талантливые люди. Это требовало определенных усилий, но г-жа Рекамье очень рано проявила себя гениальной посредницей, несравненной музой общения. Эту роль она неотступно играла в течение полувека. Всё, что было в Европе достойного в области политики, дипломатии, искусства и литературы, прошло через ее салон. Все, от великих имен старого общества до генералов, рожденных Революцией, от членов семьи Бонапарт до романтиков, таких, как Сент-Бёв и Гюго, от старика Лагарпа до молодого Бальзака, от Меттерниха до Веллингтона, от Бенжамена Констана до Гизо, — все были очарованы ею. В том числе и женщины: г-жа де Сталь, открывшая ее самой себе и любившая ее, как младшую сестру, королева Гортензия и Дезире Клари, для которых она оставалась верной наперсницей, тончайшая г-жа де Буань, понимавшая ее лучше других… Почему столько людей подпали под обаяние г-жи Рекамье?

«Гармоничная» индивидуальность Жюльетты (определение принадлежит Ламартину), ее отказ от крайностей, здравомыслие, проницательность подействовали и на Шатобриана. На склоне лет он сделал ей неожиданное признание: «Вы изменили мой характер!» А человек этот был не очень-то податлив. Тем не менее Жюльетта оказала решающее влияние на писателя, и «Замогильные записки» своим существованием в огромной степени обязаны ей.

Пара, которую она и Шатобриан составляли в течение тридцати лет, — а это была именно пара, — нередко вызывала к г-же Рекамье нездоровый интерес: вечный, неизбежный вопрос «Что там между ними?», есть ли тайна в ее личной жизни, придавал пикантности многим упоминаниям о ней. Я счастлива, что наконец-то могу дать ясный ответ на этот вопрос.

Приверженцы идеологии господства мужчины в обществе часто наделяли Жюльетту Рекамье одной-единственной способностью обольщения: они сделали из нее женщину-вещь.

Феминистки практически не знали ее и держали в памяти только ее «кокетство». Наше время, проникнутое индивидуализмом, заблуждается относительно роли салона во французском обществе. Сводить ее только к светскому развлечению — взгляд слишком узкий. Держать салон значило не только владеть искусством жить, это диктовалось еще и необходимостью: встречи, обмен мнениями сплачивали общество, а следовательно, обеспечивали его существование. Салон был средством воспитания и распространения информации и, как все СМИ, играл цивилизующую роль.

Общество порой не воспринимало всерьез поступков г-жи Рекамье, ее приверженность общественным интересам, ее «активную позицию» против смертной казни, которой она придерживалась неизменно, при всех режимах. А поскольку она не высказывалась в печати, с трудом верится даже в то, что она обо всем этом думала!

Среди тех, кто писал о г-же Рекамье, один человек не исказил и не приукрасил ее образ — это Жан д'Ормессон. Он смотрит на нее глазами Шатобриана. Я же смотрю с противоположной точки зрения. Спешу добавить, что я всей душой люблю Шатобриана, чего нельзя сказать ни о г-же Ленорман, ни об Эдуаре Эррио, и одним из явных достоинств г-жи Рекамье представляется мне способность быть рядом в грандиозном рискованном предприятии, каким является творчество, с единственным мужчиной-писателем, которого она любила.

В этой книге я попыталась ответить на вопросы о Жюльетте Рекамье, которые задавала себе уже давно: как влияют на жизнь женщины постоянный диалог между нею и окружающими, противоречие между требованиями личной жизни и необходимостью существовать в обществе, между «быть» и «казаться»? Как возникает чудо идеального равновесия, чудо совершенной женственности?

Глава I
ПРИМЕРНАЯ ДЕВОЧКА

Если я, вопреки своему намерению не вдаваться в подробности того, что касается лично меня, все же повела рассказ о своих первых годах, то лишь потому, что нередко они оказывают весьма существенное влияние на всю последующую жизнь: они в той или иной степени определяют ее.

Жюльетта Рекамье (Отрывок из «Воспоминаний» Жюльетты Рекамье в изложении г-жи Ленорман)

О первых годах Жюльетты Рекамье мы знаем сравнительно немного: кое-что сообщает г-жа Ленорман — к ее словам следует относиться с осторожностью, — кое-что установил Эррио, копаясь в известных нам архивных документах. Шатобриан, посвятивший 141 восхитительную страницу «Замогильных записок» своему собственному детству, отвел всего 33 строки детству Жюльетты. Да и то сосредоточился в них на единственном эпизоде — поступлении Жюльетты в монастырь.

Ее детство, прошедшее тихо и мирно, было счастливым. Единственная дочь в зажиточной и очень заботливой буржуазной семье. Жюльетта, похоже, была примерной девочкой образца эпохи Старого порядка.

Когда в конце 1777 года в Лионе родилась Жюльетта, в чести был белый цвет — главный цвет, который будет сопутствовать ей всю жизнь. Под влиянием «Новой Элоизы» Жан Жака Руссо женская мода преобразилась, и белый цвет стал популярным. Все носят платья «без стана», на креольский манер, ослепительной белизны, что выражает новую чувственность. Люди тянутся к невинности, простодушию, естественности. Молодые женщины открывают для себя любовь к природе и мечтают о пасторалях. Мать Жюльетты, всегда стремившаяся к изысканности и новшествам, тоже поддалась всеобщему настрою. По-другому

стали смотреть на материнство и воспитание детей. Была ли Жюльетта вскормлена грудью, как Луиза Неккер, будущая г-жа де Сталь? Одевали ли ее на английский манер, а не кутали в пеленки, как четырьмя годами позже поступали с малышкой Адель д'Осмонд, которая сделается г-жой де Буань? Точно сказать нельзя, но это вполне вероятно.

Молодая королевская чета, Людовик XVI и Мария-Антуанетта, принадлежащие к тому же поколению, что и родители Жюльетты, наконец-то дали своему браку свершиться: их первенец, девочка, появится на свет в следующем году. Они задают тон. В Версале господствует строгий и замысловатый этикет, но в Париже и больших городах знать и крупная буржуазия начинают смешиваться. Публика восторженно принимает или, напротив, ругает новую оперу кавалера Глюка «Армида». Обсуждают шалости графа д'Артуа, одного из братьев короля, который только что выиграл у королевы пари на сто тысяч франков, что он построит новый дворец «Багатель» за то время, пока двор будет находиться в Фонтенбло. Этот «пустячок», символ его могущества и прихотей, соорудили за шестьдесят четыре дня!

Всем хочется, чтобы жизнь была нескончаемым праздником, все увлекаются игрой, проводят время в игорных домах и на балах-маскарадах, танцуют, плетут интриги, занимают себя чем только могут и старательно избегают того, что кажется болезнью конца века, — панического страха скуки.

А еще мечтают сражаться. Лафайет, наперекор семье своей жены, отправляется в Соединенные Штаты. Часть молодого французского дворянства горит желанием на месте оказать помощь тринадцати английским колониям, которые 4 июля 1776 года провозгласили свою независимость. Один из будущих наперсников Жюльетты Рекамье, Матье де Монморанси, тоже поедет туда — за боевым крещением.

Это движение, этот поворот в умонастроениях — лишь предвестники того подъема, каким будет отмечено, десятью годами позже, начало великого потрясения — Французской революции.

А пока одно поколение уходит, другое приходит ему на смену; маркиза Дюдеффан пишет Горацию Уолполу: «Я никогда не думала, что доживу до 1777 года. Но я дожила. На что потрачено столько лет?» Старая разочарованная сивилла пережила свою давнюю соперницу в искусстве светских приемов, г-жу Жоффрен, угасшую 6 октября в Париже. Подруга Понятовского, ставшего впоследствии польским королем, «царица Парижа», приветливая хозяйка богатого дома на улице Сент-

Оноре, г-жа Жоффрен сумела собрать вокруг себя общество блистательных интеллектуалов, что для того времени было новшеством; о ней говорили, что «она, возможно, невежда, но умеет думать».

Девочка, родившаяся в Лионе, станет отчасти ее наследницей. Мещанка, богатая, щедрая и рассудительная, г-жа Рекамье тоже, не имея ни малейшей склонности к нарочитому умствованию, проявит яркий, подлинный вкус к таланту.

Она современница многих титулованных особ, с которыми ей суждено будет встретиться: царя Александра I, мадам Аделаиды (сестры Луи Филиппа, которую, как и его, воспитывала г-жа де Жанлис), маркизы де Монкальм (сестры герцога Ришелье) и Клэр де Керсен, будущей герцогини де Дюрас, — обе сыграют важную политическую роль в период Реставрации, а также примут участие в карьере Шатобриана; Элизы Бонапарт и Дезире Клари, которым судьбой будет уготован трон: первой — в Тоскане, второй — в Швеции.

И, наконец, отметим, что четверо из ярких действующих лиц Истории с большой буквы и жизни Жюльетты в 1777 году еще дети: будущей г-же де Сталь (1766) одинадцать лет, Бенжамену Констану (1767) — десять, Шатобриану (1768) — девять и Бонапарту (1769) — восемь.

В следующем году уйдут из жизни Вольтер и Руссо.

***

Жюльетта появилась на свет в среду 3 декабря 1777 года. По обычаю ее окрестили на следующий день в приходской церкви Сен-Пьер-э-Сен-Сатюрнен. Девочку нарекли Жанной Франсуазой Жюли Аделаидой.

Первые два имени — Жанна и Франсуаза — это имена крестных, последнее — Аделаида — вошло в моду благодаря трагедии Вольтера. Что касается обиходного имени Жюли (Юлия), то его носила одна христианка в Африке; в V веке она стала жертвой короля вандалов Гензериха, была продана в рабство и распята на Корсике, где ее особенно почитают. Так звали новую Элоизу, однако, вопреки расхожему мнению, это не домашнее имя матери Жюльетты. Свои именины г-жа Бернар отмечала 15 августа (Мария), а не 22 мая (Юлия). Мы узнали об этом из признания самой Жюльетты, которая через много лет после смерти матери поминала ее именно 15 августа, по вышеозначенной причине.

Родители Жюльетты принадлежали к крупной лионской

буржуазии. Ее отец, Жан Бернар, входил в число наиболее известных нотариусов города. Жили они на улице Каж (между Роной и Соной, теперешняя улица Константины, выходящая на площадь Терро). В качестве королевского нотариуса мэтр Бернар стал преемником Патрена, Луи Шазотта, отца и сына Ромье и Жаллабера. В 1776 году он был занесен в «Лионский альманах» и фигурировал среди сорока нотариусов, статус которых приравнивался к статусу нотариусов Парижа. Звание королевского советника означало принадлежность к чиновникам среднего ранга, его носил всякий, кто занимал видную государственную должность.

Сын Жюста Франсуа Бернара и Марианны Фурнье, он родился, по-видимому, в 1748 году. 14 сентября 1775 года, в Гийотьере, приходе его будущей жены, он заключил брак с Мари Жюли Маттон, дочерью Пьера Маттона и покойной Мари Клерже. Мари Жюли Маттон, судя по всему, родилась в 1756 году. Из брачного контракта, заключенного ранее, 17 августа, видно, что молодая женщина состоятельнее своего супруга. На бракосочетании в качестве свидетелей присутствовали: Франсуа Фарг, свояк Мари Жюли Маттон, будущий крестный Жюльетты, Пьер Дегрийе, городской торговец, и Пьер Симонар, инспектор лионских таможен, друг жениха. Запомним эту фамилию — Симонар: этот человек сыграет важную роль в жизни Жана Бернара.

***

Что представляла собой эта пара?

Г-жа Ленорман описывает г-на Бернара немногословно: «Это был человек небольшого ума, мягкий и слабохарактерный, с чертами лица необычайно красивыми, правильными и благородными. Умер он в 1828 году, достигнув восьмидесяти лет и сохранив в столь преклонном возрасте красоту лица».

О г-же Бернар, которую она не могла знать, г-жа Ленорман высказывается более пространно: «г-жа Бернар была на редкость хороша собой. Блондинка, с ослепительно свежим и очень живым лицом. Она была создана восхищать и чрезвычайно большое значение придавала одобрению окружающих, как себя самой, так и своей дочери». И добавляет: «У нее был живой ум, она хорошо разбиралась в делах <…>, поэтому весьма успешно распоряжалась своим состоянием и сумела его приумножить».

Надо полагать, г-жа Бернар с легкостью помыкала мужем, который не отличался ни умом, ни силой характера. Эту живую и

непринужденную мещанку можно было бы назвать «сметливой женщиной»: она словно вышла из пьесы Бомарше. Г-жа Бернар была кокеткой, имеющей голову на плечах и умеющей ею пользоваться. Ничего удивительного, что она подчинила себе домашний мирок и сама встала у руля семейного ковчега. Жюльетта будет всей душой привязана к матери.

Г-н Бернар, понятное дело, ни в чем не мог быть ей помехой. Его жизнь будет теснейшим образом связана с другом его юности, Пьером Симонаром: они женятся в одно и то же время, станут вместе воспитывать детей, в Париже поселятся под одной крышей и не расстанутся до самой смерти, которая к обоим придет во времена Реставрации. Г-жа Бернар объединит их в своем завещании, официально признав эту нерушимую связь, которую можно расценить как подавляемый гомосексуализм или как из ряда вон выходящий естественный союз: неразлучные друзья, похоже, уже в ранней молодости обрели равновесие в своих отношениях и нашли свой образ жизни.

Что представлял собою г-н Симонар, с раннего детства Жюльетты являвшийся частью эмоционального окружения, на фоне которого она росла? И вновь мы вынуждены обратиться к г-же Ленорман.

«Любезнейший эпикуреец, — сообщает она, — и последователь сенсуализма, столь навредившего XVIII веку; его кумиром был Вольтер, а сочинения этого писателя — излюбленным чтением. К тому же аристократ и ярый роялист, человек деликатный и честный. В союзе с отцом Жюльетты г-н Симонар олицетворял ум и деспотизм. Г-н Бернар время от времени восставал против владычества тирана, общение и дружба с которым были ему необходимы; несколько дней он пребывал в дурном настроении, затем вновь влезал в ярмо, и его друг брал над ним власть, к большому удовлетворению обоих…» Вот уж страстная привязанность!

Еще один бонвиван был близок к молодой чете, довершая тесно спаянный квартет, живущий общей жизнью: Жак-Роз Рекамье.

Он принадлежал к влиятельной и почитаемой семье, происходившей из области Бюже, что в горах Юры, которая, напомним, была присоединена к Франции в 1601 году. Имя основателя династии — Амедея Желу по прозванию Рекамье — стало известным с конца XV века. Фамилия, согласно семейному преданию, возникла из начальных слогов латинского девиза: RECtus AMIcus ERis (ты будешь верным другом). Есть и более простое объяснение: этимологический словарь дает «récamier = brodeur (вышивальщик)», от глагола recamer, вышивать.

В XVII веке у Клода Антуана Рекамье, одного из основателей коллежа в Белле (где будет учиться Ламартин), королевского нотариуса, ленного владельца Рошфора, облеченного правом суда, родились два сына, от которых берут начало две основные ветви семьи: ветвь Клода Рекамье — к ней будут относиться, в частности, Клодиа по прозвищу «прекрасная Аврора», мать знаменитого гастронома Брийа-Саварена, а также доктор Рекамье, который в течение сорока лет будет заведовать отделением в Отель-Дье[7], Центральной больнице Парижа; и ветвь Ансельма — с Ансельма I Рекамье (1663–1725), хирурга в Белле и владельца поместья Крессен. У него будет два сына: Ансельм II, хирург в Белле, как и его отец, и Франсуа, младший сын, интересующий нас потому, что он отец Жак-Роза.

Франсуа Рекамье (1709–1782), женившийся на Эмерансьен (или Эсмеральде) Деларош (из семьи лионских печатников), имел девятерых детей, в том числе трех сыновей, из которых младшим был Жак-Роз.

Родившийся 9 марта 1751 года в Лионе, крещенный в церкви Сен-Низье, он рано начал работать на отцовском предприятии. У Франсуа была деловая хватка; не порывая с поместьем Крессен, он обосновался в Лионе, где создал шляпное производство, которое будет процветать и сделается солидным предприятием, торгующим с заграницей, в частности со странами Пиренейского полуострова и Италией.

Жак-Роз начинает с того, что разъезжает по делам дома Рекамье и в этом качестве часто бывает в Испании — стране, которую он хорошо знает и владеет ее языком. Его коммерческая переписка слывет в своем роде образцом. Он неплохо знает латынь, цитирует Горация и Вергилия, «прекрасно умеет вести беседу, великолепный рассказчик <…>, у него живое воображение, он находчив, весел — и все это вместе делает его всеобщим любимцем. Благорасположение, которое он внушает другим, всегда приносит ему удачу», — говорит одна из его сестер, Мария-Антуанетта Рекамье.

Этот неисправимый оптимист также очень красив, «светловолосый, высокого роста, крепкого телосложения», — пишет г-жа Ленорман и коварно добавляет: «К несчастью, он не отличался строгостью нравов». Если говорить прямо, это означает, что он был веселым холостяком, который, женившись на склоне лет, продолжал содержать актрисок из Оперы… Сестра объясняет красивее: «Его сердце, нежное от природы, испытывало довольно сильные, но преходящие чувства ко многим красавицам». Однако, поскольку ему предстояло стать главой богатейшего клана и неисчерпаемым источником благосостояния

для семьи, та готова была смотреть сквозь пальцы на его поведение…

Ветреный, жизнерадостный и предприимчивый, г-н Рекамье был и останется человеком своего поколения, которое последним в XVIII веке свободно вкушало пресловутую «сладость жизни».

Рекамье, как это легко себе представить, соблазнил г-жу Бернар. Пятнадцатью годами позже в письме к семье, объявляя о своем намерении жениться — к этому письму мы еще вернемся, — он напишет: «Можно сказать, что мои чувства к дочери сродни тем, которые я испытывал к матери». Эти чувства он осторожно определяет как «немного пылкие, быть может». Литота призвана заранее ответить на возражения лионцев по поводу его непредвиденной женитьбы, поскольку всем, вероятно, было известно о его связи с г-жой Бернар, но его старание затушевать ее в памяти людей, напротив, только подогревало воспоминания.

Не было ничего удивительного в этом взаимном влечении, возникшем в среде, где начинала утверждаться вседозволенность. Приличия, разумеется, соблюдались, аристократия в этом вопросе, как и во всем остальном, подавала пример, но никого уже нельзя было ввести в заблуждение. То, что молодые люди (обоим не было еще и двадцати пяти), блистательные, красивые, не лишенные честолюбивых помыслов, поладили друг с другом — вполне очевидно. Рекамье любил г-жу Бернар, он это признает. Отвечала ли ему взаимностью г-жа Бернар? Это другой вопрос…

Так или иначе, есть все основания полагать, что Жюльетта была дочерью Рекамье. Пока это еще не создавало никаких проблем.

Добавим к сказанному, что, когда г-жа Бернар преждевременно уйдет из жизни, Бернар, Симонар и Рекамье останутся близкими людьми, по-прежнему будут жить одним домом или, если угодно, совместно вести хозяйство. Недаром лукавый Брийа-Саварен всегда упоминал их вместе, под общим наименованием «благородные отцы»!

***

Маленькая Жюльетта спокойно растет в доме на улице Каж до того дня, когда в семейной жизни происходит важная перемена: в 1786 году (а не в 1784-м, как ошибочно пишут г-жа Ленорман и Эррио) весь квартет перебирается в Париж. Что же произошло?

Мягкий, безобидный г-н Бернар, прочно обосновавшийся в

своей нотариальной конторе в Лионе, получил назначение в столицу на должность сборщика налогов. Большое продвижение по службе! Этим он обязан Калонну. «Я не знаю обстоятельств, сведших г-на Бернара с г-ном Калонном», — говорит нам г-жа Ленорман. Быть может, не хочет знать.

Александр де Калонн был в ту пору генеральным контролером, то есть министром финансов страны. Он сохранит этот пост вплоть до следующего года. Скорее придворный, нежели финансист, он отказался проводить в жизнь план жесткой экономии, раздражавший двор, и занялся самоубийственным балансированием, которое хоть и не предотвратило крушение государства, по крайней мере отсрочило его. Кончилось тем, что в 1787 году он созвал Собрание нотаблей, на котором вынужден был признать крах государственных финансов — дефицит в 115 миллионов, что и навлекло на него опалу. Он уедет в Англию, где будет служить посредником между некоторыми эмигрантами и дворами иностранных государств и где скончается в 1802 году.

«Г-н де Калонн обладал бойким и блестящим умом, тонким и скорым суждением», — пишет Талейран в своих «Мемуарах». Это Калонн сказал Марии-Антуанетте: «Если то, чего желает королева, возможно, считайте, что это уже сделано; если невозможно — будет сделано!» С таким человеком мать Жюльетты могла найти общий язык, поскольку именно ей, разумеется, принадлежала инициатива в деле продвижения г-на Бернара по службе. Вступала ли она в контакт с министром, как предполагает герцог де Кастр, через посредничество маршала де Кастра, в ту пору губернатора Лиона и области, в прошлом сослуживца Калонна по министерству? Возможно и так.

Другую версию выдвигает Эррио, ссылаясь на воспоминания Этьенна Жана Делеклюза, опубликованные в журнале «Ретроспектива». Мы нашли этот рассказ об одном из вечеров 1824 года, проведенном у Помаре, где речь шла о Жюльетте, которую Делеклюз называет Луизой:

> Г-н де Помаре сообщил нам весьма любопытные подробности, касающиеся г-жи Бернар, матери Луизы. Ее муж, г-н Бернар, занимаясь в Лионе коммерцией, оказался втянутым в неблаговидные дела, что заставило Париж принять меры к его аресту. Барон (отец, я его хорошо знал) предупредил Бернара и побудил его жену поехать в Париж, чтобы уладить мужнины дела, что та, по всей видимости, отличнейшим образом сделала. Говорят, это была женщина еще более красивая, чем ее дочь, прекрасно знающая, как себя вести. Репутация у

нее была небезупречной, добротой она тоже не славилась. Г-жа и г-н де Помаре повторили мне то, что я уже слышал: что г-жа Бернар воспитывала свою дочь, готовя ее к некоей важной роли.

Портрет г-жи Бернар, хоть и нелицеприятный, совпадает с тем, что нам уже известно. Добавим, что до августа 1786 года г-н Бернар оставался на своем посту в Лионе, и 1 сентября его сменил г-н Клод Ворон.

Что касается Жана-Роза Рекамье, то свидетельство его сестры, Марии-Антуанетты, подтверждает эту дату. «Жак прибыл в Париж в 1786 году, по делам мадемуазель Софи, которая хотела, чтобы ее признали дочерью маркизы де Лаферте <…>. Он удачно провернул кое-какие дела, что и побудило его остаться в Париже».

Симонар (кажется, уже вдовец) и его сын, ровесник Жюльетты, отправились в Париж вместе с Бернарами и поселились там в особняке номер 13 по улице Святых Отцов. Что до Рекамье, то он обосновался на улице Майль.

***

Где все это время была Жюльетта?

Она присоединится к родителям году примерно в 1788-м. А до той поры вначале проведет несколько месяцев в Вильфранш-на-Соне, у тетки по материнской линии, Жаклин Маттон, вышедшей замуж за Луи-Матье Бланшет-дез-Арна. Неподалеку, в Платьере, проживала супружеская пара, которая заставит о себе говорить: Манон Ролан и ее муж[8].

Об этом периоде мы не знаем почти ничего, разве только то, что Жюльетта познакомилась со своей двоюродной сестрой Адель, будущей баронессой де Далмасси и владелицей замка Ришкур. Будучи на четыре года моложе, Жюльетта тем не менее стала для кузины покровительницей. Она очень любила Адель, преждевременно скончавшуюся на ее руках в 1818 году.

А вот маленькое семейное предание. По словам г-жи Ленорман, Жюльетта очаровала юного соседа по имени Рено Эмбло. «Милые, веселые впечатления детства приукрасили в ее сознании и приятнейшим образом вписали в память этого первого из ее бесчисленных обожателей…» Представим себе на мгновение юного Эмбло, если только он действительно существовал, который, сам того не подозревая, предвосхитил Бенжаменов Констанов и Шатобрианов!

Жюльетту привозят обратно в Лион и помещают в монастырь Дезерт, находившийся тогда в руках бенедиктинок. Можно было ожидать, что г-жа Бернар, стремившаяся дать своей дочери все самое лучшее, предпочтет урсулинок, у которых воспитание девочек, как у иезуитов воспитание мальчиков, было поставлено на самом высоком уровне. Но оказалось, что одна из сестер г-жи Бернар, Маргаритта Маттон, была там монахиней.

Монастырь стоял на том месте, где затем находился Лионский ботанический сад и которое ныне преобразовано в сквер. С вершины холма Круа-Русс открывался вид на Сону. Жизнь у немногочисленных пансионерок была весьма приятной. О пребывании в монастыре, точные сроки которого нам не известны, Жюльетта сохранила, по общему мнению, «неизгладимое» впечатление и рассталась с ним с сожалением. В одиннадцать лет она получила то, что важнее всего в начале жизненного пути: тепло, безопасность, сытость. Годы, проведенные в Лионе, навсегда поселили в ней ощущение устойчивости ее существования.

Как не похоже ее детство на дикарское, отчасти даже бедовое детство Шатобриана, гонявшего со своим другом Жесрилом по песчаному берегу Сен-Мало; порой им доставались тумаки от проходивших мимо юнг, на которых оба сорванца нападали с криками: «В воду, утки!»

Ничего общего и с Бенжаменом Констаном, у которого не было детства: отданный на попечение беспутным наставникам, он трясся по дорогам Европы. В одиннадцать лет он писал бабке с холодным безразличием юного Вальмона из «Опасных связей»: «Я смотрю, слушаю, но до сей поры не жажду удовольствий высшего света. Похоже, все они не слишком-то любят друг друга. Однако игра и звонкое золото вызывают во мне некоторое волнение; я хотел бы его заполучить для удовлетворения тысячи потребностей, которые называют фантазиями…» Ему нет еще и двенадцати, а эти слова уже выражают суть его натуры.

А что говорить о г-же де Сталь! «Рожденная знаменитой», по меткому выражению Ж. Дисбаха, «сверходаренная» девочка, запрограммированная своей матерью, суровой г-жой Неккер, единственный ребенок в семье (явление типичное для крупной буржуазии, которая, в отличие от аристократии, не заботится о выживании своей касты и не считает своим долгом плодиться и размножаться), Луиза растет в салоне родителей, в компании Дидро, Д'Аламбера и Бюффона; она очень прямо сидит на маленьком табурете, как ее изобразил Кармонтель, всем своим существом внимая ученым рассуждениям блестящего собрания… В воспитании г-жи Неккер нет места ничему естественному — и

она потерпит крах. Ее дочь, доведенная до отчаяния постоянной суровостью и навязываемой добродетелью, отвернется от нее и обратится к самому великому из людей, по крайней мере в ее глазах, — к своему отцу, у которого она, в каком-то смысле, возьмет уроки славы. Не считаясь с условностями, давая волю своей в высшей степени неугомонной натуре, притом склонная впадать в тревожное состояние, она выберет ориентиром — одна, веря в собственный «гений» — три путеводные звезды своей жизни: любовь, литературу и политику.

Десять первых лет жизни Жюльетты совпадают с десятью последними годами Старого порядка — особого общества, особой системы ценностей, особой культуры. Этому миру суждено рухнуть, и его главные действующие лица, сами того не ведая, весело и бодро несутся к пропасти. Именно в Париже, где Жюльетте предстоит прожить почти всю свою жизнь, она будет присутствовать при страшном зрелище.

Парижское воспитание

Тогдашний Париж, открывшийся маленькой Жюльетте, хоть и не имел преимуществ исключительного месторасположения столицы Галлии[9], сулил самые радужные в мире перспективы. Город, отличающийся элегантностью архитектуры и необычайным стремлением к новому, был похож на нескончаемую строительную площадку.

Внешний вид всевозможных «учреждений» и «застав», проектируемых архитектором Леду, вызывал столько же споров, как в наши дни Центр Помпиду… Сносили дома на мосту Менял и на мосту Нотр-Дам, ибо в моде «открытые мосты», такие, например, как мост Людовика XVI, связавший площадь Людовика XV (площадь Согласия) с Бурбонским дворцом, благодаря чему улучшилось сообщение между предместьями Сент-Оноре и Сен-Жермен, где выросло множество новых особняков, из которых самый роскошный — Сальм (дворец Почетного легиона).

Строятся новые кварталы, в частности Шоссе-д'Антен, предназначенный для крупных финансистов, и предместье Руль — на месте бывшего королевского питомника. С недавних пор два новых здания дали приют Итальянскому театру и Французскому театру (на месте театра «Одеон»). К колокольне церкви Сен-Сюльпис пристроили башню, а все иностранцы посещают величественную церковь, возведенную по проекту Суффло, над которой он работал до самой смерти в 1780 году и которую уже после него понемногу достраивали; признанная шедевром, эта церковь Святой Женевьевы получит назначение, соответствующее ее грузности и академизму, став национальным некрополем — Пантеоном.

***

Родители Жюльетты поселились в фешенебельном особняке на левом берегу, на улице Святых Отцов, между Сеной и улицей Жакоб, рядом с особняком Шабанн.

Жили на широкую ногу: семья имела экипаж (вещь первостепенной важности в те времена, когда ходить по улицам Парижа было занятием поистине спортивным!), ложу во Французском театре, а это означало, что несколько раз в неделю собирался мини-салон с последующим традиционным поздним ужином, кроме того, устраивались великолепные домашние приемы.

Г-жа Бернар чувствовала себя непринужденно в среде финансистов и умных людей, которыми она себя окружала. От парижской жизни, более роскошной и динамичной, чем лионская, г-жа Бернар расцвела. Никогда еще она не была так красива и очаровательна. Лионцы, наезжавшие в столицу, могли в этом убедиться, поскольку она устраивала их у себя, что было совершенно естественно в эпоху, когда очевидная принадлежность к землячеству побуждала выходцев из одной провинции держаться вместе. Впрочем, они не казались провинциалами, даже если стойкие вкусы и прочные связи порой их выдавали. Поборники новизны, избегающие крайностей, роялисты, однако роялисты умеренные, каковыми они и останутся, — Бернары, если нужно, пускали пыль в глаза, умело придавая своим приемам живость и блеск, образуя салон на парижский манер.

Рекамье, разумеется, постоянно присутствует в доме на улице Святых Отцов. Его брат Лоран и зять Дельфен после смерти Франсуа Рекамье управляют лионским домом, который, похоже, занимается еще и банковской деятельностью. Жак-Роз, «совладелец торгового предприятия», закладывает основы своего будущего успеха. Эдуар Лемонте, в скором будущем депутат Законодательного собрания, Камиль Жордан, с задатками большого либерала, Жозеф-Мари Дежерандо, юрист и философ, тоже лионец, — завсегдатаи дома Бернаров. Пройдя через испытания Революции, они вновь соберутся подле Жюльетты.

Среди молодых людей, вращающихся около г-жи Бернар, есть некто, на ком мы ненадолго задержим внимание. Он высок ростом, элегантен. Все отмечают его учтивость вкупе с необычайной расторопностью и бесподобным природным красноречием. Он умен и, как никто другой, умеет расточать комплименты. Литератор, протестант и масон, уроженец Бигорра, до самой Революции отстаивавшей свою независимость по отношению к центру, — желанный гость в салоне, открытом для новых идей, где интеллектуальная мода может иной раз подменить собою мысль. Эти привлекательные манеры он сохранит на всю жизнь. Виктор Гюго в «Былом» упомянет о старом и очень приятном господине восьмидесяти пяти лет, о котором, не зная его имени, женщины говорили: «Какой очаровательный старик!» А когда узнавали имя, восклицали: «Чудовище!» О да, «чудовище», «Анакреон гильотины», более расхожее прозвище — «гиена», человек, который провозгласил Террор, — это Барер[10], очаровательный Барер, тогда еще только Бертран Барер де Вьёзак, родом из Тарба, блистательная личность, проездом в столице.

В салоне Бернаров царствует знаменитость — Лагарп. Колоритный автор никому не интересных трагедий, родившийся в 1739 году, в молодости был протеже Вольтера. Тот прилагал безумные усилия, чтобы продвинуть его на литературном поприще, помочь получить признание и даже пенсию. Взамен Лагарп отплатил ему, мало сказать, неблагодарностью: он выкрал, а потом распространил рукописи философа весьма компрометирующего характера, предназначенные для узкого круга лиц. В итоге несостоявшийся преемник навлек на себя гнев патриарха и был с треском изгнан из царства Ферней… Гнусная история!

Этот Вольтер в миниатюре, появляясь в доме на улице Святых Отцов, проповедовал воинствующий атеизм (Революция заставит его переменить свои взгляды). Впрочем, он весь был воинствующим. Маленький, неказистый, обидчивый и злобный, он не был в чести у коллег и слыл человеком, способным затеять склоку с каждым, кто раскроет рот. «Резкий во всем, все сводящий к самому себе, с одинаковым удовольствием поносящий других и восхваляющий себя <…>, он был догматичен и полон злобы <…>, тем не менее приходил читать нам свои трагедии, которыми сам же и восторгался во всеуслышание…» Эта хлесткая характеристика принадлежит перу мадемуазель де Корансез, будущей супруги члена Конвента Кавеньяка, родители которой в то время принимали у себя Лагарпа. «Чтобы быть выше ростом, — добавляет мадемуазель де Корансез, — он носил обувь на трехдюймовых каблуках, которыми чиркал при ходьбе…» Убийственная черта, довершающая портрет!

Малосимпатичная личность, он тем не менее будет находиться в постоянных и близких отношениях с людьми, окружающими Жюльетту. Его диалоги с Симонаром исполнены огня, обходительность хозяйки дома и обаяние ее дочери, должно быть, тоже возымели свое действие: Лагарп не только позволит себя повторно женить во времена Директории при посредничестве Рекамье, но и возьмет хорошенькую девочку под свое покровительство. Что там какой-то Эмбло — первым обожателем Жюльетты был этот любивший поучения склочник, который ей в дедушки годился. История подчас готовит нам жестокие сюрпризы.

Тем временем Жюльетта растет, Жюльетта забавляется. У нее веселый, приветливый нрав. Иногда она делает глупости: например, младший Симонар катал ее в тачке по верху общей стены отцовского сада… А то еще лазила в соседский сад рвать самый спелый виноград, опять с тем же кавалером. Однажды дети попались. Симонар-младший, обходительный, но трусоватый,

спасся бегством. Бедная Жюльетта, оставшаяся на верху стены, не знала, что делать. Ее красивое побледневшее личико быстро обезоружило свирепого хозяина. Он успокоил прелестное дитя, пообещал ничего не говорить родителям и сдержал слово. На этом прогулки по стене закончились.

Один из друзей семьи, пожалуй, пристальней других следит за развитием Жюльетты и, как никто, заботясь о ней, отмечает: «В ней есть зачатки добродетелей и принципов, которые редко встретишь в столь нежном возрасте; это натура чувствительная, ласковая, благодетельная, добрая и нежно любимая всеми, кто ее окружает, и всеми, кто ее знает». Подпись — Рекамье.

Жюльетта учится. В дополнение к хорошему классическому образованию она будет владеть английским и итальянским, в которых ей представится случай попрактиковаться. Ее культурный уровень, по всей видимости, примерно такой же, как у всякой девушки того времени. Представим себе, каким мог быть круг ее чтения: в том же возрасте Жюли де Лепинас прочла Монтеня, Расина, Вольтера, как говорят, знала наизусть Лафонтена, изучала в подлиннике произведения Шекспира и до самозабвения любила Руссо. Мы сомневаемся, что у Бернаров «до самозабвения» зачитывались трудами философов, но наверняка их знали и обсуждали. По меньшей мере, дамы читали «Прогулки одинокого мечтателя» и «Новую Элоизу».

К этому можно прибавить Петрарку, которого Жюльетта попытается перевести на французский, а позже Данте и Метастазио. Еще, разумеется, две книги, которые в течение двух веков оставались бестселлерами: «Неистовый Роланд» Ариосто и «Освобожденный Иерусалим» Тассо. Возможно также, она читала г-жу де Севинье, некоторые проповеди Боссюэ, Фенелона, а также Оссиана и «Вертера» Гёте, почему бы нет…

Г-жа Бернар, вероятно, обожала модные романы, эти «будуарные книги», которые любила и королева. Сент-Бёв знал, что в секретном фонде Национальной Библиотеки хранится часослов с гербом Марии-Антуанетты, который в действительности содержит романы г-жи Риккобони! Ничто не мешало матери Жюльетты открыто читать ту литературу, которая занимала всех, и говорить о ней с дочерью.

К примеру, повесть «Поль и Виргиния», вышедшую в 1786 году и вызвавшую восторг у читателей. Что может быть более впечатляющим, чем эта экзотическая пастораль, в которой герои растут на лоне природы, среди волшебного очарования цветов, растений, в благодатном климате острова Маврикий, пробуждаются к жизни, любви, нравственности. Но рай утрачен, и их ждут разрыв, несчастья, коварство общества. Жюльетта могла

усвоить высшие жизненные принципы целомудренной Виргинии: «Человек счастлив, когда заботится о счастье других».

Литература прочно войдет в жизнь Жюльетты: она станет для нее живой культурой, подпиткой для ее личной жизни. Она воздавала должное умершим поэтам и окружала себя поэтами-современниками. Она окажется активным открывателем талантов. Помимо того, что тридцать лет своей жизни она посвятит Шатобриану, она увидит, как взойдет молодая поросль романтиков, будет воодушевлять и поддерживать это новое поколение.

У Жюльетты большие способности к музыке. Уроки даются ей легко, и она на всю жизнь сохранит поразительную музыкальную память. Она овладевает игрой на фортепиано и арфе, занимается пением; свой вокал она будет совершенствовать с Буальдьё, звезда которого тогда еще только восходила; будучи всего двумя годами старше своей ученицы, он был скорее репетитором, чем преподавателем. Не будет ли его опера «Белая дама» отголоском встреч с Жюльеттой?

Как и литература, музыка займет особое место в жизни г-жи Рекамье. Необходимая и привилегированная спутница ее душевных настроений, музыка будет управлять эмоциональной стороной ее жизни. Жюльетта будет трепетать при звуках «Мизерере» Аллегри в Риме, в Аббеи-о-Буа будет принимать Листа и совершит один из своих последних выходов в свет, чтобы послушать Берлиоза… Музыка в большей степени, чем все другие искусства, будет отмечать этапы духовной жизни Жюльетты.

Что до рисунка и акварели, то ими Жюльетта занималась у известного мастера Юбера Робера. Родившийся в 1733 году, этот парижанин начал свою карьеру в Риме, куда сопровождал французского посла графа де Стенвиля, впоследствии герцога де Шуазеля. Друг Фрагонара, он по возвращении во Францию станет членом Королевской Академии и с 1784 года будет хранителем живописных полотен в недавно созданном Музеуме. Скончается он в Париже, в 1808 году. Жюльетта как будто имела небольшую мастерскую по соседству с его собственной.

В одном из писем к семье Жак-Роз Рекамье пишет, что «воспитанием Жюльетты занимались со всем тщанием, уделяя гораздо больше внимания вещам серьезным, нежели чистому развлечению, которым, однако, тоже не пренебрегали».

Среди искусств, относящихся к сфере развлечений, которым г-жа Бернар желала обучить свою дочь, она выделяла искусство вращаться в свете, включающее чисто парижское умение быть красивой и нравиться.

> Г-жа Бернар страстно любила свою дочь, она гордилась ее нарождающейся красотой; сама имея склонность наряжаться, она придавала не меньшее значение внешности дочери, чрезвычайно заботясь и о ее нарядах. Бедняжка Жюльетта приходила в отчаяние от того, что ее заставляли проводить долгие часы за туалетом всякий раз, когда мать вывозила ее в театр или в свет, а такие выезды г-жа Бернар, в своем материнском тщеславии, устраивала так часто, как только могла.

Г-жа Ленорман, очевидно, ненавидела легкомыслие и все, что из него вытекает. Мы не знаем, действительно ли Жюльетта томилась, ожидая, когда ее закончат одевать. Скорее, напротив, она это обожала. Это было свойственно ее возрасту, она всегда имела перед глазами образец «красивой женщины», ее матери, к тому же, наверное, у нее была природная тяга к элегантности. В юности Жюльетта будет даже существом довольно самовлюбленным, до той поры, пока у нее не выработается утонченный вкус как выражение внутренней потребности. А в то время она просто «девочка-конфетка» и, вероятно, счастлива этим.

Ее везут в Версаль присутствовать на одном из последних (но она об этом не подозревает) зрелищ с участием королевской семьи, представляющем традиционную и сложную церемонию, — так называемый «большой стол». Известно, что в некоторые дни, главным образом по воскресеньям, публика допускалась лицезреть королевскую семью за трапезой. Г-жа Ленорман сообщает нам, что монаршая чета, очарованная красотой девочки (это, должно быть, происходило в первые месяцы 1789 года), велела подвести ее, чтобы она померилась ростом со старшей дочерью короля. «Жюльетта оказалась немного выше».

Нет сомнений, что если бы Шатобриан прослышал о подобной истории, он ухватился бы за нее и преподнес в «Замогильных записках» под соответствующим углом зрения… Стоять рядом с Людовиком XVI и членами его семьи — позже, во времена Реставрации, это имело бы огромное значение. Шатобриан живо поведал нам о своем «представлении», за которым последовал «День карет» — грандиозная охота, в которой он участвовал в феврале 1787 года. Баронесса де Сталь тоже была «представлена» через некоторое время после своего замужества, и, Бог свидетель, нам известны все пикантные подробности этой сцены: порванный шлейф платья, смущение «представляемой», благожелательность короля, любезно сказавшего: «Если вы не чувствуете себя свободно среди нас,

тогда вы не почувствуете себя свободно нигде!» По нашему мнению, Жюльетта в Версале — да. Меряется ростом со старшей дочерью короля — вряд ли.

Не стоит удивляться словам г-жи Ленорман о том, что «Жюльетта воспитывалась в доме своей матери, под ее заботливым присмотром». В конце XVIII века появляется новое, очень современное для той поры понятие семьи в узком смысле слова: родители и дети. Возникает интерес к ребенку как таковому. Он больше не рассматривается как некая составляющая рода, которая должна еще доказать свою жизнеспособность, прежде чем ее станут принимать во внимание. Тем не менее ребенок, как и прежде, сразу вступает в мир взрослых, желает он того или нет. Он очень рано становится зрелым, минуя период отрочества, этот переходный возраст, который в наше время длится бесконечно и из которого наше общество сложило настоящий миф.

Единственная дочь, со всех сторон окруженная заботой, Жюльетта являет собой особый случай, но также и пример успеха новой системы воспитания: ребенок как продукт и отражение своей семьи.

Начало Революции

Как переживала Жюльетта Революцию? Нам это неизвестно. В семейных источниках об этом почти ничего не говорится. В целом можно сказать, что Бернары-Симонары-Рекамье, вышедшие невредимыми из революционных потрясений, были типичными средними парижанами, натерпевшимися страху, но сумевшими чудом выпутаться из сетей террора — мы увидим, каким образом.

Попытаемся, тем не менее, понять, чем были в глазах ребенка, которому 14 июля 1789 года не исполнилось и двенадцати лет, различные периоды, сменяющие друг друга этапы этого всеобщего потрясения, представить их себе не как цельную пьесу, воссоздаваемую после всего произошедшего сочинителями (а часто и идеологами) Истории, а напротив, как цепь более или менее знаменательных событий, смысл и значение которых трудно понять по горячим следам.

Брожение умов и развитие идей на протяжении всего столетия подготовили парижан к тому, что они с воодушевлением восприняли падение громоздкого символа феодализма — Бастилии. Они благосклонно отнеслись и к внезапному введению парламентаризма в политическую жизнь: уже давно просвещенная буржуазия рассматривала представительную монархию, монархию на английский манер, как желательный путь развития.

Можно держать пари, что Бернары приветствовали взятие крепости — событие, пробудившее двор (всем ненавистный) и положившее конец — как полагали, навсегда — абсолютизму, этому преступлению против разума.

13 августа весь город выходит на улицы, чтобы присутствовать при потрясающем зрелище — разрушении тюрьмы, которое Шатобриан, находившийся на месте событий, назвал «вскрытием Бастилии»:

> Под навесами открылись временные кафе; у их владельцев не было отбоя от посетителей, как на Сен-Жерменской ярмарке или Лоншанском гулянии; множество карет разъезжали взад-вперед или останавливались у подножия башен, откуда уже сбрасывали вниз камни, так что пыль стояла столбом. Нарядные дамы, молодые щеголи, стоя на разных этажах, смешивались с полуголыми рабочими, разрушавшими стены под приветственные возгласы толпы. Здесь можно было встретить самых известных

ораторов, самых знаменитых литераторов, самых выдающихся художников, самых прославленных актеров и актрис, самых модных танцовщиц, самых именитых иноземцев, придворную знать и европейских послов: здесь кончала свои дни старая Франция и начинала свою жизнь новая[11].

Эта лавина камней в свете летнего дня, должно быть, производила грандиозное впечатление. Принцессу Аделаиду Орлеанскую и ее братьев г-жа де Жанлис отвела на террасу по соседству с Бомарше, и они жадно следили за происходящим. Потом рабочие будто бы «торжественно проводили их до кареты».

А там ли юная дочь Бернаров, миловидная девочка в белом муслиновом платье с голубым поясом — это всегда будет ее излюбленным сочетанием цветов, — с распущенными, по тогдашней моде, и запыленными волосами? Может быть, на какое-то мгновение, в возбужденной толпе, она окажется рядом с молодым шевалье де Шатобрианом, таким же безвестным, как она сама, и, как она, зачарованным мощным грохотом разрушаемого архитектурного монстра, дикой красотой сцены катаклизма, какой не выдумать и романтикам? Недурная мысль, надо признать…

***

В окружении Бернаров повседневная жизнь в следующие два года мало изменилась. Первые реформы, хоть и восторженно встреченные парижанами, не всегда были правильно поняты. Все восприняли их как конечный результат. А между тем обрушить, словно карточный домик, ветхие опоры феодализма было только началом…

В доме на улице Святых Отцов, должно быть, одобряли деятельность Учредительного собрания: отмену привилегий, провозглашение национального суверенитета, разделение власти, введение актов гражданского состояния, деление королевства на департаменты. Установление гражданского контроля над Церковью не было воспринято как трагедия, и весной 1791 года Жюльетта отправилась на первое причастие в церковь Сен-Пьер-де-Шайо. В общем, Бернары, по всей видимости, были рады тому, что они больше не «подданные», но «граждане», которых Декларация прав человека и гражданина наделила новыми правами и иной ролью в обществе.

Наслаждались свободой, играли в вист, готовились к

регулярно проводившимся грандиозным церемониям, доставлявшим радость всем жителям столицы, к какому бы классу они ни принадлежали. В письме к своему другу Розенштейну г-жа де Сталь пишет: «Народ, впрочем, не понимает этих тонкостей, с утра до вечера все *танцы, иллюминация, празднества.* В общем, он счастлив…» В другом месте она рассказывает о «Дне тачек»: в годовщину взятия Бастилии, объявленную праздником Федерации, парижане заменили собой недостающих землекопов, в общем гражданском порыве засучили рукава и, бегая наперебой с тачками, груженными землей, сами оборудовали амфитеатр на Марсовом поле.

Талейран, епископ Отенский, похоже, был героем этого великого дня. Проливной дождь не стал помехой для сотен тысяч человек, собравшихся в знак национального согласия, преисполненных внимания и воодушевления: «Это был величайший момент, необыкновенное проявление веры в стране, находившейся под угрозой, стремительно меняющейся, народ которой страстно желал ее спасти. Картина была ошеломляющая: французы любили Францию. На вершине пирамиды, в центре внимания всей нации, должен был предстать перед алтарем епископ Отенский — лицом к небу, лицом к королю, лицом к отечеству: он отслужит мессу единению, братству, миру и свободе». Биограф Талейрана верил во всю эту «комедию» не больше его самого. Что до толпы, то она безумствовала.

Ликование длилось несколько дней. Публика танцевала вокруг освещенного обелиска, установленного «среди елисейских насаждений»; отцы семейств в окружении своих чад, влюбленные, супруги, веселые друзья отдавались без остатка этой «восхитительной смеси из сильных впечатлений и нежных чувств», — сообщает нам автор «Исторических картин Французской революции».

Шатобриана там не было. А Жюльетты?

В атмосфере столицы ощущалось мощное биение жизни, как это часто бывает в период волнений. «Да здравствует нация, закон, король!» Еще некоторое время это будет обнадеживающим, мирным лозунгом города, который гудит как растревоженный улей, ошалев от удовольствий последних дней, города, который играет, торгует и танцует как никогда; Париж очарован своим шумом, упивается потоком собственных идей и острот. Париж пока еще веселится.

***

В июне 1791 года произошла прискорбная история с бегством короля в Варенн[12], и на сей раз толпа безмолвствует. Когда король с приближенными возвращается в Париж, она следует предписаниям, расклеенным на улицах столицы: «За приветствия Людовика XVI — битье палками; за оскорбления его — казнь через повешение». Люди испытывали смешанные чувства: некоторые окончательно утратили былое доверие к монаршей семье, многие к ним враждебны, большинство удручено.

Бернары, вероятно, были в числе последних. Вышли ли они на улицу, точно потрясенные соседи, когда королевская дорожная карета со скоростью похоронной процессии возвращалась в Тюильри? Сжалось ли их сердце, когда монархи, уже больше похожие на узников, проезжали сквозь молчаливую толпу? Осознали ли они всю важность момента в этом томительном молчании?

И знала ли Жюльетта, наблюдая несколько дней спустя за торжественным препровождением праха Вольтера в церковь Святой Женевьевы по Королевскому мосту (неужели бы Симонар пропустил такое событие!), что это начало бурных революционных событий, похожее на грандиозный спектакль, то веселый, то напыщенный и патетический, станет для нее прощанием с детством?

Действительно, скоро все кончится: кончится беззаботное время, веселые забавы между уроком игры на арфе и уроком танцев. Кончатся блестящие приемы на улице Святых Отцов. Грядут суровые времена, и в ожидании обе семьи как-то незаметно сплачиваются. Ждать придется недолго. За бурным штурмом дворца Тюильри в августе 1792 года последовала страшная сентябрьская бойня[13] — настоящая кровавая мясорубка, ужаснувшая Париж. Цепь трагических событий отныне кажется неразрывной. До сих пор люди осторожно помалкивали. Теперь же они стали дрожать от страха.

Глава II
НОВОБРАЧНЫЕ I ГОДА РЕСПУБЛИКИ

Одни только обстоятельства
определили ее особую участь.

г-жа Ленорман

События развиваются стремительно.

В июле 1792 года Законодательное собрание, пришедшее осенью минувшего года на смену Учредительному собранию, провозглашает «отечество в опасности», и во всех концах столицы открываются призывные пункты. В августе Париж чувствует надвигающуюся опасность: иностранное вторжение кажется неминуемым. Несмотря на самоотверженность швейцарской гвардии, дворец Тюильри взят штурмом, монархия свергнута[14].

Вторая революция начинается не в обстановке радости и веселья, как первая, а в атмосфере тревоги и напряженности. Исполнительная власть отсутствует, ее место занимает временный совет во главе с громогласным Дантоном. Собрание изгоняет священников, отказавшихся присягнуть новой власти, закрывает монастыри, распускает монашеские ордены. Король заключен в Тампль. Коммуна Парижа становится органом диктатуры и попирает личные свободы граждан. Она арестовывает множество людей, которых считает подозрительными, и учреждает чрезвычайный уголовный суд. Каждый парижанин отныне обязан иметь при себе удостоверение о благонадежности, но и оно не вселяет уверенности.

Со 2 по 5 сентября в тюрьмах происходит серия массовых убийств, по всей видимости, стихийных: в Аббатстве, Карм, Шатле, Консьержери и даже в Форс, Сальпетрие и Бисете, где по большей части содержались женщины и дети. Запахло кровью. Запахло славой: 20 сентября нация одерживает победу над прусскими войсками в сражении при Вальми. В Законодательном собрании Дантон пламенной речью воодушевляет аудиторию на борьбу с врагами отечества: «Чтобы победить их, господа, нужна смелость, смелость и еще раз смелость, — и Франция будет спасена!»

Конвент, сменивший Законодательное собрание, избран на основе всеобщего избирательного права. Страх так велик, что свою волю изъявляет лишь готовое на все меньшинство. 21 сентября Конвент упраздняет монархию и на следующий день

провозглашает Республику. Наступает I год Республики. Жирондисты и монтаньяры сталкиваются друг с другом. Страна скатывается к насилию и фанатизму. Получают оправдание чрезвычайные меры: одни требуют трибуналов и смертной казни, чтобы уничтожить других. Далеки уже «принципы 1789 года», воспламенявшие сердца, далека «Декларация прав человека и гражданина», в первой статье которой содержится требование «всеобщего счастья». Кажется, что любое политическое инакомыслие можно преодолеть, лишь физически устранив несогласных… Мечтали о терпимости и Просвещении — теперь готовы резать друг друга.

Начинается процесс над королем. У людей словно парализовано сознание. Народные массы, эти санкюлоты, желающие наконечниками пик загнать человечество к счастью (Конвент их остерегается, но Коммуна ими помыкает и может в любой момент развязать им руки) — сила страшная и внушающая страх. Средний парижанин замыкается в своем доме. С наступлением зимы тревога, голод и холод угнетают души.

Король был казнен 21 января 1793 года. Военные неудачи усилили диктатуру внутри страны: власти учреждают революционный трибунал — разумеется, чрезвычайный.

В начале апреля Робеспьер и Марат решили покончить с жирондистами и потребовали их ареста. Те дали отпор, передав Марата революционному трибуналу. 5 флореаля I года, 24 апреля 1793 года, через три месяца после казни Людовика XVI, Париж бурлил. Взъерошенная толпа «фанатов» Марата ворвалась в здание трибунала, требуя оправдательного приговора, а затем устроила ему триумф…

Как случилось, что Жак-Роз Рекамье попросил у родителей Жюльетты руки их дочери? И почему он это сделал? Вопреки утверждению г-жи Ленорман, это произошло еще не в «разгар Террора». Террор будет провозглашен 5 сентября. Но Рекамье, как и все, понимал, насколько тревожно ближайшее будущее: он был уверен, что его, финансиста, рано или поздно побеспокоят, — и был прав. В сентябре 1793 года, когда по Парижу прокатится не одна волна обысков, у него в доме найдут: «Четыре переводных векселя из Лондона, выставленные Андре Френчем и Компанией и принятые Дюрнеем, на общую сумму в сто тысяч ливров и подлежащие оплате в течение десяти дней со дня предъявления <…>, плюс один вексель из Лондона, выставленный 16 августа Жаном Дювалем и Сыном и признанный Маллебратом и Компанией». Наблюдательный комитет «ныне восстановленной секции Вильгельма Телля, бывшей Майль» дал распоряжение

Комитету национальной безопасности Конвента депонировать эти пять векселей. «Гражданин Рекамье, банкир, улица Майль, № 19, у которого хранились означенные пять векселей, подпадает под подозрение в биржевой спекуляции, хотя в ходе проверки его бумаг не было получено неопровержимых доказательств…»

Этого было достаточно, чтобы отправиться на гильотину. В дело вмешается всемогущий Барер, член Комитета общественного спасения, и (вероятно, уничтожив дело) выручит Рекамье из беды.

Итак, прошедшей зимой Рекамье не без оснований полагал, что его постигнет судьба некоторых его друзей, таких, как банкир Лаборд, на чьей казни он присутствовал. Г-жа Ленорман объясняет, что Рекамье ходил смотреть на казнь короля, королевы, откупщиков и «всех, с кем его связывали деловые или общественные отношения <…>, чтобы свыкнуться с участью, которая, быть может, ждала и его…». Вызывают удивление подобные стойкость и мужество в человеке, который, несмотря на свой легендарный оптимизм, окажется чрезвычайно впечатлительным, легко пасующим перед трудностями, склонным впадать в крайности.

Колдовское притяжение эшафота, скорее, объясняется пагубным оцепенением, парализовавшим Париж на те несколько месяцев, пока длилось организованное кровавое безумие.

Как бы там ни было, Рекамье боялся. И Бернары тоже. Королевский чиновник, г-н Бернар легко мог быть уличен в «принадлежности к аристократии», а этого было достаточно, чтобы отправить человека на смерть. Все они были людьми богатыми, что обрекало их на доносы, какие бы ни принимались предосторожности с целью этого избежать.

Стало быть, они «придумали» этот брак — и не они одни, — чтобы защитить Жюльетту, которой было тогда пятнадцать лет и три месяца, на случай, если семью подвергнут репрессиям. «Защитить» значило обеспечить передачу ей их состояния[15].

В брачном контракте, заверенном нотариусом Кабалем 11 апреля 1793 года, открыто сказано:

> Статья 3: Г-н и г-жа Бернар в связи с бракосочетанием их дочери назначают и дают в качестве приданого за вышеназванной г-жой будущей супругой, их дочерью, совместно и каждый в половинном размере сумму в шестьдесят тысяч ливров…
>
> Статья 6: Вышеназванный будущий супруг назначает вышеназванной будущей супруге в качестве наследства… пожизненную ренту в размере четырех тысяч ливров…
>
> Статья 7: В случае, если г-жа будущая супруга

переживет г-на Рекамье… она получит… сумму в шестьдесят тысяч ливров в качестве средств к существованию…

Излишне говорить, что в те смутные времена подобные пары, возникшие волею обстоятельств, не были редкостью, равно как и фиктивные разводы по той же причине — сохранение наследственного имущества: новые республиканские институты, будучи довольно гибкими, делали несложными такого рода мероприятия.

Этот союз являл собою сделку. Г-же Бернар, десять лет не имевшей доступа к средствам мужа, и Рекамье, без сомнения, не составило большого труда убедить г-на Бернара и Жюльетту.

Однако, спросите вы, почему Рекамье, закоренелый сорокадвухлетний холостяк, обремененный целой армией лионских племянников, внимательно следивших за парижскими успехами своего дядюшки (их тоже придется убеждать, как и сестер Рекамье), почему этот старый преданный друг семьи пожелал оставить свое состояние Жюльетте?

Ответ ясен: потому что Жюльетта была его дочерью, и он это знал.

Объяснимся. Г-жа Ленорман сообщает нам, несомненно, взвешивая каждое слово:

> …он <Рекамье> всегда заботился о ней в детстве, дарил ей самых красивых кукол, она <Жюльетта> не сомневалась, что он будет весьма сговорчивым мужем; она без тени тревоги приняла будущее, которое было ей предложено. Впрочем, эта связь всегда была только внешней: г-жа Рекамье получила от своего мужа только имя. Это может вызвать удивление, но не мое дело объяснять этот факт; я ограничиваюсь тем, что удостоверяю его, как могли бы удостоверить все те, кто, познакомившись с г-ном и г-жой Рекамье, проникли бы в их частную жизнь. Г-н Рекамье неизменно состоял лишь в отеческих отношениях со своей женой, он всегда относился к юному и невинному созданию, носившему его имя, не иначе как к дочери, красота которой пленяла его взор, а известность тешила тщеславие.

Эррио менее определенен в своих высказываниях: он смешивает фиктивный брак — все современники были свидетелями этого брака — и так называемые «обстоятельства» — о них мы расскажем позднее, — которые суть не что иное, как сплетни, появившиеся после смерти Жюльетты. Касательно брака

Эррио пишет: «Сделка, а, по нашему мнению, это именно сделка, была быстро заключена». И далее: «Не следует докапываться здесь до самой сути…» Значит, сам он докопался! Эррио цитирует г-жу Мол, англичанку, воспитанную в Аббеи-о-Буа, которая в книге воспоминаний, опубликованной в 1862 году, через три года после книги г-жи Ленорман, говорит о слухах, ходивших еще при жизни Жюльетты, относительно отцовства г-на Рекамье. Эррио все прекрасно понял.

Упоминание об отцовстве Рекамье содержится в письме Камиля Жордана Жюльетте, написанном во времена Империи, после ее поездки в Лион, где она, разумеется, очаровала всех: молодую жену Камиля Жордана, их маленькую дочь, грозных сестер Рекамье и в их числе г-жу Дельфен, дам деятельных и благонравных, а также странную личность, леди Уэбб, прозванную Миледи, — англичанку, запертую в Лионе континентальной блокадой и тоже проникшуюся страстью к Жюльетте. Добавим к этому, что Камиль Жордан был человеком высоких моральных качеств и весьма тактичным: давний друг Бернаров и Рекамье, как и они, лионец, тесно связанный с г-жой де Сталь, он был близким другом семьи, кем-то вроде второго отца для Жюльетты, что объясняет свободу его высказываний. Вот интересующий нас фрагмент письма: «…это просто чудо, как в столь короткий срок вам удалось, как бы играючи, увеличить число покоренных вами сердец, начиная с набожных сестер, которые почти простили своему кюре его грехопадение, поскольку он сотворил такое дитя, как вы, и кончая ветреной Миледи, почти забросившей своего любовника ради такой подруги, как вы».

«Набожные сестры» — это, разумеется, сестры Рекамье. Их «кюре», то есть, в данном контексте, их гуру, защитник и глава клана — сам Рекамье. «Почти простили», потому что в этом кругу, столь замкнутом и щепетильном в отношении нравов, Рекамье считался человеком легкомысленным, что отразилось в суждении о нем его племянницы, г-жи Ленорман. Прибавим к этому, чтобы лучше понять тон письма Камиля Жордана, что ни он, ни Жюльетта не были ханжами…

В этом отрывке вовсе нет ничего «странного», как утверждает Эррио. Было бы удивительно встретить в письме столь умного и рассудительного человека, как Камиль Жордан, неясность или нелепицу. Он прекрасно знал, что хочет сказать Жюльетте, и та понимала его без обиняков. Это одновременно проясняет другой вопрос: *знала* ли Жюльетта, что Рекамье ее отец?

В октябре 1807 года знала. А когда ей стало это известно?

Во время бракосочетания? Не думаем. Ее мать, подле которой

она будет жить, как и прежде, и с которой она очень близка, объяснит ей все позже: по меньшей мере, дважды, когда представится удобный случай для столь трудного признания…

Если брак был фиктивным, то не было и инцеста. Жюльетта Рекамье не Ослиная Шкура, не принцесса, преследуемая отцом-извращенцем. Рекамье, напротив, осыпал ее щедротами, по малейшей просьбе она тотчас получала какие-нибудь платья цвета Луны или Солнца… Он баловал ее, как ребенка, что, впрочем, порицала одна из сестер Рекамье, Мария-Антуанетта, которая так комментирует этот странный брак:

> <…> она смотрела на него скорее как на отца, чем супруга; он же, чтобы вызвать любовь к себе, превратил ее в избалованного ребенка, потакая всем ее прихотям. Ее мать, г-жа Бернар, потворствовала этому, внушая дочери, что та превосходит большинство женщин по красоте и богатству; в результате она уверовала в то, что может без удержу тратить деньги и жить в роскоши…

С лионской родней сладить непросто: в 1793 году ее предстояло уведомить о грядущем событии. Жак-Роз сочинил длинное и осторожное письмо свояку Дельфену, найденное Эррио, в котором в обтекаемой форме сообщил о своем намерении жениться, подходя к этому вопросу, по его собственным словам, «с совершенно спокойным умом и рассудительностью умудренного жизнью человека». Далее он описывает счастливую избранницу, не называя ее имени. «К сожалению, она слишком молода. Я нисколько не влюблен, но испытываю к ней подлинную и нежную привязанность», после чего добавляет, не без скрытого юмора: «Трудно быть более счастливо рожденной». В конце концов он называет мадемуазель Бернар. «Разлучу ли я сию молодую особу с ее отцом и матерью или нет — общественному мнению не в чем будет меня упрекнуть…» Далее он вскользь упоминает о «чувствах к дочери», которые, можно сказать, «сродни тем, что он испытывал к матери…». Поясняет, что, по его прикидкам, ее состояние насчитывает чистыми от 200 до 250 тысяч ливров в ценных бумагах, которые «содержатся в идеальном порядке, как в хозяйстве, хорошо налаженном, но не допускающем излишеств…». Этот маленький шедевр дипломатии тем не менее вызвал некоторый переполох в семейном гнезде.

Вот что говорит свидетель второго плана — и представитель третьего поколения — Луи де Ломени, один из зятьев г-жи Ленорман: «Г-н Рекамье как-то отправился в Белле повидаться с семьей <в конце Империи> и, увидев в салоне бюст Жюльетты,

воскликнул: „Вот моя кровь!“» Эта откровенность, подтверждающая письмо Камиля Жордана, по-видимому, способствовала принятию Жюльетты в клан… Принятию постепенному, в чем немалую роль сыграло удочерение малышки Сивокт, будущей г-жи Ленорман.

Как бы то ни было, эту странную пару составляли люди ласковые и привязанные друг к другу: Рекамье, хоть и продолжал вести частную жизнь вне дома, дал Жюльетте, кроме своего имени, богатство и покровительство. Когда он состарился — а умер он в очень преклонном возрасте, — Жюльетта, в свою очередь, взяла на себя труд заботиться о нем. Приличия соблюдались, за исключением одной характерной детали: г-н Рекамье всегда говорил Жюльетте «ты», тогда как она неизменно обращалась к нему на «вы».

Что до пресловутых «обстоятельств», то пора покончить с коллективным вымыслом, умалением достоинств женщины красивой, богатой и знаменитой, к тому же умеющей пробуждать в мужчинах пылкие чувства. При ее жизни судачили главным образом о ее фиктивном браке, за исключением небольшого стишка по поводу ее связи с Шатобрианом:

> Бог их простил, не смея наказать:
> Взять не могла Она, что Он не в силах дать.

Типичная эпиграмма в парижском духе, но опровергнуть ее не составляет большого труда: когда знаешь о любовном долголетии Шатобриана, желание выставить его импотентом просто смешно! Что касается дамы из Аббеи-о-Буа, ее сдержанность являла собой тайну — но и только.

Зачинателем сплетен стал главным образом язва Мериме, так высказавшийся однажды о добродетельности г-жи Рекамье: «Это форс-мажорное обстоятельство![16]» Мериме всей душой ненавидел Жюльетту, похитившую у него молодого Ампера, с которым автора «Коломбы» связывала крепкая дружба, возможная только в двадцать лет. Мериме так ей этого и не простил. Его словечко, пущенное по свету и приобретшее дополнительные оттенки, упало на благодатную почву: в то время Шатобриан сошел с авансцены французской литературы. Недоброжелатели упивались мыслью, что, хотя Жюльетта и баловень судьбы, она не женщина в полном смысле этого слова, ибо страдает от некоего природного «изъяна». Глупости! И Эррио первым это опроверг.

Он приводит три аргумента.

Во-первых, «удивительная физическая гармония», присущая г-же Рекамье на протяжении всей ее жизни. «Устойчивость этого

равновесия, постоянство характера, отсутствие раздражительности, верность суждений — все это не вязалось с гипотезой о каком-то природном отклонении». Верно. Во-вторых, тот факт, что в 1807 году в Коппе Жюльетта с легкостью приняла предложение вступить в брак от прусского принца Августа. И с этим мы тоже согласны.

Однако мы не согласны с последним доводом, что г-н Рекамье, отказываясь дать согласие на развод, о котором Жюльетта его попросила, якобы сожалел о том, что «принимал во внимание чувствительность Жюльетты и отвращение к нему, иначе, будь их связь более близкой, у нее не возникло бы и мысли о разводе». Это, по сути, означает, что Рекамье не вступал в брачные отношения потому, что Жюльетта этого не желала (следовательно, если у нее был выбор, то о физическом изъяне нет и речи). Рекамье никогда ничего подобного не писал. Это чистое измышление Ленорман, которой, впрочем, довольно трудно оправдать поведение тетушки во время прусского «кризиса». Все известные нам письма Рекамье к Жюльетте проникнуты отеческой терпимостью. До сентиментального шантажа эти люди не опускались. Слово «отвращение», то и дело срывающееся с пера г-жи Ленорман, — это ее привычная риторика, как нельзя лучше характеризующая ее образ мыслей.

Повторяем, что, хотя Рекамье и его внебрачная дочь формально состояли в браке, они никогда не жили супружеской жизнью. Они могли бы, после того как стихли революционные бури, обвенчаться в церкви. Разумеется, они этого не сделали. Они могли бы развестись, что допускал закон от 20 сентября 1792 года, остававшийся в силе. Они и этого не сделали, хотя, возможно, думали об этом. Вероятнее всего, что, однажды вжившись в новые роли, они свыклись с ними. Им потребовалось приспособиться к своему положению и поддерживать равновесие, которого это положение требовало. Они делали это с непринужденностью, позволившей им забыть, что толкнуло их на такой шаг, и прожить каждый свою, но в целом счастливую жизнь. «Жить как заведено» — этот кодекс общественного поведения, основанный на воспитанности и выдержке, несомненно, помог им в этом.

К доказательствам Эррио добавим следующее.

Какие бы ни были на самом деле у г-жи Рекамье трудности в любви (сегодня мы сказали бы «проблемы»), она справится с ними благодаря Шатобриану. Возможно ли представить себе, что ее близкие, мать и приемная дочь, ничего не знали о ее физическом недостатке? Стала бы г-жа Бернар делать в своем завещании ряд очень конкретных финансовых распоряжений на случай, если

Жюльетта вторично выйдет замуж и будет иметь детей? И стала бы г-жа Ленорман приводить некоторые сожаления, которые высказывала Жюльетта: «Она <Жюльетта> признавала <…>, что замужество с человеком ее возраста, милого ее сердцу, принесло бы ей радость познания неведомого ей истинного счастья. Она не боялась добавить, что, если бы в обычных семейных отношениях ее постигло разочарование, она была бы чувствительней к домогательствам, от которых ее ограждало изначальное безмолвие ее сердца».

Поясним: если бы Жюльетта смогла нормально выйти замуж за человека молодого и он бы ее разочаровал, она без колебаний прониклась бы нежным чувством к кому-нибудь другому. Слова «нежное чувство» в наших устах — это эвфемизм. Посмотрим, что произойдет с г-ном де Шатобрианом, когда она полюбит по-настоящему…

***

Жюльетта была абсолютно нормальной. Ненормальной была ситуация, в которую она была поставлена! Едва успев стать мадемуазель Бернар, она, сама того не желая, но и не противясь этому, сделалась г-жой Рекамье. Это резкое вступление во взрослую жизнь не оставило места для того, что тогда в ней только зарождалось и что едва ли пользовалось признанием — для девичества. У Жюльетты не было времени испытать душевные состояния, свойственные юности, трепет сердца, предаться меланхолическим грезам, разделить с любимой подругой упоительные тайны… Она оставила книжки с картинками и клетки с птичками (а были ли они у нее?), чтобы скрепить свою женскую судьбу росписью в нотариальной книге.

Женщина до мозга костей, она официально стала таковой, хоть и не вполне свершившейся, благодаря замужеству, а также получила право наравне с другими участвовать в жизни общества. Но вот беда: общества больше нет. Оно распалось, и жизнь превратилась в страшную фантасмагорию — Террор. Кошмар, который надо пережить во что бы то ни стало, не понимая смысла происходящего, не видя выхода.

Кровавая утопия, претендующая на то, чтобы изменить не столько общество, сколько человека, оставит в умах неизгладимый след. Явление скорее качественное, чем количественное. Террор, бессмысленный, непростительный (законная защита служит если и поводом, то не оправданием бесчинств) обнажает жестокость и скрытый фанатизм,

заложенные в человеческой природе; они всегда готовы вырваться наружу, когда сдерживающих мер, придуманных обществом, больше не существует.

«Свобода, равенство или смерть!» — вот программа действий. Шатобриан и г-жа Виже-Лебрен, вернувшись из эмиграции, в полнейшем ошеломлении прочитают на стенах Парижа лозунг террористов. Сколько разрушений во имя борьбы за равенство! В кругу, к которому принадлежала Жюльетта, не было ни одной семьи, которая не пострадала бы за эти несколько месяцев угроз и потрясений…

После Термидора (июль 1794 года) все вздохнут с облегчением, но будут содрогаться, вспоминая пережитое. Что было бы, если б не случай, не покровительство Барера[17], не связи Симонара, принадлежавшего, без сомнения, к активным масонским кругам столицы? Что стало бы с Францией, если бы новый порядок, задрапированный в пафос, найденный среди античного хлама, сотканный из догм, приукрашенный высокими словами и питающийся личной ненавистью низких человеческих натур, — что было бы, если бы этот новый порядок восторжествовал? В час подведения итогов светлые умы были удручены тем, что идеи века Просвещения переродились в примитивный вандализм, что в слепой ненависти был разрушен многовековой плодородный слой, который теперь надо было восстанавливать по крупицам. В обществе чувствовалась глубокая неприязнь к крайностям, чем бы они ни были вызваны, но главное — полное отсутствие иллюзий в отношении рода человеческого.

Жюльетта тоже наблюдала людскую низость, тщеславие, глупость и жестокость. Нет сомнений, что в противовес этому она вынесла из трагедии уроки стойкости, сдержанности, доброты. Пережив времена разнузданности, ничем не сдерживаемой наглости, начинаешь больше ценить добродетели и нуждаться в благоразумии, компетентности и терпимости — одним словом, в цивилизованности, которая начинается с уважения к ближнему. Природные склонности Жюльетты лишь окрепли под воздействием того, что ей довелось увидеть в шестнадцатилетнем возрасте, в городе, который еще несколько месяцев назад считался всесторонним и совершенным образцом искусства жить сообща.

Тяжелое ученичество для женщины — пока просто парижанки, одной из многих… Теперь посмотрим, каким образом юная г-жа Рекамье II года Республики превратится в знаменитость, которой будут завидовать и подражать и о которой по сей день не утихают разговоры.

Глава III
ПАРИЖ — СНОВА ПРАЗДНИК

Этот город верен себе: всё для удовольствий, всё для женщин, для зрелищ, балов, прогулок, мастерских художников.

Бонапарт (письмо к брату Жозефу от 12 августа 1795 г.)

На заре правления Директории «еще дымящийся» Париж очнулся от страшного сна. За пять месяцев термидорианская реакция проделала большую работу. Ей удалось усыпить диктатуру. Она выпустила кровь из Комитета общественного спасения и Коммуны, очистила революционные комитеты, закрыла Клуб якобинцев, отменила страшные законы прериаля и «о подозрительных». Понемногу тюрьмы пустели, семьи восстанавливались, эмигранты тайно возвращались. Оцепеневшая столица точно подверглась нашествию пьяных мясников: памятники разрушены, церкви поруганы, особняки разграблены, все дышало запустением и, если верить очевидцам, трава пробивалась сквозь булыжники мостовой в Сен-Жерменском предместье. В городе властвовали дефицит и инфляция. Не хватало всего, всё и вся было не на своем месте, но какая разница! Начиналось настоящее возрождение[18]. Теплившаяся любовь к жизни вспыхнула костром, и веселость, пришедшая на смену унынию, стала всеобщим очищением. Всеми своими живыми силами Париж готовился снова стать тем, чем всегда хотел: праздником, который всегда с тобой.

Удовольствия и бизнес — вот чем будут заняты парижане в четыре года правления Директории.

Пока никто ничем не обольщается именно потому, что люди лишены всего, или почти всего. Дома никто не сидит, потому что дома всё вверх дном, а если, паче чаяния, тебя приглашают в гости, надо по возможности прийти со своим куском хлеба и тайком внести свою лепту в чашу, специально для этого поставленную на камине в гостиной. После чего садятся за стол с твердым намерением пировать всю ночь…

Какая жизненная сила в этой способности переварить ужас! Родственники гильотинированных дают «балы жертв». Чтобы там

появиться, полагалось хотя бы отсидеть в тюрьме. Танцуют в трауре. Красавицы являются на бал, зачесав волосы наверх, с красным шнуром вокруг шеи или талии.

Танцевать! Публичные балы, или балы по подписке, проводятся везде, даже на месте прежних кладбищ. Их было не меньше шестисот. В «Парках развлечений» — Тиволи, на улице Сен-Лазар, в Мусо (нынешнем парке Монсо) после танцев устраивают пантомимы и фейерверки.

Тон задает золотая молодежь[19]. Подобно стилягам 1945 года, щеголи 1795-го, в коротких черных накидках и с дубиной в руке (которую они по случаю пускают в ход против недобитых террористов) выставляют напоказ свой дендизм, который по сути является лишь стремлением к самовыражению. Дело в том, что государство катком прошлось по личности. По мере же возрождения свобод индивидуум с жадностью вступал в свои права. Это происходило не без некоторых «заскоков», о самых невероятных из которых взахлеб рассказывали хроникеры, а также гонители Директории, зачастую повествовавшие лишь об этой стороне парижской жизни тех времен. Клеймили их причуды, их нелепый наряд, их невероятную манеру речи, сюсюкающую и слащавую. А они, таким образом, выражали свое опьянение возвратом к жизни, самоутверждением.

К черту республиканское однообразие, карманьолу и сабо! Мода еще находится в поисках, колеблется между англоманией и манией античности, которая в последние пятьдесят лет проявлялась разными способами… Под двойным влиянием живописи и театра среди гуляющих появились первые нимфы, освободившиеся от корсетов и пудры. Не имея возможности носить короткие волосы на манер стрижек, Тита или Каракаллы, эти прелестницы надевали парики «а-ля грек», чаще светлые.

Несмотря на финансовый кризис, вызванный непрерывным печатанием ассигнаций, единственных законных денег, а потому и их обесцениванием, начала возрождаться экономика. Роскошь пробивала себе дорогу крайне осторожно, так как нестабильность цен вызывала тревогу, и когда 26 октября 1795 года был распущен Конвент, дороговизна жизни, несмотря на усилия Камбона, достигла своего апогея. Но банкиры уже подняли голову. Они ожидали стабилизации власти, чудесным образом возродившейся, чтобы прибрать к рукам бразды правления общественной жизнью. Одним из них, причем не самым незначительным, был Рекамье.

***

Он жил в особняке, построенном в 1790 году Берто: номер 12 по улице Майль, рядом с площадью Побед, которую при Конвенте переименовали в площадь Национальной победы без дополнительных уточнений. Это был большой дом, от которого сегодня остались окна на фасаде и балкон на втором этаже, а также лестничная клетка, построенная на месте меблированного особняка Мец, где некоторое время жил молодой Бонапарт. Контору свою Рекамье, как всегда, держал поблизости от своего жилища, в данном случае — на антресолях дома номер 19 по той же улице.

Переселилась ли туда Жюльетта? Или осталась на улице Святых Отцов? С уверенностью можно утверждать лишь одно: она не рассталась с матерью, Бернары и Симонары продолжали составлять друг другу компанию.

В четверостишии неизвестного автора, посвященном бракосочетанию госпожи Рекамье, ее уподобляют Венере до зачатия Амура. Ещё не расцветшая Венера пока не появлялась на публике. Она попросту завершала свое начальное образование. Сохранился лишь один документ той эпохи, говорящий нам о ней: ее письмо к одной лионской родственнице. По старательному почерку графолог мог уже тогда определить организованную личность, способность к четкой аргументации, внимательность, сосредоточенность и явные проблески ума.

Дела ее мужа процветали. Банк «Рекамье и К°» впервые упоминается в «Национальном Альманахе» V года Республики (сентябрь 1796 — сентябрь 1797). У банка были только два компаньона (лично отвечавших за своё имущество): Жак-Роз и Лоран Рекамье, приехавший из Лиона, чтобы разделить профессиональную жизнь и успех своего брата.

Успех блестящий и скорый, ибо банк быстро разросся, участвуя в правительственных поставках, в частности, военным госпиталям. К тому же Рекамье был акционером и управляющим Кассой текущих счетов, созданной в июне 1796-го, во время возврата к металлическим деньгам, которой в начале периода дефляции было поручено организовать и развивать кредитование. Будучи одним из трех крупнейших парижских банков, она вошла во Французский банк после его основания в феврале 1800 года, а Рекамье был избран его управляющим.

Принявшись за дела, Рекамье показал себя финансистом-профессионалом, не имевшим ничего общего (современники это понимали) с ордой поставщиков-спекулянтов, высмеиваемых в театре. Он вовсе не был стремительно вознесшимся выскочкой, а пользовался уважением и любовью. Серьезность и солидность управленца он сочетал с дерзостью, если не сказать

авантюризмом предпринимателя. И обогатился он потому, что тогда профессии банкира и коммерсанта были совместимы. Добавим к этому, что сей великий финансист обладал политическим чутьем. Бесспорно, в те времена любой выдающийся банкир был связан с действующей властью. Какова же она была?

***

Новая Конституция III года Республики (1795) выражала идею фикс общественного мнения: оградить себя от диктатуры. Существовал избирательный ценз, исполнительная и законодательная власти были тщательно разделены. Исполнительная власть возлагалась на Директорию из пяти членов, разместившихся в Люксембургском дворце. Законодательная — на две палаты: Совет Пятисот, заседавший в Бурбонском дворце, и Совет старейшин (Сенат), собиравшийся в Тюильри. Обе палаты каждый год обновлялись на треть, чтобы никакое большинство не могло сформироваться там надолго. Слабость этой системы, что очевидно, заключалась в том, что в случае серьезного конфликта между двумя ветвями власти единственный выход состоял в перевороте. Бонапарт это понял одним из первых.

Главной заботой Директории было помешать якобинцам или роялистам захватить власть. Ей приходилось лавировать между двумя этими противоположными силами. Опасное балансирование, которое, однако, удавалось ловкому Баррасу. Серия небольших государственных переворотов продолжалась вплоть до 18 брюмера, когда, в декабре 1799-го, было установлено Консульство:

1 прериаля III года (20 мая 1795) были раздавлены якобинцы, Париж разоружен, Ревтрибунал отменен;

13 вандемьера IV года (5 октября 1796) разбиты роялисты (Бонапарт стрелял по отщепенцам, сгрудившимся на паперти церкви Святого Рока);

18 фрюктидора V года (4 сентября 1797) три члена Директории, подвергавшихся угрозам, заручились поддержкой армейских республиканцев против роялистов. Последовали многочисленные депортации;

22 флореаля VI года (4 мая 1798) Директория на законном основании отстранила от власти новоизбранных якобинцев;

30 прериаля VII года (18 июня 1799) под давлением якобинцев были смещены три члена Директории. «Закон о

заложниках», направленный против родственников эмигрантов или повстанцев, слишком сильно напоминал о 1793 годе, что породило в рядах «реформаторов» всякие мысли, приведшие к перевороту 18 брюмера.

Все эти четыре года продолжалась внешняя война. Хотя недавно завоеванная французами Голландия преобразовалась в Батавскую Республику, Испания уступила остров Сан-Доминго, а Пруссия по Базельскому договору признавала оккупацию левобережья Рейна, ни Англия, ни Австрия не собирались складывать оружие. Потребовалась ошеломляющая итальянская кампания, чтобы Австрия склонила голову. Англия же продолжала борьбу, ее флот еще доставит много острых моментов армии Бонапарта, безрассудно углубившейся в Египет.

На этом относительно нестабильном политическом фоне Франция проходила период ученичества в качестве дважды нового государства: по своему еще не крепкому республиканскому режиму и по новому господствующему классу — буржуазии, укрепившейся в городах и весях благодаря завоеваниям Революции.

Явление молодой женщины…

Один особенно восприимчивый очевидец так описывает бурлящую парижскую жизнь: «Роскошь, наслаждения и искусства возрождаются здесь просто на удивление; вчера в Опере давали „Федру“ в пользу одной бывшей актрисы; с двух часов пополудни прибывала огромная толпа, хотя цены были подняты втрое… Библиотеки, лекции по истории, ботанике, анатомии сменяют друг друга. Всё смешалось в кучу, дабы сделать жизнь приятною…»

Бонапарт продолжает делиться впечатлениями с братом Жозефом, не без примеси двусмысленного женоненавистничества, которое ему свойственно: «Женщины повсюду: в театрах, на прогулках, в библиотеках. В кабинете ученого вы встретите очень привлекательных особ. Только здесь, в единственной точке земли, они заслуживают стоять у руля; поэтому мужчины от них без ума, думают только о них и живут только ради них. Женщине нужно провести полгода в Париже, чтобы узнать, что ей положено!» (18 июля 1795).

Говоря всё это, молодой корсиканский офицер, чья походка кота в сапогах вызвала безудержный смех сестер Пермон (младшая заставит говорить о себе, выйдя замуж за Жюно), только и мечтает быть очарованным неподражаемыми парижанками.

Кто же они, эти красавицы, кружащие головы?

Самая известная из них, упоительная героиня Термидора, маркиза де Фонтене, только что вышла замуж за своего героя и избавителя, Тальена. Госпожа Тальен, плодовитая, пышная и подвижная, точно красивое растение, любима за свою преданность и щедрость к товарищам по заключению: она помогала им, насколько ей позволяло ее влияние на Тальена. Общество приписывало ей начало термидорианской реакции, повлекшей за собой падение Робеспьера, а затем выведшей страну из кровавого тупика, в который ее загнали. По этой причине ее называли Термидорианской Богоматерью и Богородицей Избавления.

Она почитала античный стиль, о чем свидетельствовали утонченное убранство ее дома на аллее Вдов (внизу современной авеню Монтеня) и ее помпейские туники. Красивая, приветливая, хорошего происхождения, она без труда собрала вокруг себя небольшой влиятельный, хоть и слегка разношерстный мирок. Сторонники Конвента соседствовали там с роялистами, дельцами, поэтами и музыкантами. Баррас, Керубини, Жозеф Шенье и певец

Гара были завсегдатаями ее салона. Порой там прошмыгивал и молчаливый Кот в сапогах…

Произведя на свет дочь, названную Роз-Термидор, госпожа Тальен, разлюбившая своего мужа, сблизилась с героем дня — Баррасом. Она стала хозяйкой вечеров в Люксембургском дворце. «Невозможно быть богаче раздетой», — сказал о ней тогда Талейран. Она быстро пресытилась Баррасом и бросила его ради другого влиятельного человека, чрезвычайно богатого банкира Уврара, которому подарила четырех детей, а затем дала делу достойную развязку, став во времена Империи принцессой де Шимэ.

Среди близких подруг госпожи Тальен была одна, трогательная в своих несчастьях: вдова, без средств, ибо имущество ее мужа было конфисковано после его смерти на эшафоте. По выходе из тюрьмы она осталась с двумя детьми и без средств к существованию… Бедняжку звали Роза де Богарне. Тальен посодействовал ей, вернув то, что смог. Этого было недостаточно беззаботной креолке, охотно сменившей бы эту жизнь из милости на покачивание в гамаке под пальмами… Тогда она перешла под надежное крылышко Барраса. Позднее скептический и обворожительный директор сплавил ее своему юному протеже, Бонапарту, которого ослепили скромные украшения и умение в любовных делах. Состоявшийся вскоре брак вознесет госпожу Бонапарт, окрещенную Жозефиной, гораздо выше, чем она могла бы себе представить в марте 1796 года.

В поле притяжения двух этих звезд роились неоафинские туманности; умело собранные складки на муслиновых платьях выдавали грациозное бесстыдство, символ свободы и наслаждения. Жюльетту тоже хотели сделать такой. Но ошиблись. Не то чтобы госпожа Ленорман была совершенно права, утверждая: «Госпожа Рекамье осталась полностью чужда миру Директории и не поддерживала отношений ни с одной из женщин, бывших ее героинями: госпожой Тальен и некоторыми другими». Хотя Жюльетта не принадлежала к новому республиканскому двору и не была царицей дней и ночей «компании Барраса», она всё же стала звездой. Как и когда?

Жюльетта не была чаровницей. Она явилась не в местах развлечений, а, что гораздо необычнее, в одном из частных высших учебных заведений, вошедших в моду после Революции и занимавшихся популяризацией научных знаний.

Наряду с Лицеем искусств, Лицеем европейских языков и Обществом содействия науке и технике, Республиканский Лицей (продолжавший традиции бывшего Парижского Лицея,

основанного в 1781 году Пилатром дю Розье) привлекал к себе избранную аудиторию. Жюльетта посещала его тем более охотно, что литературу там преподавал Лагарп, старый друг ее семьи. Говорят, он даже закрепил за ней место рядом с кафедрой. Как же было не заметить миловидную женщину, которая к тому же держалась особняком?

В Лицее, на балах, в театре, на прогулке эта красивая женщина с превосходной фигурой появлялась в простом белом платье и в белой повязке на голове на креольский манер, держась просто, даже простовато, и скромно. Прием не оригинальный, но действенный. Жюльетту начали узнавать. Она сразу сделала ставку на невинность, и любовь к белому цвету в этом плане очень показательна.

Эта ли белая лента очаровала Лагарпа, околдованного самой простодушной из своих поклонниц? По словам госпожи Ленорман, он всегда был мягок и любезен с Жюльеттой, относясь совсем иначе к г-ну Рекамье и жившим у него многочисленным племянникам. Племянники же эти считали Лагарпа всего лишь паразитом, привлекаемым роскошным столом в доме Рекамье.

Летом 1796 года Рекамье снял у маркизы де Леви замок Клиши у Парижских ворот, что позволило ему совмещать дела и семейную жизнь. Он обедал в Клиши, но почти никогда там не ночевал. Зато Жюльетта и госпожа Бернар могли после обеда отправиться в театр (у них была на год заказана ложа в Опере и во Французском Театре) и вернуться поужинать в Клиши.

Здесь Жюльетта дебютировала в качестве хозяйки дома. Клиши, который тогда еще называли «домом Лавальер»[20], был охотничьим замком в классическом стиле, на правом берегу Сены, между Нейи и Сен-Дени. В свое время его охотно навещали франкские короли, король Дагобер[21] сочетался в нем браком в 626 году. Прежний хозяин, откупщик Гримо де Ларенъер, сменил его внутреннее убранство. При замке был большой восхитительный парк, спускавшийся к самой Сене, в котором Жюльетта, как сообщает нам Бенжамен Констан, устраивала шумные игры со своими товарками, бегая резвее всех.

«Отшельничество» в Клиши было относительным. Жизнь в нем вели довольно веселую, о чем свидетельствует анекдот, о котором сама Жюльетта поведала Сент-Бёву. Лагарп, обратившийся к благочестию, в молодости часто увлекался. В Клиши решили устроить мистификацию в духе времени, чтобы проверить искренность старика. Младший из племянников Рекамье нарядился женщиной и стал поджидать Лагарпа в его комнате, сидя на кровати, под прикрытием наспех выдуманной легенды. Прочие же притаились неподалеку. Каково же было

всеобщее удивление, когда Лагарп, войдя в комнату, тотчас опустился на колени и долго молился, а затем, обнаружив нежданную посетительницу, мягко выпроводил ее. Этот маленький дивертисмент, *совершенно в* стиле Мариво или Бомарше, можно было бы озаглавить «Добродетельный философ», «Неожиданная развязка» или «Поучение племянникам».

В армии учеников банкира, устроившихся в Париже под крылом Рекамье, был один, сыгравший не последнюю роль в повседневной жизни семьи, — Поль Давид, сын старшей сестры Жака-Роза, Мари Рекамье, и бордосского негоцианта Жана Давида. Он был годом младше Жюльетты и приходился ей к тому же двоюродным братом.

Такое родство — опасное соседство! Вот он уже и влюбился, и Жюльетте приходилось в первое время держать его в узде. Когда же страсти улеглись, Поль Давид завоевал доверие своей тети-сестры. Он посвятил ей всю свою жизнь, так и не женился, следуя за ней, несмотря на близкую дружбу с Огюстом Паскье, братом будущего канцлера. Он станет ее преданным, надежным доверенным лицом. Жюльетта сможет полагаться на него во всем, что касалось организации домашней жизни, переписки, ее здоровья, тысячи жизненных мелочей, которые в эпоху, когда еще не было ни телефона, ни «оргтехники», отнимали драгоценное время, а то и представляли собой постоянную проблему.

Этот скромный человек произнес очаровательную фразу, одним мазком выписав собственный портрет: «Я не достоин любви, значит, я должен сделаться полезен». К чести Поля Давида будет сказано, что он за полвека стал просто необходим той, кто была его покровительницей и кумиром в юные годы.

Следующей весной, в апреле 1797 года, госпожа Рекамье впервые участвовала в парадных выездах на Лоншан. Каждый год, на Пасху, элегантные дамы демонстрировали в течение трех дней моду весенне-летнего сезона, выезжая в обновленных туалетах. Для парижской публики это было излюбленным зрелищем: на всем протяжении Елисейских Полей, вплоть до Булонского леса, теснилась толпа, чтобы любоваться, комментировать, критиковать — одним словом, упиваться богатством и хорошим вкусом элиты, которая на три утра принадлежала ей. Четыре года спустя Жюльетта появится там в открытой коляске, запряженной парой лошадей, и зеваки единодушно провозгласят ее самой красивой…

В начале сезона 1797 года состоялось замечательное светское событие: в Париж приехал турецкий посол. Парижанки на время забросили свои греческие туники и превратились в одалиск и султанш. В моду вошел тюрбан, с которым долго не расставалась

госпожа де Сталь. Приезд посла послужил предлогом для празднеств: Париж озарился огнями, танцевал и пялился на фейерверки. 2 августа посол устроил раздачу «пахучих пастилок из сераля, розовой эссенции, саше, благословенных муфтием»… 7 августа госпожа Рекамье была представлена его превосходительству Эссеиду эфенди в компании тридцати пяти других красавиц, среди которых были госпожа де Баланс, госпожа де Ремюза и госпожа де Бомон — та самая, кого шестью годами позже Шатобриан похоронит в церкви Святого Людовика Французского в Риме. Ни та ни другая еще не подозревали о существовании Чаровника, человека, который полюбит, измучит и увековечит их обеих, подарив им лучшее, что мог и умел дарить, — незабываемые страницы.

В тот же месяц веселая компания из Клиши присутствовала, надо полагать, не без ехидства, при повторном бракосочетании Лагарпа. Идея исходила от неисправимого оптимиста Жака-Роза, подыскавшего в спутницы писателю дочь одной своей подруги, мадемуазель Лонгрю. Но девица не имела никакого желания выходить за желчного старика, каким бы знаменитым он ни был. Не прошло и месяца, как она во всеуслышание потребовала развода! Как христианин, Лагарп не мог пойти на разрыв священных уз брака, но лишь смирился с положением вещей, простив девушке скандал.

На этом несчастья «бедного месье Лагарпа» не закончились. Вслед за злополучным эпизодом его семейной жизни последовали суровые меры против роялистов. В ночь с 3 на 4 сентября генерал Ожеро, отозванный Баррасом из Итальянской армии, чтобы встать во главе Парижской дивизии, «спас» Республику: арестовал заговорщика Пишегрю, члена Директории Бартелеми и большинство депутатов, заподозренных в роялизме. Члену Директории Карно удалось бежать. Свобода печати была отменена, вернувшимся эмигрантам в случае ареста грозила смертная казнь. Использовалась также «бескровная гильотина», то есть высылка в Гвиану. Явные сторонники монархии забеспокоились.

Госпожа де Сталь, в те времена близкая к правительству и отчасти бывшая вдохновительницей переворота, вовремя предупредила некоторых из них. Лагарп укрылся в Корбее, недалеко от столицы. Бесстрашием он не отличался. Жюльетте, наносившей ему визиты, приходилось выполнять инструкции по безопасности, которые он дал ей в письменном виде.

Вот так, проявляя одновременно стойкость и благодушие, что было свойственно ей одной, Жюльетта начала карьеру, обессмертившую ее в другом качестве: деятельность в пользу

побежденных и изгоев, каков бы ни был угнетавший их режим.

Безмолвная встреча…

Той осенью 1797 года Бонапарт с триумфом вернулся из Италии. В нем уже ничего не осталось от молодого, голодного и растерянного офицера, окунувшегося в круговерть Парижа щеголей и спекулянтов в надежде попасть под крылышко Барраса. «Генерал Вандемьер» стал силен и получил вознаграждение за расстрел из пушек парижских роялистов. Ему преподнесли две вещи, которых он желал больше всего на свете: власть и жену. Кот в сапогах превратился в молодого волка, пылкого и честолюбивого. Пост главнокомандующего внутренних войск позволяет ему жениться на своей прелестнице Жозефине, в которую он тогда был безумно влюблен, и, едва вступив в брак, он с лихорадочным воодушевлением отправляется в путь, чтобы возглавить Итальянскую армию. Ему еще не сравнялось двадцати семи лет. Началась его карьера завоевателя.

Первая итальянская кампания, проведенная в темпе *allegro con brio,* останется шедевром в своем роде. Компенсировав талантом стратега малочисленность своих войск, Бонапарт твердой ногою встал в Пьемонте, затем в Ломбардии и, одержав в январе 1797 года победу при Риволи, был готов идти на Вену, от чего его избавило перемирие, заключенное 18 апреля в Леобене.

Блестящий артиллерист учится управлению государством: «Война должна кормить войну». Ему приходится, практически импровизируя, организовывать завоеванные земли в маленькие «Дочерние республики»: Лигурийскую, Циспаданскую, Цизальпинскую.

Он становится дипломатом, заключив, основываясь на собственной позиции, договор в Кампо-Формио 17 октября. Франция получила графство Ниццу и Савойю, аннексировала Бельгию, оставленную Австрией, которой в утешение была предложена область Венеция. Республики-спутницы получили признание.

Ему удалось подчинить себе недисциплинированную, малочисленную, оборванную и голодную, но пылкую армию. «Виду он был невзрачного, репутацию имел математика и мечтателя, у него не было ни сторонников, ни друзей, его считали медведем, потому что он думал всегда в одиночку. Нужно было создать всё — он и создал всё. Вот что было в нем самого замечательного», — писал один из его офицеров.

Понятно, почему, по возвращении в Париж, он всем казался героем. Популярность его была огромна: генерал-победитель, такого уже давно не видали! Директория опасалась такого

честолюбия и пыла, однако виду не показывала: Бонапарт был нарождающейся легендой. В таком качестве его и следовало принимать.

Парижское общество, бурля от восторга и любопытства, наперебой пыталось завладеть вниманием и, если возможно, соблазнить молодого бога войны. Не тут-то было. Он с непробиваемой скромностью принял все почести, уготованные ему столпами государства, твердо и даже резко отклонив делавшиеся ему авансы. Госпожа де Сталь что-то поняла… Как это опьянение, чередование банкетов, празднеств, церемоний с участием надушенных и разодетых толп должны были казаться ему непривычными, если не сказать непристойными, по сравнению с суровостью и скудостью итальянских бивуаков!

Пребывание Бонапарта в Париже ознаменовалось встречей, основополагающей для будущего Франции, — с другим выдающимся человеком, курировавшим тогда вопросы внешних сношений: Талейраном. Оба были околдованы. Талейран признается: «С первого взгляда лицо Бонапарта показалось мне очаровательным. Двадцать выигранных сражений очень идут молодости, красивому взгляду, бледности, некоторому истощению…» Какое тонкое замечание! Бонапарт же восторгался (и втайне завидовал) принадлежностью Талейрана к прежней аристократии. Глядя, как прихрамывает потомок графов Перигорских, он заметил, что этот сановник умеет придать себе элегантности своим увечьем.

Идейно они были близки. Оба не принимали перегибов 1793 года, Талейран сожалел о бессмысленном уничтожении творений цивилизации, которыми так дорожил, Бонапарт всей душой ненавидел «посредственностей» и «идеологов». Обоих раздражали примиренчество и обезьянничание Директории. Оба имели высокое и точное представление о превосходстве Франции в том, что у нее есть наиболее завидного и непреходящего: духовности. Их взгляды на власть и европейскую дипломатию совпадали — по крайней мере, на тот момент. Зрелость, умение и прозорливость первого, буйный гений и способность к обучению второго достаточно объясняют, почему они поладили.

Гражданин министр принял генерала-миротворца с супругой в отеле Галифе. Прием, заданный с несравненной щедростью, вошел в парижские анналы. Это был поток элегантности, какое-то чудо. Жюльетта, хотя ее уже замечали в Лицее, на прогулке или в театре, хотя ее белый силуэт уже выискивали взгляды знатоков, не присутствовала среди пятисот избранников Талейрана. В этом не было ничего удивительного: чудесная известность госпожи Рекамье тогда только зарождалась.

И всё же она встретилась с героем, причем странным образом — без слов, что наложит отпечаток и на нее саму, и на трудные взаимоотношения, которые она будет с ним поддерживать, целиком выразившиеся в этом первом контакте. Встреча произвела на Жюльетту сильное впечатление. Госпожа Ленорман воспроизводит ее достаточно достоверно:

> 10 декабря 1797 года Директория устроила торжество в честь покорителя Италии. Прием состоялся в большом дворе Люксембургского дворца. В глубине двора возвышались алтарь и статуя Свободы; у подножия этого монумента стояли пять директоров в римских одеяниях; министры, послы, чиновники всякого рода сидели, располагаясь амфитеатром; позади них находились скамьи для приглашенных. У окон всего фасада здания толпился народ; толпа заполняла также двор, сад и все улицы, ведущие к Люксембургу. Госпожа Рекамье с матерью заняли места на скамьях. Она никогда не видела генерала Бонапарта, но разделяла тогда всеобщие восторги и была очень взволнована его новорожденной славой. Он появился; в то время он был еще очень худ, в лице же его читались поразительные величие и твердость. Его окружали генералы и адъютанты. На речь господина Талейрана, министра иностранных дел, он ответил несколькими краткими, простыми и нервными словами, которые были встречены бурными приветственными кликами. Со своего места госпожа Рекамье не могла различить черт Бонапарта, совершенно естественное любопытство побуждало ее их разглядеть; воспользовавшись моментом, когда Варрас длинно отвечал генералу, она встала, чтобы взглянуть на него.
>
> При этом движении, когда она показалась во весь рост, взгляды толпы обратились на нее, ее приветствовал долгий ропот восхищения. Этот шум не ускользнул от Бонапарта; он резко повернул голову в сторону, куда было устремлено всеобщее внимание, чтобы узнать, какой предмет мог отвлечь от него взоры толпы: он увидел молодую женщину в белом и бросил на нее взгляд, суровости которого она не выдержала и быстро села.

Зрелищное противостояние! Гражданка Рекамье была не робкого десятка, раз столь просто — до гениальности! — выставила себя напоказ. Отважиться, пусть на мгновение, отвлечь

на себя внимание, прикованное к великому человеку, — какое бесстрашие! Воспользоваться столь театральной обстановкой, столь торжественным случаем, чтобы перехватить первенство у избранника богов — это безрассудство, если не сказать провокация… К тому же это означало мало знать Бонапарта. Хотя кто, за исключением семейного клана и его адъютантов, мог в то время похвастаться, что знает его?

Неравнодушный и неоднозначный по отношению к вечной женственности, этот южанин всегда испытывал особое недоверие, даже раздражение к легкому успеху парижанки, элегантной женщины с хорошим окружением, которую постоянные почести приучили к тому, думал он, что ей всё дается без труда. Строгая госпожа Летиция, его мать, и фривольная Жозефина тоже несут за это свою долю ответственности. По отношению к Жюльетте он разрывался между желанием уступить соблазну и раздраженным неприятием.

С ее же стороны это был очередной явный — и очаровательный — прием самоподачи. Надо признать, она действовала как начинающая актриса. Во всяком случае, «долгий ропот» восхищения компенсировал, в представлении юной особы, испепеляющую суровость генерала. Как символично это столкновение увенчанного лаврами триумфатора, окруженного высокими официальными лицами в расшитых золотом одеждах и с плюмажем, и молодой женщиной в белом, которая могла рассчитывать лишь на свою миловидность!

В тот же день имя госпожи Рекамье стало известно всему Парижу. Новая легенда получила свое начало.

***

Прошло несколько месяцев. Исключительная красота Жюльетты — то, что выделяло ее среди других, — стала еще более явной. Как теперь, по прошествии времени, передать очарование и краски жизни, ее порыв, ее точное звучание, особую насыщенность оттенков и составляющих саму сущность красоты?

Художники и мемуаристы предпримут несколько попыток отобразить оригинал. Но смогут ли они передать рождение вздоха, модуляции голоса Жюльетты? Сложные, многочисленные нюансы ускользают и от кисти, и от пера. Неуловимая реальность застывает под одной и расплывается под другим. Шатобриан подчеркивал расхожее тогда сходство с мадонной итальянского Возрождения. В портрете работы Жерара действительно есть что-то от манеры Рафаэля. И все же Шатобриан первый был

неудовлетворен этим, пусть и восхитительным, «шедевром»: «Он мне не нравится, потому что я узнаю черты, не узнавая выражения лица».

Она может казаться наивной — и кокеткой. Инстинктивно чувствует, что сдержанность ей к лицу, и всё же ничуть не похожа на фарфоровую статуэтку. Она высока ростом, стройна, у нее гармоничное тело, которое она умеет выгодно подать. Нам остается лишь представить себе ее живые, отточенные движения, когда она танцует, ведь она обожает танцевать.

Сердце ее, как мы знаем, еще свободно. Так что Жюльетта безмятежна. Ее брак — лишь видимость. Она вознаграждает себя, занимаясь своей особой. В то время она еще не избавилась от налета нарциссизма. Впоследствии недостаток любви подвигнет ее искать утешения в дружбе и долге, но пока ей не претит быть средоточием взглядов, маяком, звездой, которой поклоняются, хотя она еще не достаточно знает, что делать со знаками внимания, когда те становятся чересчур настойчивыми.

Она резко выделяется в пестром мире Директории. На фоне живописной госпожи Анго, вылезшей из грязи в князи, экстравагантной и бесстыдной госпожи Тальен и многих других Жюльетта выглядела лебедем на птичьем дворе. Она очаровывала, потому что была другой: от нее исходила чистая, легкая, освежающая женственность.

Она создала свой собственный стиль: стиль юной богини, грациозной в каждом своем поступке, в каждом своем слове, которая уверенной гибкой походкой спустилась ненадолго на землю, чтобы разделить прозу жизни смертных. Очарование, заворожившее Париж, точно несравненный и позабытый аромат…

Этот стиль выражался в неподражаемой элегантности Жюльетты, которой, тем не менее, стала подражать вся Европа. Отличительный признак: белый цвет. Какой абсолют заключался в этом цвете отсутствия, девственности, недоступности, включавшем в себя, если не отменявшем, все остальные? Что означал этот символ в ее глазах? Бледность савана, плодородие молока, незапятнанный холод снега, чистоту ангела или невинность агнца? На какой тайной аналогии основывала она свой выбор? Этого мы не знаем. Возможно, белый цвет подходил под цвет ее кожи… Она умело играла на оттенках, матовости и блеске, в зависимости от ткани, времени года, настроения…

Другой отличительный признак: никаких бриллиантов, только жемчуг. В эпоху разгула показухи Жюльетта отличилась, отказавшись выставлять напоказ свое богатство. Любая светская женщина на протяжении уже двух веков мечтала о бриллиантах. Они считались верхом совершенства для парадного одеяния. На

что была способна Жозефина (которая, став императрицей, возьмет под свое покровительство французское ювелирное производство), чтобы присвоить «Кохинор» (в переводе — «гора света»), «Орлов» или «Санси»?.. Колье, тиары, диадемы и потоки бриллиантов были обязательным украшением при императорском дворе. Зато жемчуг, который древние римляне считали камнем Венеры, вышел из моды, пик которой приходился на XVI век, хотя и сохранял волшебные свойства: известно, что иногда его блеск тускнеет при соприкосновении с кожей. При всем при том социальным значением он больше не обладал.

Поэтому, когда Жюльетта непринужденно явилась в свете в сиянии белого муслина, скромно украшенная мелким жемчугом, блеск которого подчеркивал ее декольте, разве можно было не восхититься этим выбором в пользу простоты, верой в собственный блеск? Как не позавидовать в этих шумных сборищах кричащего тщеславия, прислушивающихся к глухим угрозам, чистому сиянию? Поэт Шатобриан нашел верные слова, описывая явление Жюльетты: «Ясный свет на грозовом фоне…»

Ангел и чаровница

Была еще одна женщина, не сходившая со страниц парижской хроники: это госпожа де Сталь.

На первый взгляд у этих женщин, которые станут близкими подругами, было мало общего. Жюльетта — всего лишь богатая женщина под защитой предупредительного окружения, многообещающая, но еще не состоявшаяся. А вот тридцатидвухлетняя госпожа де Сталь уже давно являлась общественным деятелем, о чем говорят ее политические выступления, литературное творчество и бурная чувственная жизнь.

Единственная дочь барона де Неккера, министра финансов Людовика XVI, она уже в колыбели получила звучное имя, одно из крупнейших состояний в Европе (следует ли забывать, что ее отец был кредитором короля Франции?), а также интеллектуальное превосходство и все качества ума. К этим достоинствам следует добавить пылкость и богатство незаурядного темперамента и способность придавать всему, что ее занимало, в какой бы то ни было области, особую выразительность.

Но всё оказалось не так просто. И у достоинств есть обратная сторона. Ее детство, вдохновленное лучшими умами того времени, не обошлось без забот и обид. Замужество вызвало невероятные осложнения. Мадемуазель Неккер была слишком умна, чтобы не понять, что значит быть некрасивой богатой наследницей. Претензии ее родителей были таковы, что пришлось вмешаться двум королям и одной королеве, чтобы положить конец бесконечным торгам: жених должен был исповедовать протестантизм, иметь титул и жить в Париже. Шведский король Густав III был готов уступить Эрика-Магнуса фон Сталь-Гольштейна за один из Антильских островов, которые оспаривали тогда друг у друга Франция и Англия. Не сумев заполучить Тобаго, он удовольствуется Сен-Бартелеми, однако «малышу Сталю» придется подождать несколько лет, покуда к нему не пришлют посольство из Парижа. Королева Мария-Антуанетта из опасений, что победит Ферзен, другой швед-претендент, поддержала Сталя, и брак был заключен. Френийи прокомментировал его довольно резко, так высказавшись о муже, своем друге: «Его единственная вина в том, что он, самый красивый мужчина Швеции и выходец из Голштейнского дома, женился за деньги на самой уродливой девице Франции, происходящей из Женевского дома Неккеров…»

После того как ей купили мужа, Луиза Неккер, став баронессой Жерменой де Сталь, вышла из-под материнской опеки, открыла собственный салон в городе, который любила больше всего на свете, зажила на широкую ногу, а главное — получила возможность блистать своим умом.

В двадцать два года, в 1788 году, она опубликовала свои «Письма о сочинениях и характере Жан-Жака Руссо», сразу же сделавшие ей имя в литературе. Этот живой ум жаждал политической деятельности. Вместе с отцом, которого она боготворила, Жермена вращалась в разреженных сферах власти. Становясь по сути послом Швеции в Париже, она увлеклась европейской дипломатией. Без неудовольствия присутствовала при агонии абсолютизма, пораженного насмерть Генеральными штатами, при взятии Бастилии, а главное — при расцвете новых упований, которые пробуждал в том числе и Неккер. Хотя начало Революции прошло практически при ее участии (ее друг граф де Нарбон был при жирондистах военным министром), 10 августа 1792 года госпожа де Сталь была вынуждена покинуть страну и вернулась в Париж лишь в мае 1795-го. Не без трудностей, ибо Директория ей не доверяла.

По иронии судьбы эта дщерь Просветителей, подлинная либералка, глубоко приверженная конституционным принципам, защитница высоких ценностей терпимости, прогресса, веры в разум человеческий, призывающая к утверждению личных свобод, приходилась не ко двору при различных режимах, через которые прошла Франция с 1792 по 1814 год: Террор, Директория, Консульство и Империя поочередно старались ее удалить, когда не преследовали. Ее сделали профессиональной изгнанницей, обращались с ней как с зачумленной, хотя в те годы политических проб и ошибок ее позиция казалась единственно прочной.

Дело в том, что госпожа де Сталь была сильной личностью, не лишенной противоречий, из коих главным была экзистенциальная тоска, которую ей так и не удалось преодолеть. Она была неудобной. Ее любили или ненавидели, как Шатобриан и Наполеон, но она всегда внушала столь же сильные чувства, насколько глубока была ее натура. Этот метеор, этот вихрь в образе женщины, «хищная голубка», как прозвал ее Норвен, ее друг, тормошила и увлекала за собой, не могла молчать. Ее необычайный ум, сочетание высоких взглядов и подвижной мысли опирались на многосторонние размышления и пламенную убежденность.

Личная жизнь ее также не сложилась. После неудачного замужества госпожа де Сталь пыталась найти полное понимание у

многочисленных и именитых друзей — Нарбона, Талейрана, а ко времени знакомства с Жюльеттой — Бенжамена Констана (этот список далеко не полный), но безуспешно. В этой области, как и во всех других, ей были свойственны полное отсутствие предрассудков и привычка призывать всех в свидетели того, что с ней происходит. К ее недостаткам относились полное отсутствие такта, неспособность поставить себя на место другого, не говоря уже о ее всепоглощающем эгоцентризме. Но они отступают на второй план перед безудержным притяжением ее ума и человеческой теплотой.

Госпожа де Сталь, как и госпожа Рекамье, была уникумом, но, в отличие от своей юной подруги, не кажется нам образцом для подражания. Со времен сотворения мира женщина стремится разгадать собственную загадку. Тайна Жюльетты воодушевляет нас. В том же, что касается госпожи де Сталь, нам достаточно ее творчества.

***

Одним осенним днем — и этот день составил целую эпоху в моей жизни, — господин Рекамье приехал в Клиши с одной дамой, которой он мне не назвал и оставил со мной одну в гостиной, отправившись к гостям в парк. Эта дама пришла поговорить о купле-продаже одного дома; одета она была странно: в утреннее платье и небольшую шляпу с цветами; я приняла ее за иностранку. Меня поразили красота ее глаз и ее взгляд; я не могла понять, что чувствую, но совершенно точно, что я более думала о том, чтобы распознать, так сказать, разгадать ее, чем говорить ей первые положенные фразы, когда она, с живым и проникновенным изяществом, сказала, что очень рада со мной познакомиться, что г. Неккер, ее отец… При этих словах я узнала г-жу де Сталь! Я не расслышала окончания ее фразы, покраснела, смятение мое было невероятно. Я только что прочитала ее «Письма о Руссо», и чтение это меня чрезвычайно увлекло. Свои чувства я выразила больше взглядом, нежели словами: она одновременно внушала мне робость и влекла к себе. В ней сразу чувствовалась совершенно естественная личность, заключенная в высшей натуре. Со своей стороны, она не сводила с меня своих больших глаз, но ее любопытство было исполнено доброжелательности, она сказала мне несколько

> комплиментов относительно моего лица, которые могли бы показаться преувеличенными и чересчур прямыми, если бы не вырвались у нее непроизвольно, что придавало ее похвалам непреодолимую соблазнительность. Мое смущение не пошло мне во вред; она это поняла и выразила желание часто со мною встречаться по своем возвращении в Париж, ибо она уезжала в Коппе. Это было лишь мимолетное явление в моей жизни, но оставившее по себе сильное впечатление. Я думала только о г-же де Сталь, настолько сильным оказалось воздействие на меня этой столь пылкой и сильной натуры.

Какой изящный слог у любезной Жюльетты, когда она берет на себя труд писать! Жаль, что до нас дошло так мало страниц ее «Мемуаров», начатых много позже, в час унылой праздности…

Ну а «баронесса из баронесс», как ее называли в Париже, — испытала ли она ту уверенность, какую чувствуют при встрече родственные души? Ей была дарована та, кого она долгое время станет называть своим «ангелом». Могла ли она соизмерить все те радости и горести, противоречия, уроки и разделенное молчание, которые нес с собой этот дар? Разумеется, она была на это способна в большей степени, чем любая другая…

***

Госпожа де Сталь ведь приехала в Клиши, чтобы поговорить о деле: предыдущее лето она провела в Сент-Уане, стараясь добиться, чтобы имя ее отца было вычеркнуто из списка эмигрантов и чтобы ему возвратили два миллиона, одолженные в 1789 году королевской казне. Кроме того, перед отъездом в фамильный замок Коппе, на берегу Женевского озера, она провела переговоры о продаже парижского особняка, принадлежавшего Неккеру. 16 октября 1798 года этот дом номер 7 по улице Монблан был продан Рекамье, и этому приобретению суждено было изменить всю жизнь новых хозяев.

Улица Монблан, названная так Конвентом (в честь присоединения к Франции одноименного департамента), в 1816 году вернула себе дореволюционное название: Шоссе д'Антен. В те времена она слыла одним из красивейших проспектов столицы. Особняк Рекамье находился в нижней ее части, между Итальянским бульваром и нынешним бульваром Османн. По соседству находился дом номер 9, выстроенный Леду для

знаменитой танцовщицы Гимар, в числе диковин которого был театр, способный принять до пятисот зрителей. Теперь же особняк Гимар принадлежал Жану-Фредерику Перрего, другому крупному банкиру, отцу подруги Жюльетты, Гонтензии; та в том же 1798 году вышла замуж за Мармона, блестящего адъютанта Бонапарта, который при Империи станет герцогом Рагузским.

Рекамье занялся реставрацией и украшением бывшего особняка Неккера, построенного Шерпителем. Работы продолжались тринадцать месяцев, и супруги переехали в новый дом вскоре после брюмерского переворота. Муж Жюльетты творил чудеса, сделав из нового обиталища не столько жилище, сколько авангардное творение, знак процветания в эпоху Консульства и неизбежное место стечения европейских законодателей элегантности.

Для проведения этих преобразований он собрал именитую команду: руководил всем архитектор Жак-Антуан Берто, уже построивший для Рекамье дом на улице Майль. Убранство было поручено знаменитому дуэту Персье и Фонтена. Шарль Персье выдавал идеи, Пьер Фонтен претворял их в жизнь. Они прекрасно понимали друг друга, работали тщательно, восхищались античностью и воссоздавали ее необычайно творчески. Бонапарт доверит им Мальмезон, купленный следующий весной Жозефиной, а при Империи сделает их титулованными декораторами. Пока же Персье и Фонтен оттачивали свой талант у Рекамье, придавая каждой комнате особую атмосферу, подчеркивая контраст между приемными, парадными и частными апартаментами. Резьба по дереву была доверена Жакобам, в основном Франсуа-Оноре, которого при Империи и Реставрации рвала на части самая знатная публика. Бронзовые детали, вероятно, вышли из рук Пьера-Филиппа Томира, работавшего на Персье и Фонтена и оставившего свой след, в частности, в Фонтенбло, Трианоне и Компьени.

Джульетта встречает Ромео…

Миловидная молодая женщина, поселившаяся весной 1799 года в замке Клиши, могла вызвать зависть самих богов, столь велико было ее богатство и очарование. В городе ее репутация крепла: ее начали называть «красавицей из красавиц»… Ее внешняя привлекательность, бросавшаяся в глаза, но лежавшая лишь на поверхности, не значила бы ничего, если бы не отражала ее душу, если бы не выражала гармонию ее личности.

Мы познакомились с ней, когда она старалась создать свой образ — начало индивидуальности; посмотрим же теперь, как она обратилась к обществу, с редким талантом исполняя свои обязанности жены, став хозяйкой редкостного дома. Она поняла, что недавно воссоздавшийся парижский свет лишен центра, нейтральной территории, где он мог бы собираться. Она даст ему такую возможность. У нее есть к этому желание, у г-на Рекамье — средства.

Приемы у г-жи Рекамье были хоть пока и не роскошными, но уже несравненными. Не одна она предлагала гостям приятный дом, постоянно открытый стол, хорошо ухоженный парк; зато она обладала врожденным чувством такта, внимания к другим. Она умела пустить в ход тысячу пустяков, чтобы придать своему радушию редчайшую ноту изысканности на службе благосостояния. Она была внимательна к мелочам. Один пример: она выращивала цветы, бывшие в то время редкостью, и тщательно украшала ими парк и гостиные.

Она была приветлива, излучала предупредительную любезность и обладала очаровательным свойством соединять своих гостей через себя, хотя у них порой было мало общего. У нее все чувствовали себя непринужденно, потому что она сама держала себя непринужденно. Ее улыбка, ее безмятежность (она не выказывала никаких сердечных склонностей, никаких выраженных предпочтений, и это слегка удивляет), легкость ее жизни, передававшаяся и ее окружению, искренняя веселость (о которой и не подозревали) привлекали к ней всех тех, кто хотел хоть на мгновение окунуться в лучи исходившего от нее сияния. Это сочетание богатства и хорошего вкуса, внутренняя гармония, отсутствие фальши дарили радость и умиротворение. Жюльетта, еще такая молодая, внушала покой.

Она была умна, но не интеллектуалка. Ее дом не претендовал на звание «ученого салона», порицаемого в ее среде, где педантизм считался хуже, чем изъяном — нелепостью. Она была и не из тех женщин, которые раздают, когда не продают, свои

милости, создавая себе славу в распутной элите, которую тогда называли «светом пирушек», а мы бы теперь окрестили «звездной тусовкой». Не «синий чулок» и не сирена, Жюльетта под покровом своей белизны, мудрости и умения жить была платонической чаровницей, которой было достаточно наблюдать за вращением в ее сфере некоторых интересных образчиков человеческой породы.

Пока собрания привычного ей общества не напоминали настоящий салон, а были, самое большее, семейным кругом, пополненным друзьями ее многочисленной родни да кое-какими политиками, с которыми общался Рекамье.

***

Среди них был двадцатичетырехлетний Люсьен Бонапарт, любимец своей матери, встреченный как-то раз на обеде в Багатель, у г-на Сапе. Лаура Жюно так описывает его: «Люсьен был наделен природой множеством талантов, богатейшими и бескрайними способностями. Будучи широких взглядов, он не отступал ни перед каким планом. Блестящее воображение, доступное всему, что носит на себе печать величия и творчества, часто придавало ему вид человека, мало склонного руководствоваться доводами рассудка в серьезных обстоятельствах». Переведем: «Осторожно! Огнеопасно!»

После того обеда Люсьен вышел пьяным от любви к «красавице из красавиц», решив покорить ее и использовать для этого все средства. В смысле, его средства. То есть пафос, красивые фразы и решительные слова — главные пружины его литературного таланта. Ибо бывший каптенармус имел серьезные намерения в этой области и недавно опубликовал небольшое произведение в духе времени, где были перемешаны экзотика и чувственность, — роман в двух томах, названный им «Индейское племя».

Как далеко ему было до беглого стиля и краткости его брата Наполеона! Люсьен забросал Жюльетту бесконечными письмами, невоздержанность которых под конец становилась трогательной. Жюльетта же старалась лишь не оттолкнуть брата прославленного генерала. Она осталась холодна к пламенным речам Люсьена, хотя они ее и позабавили. И было чем: свои послания он подписывал… Ромео!

Бенжамен Констан отмечает «фатовство вперемешку с самоуверенностью и неловкостью» в рискованной затее Люсьена: молодой трибун, депутат Совета Пятисот, глава политической партии, носящий уже прославленное имя, принимает себя за

Вертера или Ромео, в уверенности, что сможет соблазнить самую красивую, но и самую мудрую!.. Шатобриан находил это «достойным насмешки». Жюльетта отнеслась ко всей истории весело и при всех вернула автору первое прекрасное послание, посоветовав найти более серьезное применение своим талантам. Как и можно было предугадать, Люсьен закусил удила. Несколько месяцев он изливал душу в жалобах и мольбах.

Жюльетта оказалась в неприятном положении. Что бы она ни делала — уступала, сопротивлялась, предлагала дружбу, — это лишь разжигало страсть надоедливого Ромео. Короче, впервые Жюльетта оценила опасность своих чар. Положение ее было тем более деликатным, что свет уже кое о чем проведал…

Слава богу, из далекого Египта вернулся Бонапарт. Его приезд произвел в Париже эффект разорвавшейся бомбы! Поговаривали, что у отважного генерала есть какие-то планы, в которые он посвятит Люсьена. Его захватило нечто посерьезнее любовного романа, если бы такой был возможен. Успех 18 брюмера во многом был обусловлен поведением Люсьена, выступившего против «бешеных», которые требовали объявить его брата вне закона. Гренадеры Бонапарта, уведшие его с трибуны, спасли ему жизнь. В письме к госпоже Рекамье, описывая грозивших ему убийц, требовавших голову его брата, Люсьен воскликнул: «В этот высший момент Ваш образ предстал передо мной!.. Последние мои мысли были о Вас!»

Через месяц после брюмерских событий Люсьен Бонапарт нашел в себе силы и решимость отказаться от Жюльетты, направив ей послание на тринадцати страницах, героически озаглавленное «Прощание». Бедный Ромео ушел, но Люсьен не исчез совершенно из жизни г-жи Рекамье. Как и прочие Бонапарты. Их судьбы еще не раз пересекутся…

***

Как бы там ни было, Жюльетта повела себя мудро и избежала худшего: трагедии, если бы Люсьен покончил с собой, и она была бы за это в ответе, или потери репутации добродетельной женщины, если бы ответила на его страсть. Сент-Бёв, анализируя поведение г-жи Рекамье полвека спустя, писал: «Она была настоящей волшебницей, незаметно обращая любовь в дружбу, но притом сохраняя в ней весь цвет и аромат первого чувства».

Как можно ее за это упрекать? Не будучи ни сердцеедкой, ни жестокой, Жюльетта просто стремилась придать своим отношениям с другими ту свежесть, какою тогда была проникнута

ее эмоциональная жизнь. Она отвергала любовь не столько из кокетства, сколько потому, что тогда еще не знала, сколь всепоглощающей может быть эта страсть. Она была далеко не бесчувственной, просто не влюбленной, вот и всё. Она пережидала грозу, пока не пробьет ее час: час дружбы, по возможности — нежной.

И Люсьен Бонапарт останется ее другом, другом могущественным: став при новом режиме министром внутренних дел, он, по ее просьбе, поспешил назначить г-на Бернара, законного отца Жюльетты, главой почтового ведомства. Бывший Ромео зла не помнил! Более того, овдовев в июле 1800 года, он писал ей из своего поместья Плесси, где только что похоронил жену: «Мое опечаленное сердце бьется лишь при звуке голоса Жюльетты…»

Бесспорно, Люсьен созрел для большого чувства. Он снова женится на Александрине де Блешан, вдове маклера Жубертона, что вызовет бурю гнева со стороны его брата, мечтавшего о более блестящей партии. Люсьен покинет страну в 1804 году и, как и его мать, отправится жить к папе римскому, который сделает его князем Канино. Карьеры ему сделать не удастся, зато семейной жизни можно позавидовать: Ромео будет счастлив в повторном браке и родит девятерых детей…

Глава IV
ТРИУМФ В СВЕТЕ

Блеск, празднества окружали меня почти беспрерывно. Следствием этого была большая вздорность моей жизни и не меньшая меланхоличность всех моих мыслей.

Мемуары г-жи Рекамье в изложении Бенжамена Констана

Первое, что сделал Бонапарт, вернувшись в Париж из Египта, — стал изучать ситуацию, не обходя своим вниманием ни одну из существовавших партий, так что все обратились к нему.

Неоякобинцы после 30 прериаля снова оказались на коне и немедленно учредили, по своему обыкновению, усиленный налог на богатых, а также отвратительный «закон о заложниках», направленный против родственников эмигрантов. Эти меры оттолкнули от них роялистов, католиков, деловые круги, процветающую буржуазию и умеренных, называвшихся также реформаторами и занимавшихся политикой. Среди этих последних было два члена Директории: Сийес и Роже Дюко.

Бонапарт решил разыграть партию с Сийесом: в стране, еще бурлящей недовольством, вспыхивающей пожарами мятежей (например, в Вандее), нужно было восстановить порядок и согласие, обеспечить внешний мир, к которому все стремились, а для этого изменить Конституцию III года Республики, усилив исполнительную власть. На их стороне были Люсьен Бонапарт, председатель Совета Пятисот, Талейран и Камбасерес, возглавлявшие соответственно министерства иностранных дел и юстиции, Баррас, соучастием которого старались заручиться, и министр полиции Фуше, которого хотели привлечь к себе.

В мемуарах Фуше говорится, что некоторые собрания заговорщиков проходили в замке Клиши, у г-жи Рекамье. В этом нет ничего удивительного. Возможно, что г-н Рекамье был из числа финансистов, поддержавших уже саму идею брюмерского переворота. Он был в этом заинтересован. Он примет участие в первом собрании парижских банкиров, созванном Бонапартом 24 ноября, которое примет решение о выделении аванса в 12 миллионов франков новому правительству. Что до Жюльетты, то

даже если не упоминать о ее личных отношениях с Люсьеном, она общалась с Сийесом, о чем свидетельствует ее собственноручное письмо, с любезной настойчивостью приглашающее его в Клиши.

***

18 брюмера (9 ноября) обе палаты правомочно решили перенести свою резиденцию в замок Сен-Клу, чтобы избегнуть возможных происков парижских якобинцев, под военной защитой генерала Бонапарта, располагавшего десятью тысячами солдат. Три члена Директории, состоящие в сговоре, подали в отставку, двух остальных арестовали. Исполнительной власти больше не было.

19-го числа, когда, по сценарию, нужно было провести кое-какие переделки Конституции, возникли некоторые сложности. Совет Пятисот, собравшийся в Оранжерее, заартачился и устроил шумный прием Бонапарту: якобинцы требовали объявить его вне закона. Наполеон смешался, брат же его Люсьен хладнокровно спас положение; он покинул Оранжерею, отсрочив роковое голосование, и отправился держать речь перед республикански настроенной гвардией у дверей парламента. Мы знаем, что «в этот великий момент» ему явился образ белоснежной Рекамье, но еще и неистовый Мюрат, о котором Жозефина говорила, что «он мог бы изрубить самого Святого отца». Это возымело гораздо большее действие: с криком «Выкидывайте всех вон!» Мюрат ринулся на остолбеневших депутатов… Большинство спаслось бегством. Оставшиеся проголосовали за то, что им было указано.

Место Директории заняла исполнительная консульская комиссия в составе Бонапарта, Сийеса и Дюко, которая должна была провести нужные реформы. Созыв Законодательного корпуса отложили до 20 февраля. Париж был спокоен: он верил Бонапарту.

На сей раз Революция, начавшаяся в 1789 году, закончилась. Мрачный Сийес, подтолкнувший ее, открыв одному общественному классу, что тот существует и даже имеет права, сам же ее и завершил. «Что такое третье сословие?» — спросил он тогда, и третье сословие ответило вслед за ним: «Всё!» Прошло десять лет. Что теперь требовалось французам? «Голова и шпага», — ответил Сийес и преподнес им Бонапарта.

Дворец чудес

Молодой волк поселился в овчарне и не сидел без дела. С незаурядной энергией он взялся за восстановление страны. Политика его была ясна: она основывалась на его личной власти и на одном принципе — всеобщей централизации. Создавались новые учреждения, восстанавливалась административная машина, возрождались системы финансов и правосудия, обуздывалась роялистская и якобинская оппозиция, готовились Гражданский кодекс, Конкордат с Ватиканом и установление мира в Европе.

24 декабря Бонапарт организовал свое назначение Первым Консулом. В его руках были бразды правления: он предлагал и провозглашал законы, назначал и отзывал министров, членов Государственного совета, Сената, офицеров, судей и префектов. И ни перед кем не отчитывался.

Конституция VIII года Республики не заставила себя ждать. Она была подготовлена за месяц: исполнительная власть была усилена, законодательная — ослаблена. Было учреждено всеобщее избирательное право, но поскольку оно осуществлялось в три ступени, рядовой гражданин лишь предлагал «списки нотаблей», из которых Сенат выбирал те, что ему нравились. Бонапарт вынес эту конституцию на одобрение французов, но, что типично для него, не стал дожидаться результатов плебисцита (в основном бывшего в его пользу) и сразу ввел ее в действие…

Всё происходило очень быстро, но обществу, почувствовавшему «твердую руку», это даже нравилось. Парижане немедленно ощутили на себе результаты политики примирения, проводившейся консульским режимом. Закон о заложниках был отменен, список эмигрантов закрыт. Отныне они могли вернуться, не опасаясь за свою жизнь, и вскоре они хлынули рекой. Амнистированные жертвы различных переворотов вышли на свет, празднование годовщины казни Людовика XVI (21 января) было отменено, восстановлены Новый год и столь популярные карнавалы-маскарады. Радикальное усмирение Вандеи и учреждение грозной и прекрасно информированной полиции под началом Фуше привели к тому, что роялисты и якобинцы, по крайней мере пока, отказались от масштабных акций, направленных против власти. На смену эйфории от возвращения к жизни через четыре года пришла некая безмятежность, всеобщее чувство спокойного удовлетворения. Всё сулило парижанам блестящий зимний сезон.

Вот тогда-то, в середине декабря, Рекамье и вступили во

владение своим дворцом чудес. Это волшебное место произведет фурор, привлечет толпы французов и иностранцев, знакомых и незнакомых, восторженных и насмешливых, но равно стремящихся туда попасть. Попытаемся представить себе его убранство, не дошедшее до наших дней, как и обстановка всех тех мест, где жила Жюльетта…

Расположенный в недавно возникшем квартале, на Шоссе д'Антен, отражавшем процветание нуворишей и их любовь к комфорту, особняк Рекамье не был огромен, но походил на маленький шедевр на гребне моды. Он в точности удовлетворял пожеланиям владельцев, которые, в отличие от сильных мира при старом режиме, тратили, но не мотали и лично наблюдали за работой мастеров, которых наняли. Впечатление роскоши происходило от новизны отделки, а также от связности целого, продуманного в малейших деталях с тем, чтобы возвысить владельцев дома. Авангардистский «дизайн» в стиле, который отныне станут называть «антик» и который возвещал пышный стиль «ампир», просто ошеломлял.

В особняк можно было попасть через небольшой двор, обсаженный кустарниками. Мы знаем, как заботливо Жюльетта окружала себя постоянно обновляемыми цветами и растениями. «Лестницы ее дома походили на сад», — отмечает современник. По крыльцу поднимались на слегка приподнятый первый этаж, кухни находились в подвальном помещении. По обе стороны вестибюля, вымощенного белым мрамором, находились помещения для приемов: справа — два салона, за ними — комната хозяйки дома, открытая для посещений. Слева — столовая (редкость в частных домах, где стол накрывали где придется, по необходимости, чаще всего в прихожей), за ней — будуар и ванная комната хозяйки, еще большая редкость и также открытая для посещения. Об остальных комнатах, для частного использования, нам ничего не известно.

Поражают, разумеется, убранство и меблировка. Два вида материалов присутствуют повсюду: мрамор и красное дерево. Мрамор каминов и полов, который смягчают шелковая обивка стен и мягкие восточные ковры. Массивное красное дерево в сочетании с изобилием больших зеркал и оживленное матовой или коричневатой позолотой бронзовых изделий, прозрачность драпировок и продуманные полутона освещения.

Антикомания повсюду. Взять, к примеру, спальню Жюльетты, это святилище, которое она любезно (даже слишком, по мнению некоторых) демонстрирует: она сплошь из красного дерева, драпировки светло-желтого шелка, украшенные вышивкой на фиолетовом фоне и золотыми галунами, спадают с балдахина

кровати, торжественно возвышающейся на помосте из двух ступеней, параллельно стене. Каждая стойка этого красочного сооружения украшена фигурками женщин с факелом в руке и позолоченными лебедями. Рядом стояли высокий канделябр, масляная лампа, которую наполнял капля за каплей крылатый гений, и жардиньерка. Чуть поодаль беломраморная статуя Тишины, работы Шинара, предваряла собой место отдыха прекрасной хозяйки. Пианино, письменный стол и раскладное кресло дополняли обстановку.

Точно неизвестно, какую мебель воспроизводили Персье и Фонтен — греческую, этрусскую или помпейскую… Да какая разница, раз они приспосабливали ее к нуждам нового века. Наклонные зеркала на ножках, шифоньеры с ящиками, столики на треноге, кушетки с равновысокими спинками, ночные столики, которые все введут в свой обиход вслед за г-жой Рекамье… Античное звучание, в некотором роде, обеспечивалось тонкостью и разнообразием орнаментов, этим ослепительным арсеналом сфинксов, пальметт, вытянутых лебединых шей, морских коньков, легконогих танцовщиц…

Удивлению нет предела, когда попадаешь в ванную комнату Жюльетты: всё предусмотрено, ванна закрывается пологом, рядом софа из красного сафьяна. Амфоры, курительницы с крылатыми химерами и стрелами Амура окружают грациозную молодую женщину во время ее туалета. Эта обстановка — шедевр утонченности и единства стиля.

Все устремляются к Рекамье, смотрят, восторгаются, комментируют, но и критикуют, ибо мнения разделились: подходит ли такое жилище двадцатидвухлетней красавице? Не слишком ли всё это помпезно? Где естественность в этом косном подражании, где очаровательный след жизни женщины? Гонкуры, ностальгировавшие по архитектуре рокайля, называли спальню г-жи Рекамье «храмом дурновкусия».

Точно одно: такая обстановка быстро вышла из моды: в 1836 году, когда особняк перешел во владение г-жи Легон, жены бельгийского посла, ее гостям комнаты казались низкими, мебель — неудобной, особенно досаждали пресловутые лебеди, излюбленный символ той эпохи: нельзя было ни на что опереться, чтобы тебе в бок не воткнулся острый клюв… Но современники Рекамье в большинстве своем восхищались их домом.

Обстановка создана. Праздник мог начинаться.

***

Для Жюльетты постоянный, непрерывный праздник продлится шесть полных лет. Шесть лет светского триумфа, разнообразных, вечно новых радостей, когда она блистала на прогулках и в загородных поездках, на спектаклях и концертах, на приемах и маскарадах… Буря удовольствий, а она будет одновременно их неустанной устроительницей и не такой уж невинной жертвой. Шесть лет у всех на виду и у всех на устах, неоспоримое царство молодой восхитительной женщины, свободной сама по себе, которой безраздельно дарованы непринужденность и известность.

Первой удачей г-жи Рекамье, как и Шатобриана, было стечение обстоятельств: она стала кумиром своего времени, став олицетворением общества, а потом и города, а затем и национального духа. Она очень вовремя преподнесла французам образ их самих, который нужно было только воссоздать. После коренных общественных потрясений Жюльетта явила собой вновь обретенные гармонию, приветливость ко всем без разбора, элегантность и выдержку. Она была не сексуальным, а общественным символом.

Красота ее правильных и мягких черт воспринималась как типично французская, равно как и ее утонченность, лишенная прикрас, ее целомудренное и улыбчивое очарование. Ее поведение было символичным. Всё, вплоть до обстановки ее гостиной, выражало, в общем мнении, изящество и вкус, свойственные ее стране.

Популярность Жюльетты сродни той, что существует сейчас, например, в кино. Дело в том, что человеку в любое время нужен светоч, образец, звезда, к которой устремлены его тайные желания. Возьмем Брижит Бардо или Мэрилин Монро. Страсти по первой уже улеглись, а вторую убили. Здесь дело лишь в личной стойкости, во внутренней организации психологической защиты… Жюльетта в этом плане больше похожа на французскую актрису, чем на американскую звезду. Ее популярность будет огромной, обволакивающей, ее в буквальном смысле слова придется выдирать из рук толпы, жаждущей приблизиться к ней. В Париже и в Лондоне на пути ее следования будут возникать маленькие восстания. И все же огни рампы оставят ее нетронутой, без единой морщинки. Ее богатый внутренний мир располагал к тому, чтобы быть самодостаточной и не терять голову от поверхностных знаков внимания. Потому что она искала и в конце концов нашла нечто другое в том, что принесло ей звездность.

Она была достаточно мудрой, чтобы не оказаться пленницей самой же созданного образа. Достаточно разумной, чтобы не

жаловаться на издержки славы. В Париже тогда принимали и другие женщины, богатые и красивые, но Рекамье была только одна. Возможно, этого она и желала: победить чувство неполноты и наполнить свое существование, превратив его в легенду.

«Вы любите музыку, мадам?»

Мало открыть двери своего жилища, пусть они и из красного дерева, чтобы стать хорошей хозяйкой дома. Нужно еще уметь создать себе окружение. Жюльетте в этом не было равных, и Париж был благодарен ей за то, что она не проявляла избирательности, а напротив, примиряла непримиримые составляющие света, который от всей души желал снова слиться воедино.

В начале зимнего сезона 1799 года вокруг нее собрался полный ассортимент Парижа того времени. На любой вкус! Во-первых, там были дельцы, финансисты, друзья г-на Рекамье (который неизменно избирался в правление Французского Банка, созданного Бонапартом в январе 1800 года), управленцы. С этими влиятельными профессионалами непременно соседствовали тогдашние политики, в частности Фуше или Люсьен Бонапарт, а также их ближайшее окружение: Евгений Богарне, Элиза или Каролина, сестры Наполеона. Некоторые генералы, вышедшие из рядовых при Революции или чуть позже, стали друзьями г-жи Рекамье: Моро, Бернадот, Массена, Жюно… Вернувшиеся эмигранты проходили в ее доме своего рода социальную адаптацию: кузены Монморанси, Адриан и Матье, которые станут доверенными лицами хозяйки, а еще Нарбон, герцог де Гинь и Кристиан де Ламуаньон, который вскоре приведет к ней никому не известного молодого человека, решившего пробивать себе дорогу, — Шатобриана. О чем они думали, встречая цареубийц из Конвента, вроде очаровательного Барера, только что вернувшегося из депортации?..

Ум является большим подспорьем, а окружению Жюльетты его было не занимать; помимо великих либералов — г-жи де Сталь, Бенжамена Констана, Камиля Жордана и его приятеля Дежерандо — могучая кучка литераторов, поэтов, композиторов — Лагарп, Легуве и любезный Дюпати — старалась внести разнообразие и веселость в разговоры… Не следует забывать о дипломатах и знатных иностранцах, почитавших своим долгом посетить особняк на улице Монблан, как сегодня отправляются в Центр Помпиду или в новомодный квартал Дефанс…

У обитателей Сен-Жерменского предместья эти собрания не вызывали раздражения. У нового правящего класса тоже: ему приходилось всему учиться у этих банкиров с прекрасными манерами, особенно их легендарной учтивости. А парижские зеваки были в восторге от своей новой королевы, госпожи Рекамье, потому что она умна и добра, легко позволяет забыть о

могуществе своего состояния. Когда она отправляется на прогулку или в театр, на ее пути толпится народ: обсуждают ее туалет, прическу и осанку, пытаются ей подражать.

Однако не стоит думать, будто г-жа Рекамье жила исключительно среди своих многочисленных гостей, в своем салоне. Она постоянно выезжала. Ее видели в других известных домах, у г-жи де Сталь, когда та жила в Париже, у Люсьена Бонапарта, где произойдет неожиданная встреча, о которой сообщает г-жа Ленорман.

Однажды, в конце декабря 1799 года, г-жа Рекамье приехала на вечер к Люсьену и, увидев стоящего в тени у камина мужчину, которого она приняла за хорошо ей знакомого Жозефа Бонапарта, приветливо кивнула ему. Мужчина ответил на приветствие, хотя и с некоторым удивлением, и тут Жюльетта поняла, что обозналась: перед ней стоял Наполеон.

Весь вечер Наполеон не сводил глаз с г-жи Рекамье; когда к ней подошел Люсьен, он достаточно громко сказал, что тоже желал бы поехать в Клиши; за обедом оставил рядом с собой место, которое предназначалось для Жюльетты, но она этого не поняла и села поодаль, Наполеон был раздосадован. После обеда начался концерт. Жюльетта была полностью поглощена пением Гара и игрой музыкантов, Наполеон же упорно смотрел на нее. По окончании концерта он подошел к ней и попытался завязать разговор, спросив: «Вы любите музыку, мадам?» Но тут явился Люсьен, Наполеон удалился, а г-жа Рекамье вернулась домой.

Подумать только, что могло бы произойти, если бы Наполеон поехал в Клиши! Жюльетта приняла бы его лучше, чем Люсьена? Он был более властным и убедительным, чем хнычущий Ромео?.. Возможно. И каковы были бы последствия для истории? Жюльетта оказывала бы умиротворяющее влияние на будущего императора? А что же г-н Шатобриан? А письма из Рима? А прекраснейшие страницы «Замогильных записок»?.. Но жизнь распорядилась иначе: Жюльетта и Наполеон не встретятся больше никогда.

***

В новом веке, перед началом Великого поста, парижанам вернули их любимое развлечение — балы-маскарады. Революция на десять лет лишила их ритуальных карнавалов. Консульство вернуло их обратно. 25 февраля 1800 года были возрождены балы в Опере: четыре из пяти были маскарадами.

Как и Мария-Антуанетта, Жюльетта обожала эти балы. Нам

известно, что она забывала свою робость под маской, предаваясь своей естественной веселости, маска придавала пикантности ее уму и лишала блеска ум г-жи де Сталь. Тем не менее Жюльетта не могла решиться обращаться к другим на «ты», как того требовал обычай, и по этому признаку, да еще по голосу, ее всегда можно было узнать. Это ее пристрастие к полумерам, контролируемой вседозволенности… При всем ее нарциссизме у Жюльетты было чувство меры.

На балы в Опере она являлась в сопровождении своего деверя, Лорана Рекамье, также проживавшего на улице Монблан.

Хотя балы были открыты для всех и ими не брезговало приличное общество, они уже были лишены блеска и чудесной пестроты, отличавшей их при Старом порядке. Домино заменило собой экзотические или аллегорические наряды прежних времен, позаимствованные на Олимпе, в Персии или Китае. Но хотя краски поблекли, дух и направленность их сохранились. Люди веселились, сладко вздрагивали в предчувствии какой-нибудь относительно невинной интрижки, предавались безрассудству…

Жюльетта не заводила далеко такие игры. Самое большее, позволила однажды взять у себя кольцо принцу Вюртембергскому, который затем вернул его ей, сопроводив запиской, исполненной сожалений. Позже, при Империи, она пользовалась такими случаями, чтобы встречаться, без ведома властей, с некоторыми официальными лицами (например, первым секретарем австрийского посольства, красавцем Меттернихом), которые не могли явиться к ней средь бела дня. Пока же она отправлялась туда лишь чтобы танцевать.

Красавица из красавиц любила танцевать, она даже возобновила традицию французской кадрили: четыре пары совершают тщательно выверенные движения, неоднократно отрепетированные перед приходом гостей. Домашние спектакли, которые обожали в то время. Жюльетта не прочь станцевать и одна, что позволяло блеснуть своими дарованиями. Было много толков о знаменитом «танце с шалью» — грациозной пантомиме, когда шаль или покрывало подчеркивали связность движений танцовщицы. Охотно цитировали описание танца в «Коринне» г-жи де Сталь. Можно подумать, что никто не читал «Коринны»! Там героиня танцует тарантеллу, отбивая ритм бубном. Танец же с шалью, по всей видимости, был изобретением г-жи де Крюднер, которая еще встретится на жизненном пути Жюльетты и которая, помимо прочего, была автором очаровательного, но быстро позабытого рассказа «Валерия», написанного в стиле, предвещающем романтизм.

Портреты, достойные оригинала

Как полагалось в то время, г-жа Рекамье заказала свой портрет знаменитому художнику. Первым делом она обратилась к Давиду.

Давид, друг Марата и Робеспьера, великий распорядитель революционных празднеств, тот, кого Дантон из телеги осужденных высокомерно назвал лакеем, бывший член Конвента, проголосовавший за казнь короля, забросивший карманьолу и красный колпак, чтобы служить имперскому орлу, а впоследствии умерший в изгнании, в Брюсселе… Давид, развивавший античный стиль во Франции, великий творец, неистовый в жизни и классический в искусстве, должен был за плату изобразить самую грациозную из банкирш…

Он принялся за работу весной 1800 года, но не сумел закончить набросок. Порой прекращение работы вменяли в вину самой Жюльетте: она-де закапризничала, то ли ноги ее на портрете показались ей чересчур большими, то ли она прислушалась к критике многочисленных друзей, навещавших ее в мастерской художника во время скучных сеансов позирования… Заблуждение. Давид был профессионалом. Что-то мешало ему в работе над портретом. Это «что-то» он подробно разъяснил в письме к модели: художник был неудовлетворен местом, выбранным для работы (свет падал не так, скрывая черты), и предлагал возобновить работу над портретом, но уже в другом помещении, обещая, что это будет шедевр, «творение, достойное оригинала».

Тогда Рекамье обратились к ученику Давида, Франсуа Жерару, который и создал желаемый шедевр. Жерар, человек сложный, с переменчивым настроением, обидчивый и торопливый, надолго связал свою судьбу с госпожой Рекамье, как будто этот первый заказ, покрывший обоих славой, соединил их узами отношений, которые уже ничто не сможет разорвать. В их очень живой переписке, сохраненной Жюльеттой, она держала себя с художником довольно властно, хотя и обходительно, что в целом явилось для него поощрением к творчеству.

И тем не менее портрет мог так и не появиться на свет! Жерар, как мы уже сказали, был обидчив. У Жюльетты, как и у любой светской женщины, было много друзей. Один из них, виконт де Ламуаньон, дворянин, выживший во время резни в Кибероне в июне 1795 года, в равной мере любезный и храбрый, умирал от желания присутствовать при сеансе позирования. Жюльетта долго мялась, но согласилась. Когда Ламуаньон явился

на сеанс, Жерар пришел в ярость. «Входите, входите, сударь, — сказал он, открывая ему дверь с палитрой в руке, — но только после я вспорю свою картину!» «Я был бы в отчаянии, сударь, лишить потомство одного из ваших шедевров», — с поклоном ответил Ламуаньон и вышел. Да славятся его флегматичность и учтивость!

Не будь его и Жерара, нам было бы сложно представить себе Жюльетту в самом начале ее блестящих успехов в свете. От знаменитой картины веет особой атмосферой, она источает «запах женщины» — утонченный, проникновенный, незабываемый.

Ванная комната на античный манер: в мраморном полу ромбовидные отверстия цветком, предназначенные для стока воды, корзина с бельем стоит на полу, за креслом, на котором мирно отдыхает Жюльетта, как будто только что вышедшая из воды. Всё обрамляет и защищает ее: за пурпурным пологом угадывается парк, над портиком с порфировыми колоннами виден краешек как будто римского неба. Молодая женщина с совершенным телом томно придерживает длинное мягкое покрывало цвета желтого золота, наброшенное поверх матово-белого, очень открытого платья. В этой грациозной неподвижности всё дышит свежестью нимфы, занятой своим туалетом. На ней нет никаких украшений, кроме стрелы Амура, воткнутой в забранные наверх волосы. Элегантность фона, написанного Жераром, сочетание природных и архитектурных элементов подчеркивают достоинства модели: этот академический штрих, это стремление к абстрагированию придают полотну несравненную завершенность.

Набросок же Давида блещет своей простотой: никакой обстановки, если не считать масляной лампы, написанной молодым Энгром. Кушетка, на которой возлежит Жюльетта (реквизит из мастерской, изображенный Жакобом), два валика, положенные друг на друга, на которые модель опирается левой рукой, парадоксальным образом составляют с ней одно целое. Поза более целомудренная, чем на картине Жерара: платье, также на античный манер, с завышенной талией, не столь открыто, лицо Жюльетты становится от этого поразительно объемным. Короткие завитки волос, черная лента, обхватывающая лоб, открывают взгляд: он живой, острый. На портрете Давида в полуулыбке молодой женщины больше сдержанного лукавства, в нем меньше пассивности, сонной восприимчивости, чем у Жерара. В незавершенности есть что-то более современное, будящее воображение… Картина Жерара совершенна, картина Давида — вызывающа. Какой из двух образов хотелось бы нам увидеть

ожившим и сошедшим с полотна? Трудно сказать…

***

Растущую популярность госпожи Рекамье увенчало одно событие парижской жизни: 4 апреля 1801 года, на Пасху, Жюльетта собирала пожертвования во время торжественной мессы.

Церковь Святого Рока на улице Сент-Оноре, первый камень которой был заложен Людовиком XIV в детстве, где похоронены Корнель, Ленотр и Дидро, наиболее посещаемая церковь столицы снова открылась для богослужения. Можно без труда представить себе впечатление, производимое колокольным перезвоном, священниками в стихарях, швейцарцами в мундирах, почти дневным светом тысяч свечей, в котором проступали дорические колонны центрального нефа, торжественным грохотом больших органов… Древний церемониал возрождался в присутствии несравненного собрания, возможно, более озабоченного прикрасами, чем молитвенной сосредоточенностью. Толпа собралась огромная. Кюре Клоду-Мари Мардюэлю кто-то свыше подсказал его выбор! Все толпились, чтобы полюбоваться прекрасной, элегантной г-жой Рекамье, совершавшей благое дело в сопровождении графа де Тиара, Эмманюэля Дюпати и Кристиана де Ламуаньона. И с большим успехом: пожертвовано было 20 тысяч франков. Для г-жи Рекамье это был триумф, что признавалось даже в полицейских донесениях. Она к этому привыкла.

«Газетт де Франс» так описывала волнения, вызванные ее появлением в саду Фраскати: «Можно сказать, что в данном случае она расплатилась за удовольствие быть красивой. Сердце кровью обливалось при виде того, как она отбивалась и, можно сказать, плыла в потоке любопытных, суетившихся вокруг нее. Вставали на стулья, вытягивали шеи, давились и чуть не задавили ту, что была предметом этого смешного и назойливого почитания, но тут она благоразумно предпочла удалиться. В манерах нынешней молодежи есть что-то невежественное, мрачное и непристойное, что будет очень трудно изменить, пока в общественных собраниях не возобладает приличная компания или пока она не станет собираться в своем узком кругу…»

Некоторые упрекали Жюльетту в кокетстве за любовь вызывать столпотворения. Но ей были свойственны и менее легкомысленные занятия: она, например, воспитывала бедную глухонемую девочку, которую потом доверила заботам одного

аббата. Материнские чувства были заложены в ней свыше: когда в ее доме устраивались танцевальные вечера, для ее подруг всегда были заготовлены веера, букеты и туфельки всех размеров и всех цветов, чтобы ни одна гостья не почувствовала никаких неудобств.

Ум и красота

Веселое самопожертвование светским удовольствиям не мешало Жюльетте укреплять дружбу с некоторыми людьми, что придаст ее жизни твердую любовную и умственную основу.

Она сошлась с г-жой де Сталь, столь сильно поразившей ее во время первой встречи в Клиши. Та, по своему обыкновению, каждую зиму проводила в Париже. Неистовая баронесса летом жила и сочиняла в Коппе, где находился ее отец, а с декабря по май открывала свой парижский салон. Брюмер она приняла с интересом, радуясь возвращению «жертв фрюктидора». Она была бы не прочь стать вдохновительницей Бонапарта, деятельность и блеск которого ее привлекали. Тем не менее ее небезосновательно тревожил перекос в Конституции VIII года Республики. Ее друг Сийес мог бы постараться получше, думала она. И спрашивала себя, является ли Консульство тем идеальным режимом, которого она пламенно желала для Франции, сохранит ли оно свободу и идеи Просвещения.

Пока же она устроила Бенжамена Констана, с которым жила последние пять лет, в Трибунат (орган, созданный для обсуждения законов, предлагаемых Государственным Советом). 5 января 1800 года речь Констана вызвала первое столкновение между этим совещательным органом и Бонапартом. С тех пор Первый Консул опасался деятельной дамы, зная, что она является душой зарождающейся оппозиции. Однако виду не показывал, так как г-жа де Сталь обладала значительным весом в политических кругах.

В мае 1800 года Бонапарт через Швейцарию отправился к армии, возобновившей военные действия в Италии. Он остановился в Коппе, нанес визит Неккеру и пешком прошел через перевал Сен-Бернар. «Этот человек обладает волей, поднимающей на дыбы целый мир», — писала г-жа де Сталь Жюльетте.

Массена, с которым кокетничала Жюльетта, некоторое время был осажден в Генуе австрийцами и англичанами. По своем возвращении он прислал ей записку, рыцарски уведомлявшую, что некогда подаренная ею белая лента не покидала генерала во время сражений и осады, благодаря чему удача постоянно была на его стороне.

Трудное сражение при Маренго состоялось 14 июня. Уже на Святой Елене Наполеон все еще кричал в бреду: «Дэзе! Дэзе! Ах, победа так близка!» — настолько все висело на волоске. Дэзе там погиб, как и еще шесть тысяч французов, но австрийцы уступили

Франции господство надо всем Апеннинским полуостровом, а 3 декабря решительное вмешательство Моро в Гогенлиндене открыло дорогу к окончательному миру.

Весть о победе Бонапарта вызвала ликование в Париже. Возвращение после Маренго было триумфом, завершившимся апофеозом. Жюльетта и г-жа де Сталь были захвачены всеобщем воодушевлением.

Следующей зимой дружба двух женщин окрепла. «Нет ничего более захватывающего, — писал впоследствии Бенжамен Констан, — чем беседы г-жи де Сталь и г-жи Рекамье. Быстрота, с какой первая излагает тысячу новых мыслей, а вторая их схватывает и оценивает; этот мужской крепкий ум, который всё обличает, и этот деликатный и тонкий ум, который всё постигает; откровения опытного гения, сообщаемые юному разуму, достойному их принять, — все это невозможно было бы описать, если не иметь счастия быть тому свидетелем».

Они прекрасно дополняли друг друга и знали об этом. Г-жа де Сталь излучала силу и идеи. Жюльетта — хрупкость и изящество. Обеих этих богатых, окруженных людьми женщин, личностей, бывших у всех на виду, объединяла странная особенность, частью объясняющая сложности в их личной жизни: чрезмерная привязанность первой — к своему отцу, второй — к матери. Психоаналитик назвал бы это детскими фиксациями. Во всяком случае, им будет трудно их преодолеть.

Г-жа де Сталь не только не страдала от контраста с восхитительной, очаровательной Жюльеттой, но и испытывала к ней нежное чувство старшей сестры и покровительницы. Жюльетта же упивалась превосходящим умом Жермены и в общении с ней развивала собственный ум и способность к суждению. Об основе их отношений прекрасно говорит такой анекдот, который приводит в своих мемуарах Эдмон Жеро: некто, оказавшись между г-жой Рекамье и г-жой де Сталь, сказал: «Я сижу между умом и красотой». «Сударь, — ответила г-жа де Сталь, притворившись, будто не поняла, — мне впервые говорят, что я красива».

Что за ум, в самом деле! Зная, насколько г-жа де Сталь страдала от того, что сама называла «отсутствием внешней привлекательности», можно оценить великодушие этого ответа, открывающего высшую красоту — красоту души…

Некто Лассань приезжает в Париж…

Весной 1800 года, ровно за месяц до сражения при Маренго, в Париж прибыл некий гражданин Лассань. Он швейцарец, не при деньгах, не слишком уверен в своей будущности и совершенно ошеломлен тем, какой предстала перед ним французская столица после нескольких лет, проведенных вдали от нее, во время Террора.

«Я увидел кабаре, где танцевали мужчины и женщины; затем передо мной предстал дворец Тюильри в прогале меж двух рядов каштанов. Площадь Людовика XV была пуста; своим запустением, меланхоличным и заброшенным видом напоминала древний амфитеатр; ее пересекали скорым шагом; я был удивлен, не слыша стенаний; я опасался ступить в кровь, от которой не оставалось больше и следа…»

Не все его впечатления были столь мрачными, отнюдь. Следы, оставленные Террором, были порой невозможно смешны. Так, подходя к дому одного из своих друзей, на улице Гренель, он позабавился, прочитав на двери комнаты консьержки: «Здесь величают друг друга гражданами и говорят на „ты“. Закрой, пожалуйста, дверь». Сначала он никак не мог подстроиться под общий тон, но очень быстро ему это удалось, и он вкусил парижского очарования, «отсутствия всякой мрачности и всяких предрассудков, пренебрежения к состоянию и именам, естественного выравнивания всех чинов, равенства умов, делающего французское общество несравненным…».

Вскоре он зажил под своим подлинным именем: Франсуа-Огюст (вообще-то его вторым именем было Рене, но пока он предпочитал Огюст), виконт де Шатобриан.

Ему неполных тридцать два года, он бретонец, вернее, кельт с головы до ног, брюнет, живой и веселый, несмотря на свои несчастья и превратности судьбы. Родившись дворянином, и в этом его главное качество, он провел свободное и дикое детство на песчаных отмелях Сен-Мало, возле моря, которое любит всеми фибрами души, между суровостью отца, аристократа-работорговца, вернувшего блеск древнему фамильному гербу, и нежностью женской любви. После смерти отца он был обобран старшим братом и без всякой четкой цели отправился в Америку. Когда он вернулся, его поспешно женили, а с наступлением Террора он без особого убеждения вступил в армию аристократов. Брата его гильотинировали, он же, раненый, укрылся в Англии, где прозябал, как многие другие. Опубликовал скучный «Исторический очерк о революциях», нашедший мало откликов.

И вот он приехал в Париж. Его занимают две вещи: как вычеркнуть свое имя из списка эмигрантов, а главное — как расстаться с безвестностью, худшей из тюрем для человека с его натурой, его гордыней и его талантом.

Со времен лондонской эмиграции у него осталось несколько друзей, вернувшихся прежде него, на которых он рассчитывал, чтобы заявить о себе. Среди них был поэт Фонтан, бывший в чести у Бонапартов, и не случайно: он пользовался особым покровительством Элизы. Люсьен только что доверил ему руководство газетой «Меркюр де Франс». Фонтан поощрял Шатобриана к литературному творчеству и, когда пришло время, подставил свое плечо. Парадоксальным образом один из поборников классической школы станет давать тонкие и дельные советы отцу-основателю французского романтизма. «Вместо того чтобы возмущаться моим варварством, — писал позднее Шатобриан, — он восхищался им».

Другой его друг, с которым мы уже знакомы, Кристиан де Ламуаньон, приведет его на улицу Монблан. Шатобриан, по собственному признанию, был тогда еще полнейшим дикарем и едва смел поднять глаза на красивую женщину, окруженную воздыхателями. Каким же образом, в толпе, окружавшей ее, самая изысканная женщина Парижа распознала бы этого дворянчика, знаменитого незнакомца?

Шатобриан, хотя об этом часто забывают, «сделал себя сам», и одному Богу известно, чего ему стоило прославить свое имя, стать писателем века, оракулом своей эпохи и тяжелым, но блистательным человеком, к которому станут обращаться грядущие поколения…

Для начала Шатобриан влился в кружок друзей, душой которого была Полина де Бомон, дочь графа де Монморена, бывшего послом и министром иностранных дел при Людовике XVI. Госпожа де Бомон — прототип романтической героини. Ее судьба отмечена печатью несчастья: во время Революции вся ее семья и большинство друзей, в том числе поэт Андре Шенье, погибли на гильотине. Единственный брат, оставшийся в живых, утонул во время кораблекрушения. Брак ее не удался, она развелась. Она свободна. И обречена на скорую смерть. Туберкулез точит ее силы, заостряет черты лица и придает взгляду обманчивую лихорадочность. «Ничто не поколеблет меня» — таков был ее девиз, по крайней мере до тех пор, пока она не встретила Шатобриана. Эта встреча ее потрясла, она влюбилась в него до беспамятства…

Ее звали «Ласточкой», а вокруг нее вращался целый зверинец: Жубер, «Олень», мыслитель, о котором г-жа де Шастене скажет,

что «он был похож на душу, случайно залетевшую в тело и выкручивавшуюся, как может». Фонтан, «Кабан» — из-за своего крепкого телосложения, Шендолле, поэт-ментор, вечной грусти которого не мог развеять даже роман с сестрой Шатобриана Люсиль, прозванный по этой причине «Вороном», Матье Моле, прозвище которого нам неизвестно, но вполне могло быть «Лисом», благодаря замечательной карьере, которую он сделает, служа всем режимам с равной гибкостью, и, наконец, Шатобриан — «Кот»[22].

Кот — нервный, пытливый, независимый, самовлюбленный, сладострастный и очаровательный… Ясно, чем благородный виконт мог напоминать своего любимого животного. Во всяком случае, под влиянием друзей он принимается за работу. Пишет «Аталу», фрагмент объемистого и честолюбивого труда, который задумал, — «Гений христианства». Но прежде всего, чтобы пробиться в мир литературы, прибегает к древнейшему средству: с головой окунается в полемику и благопристойно, но шумно набрасывается на только что переизданное произведение, о котором много говорят, — «О литературе» г-жи де Сталь. В форме «Письма к гражданину Фонтану», опубликованного в «Меркюре» в декабре 1800 года, он оспаривает тезис о способности человеческого рода к самосовершенствованию. Он замечен и вскоре познакомится с дамой из Коппе, которая так добра, что не держит на него зла за резкие выпады в свой адрес.

Три месяца спустя «Атала» вышла в свет. Началась общественная карьера Шатобриана.

Родился новый писатель, и Париж тотчас признал его. «Атала, или Любовь двух дикарей» выгодно отличалась новизной на фоне той слащавой чуши, выходившей из-под пера последователей Бернардена, которой публика уже пресытилась. Шатобриан сумел возродить экзотику, в лирической и захватывающей манере описав просторы Америки. Величие пейзажей, леса, небеса, сотрясающие их грозы, описание Миссисипи, которым открывается повествование, впечатляют и восхищают его читателей.

Эта история запретной любви между двумя молодыми людьми, разрывающимися между зовом природы и требованиями религии, история с печальным концом, возбуждала воображение. Здесь отразилась новая чувственность, чувственность молодого поколения, к которому принадлежали автор и его читатели и которое было готово отождествить себя с героями романа. Неважно, что эта «love story» саванны была маловероятна, что индейцы, слегка отесанные цивилизацией, изъяснялись как завсегдатаи элегантных балов, — читатели были покорены

энергией и порывом романа, они чувствовали за этими возрожденными образами почерк великого писателя и плакали в экстазе над похоронами прекрасной индеанки, ставшей, как Виргиния, жертвой своих предрассудков…

А как Жюльетта отнеслась к этому произведению? Ей, наверное, понравился холодный свет, в котором оно купалось: «Луна одолжила свой бледный факел для бдения по покойной…» Узнала ли она себя в Атале? Возможно, ибо Атала, как и она, сделала своим символом белизну. Белый цвет целомудрия и смерти, как белы старость и слепота ее спутника-беглеца, Шактаса, пережившего ее и ведущего рассказ. Когда Шатобриан описывает свою героиню: «Она была правильно красива; в ее лице было нечто добродетельное и страстное, обладавшее неодолимым притяжением. К этому добавлялась самая мягкая грация; крайняя чувствительность, сочетающаяся с глубокой меланхолией, сквозила в ее взгляде; улыбка ее была небесной», легче представить себе даму с улицы Монблан, чем какую-нибудь индеанку из племени натчезов, с засаленными волосами и в бобровых шкурах…

Вскоре после выхода в свет «Аталы», весной 1801 года, Шатобриан познакомился с г-жой Рекамье в доме г-жи де Сталь. Тогда они и словом не перемолвились. Описание этой встречи открывает часть «Замогильных записок», посвященную г-же Рекамье. «Я никогда вообразить не мог ничего подобного, мужество оставило меня; моя любовная восторженность обратилась в досаду на самого себя. Я как будто молил небо состарить этого ангела, отнять у него немного божественности, чтобы сократить расстояние, отдалявшее его от меня». Здесь все же надлежит сделать скидку на лукавство, присущее беллетристике: впечатления автора этих строк нельзя даже сравнивать с волнением, односложно, но проникновенно выраженным Бонапартом, когда тот подошел к Жюльетте. Шатобриан мог быть только польщен, невольно оказавшись в окружении двух знаменитых женщин, но возможно, он и не разглядел хорошенько г-жу Рекамье: в голове у него тогда было только его исключение из списков, петиция Первому Консулу, ходатайства к Фуше, к Элизе и к самой г-же де Сталь. Более всего на свете он хотел выйти из своего полуподполья, тем более что его «Аталу» приняли хорошо.

Взглянул на Жюльетту он лишь шестнадцать лет спустя, за столом их общей подруги. Сколько времени он бы выиграл, скольких страданий избежал, если бы понял тогда, весной 1801 года, что перед ним женщина, которая одна могла умиротворить его и поощрить его творчество, а еще понять его экстравагантную

натуру…

Едва добившись исключения из списков эмигрантов, Шатобриан заперся у г-жи де Бомон, в ее поместье Савиньи-сюр-Орж, чтобы закончить «Гения христианства». Этот труд вышел в апреле 1802-го, и успех его сразу был феноменальным. По сравнению с этим монументальным произведением, призванным доказать Франции, что ей нечего стыдиться своего положения возлюбленной дочери Церкви, «Атала» казалась скромным пустячком.

Шатобриан достаточно недавно, после двойной семейной утраты, вернулся к религии отцов. Он прекрасно осознавал, насколько, несмотря на сарказмы философов и опустошения, произведенные республиканской идеологией, она оставалась живой в сердцах его сограждан, и эта апология, стремившаяся не столько доказать, сколько дать прочувствовать, покорить воображение, пришлась донельзя кстати…

Более того, писатель оказался новатором. Данный вопрос никогда не рассматривали под таким углом зрения. Кто прежде воспевал красоту и просвещающую добродетель «самой поэтической, самой человечной религии, наиболее благоприятствующей свободе, искусствам и литературе»? С силой, свойственной его перу, он удивляет, увлекает. Реабилитирует Библию, указывает на позабытые источники вдохновения, открывает Данте, Тассо и Мильтона, сыплет блестящими отрывками, грандиозными и неожиданными размышлениями об Океане, перелетных птицах или американской ночи… Неподражаемо передает свою любовь к руинам, «смуту страстей» и меланхолию человека перед лицом природы. Становится певцом духа времени, глашатаем литературы «новой волны».

Через четыре дня после выхода «Гения» Париж с большой помпой отмечал подписание Конкордата. После долгих переговоров между Бернье и ловким кардиналом Консальви Рим и Париж пришли к соглашению: епископы, назначаемые Первым Консулом, будут утверждаться папой римским и избирать священников. Государство станет платить им жалованье, но зато папа признает распродажу церковного имущества «необратимой». За несколько дней до того, чтобы умерить досаду республиканцев, Бонапарт опубликовал «Органические статьи», которые, в частности, наделяли префектов полномочиями в области регламентирования отправлений культа. Это всё едино: религия во Франции была восстановлена.

В воскресенье, 18 апреля 1802 года, на Пасху, огромная толпа, возглавляемая представителями властей, собралась в

соборе Парижской Богоматери на торжественный молебен. С какой пышностью проходило это первое официальное богослужение! Внушительные силы правопорядка окружили собор. Под колокольный звон, вслед за четырьмя кавалерийскими полками прибывали консулы, послы и министры в каретах, запряженных восьмериком или шестериком, в зависимости от их ранга, у входа в храм их встречал монсеньор де Беллуа, архиепископ Парижский, кропивший их святой водой и ладаном. Тридцать епископов ожидали их под пологом, натянутом на хорах (обивка маскировала шрамы, нанесенные революционерами). Кардинал-легат, представлявший папу, отслужил мессу, и — неслыханная вещь! — в момент возношения даров войска взяли на караул, а барабаны забили дробь!

Публика собралась самая разнородная. Порядочное общество соседствовало с разряженной кликой выскочек и авантюристов нового режима… Бок о бок стояла парочка ренегатов: непроницаемый Фуше, бывший семинарист, ставший якобинцем, и элегантный Талейран, бывший епископ, руководивший распродажей церковного имущества и автор Гражданской Конституции для духовенства. Два столпа консульского режима, по меньшей мере, попали в знакомую среду! Чего нельзя сказать о военных, которых согнал сюда Бертье по приказу Бонапарта и которые в большинстве своем хмурились, глядя на помпезный маскарад, и с трудом выносили грохот колоколов и органов, потоки песнопений и прекрасных слов, в которых ничего не понимали. Старые республиканцы были ошеломлены такой сверкающей и бесполезной показухой. Бернадот молчал, но просто не выражал своих мыслей вслух, другие же, как Ланн или Ожеро, не скрывали своего раздражения. Генерал Дельмас даже сказал Первому Консулу на выходе, что этой прекрасной церемонии недоставало «лишь миллиона человек, отдавших жизни, чтобы уничтожить то, что он только что восстановил».

Соперник Бонапарта по популярности, генерал Моро, пренебрег этим ребячеством и в своем неизменном фраке черного сукна пошел выкурить сигару в саду Тюильри. Не стоит и говорить, что эта дерзость была замечена, равно как и его саркастические комментарии по поводу «капуцинады» из-под палки, высказанные военному министру. Его оппозиция Бонапарту обострялась с каждым днем, и вскоре мы увидим, куда она его заведет и во что ему обойдется.

Париж веселился: ему вернули воскресенье, ему вернули церковные зрелища, расшитые стихари, мальчиков-певчих, молебны и псалмы, звонко раздававшиеся под сводами… А главное — ему вернули мир. Подписанный 25 марта в Амьене с

последним вражеским государством — Англией, он сделал Первого Консула человеком, пользующимся наибольшей любовью в своей стране. Он продлится недолго, но передышка прошла при всеобщем воодушевлении, еще усиленном амнистией для эмигрантов.

Английский дивертисмент

Жюльетта с матерью воспользовались Амьенским миром, чтобы открыть для себя туманный Альбион. Любопытство было в равной степени велико по обе стороны Ла-Манша, и толпы путешественников сталкивались весной 1802 года на плохих дорогах, соединявших Париж с Кале.

В мае Жюльетта и г-жа Бернар, заручившись теплыми рекомендациями старого герцога де Гиня, бывшего послом Людовика XVI в английской столице, сели на корабль. Пребывание г-жи Рекамье в Лондоне было недолгим, тем не менее ей был оказан незабываемый прием. Все особы, получившие ее письма, нанесли ей визит, в том числе герцогиня Девонширская, пригласившая ее в свою ложу в Опере, где находились также принц Уэльский (будущий король Георг IV), герцог Орлеанский (будущий Луи Филипп) и два его брата. Как и в Париже, она была окружена толпой, жаждавшей взглянуть на красавицу-иностранку, газеты пестрели ее именем и ее портретами.

Что до парижской прессы, она так откликнулась на новые успехи г-жи Рекамье: «Говорят, она сетует на то, что стала в Лондоне предметом воистину утомительного любопытства, ее сетования стали бы еще горше, если бы никто не изъявлял никакого желания взглянуть на нее…» Тон отнюдь не доброжелательный! Дело в том, что в Париже поползли слухи, будто банкиру Рекамье грозит банкротство и его супруга уехала, захватив с собой бриллиантов на кругленькую сумму. Эти сплетни ничем не подтвердились.

Друзья тревожились за нее. Среди них был ее верный паж — Адриан де Монморанси.

Анн-Адриан де Монморанси, герцог де Лаваль, принадлежал к одному из древнейших феодальных родов королевства. Его предок, коннетабль Анн, советник Генриха II, сыграл ключевую роль в религиозных войнах и умер в Сен-Дени, у могилы своих королей, став жертвой кальвинистов.

Когда Жюльетта встретилась с Адрианом у г-жи де Сталь, он был десятью годами старше ее и с честью носил свое славное имя. Он белокур, высок и строен, что позволяет забыть о его близорукости (изъяне по канонам того времени), а также о некоторой нерешительности в речах, которая сегодня была бы не лишена очарования. Этот кавалер ордена Золотого руна, испанский гранд, был светским человеком, которого поспешно сочли «легковесным», поскольку в его манерах было нечто

рыцарственное и устарелое. По правде сказать, верность своей чести и своему королю, преданность друзьям, учтивость с прекрасным полом были исчезающими ценностями… Этот истинно французский дворянин, остроумный и обходительный, был в глазах Жюльетты образцом мужеских добродетелей, типажом сродни герцогу де Немуру из ее любимого романа «Принцесса Клевская». Их дружба продлится около сорока лет.

Монморанси особенно выигрывал в сравнении с воспоминаниями о Люсьене Бонапарте. «Взаимное влечение» было как будто достаточно выражено поначалу. «Радуясь спокойствию, отмечавшему наши отношения, — пишет Жюльетта, — я тем не менее желала больше страсти… Я любовалась чистым небом, но несколько грозовых облачков бы не помешали». Она признается, что путешествие в Англию было в некотором роде частью любовной стратегии, направленной на то, чтобы подразнить чересчур безукоризненного кавалера.

План удался. Адриан немного пострадал, но лишь немного, а потом, по желанию дамы, преобразил эту склонность в нежную привязанность и с тем же изяществом продолжал подавать ей руку.

Жюльетта с матерью продолжили свой английский вояж и провели некоторое время в Бате, в графстве Сомерсет, где на месте древнеримского поселения возвышались недавние чудеса архитектуры эпохи короля Георга. Элегантность «полукругов» и «террас» Джона Вуда превратили Бат в самый изысканный из курортов. И там тоже скромность Жюльетты страдала от назойливого внимания окружающих.

Словно чтобы избежать вызываемого ею любопытства, она решила поискать покоя в ландах старой Шотландии; посетила Эдинбург, «северные Афины», а затем прибыла в Гарвич, откуда путешественники отплывали в Гаагу. Во время переезда, оказавшегося более долгим, чем планировалось, у Жюльетты было время пробежать «Гения христианства». Поздний комментарий автора: «Я *открылся* ей, по ее собственному доброжелательному выражению: я узнаю здесь ту доброту, какую всегда питали ко мне ветры и море…»

Две женщины пересекли Голландию и остановились в Спа, под Льежем, где г-жа Бернар, вслед за Монтенем и Петром Великим, принимала воды, а затем, в середине июля, вернулись в Париж.

Хотелось бы узнать о впечатлениях г-жи Рекамье, впервые покинувшей пределы родины… Но нам мало что известно об этом путешествии, кроме того, что говорили о нем газеты. Триумфальное турне как будто ни обновило привычек Жюльетты,

ни развеяло ее усталости. «Вы говорите о светских удовольствиях, которым по-прежнему предаетесь, презирая их», — заметил Адриан.

В душе красавицы из красавиц поселилась меланхолия… С чего бы это? В неизданной ее биографии Балланш отметит беспокойство, которое ей тогда внушало здоровье ее матери. Постиг ли уже тогда г-жу Бернар недуг, который спустя несколько лет унесет ее в могилу? Понимала ли это Жюльетта? Воспользовалась ли мать этими особыми моментами, проведенными с дочерью, чтобы поверить ей некую тайну, открыть секретный эпизод из своего прошлого? Мы не знаем, но это вероятно. Золотая юность Жюльетты близилась к повороту: праздник будет продолжаться, но его королева теперь лучше станет осознавать его полную пустоту.

День в замке Клиши

По возвращении Жюльетта расположилась на летней квартире в Клиши, где отдавала долг гостеприимства своим новым английским друзьям. Она принимала, в частности, Чарлза Джеймса Фокса, бывшего госсекретаря министерства иностранных дел, который из-за своих профранцузских симпатий перешел в оппозицию премьер-министру Питту и стал горой в защиту политики примирения между двумя соперничающими державами. Тогда он занимался исследованиями о Стюартах, Первый Консул любезно принял его в Тюильри и предоставил в его распоряжение дипломатические архивы (но визит в Клиши предшествовал посещению Мальмезона).

О том, как прошел день в Клиши, когда его посетил Фокс, нам известно из записок баронессы де Воде.

Салон г-жи Рекамье посетили тогда Нарбон, Камиль Жордан, генерал Жюно и генерал Бернадот. Вскоре к ним присоединились актер Тальма и г-н де Лоншан, который должен был прочесть свою новую пьесу «Влюбленный соблазнитель», дабы узнать мнение Лагарпа, прежде чем передать ее на рассмотрение литсовета Французского Театра. Вслед за ними приехали Ламуаньон, Адриан и Матье де Монморанси, генерал Моро и, наконец, Фокс, лорд и леди Холланд, адвокат Эрскин и г-н Адер.

Фокс и Моро беседовали как добрые друзья, Лагарп с Эрскином вели оживленный разговор и сыпали шутками. Нарбон неоднократно пытался сделать беседу общей, обращая внимание по очереди на каждого из присутствующих; таким образом, собравшиеся обсудили поведение Моро, обращения Фокса к королю с целью принудить Питта к миру, мнение Эрскина о присяжных, управление Нарбона, курс литературы Лагарпа, политическую и частную жизнь Монморанси, храбрость Жюно, стихи Дюпати и т. д.

Когда подали кофе, объявили о приходе Евгения Богарне и его друга Филиппа де Сегюра. Евгений, сияющий собственной славой и отблесками славы своего отчима, но ничуть этим не испорченный, засвидетельствовал свое почтение г-же Рекамье и объявил Фоксу, что сопроводит его в Мальмезон. После кофе общество разбилось на группки по интересам и отправилось на прогулку в парк.

Затем наступил черед Тальма. По просьбе предупредительной г-жи Рекамье он декламировал в основном отрывки из пьес Шекспира, поражая собравшихся, в том числе англичан, силой своего таланта. После перешли к музицированию; г-жа Рекамье

села за арфу и исполнила красивый романс; все были очарованы ее голосом.

Г-да Фокс и Адер уехали на аудиенцию к Первому Консулу в сопровождении Богарне и Сегюра, но тут в салон явились герцогиня Гордон и ее дочь леди Джорджиана, признанная красавица. В этот самый момент г-н де Лоншан принялся читать свою комедию, которая понравилась всем и даже вызвала похвалы сурового критика Лагарпа.

Впрочем, тот не успел прокомментировать некоторые сцены пьесы, так как явилось новое лицо, г-н Вестрис, чтобы прорепетировать с г-жой Рекамье сочиненный для нее гавот, который она вместе с леди Джорджианой должна была танцевать на следующий день на балу у герцогини Гордон. Репетиция состоялась при общем присутствии и общем же восторге.

К вечеру в замке стало довольно многолюдно: к собравшимся присоединились г-жа де Сталь, г-жа Виотт, генерал Мармон с супругой, маркиз и маркиза де Лукезини. После положенных церемоний было предложено сыграть в пословицы. Это означало предоставить вновь прибывшим случай показать себя в выгодном свете, блеснув талантом импровизации. От пословиц перешли к шарадам, в которых принимали участие все присутствующие.

Наконец пробило одиннадцать, подали ужин. Маркиз де Лукезини сказал по этому поводу, что завтрак для дружбы, обед для этикета, полдник для детей, а ужин для любви и задушевных разговоров. Время шло незаметно, и полночь застигла всех врасплох.

Вот вкратце какова была жизнь во времена Консульства самой талантливой и блестящей части общества. И все же за этой продуманной сменой развлечений, которые г-жа Рекамье предлагала своим гостям, проглядывает явное желание убежать от себя самой.

В тюрьме Тампль…

Для установления мира и порядка Бонапарт намеревался действовать в одиночку, не делясь властью ни с кем. С тех пор как он почувствовал поддержку всего населения, он стремился лишь к усилению автократии. Однако всё это в рамках закона: оппозиция была начеку, и он об этом знал. Ему пришлось очистить Трибунат от «дюжины метафизиков, которых впору утопить», связывавших ему руки, то есть ото всех либералов во главе с Дону и Бенжаменом Констаном. Во время подготовки мирных договоров Констан заявил по поводу употребления в документах слова «подданный», что миллионы человек «не для того погибали десять лет во имя свободы, чтобы их братья снова стали подданными!»… Трибунат критически отнесся и к Конкордату, и к учреждению ордена Почетного легиона, но большой поддержки не встретил.

К либеральному ворчанию узких кругов добавлялись опасения убежденных якобинцев, не упускавших случая указать на аристократические замашки Первого Консула. А главное — армия, оставшаяся без дела после подписания мира, волновалась. Тон задавали главные военачальники: Бернадот и Моро ревновали к Бонапарту, младше их по возрасту, ставшему генералом одновременно с ними. Ожеро, Массена, Брюн, Журдан, Ланн, Дельмас, Гувьон-Сен-Сир, Удино и Макдональд относились к нему с каждым днем всё враждебнее и затевали кое-какие проекты переделки власти в свою пользу. Весной 1802 года Бонапарт велел арестовать кое-кого из строптивых генералов, в том числе Дельмаса, отправил Бернадота принимать воды в Пломбьер, удалил под предлогом дипломатического поручения Брюна, Ланна, Лекурба и установил надзор за остальными.

Что до роялистов, то они все еще ожидали восстановления старшей ветви Бурбонов на французском троне… Бонапарт их не разубеждал. Он прекрасно понимал, насколько временно их молчание.

Поэтому он решил снабдить себя всеми средствами для поддержания порядка и стабильности правительства, сделав себя *пожизненным* Консулом, но для проформы с этим предложением должен был выступить Трибунат: герою было необходимо дать «залог народной признательности»… Блестящая идея, которую вынесли на референдум. Из 3577259 голосов против было подано 8374.

Это массовое одобрение повлекло за собой 4 августа 1802 года реформу Конституции и нарочито укрепило власть хозяина:

Трибунат был сокращен, Сенат отныне мог дополнять Конституцию сенатус-консультами. Первый пожизненный Консул был наделен всеми полномочиями, в том числе правом назначать себе преемника. При таком режиме утрированной президентской республики были заложены основы двух институтов, призванных формировать покорную элиту: лицеи и Почетный легион.

Результат не заставил себя ждать: у роялистов наконец открылись глаза. Какое разочарование! Генерал Бонапарт хоть и изничтожил Революцию, но не был генералом Монком, который в 1660 году реставрировал английскую монархию: он, скорее, был Кромвелем, готовым основать собственную династию… Сплочали ряды, пытались получить субсидии от принцев в эмиграции, собирались организовать свержение того, кто теперь представлялся им «узурпатором».

Г-н Бернар уже не мог поощрять эту деятельность, направленную против Первого Консула. Глава почтового ведомства был тихо смещен в начале предыдущего года за то, что покрывал роялистскую переписку и распространял «периодический листок», издаваемый неким аббатом Гийо или Гийоном, который подвергал нападкам семью Бонапартов. Вот как это произошло.

Госпожа Рекамье, водившая дружбу с сестрами Бонапарта, с Каролиной (г-жой Мюрат), самой умной из них, но и с Элизой (г-жой Баччиоки), наименее симпатичной (ее влиятельность компенсировала сухость и надменность ее поведения), по просьбе последней принимала за обедом Лагарпа, с которым желала встретиться Элиза. Присутствовали также г-жа Бернар, г-жа де Сталь, Нарбон и Матье де Монморанси, кузен Адриана. Хорошенькая подобралась компания! К моменту выхода из-за стола произошла театральная развязка: г-же Бернар сообщили, что ее супруг только что был арестован и препровожден в тюрьму Тампль. Жюльетта, естественно, обратилась к Элизе с просьбой помочь ей как можно скорее увидеться с Первым Консулом. Элиза, смутившись, отвечала уклончиво и холодно посоветовала обратиться к Фуше. Фуше, благорасположенный к Жюльетте, ничем не мог помочь: «Дело серьезное, очень серьезное». Он бессилен. Жюльетта помчалась во Французский Театр к Элизе, находившейся там вместе с другой сестрой, Паолиной (г-жой Леклерк). Подчеркнутое неудовольствие обеих дам при появлении г-жи Рекамье, помешавшей им шумно наслаждаться игрой актера Лафона… Убитая таким приемом, Жюльетта ждет в уголке ложи окончания спектакля, как ее попросили. Можно представить себе ее томление! Слава богу, Бернадот, свидетель всей этой сцены, вызвался отвезти ее домой и заняться этим

делом. Он бросился в Тюильри и добился освобождения г-на Бернара без суда, ценой простого отстранения от должности.

Последовавший за этим эпизод, необычный для жизни светской женщины, показал Жюльетте, насколько непрочно при абсолютистском режиме любое положение, даже самое надежное и самое завидное на первый взгляд.

Отец Жюльетты находился в одиночном заключении, свидания были с ним запрещены, но г-жа Рекамье ранее имела позволение навещать интересовавших ее узников Тампля и завела некоторые знакомства среди охраны, чем и воспользовалась, чтобы увидеться с отцом и успокоить его насчет его собственной участи. Знакомый тюремщик впустил ее в камеру г-на Бернара, но едва они успели перемолвиться парой слов, как он вбежал туда, схватил Жюльетту за руку, затолкал в какой-то тайник и там запер. В камере послышались звуки шагов и чьи-то голоса, г-на Бернара куда-то увели, всё стихло, но тюремщик не появлялся. Бедная Жюльетта терялась в догадках, одна страшнее другой. Наконец, по прошествии двух часов, она была освобождена из плена и узнала, что ее отца отвезли в префектуру полиции для допроса.

Бернадот же довел до конца начатое дело и однажды утром явился к г-же Рекамье, чтобы вручить ей приказ об освобождении ее отца. В качестве вознаграждения он попросил лишь позволения сопровождать ее в Тампль, чтобы выпустить узника на свободу.

Таким образом, Жюльетта не обращалась к Первому Консулу и ни о чем его не просила, хотя тот в своих воспоминаниях утверждает обратное.

В это верится легко. Хотя Жюльетта умела просить за других, когда тех постигало несчастье, она никогда не теряла достоинства и скромности, если дело касалось ее лично. У нас еще будет возможность в этом убедиться.

Хотя эта ситуация не подорвала общественного и финансового положения Рекамье, она позволила Жюльетте и ее близким оценить твердость существующей власти. Когда та набрала силу и обнаружилось, что страна семимильными шагами продвигается к Империи, они уже ясно знали, что отныне им придется считаться с произволом полиции и правосудия, а это предрасполагало к осторожности. А еще они поняли, что придется определиться, к какому лагерю примкнуть.

Глава V
УЗКИЙ ПУТЬ ОППОЗИЦИИ

Г-жа Рекамье занималась политикой лишь из великодушного участия к побежденным из всех партий.

Бенжамен Констан

В начале зимы 1802/03 года. Париж сверкал всеми своими огнями. В Европе еще несколько месяцев продлится мир. Она об этом не знает, но правильно делает, что этим пользуется! Англичане, русские и пруссаки устремились во французскую столицу, стремясь насладиться послереволюционными странностями и удовольствиями. С нетерпеливым любопытством и некоторой бесцеремонностью они заполонили запретный (в течение десяти лет) город, чтобы изучить его нравы, казавшиеся им экзотическими, точно у только что открытого племени варваров…

Гости с севера критиковали бездорожье (в самом деле, дороги были ужасными, невозможно проехать или пройти, не испачкавшись) и сожалели об отсутствии удобств. Недостаточность отопления их возмущала. Иные восторгались утром, проведенным на Мануфактуре Гобеленов, в Монетном дворе, в мастерской художника Давида… Они посещали музей Пти-Огюстен, где были свалены в живописном беспорядке изувеченные статуи и произведения искусства, пережившие вандализм времен Террора. Прогуливались по городу, который весело рушили, чтобы проложить проспекты и открыть взору памятники: подступы к Тюильри и собору Парижской Богоматери были уже частично расчищены, сносили маленькие улочки Каруселя, церковь Святого Николая, церковь Сент-Андре-дез-Арк, капитул собора, Гран-Шатле и башню Тампля…

В целом, Париж выглядел лучше, несмотря на то, что не хватало воды и света, набережные отсутствовали, мостов и извозчиков было мало, но затевался ряд долгосрочных работ для улучшения жизни его обитателей. А главное, Бонапарт, поощряя возрождение промышленности, способствовал возврату к роскоши. Снова начали обставляться и одеваться. Первый Консул раздавал верным ему людям пенсионы, посты, особняки, вместе с приказом жить там на широкую ногу. То есть чтобы с

приезжающими иностранцами обходились достойно. Рим пришел на смену Спарте, понемногу потрепанные мундиры уступили место парадным одеждам, высокие сапоги — туфлям с пряжками, а сабли — легким декоративным шпагам. Зрелища следовали одно за другим, театры ломились от завсегдатаев, страстных, кипучих, довольных новым расписанием представлений (шесть часов пополудни) и умеренностью цен, делавшей более доступным их любимое развлечение. Благородное предместье Сен-Жермен было большей частью восстановлено, тысячи маленьких обществ создались вокруг художников, поэтов и актеров. К Парижу вернулись его подвижность и процветание: на один зимний сезон он снова превратился в город-светоч.

Главной же приманкой столицы была, бесспорно, г-жа Рекамье. Это была уже далеко не та дебютантка в белой повязке на голове, с продуманной стыдливостью старавшейся привлечь к себе взгляды слушателей Лицея! Жюльетте теперь уже двадцать пять лет, она в апогее своего богатства и блеска, отныне взгляды всей Европы, по меньшей мере ее самой утонченной элиты, прикованы к ней. Великие и малые ищут встречи и ухаживают за ней, сам новый властитель наводит на нее лорнет, когда она появляется в своей ложе в Опере…

В прессе подробно перечисляют знаменитостей, присутствовавших на ее многочисленных балах и приемах по понедельникам. Каждый менуэт, каждый гавот угодливо описан. Малейшее ее недомогание превращается в целое событие: отмечают ту, что в наименьшей степени подвержена новой модной болезни — гриппу… В ее жизни нет ничего такого, что укрылось бы от всеобщего любопытства, от дотошного вампиризма, который называют славой.

Красота ее утвердилась: Жюльетта предстает идеалом парижанки, самим типом законченной женственности в своих — столь неброских — украшениях и в обходительности ее манер. Она обладала огромной силой искушения, ее воздыхателям не было числа (говорили, что новый посол Великобритании тоже влюблен в нее), и всё же все понимали, что она неприступна. Этот парадокс удивлял, но соглашались с тем, что, не принадлежа никому, она в некотором роде принадлежала всем, и от этого любили ее еще больше.

Мы знаем, что г-н Рекамье был для нее лишь «почетным» мужем, если так можно сказать… Поговаривали даже, что он ее отец, что отнюдь не шокировало, поскольку было также известно, что он никогда не жил с ней. Никто не удивлялся снисходительной гордости, которую он испытывал по отношению к одерживаемым ею успехам. По свидетельству одного

современника, однажды, во время празднества на улице Монблан, г-жа Рекамье почувствовала себя нехорошо и решила удалиться и лечь в постель. «Дверь спальни раскрылась; какой-то любопытный приблизился и стал разглядывать это прелестное лицо, которому ничуть не повредило неглиже больной. Явился другой, потом десять, потом целая толпа. Пришедшие последними вставали на кресла, чтобы тоже насладиться зрелищем, а добрый г-н Рекамье подкладывал на них салфетки, чтобы сочетать удовольствие своих гостей с заботой о своей мебели…»

Чего ждала эта спящая красавица, не боявшаяся театральных сцен, льстящих ее самовлюбленности, от каждого часа своего существования? Вихрь светской жизни действовал на нее как наркотик: поглощал ее жизнь, но и питал ее тысячей пустяков, тысячей маленьких наград самолюбию, укреплял ее личность. Жюльетта танцует, следовательно, она существует. Она участвует в верховой охоте, следовательно, существует. Все ласкают ее взглядом, значит, она существует. На самом деле, это такая малость.

Она начинает это осознавать. Пустота жизни порой нагоняет на нее меланхолию. Ей недостаточно очаровательных, но пресных любовных игр с многочисленными поклонниками, из которых вылущена страстность и подлинность великого чувства. Она кокетлива, целомудренна, она деликатно, осторожно усмиряет осаждающую ее орду, ну и что? Любезный Ламуаньон, нежный Дюпати, элегантный Адриан вздыхают и почитают ее. Никто из них не взволновал ее сердца.

Хотя она заслуживает лучшего и знает это, пока она находится в центре паутины, из которой не может вырваться: ее известность вынуждает ее безукоризненно владеть собой, не терять выдержки и быть верной избранному для себя образу. В то же время ее мысль и суждение сформировались. Она красива, мудра, но еще и рассудительна. Она знает Париж как свои пять пальцев: она не питает никаких иллюзий относительно уловок и побудительных мотивов человеческих существ. В этой области она проявила непогрешимость и прекрасное чувство такта. Ей известно непостоянство увлечений, она умеет различить страдание, спрятанное под маской приличий и презентабельности. Знает она цену и преданности и всегда внимательна к своим друзьям. Одним словом, Жюльетту на вершине ее славы ничем не проведешь. Шумная бессодержательность ее жизни не исключает ни глубины, ни оттенка разочарованности, сопутствующей ей.

Она не показывала этого и продолжала быть самой чествуемой особой своего времени. Она затмевала всех прочих

женщин; одна из них, г-жа Реньо де Сен-Жан д'Анжели, муж которой станет влиятельным лицом при Империи, столь же красивая и умная, как ее мать, г-жа де Бонней, но недружелюбная и достаточно вращающаяся в свете, признавала, что появление г-жи Рекамье в каком бы то ни было месте отвлекало на себя всё внимание, уделяемое остальным прелестницам. Никакое соперничество с нею не было возможно.

А ведь Париж был тогда полон хорошеньких женщин! Пышная г-жа Тальен, которая теперь жила с банкиром Увраром; энергичная г-жа Висконти, великолепная миланка, точно сошедшая со страниц романа Стендаля, бросившая мужа, чтобы следовать за Итальянской армией, конкретнее, за Бертье; пикантная Пульхерия де Баланс, дочь г-жи де Жанлис, унаследовавшая ее задор; резвушка г-жа Мармон, урожденная Гортензия Перрего, или еще Джорджиана Гордон, одна из четырех дочерей герцогини Гордон, — молочный цвет ее породистого лица англичанки вызывал всеобщее восхищение; не говоря уже о русских или прибалтийских красавицах: княжна Долгорукая, герцогиня Курляндская, водившая тесную дружбу с Талейраном, или графиня Дивова, бывшая без ума от Бонапарта…

Общество было единодушно: г-жа Рекамье является — и совершается чудо. По свидетельству современницы, она резко отличалась от нуворишей, в кругу которых вращалась г-жа Тальен. Светская женщина, пользующаяся успехом, она при этом была грациозной, *пристойной* красавицей.

Ее салон, в котором умело были перетасованы чиновники, дельцы, республиканцы, либералы, вернувшиеся эмигранты, художники и светские женщины, штурмовали иностранцы, желавшие узреть весь парижский паноптикум: мы уже говорили, какое согласие, словно по волшебству, придавало этому малогармоничному обществу присутствие Жюльетты, умевшей нащупать связь между людьми старого режима и нового.

Вот на этих-то последних и приходили взглянуть, а среди них — на когорту генералов, собратьев Бонапарта по оружию, с большим или меньшим успехом подвизавшихся в свете. Оставим в стороне Бернадота и Моро, личных друзей г-жи Рекамье, ум и собственные политические соображения которых поведут их к особой судьбе.

Но остальные!.. Как не выделить их между выступлениями певца Гара или скрипача Жюльена: горячий Мюрат, муж Каролины, никогда не остававшийся незамеченным, а экстравагантность его одежды не прекращала удивлять… Ней, «храбрец из храбрецов», с пылающей гривой, простоватый, но несгибаемый… Ожеро, атлетичный и непробиваемо грубый, Ланн,

еще один сын Революции, о котором Наполеон скажет, что он взял его пигмеем и потерял гигантом, или Жюно, пылкий Жюно, бывший «сержант Буря», которого едва могла успокоить его хорошенькая супруга, малышка Пермон с хорошо подвешенным языком, называвшая Бонапарта Котом в сапогах (а он теперь отвечал ей, величая «язвочкой»), и чье честолюбие не имело границ…

Все эти красавцы, не блещущие умом, с трудом примиряли отвагу и хорошие манеры, но как они старались! Все только что женились на институтках, вышедших из пансиона г-жи Кампан, и возили их на улицу Монблан, чтобы те пообтесались, общаясь с прекрасной хозяйкой… Все уже увлеченно следили за возвышением своего командира: его почти королевское величие обещало им блестящее будущее, и их яростное республиканство таяло, как снег на солнце, в свете блестящих перспектив.

Какая ярмарка тщеславия! Какая человеческая комедия! Как не хватало Жюльетте в этой пестрой толпе блестящего разговора г-жи де Сталь! Ум и дружба помогли бы развеять однообразие этих толп, поверхностность этих суетных речей и чересчур часто повторяющихся развлечений… Но г-жи де Сталь рядом не было: похоронив мужа прошлой весной, она заперлась в Коппе, чтобы закончить свой новый роман «Дельфина», который скоро выйдет в свет, а Жюльетта узнает в нем себя в образе красивой и несчастной Терезы д'Эрвен…

Поэтому, за неимением лучшего, Жюльетта привязалась к некоторым друзьям г-жи де Сталь, таким, как супруги Дежерандо: он — философ и юрист, она, уроженка Эльзаса, не лишена здравого смысла, и сами они очень дружны с Камилем Жорданом. С их помощью Жюльетта основала школу для девочек в приходе Святого Сульпиция. И с того времени, вопреки всяким ожиданиям, королева Парижа окунулась в попечительскую деятельность.

Явление святого Матье

Нам неизвестно, испытывала ли Жюльетта какое-то чувство вины из-за того, что ей курили фимиам… Вероятнее всего, нет. Ее религиозные чувства, как и роялизм, казались искренними, но умеренными. Это была эпоха здравого смысла. Зато нам известно, что этой неисправимо светской женщине были ведомы страдания человеческого рода и что она, в определенный момент своей жизни, решила облегчить их, воспользовавшись преимуществами своего положения. Она ясно осознавала, что свет — не самоцель. Должен быть еще какой-то способ, толчок к чему-то иному. Благотворительность была более чем компенсацией со стороны Жюльетты своей совести. Она испытывала к этому делу настоящее призвание и предавалась ему всю жизнь, находя тысячи различных способов, превратив его, в буквальном смысле слова, в профессию.

Присовокупить к репутации, созданной красотой и состоянием, активную благотворительность (ибо Жюльетта верила в силу лишь методичной деятельности в этой области) являлось выходом, лекарством от нарциссизма, единственным способом уйти от себя. Заниматься другими, чтобы немного забыть о себе самой — то была новая дорога, открывшаяся ей. Своим умственным пробуждением г-жа Рекамье была обязана г-же де Сталь, пробуждением духовным — Матье де Монморанси.

Матье, двоюродный брат Адриана. Какая личность! Он принадлежал к поколению, поверившему Просветителям и отправившемуся вместе с Лафайетом сражаться в Америку, что значительно расширило его духовный горизонт (пример американцев оказал определяющее воздействие на других замечательных путешественников — Талейрана, Ларошфуко, Шатобриана), а по возвращении подтолкнувшему начало Революции. У Матье были другие смягчающие (или отягчающие, смотря с какой стороны поглядеть) обстоятельства: он ходил в школу аббата Сийеса, его наставника, который не имел к нему никакого снисхождения…

Когда Матье вернулся во Францию, его женили на кузине Гортензии де Бюин, которая родит ему дочь Элизу, и позволили со всем пылом окунуться в революционные перемены. Его избрали депутатом в Генеральные штаты, и именно по его предложению в ночь на 4 августа 1789 года Собрание приняло решение об отмене привилегий. Неплохо для Монморанси! Он страстно влюблен в другую свою кузину, мадемуазель д'Аржансон, ставшую маркизой де Лаваль, сочетавшись браком со

старшим братом Адриана. Прекрасная маркиза умерла, простудившись в «день тачек», и Матье, убитый горем, решился эмигрировать вслед за г-жой де Сталь, с которой у него некогда была короткая связь…

Это ли вынужденное отступление и драматический поворот революционного процесса вызвали возврат к самому себе? Потеря ли любимой женщины или, как полагали в его среде, смерть на эшафоте его юного брата, аббата Лаваля надломили его, спровоцировав острый кризис вины? Во всяком случае, с Матье произошла метаморфоза: он яростно, страстно обратился к религии. Матье, кипучий Матье со столь передовыми идеями, стал одним из знаменитых святош Европы, одним из самых пламенных поборников реставрации Бурбонов, одним из самых активных сторонников возвращения к чистому католицизму.

Он демонстрировал незаурядную душевную твердость, в том числе в собственном клане, изобиловавшем яркими личностями, чьи имена не сходили со страниц газет: его мать, виконтесса де Лаваль, не скрывала своей беспорядочной личной жизни и открыто возобновила связь с графом де Нарбоном, после того как тот отделался от г-жи де Сталь. Половина семьи грозилась сотрудничать с новой властью, а теща Матье превратила особняк Люинов в настоящий притон…

Какая разница! Проникнутый правотой своего служения, Матье пытался привлечь под свое знамя — вернее, под знамя Христа — всех, с кем был рядом. Можно легко себе представить, что в столь вольном обществе, каким был парижский свет по возвращении из эмиграции, Матье походил на святого, да просто на чудо природы…

Сколько сил он приложил, чтобы обуздать свою буйную натуру! Тем более что он от природы был остроумным и привлекательным и обожал женщин… Это в нем не отталкивало, и кое-что от этих черт сохранилось в его поведении. С какой восторженностью он затевал душеспасительные предприятия! С какой ненавязчивой галантностью пытался воодушевить своих собеседниц!.. Он заговорил — ради благого дела — красивую (и богатую) Рекамье, и очень скоро получил то, чего другие тщетно добивались: доступ в ее ближний круг.

В шестом обращенном к ней письме он заявляет: «Я бы хотел объединить все права отца, брата, друга, добиться Вашей дружбы, Вашего полнейшего доверия с единственной целью: чтобы убедить Вас в Вашем собственном счастии и подвигнуть Вас на единственный путь, который к нему лежит, единственно достойный Вашего сердца, Вашего ума — возвышенное призвание, уготованное Вам. Одним словом, чтобы привести Вас к

твердому решению, ибо в этом всё, и всё от этого зависит».

Как пылко Матье выражает ей свою благодарность, когда «красивая и добрая», как он ее называет, присовокупляет к своим записочкам кое-какие существенные акты благотворительности! С каким чувством он становится ее духовником, поверенным ее души, выслушивающим между «добрыми делами» отзвуки ее тайной печали… Матье прослыл мастером в искусстве возвышать побуждения и увлечения. Ему удастся увлечь самую светскую из женщин наслаждениями внутренней жизни.

Изгнание госпожи де Сталь

В феврале 1803 года Париж вздрогнул, получив суровое предупреждение: салон г-жи Рекамье закрыт, во всяком случае по понедельникам, в день больших приемов. Что конкретно ей ставят в упрек? Ее дружбу с либералами, республиканцами или роялистами? Или же это просто проявление аллергии на плюрализм, подкрепленное неким женоненавистничеством, из-за которого Первому Консулу несносно любое другое главенство, кроме его собственного? Приказ не был официальным, однако Жюльетта ему подчинилась и, возможно, не была недовольна тем, что постоянному чужому присутствию в ее доме положен конец.

Бонапарт был противником «слухов», а это означало, что придется прятаться, чтобы поговорить, и что на смену свободному общению может вскоре прийти установленный сверху порядок, который лучше бы не нарушать. Г-жа де Сталь это уже понимала. Зная, насколько ее находчивость и вольнодумие не нравились «наверху», она не показывалась всю зиму, и на улице Гренель воцарилась тишина.

Дело в том, что Бонапарт очень плохо воспринял позицию так называемого комитета Просветителей во время чистки в Трибунате. Г-жа де Сталь была возмущена до глубины души: когда кто-то ей сказал, что «Трибунат очистили от накипи», она возразила: «Вы хотите сказать, сливки сняли!» Война, объявленная Первым Консулом «идеологам», автоматически подвигла остроумную баронессу обозвать его самого «идеофобом». Бонапарта сообщение об этом ввергло в ярость.

Решительно, между Тюильри и «этими людьми» не было взаимопонимания. В июле 1802 года Камиль Жордан опубликовал брошюру под красноречивым названием «Подлинный смысл пожизненного консульства» — снова буря гнева в верхах! Месяцем позже Неккер выпустил в свет «Последние взгляды», что-то вроде политического завещания, в котором с плохо скрытым неодобрением выявлялись опасные двусмысленности Конституции VIII года Республики, чреватые наступлением военной деспотии. Очень некстати! Снова буря в верхах! На сей раз дочери великого человека дали понять, что она встретит плохой прием, если случайно нарушит своим появлением спокойствие парижской жизни.

Она на такое не отважилась, однако выпустила «Дельфину», роман в письмах, как «Вертер» или «Новая Элоиза», действие которого происходит якобы в 1791 году, но на самом деле в нем выражался здравый взгляд на общество времен Консульства.

Предисловие было обращено «К безмолвной, но просвещенной Франции», а каждая страница книги несла в себе урок нравоучительного либерализма, что так хорошо удавалось автору… Добавьте к этому представление в дурном свете католицизма, который у протестантки г-жи де Сталь часто был синонимом обскурантизма. Первый Консул вне себя! Эта женщина превзошла все границы, если она только попробует приблизиться к Парижу, ее ждет от ворот поворот.

Дружба дамы из Коппе с красавицей Жюльеттой, хоть и относительно недавняя, была всем известна. Нет никаких сомнений, что в начале 1803 года Жюльетта решила переждать грозу в надежде, что весной г-жа де Сталь вернется и всё уладится.

К несчастью, не уладилось. Сколько ни ходатайствовала г-жа де Сталь прямо или косвенно перед Люсьеном и Жозефом Бонапартами, всё без толку. Неофициальная опала за несколько месяцев превратилась в форменное изгнание. Но г-жа де Сталь не собиралась хоронить себя в Коппе. Она стремилась в свой парижский салон, к своему избранному окружению из самых блестящих умов своего века — следует признать, только они одни и могли поддерживать с ней разговор.

Она вела себя хоть и храбро, но неразумно. Ее хотели заставить замолчать — она кричала о несправедливости, уверенная в своих правах и в том, что новая власть должна питать уважение к ее имени, ее репутации и ее состоянию… Она сильно ошиблась в Бонапарте! Между ними завязался поединок, который продлится больше двенадцати лет. Под конец она выбьется из сил, а он добьется лишь растущего неодобрения, двойного порицания: как глава государства, порывающийся обуздать полет творческой мысли, и как мужчина, боящийся и угнетающий женщину.

Г-жа де Сталь попыталась заманить Жюльетту к себе в Коппе, скучая в своей тихой, далекой Швейцарии. Но то лето г-жа Рекамье провела, в виде исключения, в замке Сен-Брис, на опушке леса Монморанси, так как Клиши был на ремонте.

В своем письме г-жа де Сталь просила ее отговорить Дюпати от его планов поставить водевиль, пародирующий «Дельфину», что сама она расценивала как пинок бедной изгнаннице. Судьба этого проекта неизвестна, зато мы знаем, что г-жа Рекамье заступилась за Дюпати, когда тот не поладил с властями. Бонапарту не понравился его дивертисмент под заглавием «Прихожая, или Слуги между собой» — насмешливая карикатура на выскочек с темным прошлым и нечестно приобретенным состоянием. Под тем предлогом, что Дюпати, морской офицер, не

испросил разрешения на выход судна из порта, его посадили на гауптвахту в Бресте, а затем отправили в Кайенну. С борта корабля он написал Жюльетте, моля ходатайствовать о его помиловании. Слава богу, ей это удалось, и Дюпати не депортировали. Иначе Французская Академия лишилась бы одного из своих членов.

***

Положение г-жи Рекамье в политической обстановке того времени было сложнее, чем кажется. Она была связана со всеми общественными течениями, но у них всех был повод ее критиковать. В свое время ее нейтралитет ценили, теперь же, когда в обществе произошла перестройка, а оппозиционные фракции определились перед лицом власти, захваченной одним человеком, нейтралитет превратился в недостаток.

Взять хоть роялистов: всем известна дружба Жюльетты с Монморанси, Ноайлями, Сегюрами, Ламуаньонами, равно как и ее отношения с такими деятелями, как старый Лагарп (который к тому времени только что умер), послами Австрии и Пруссии, членами королевских семей, бывавших в Париже, как, например, герцог Вюртембергский, ухаживавший за нею на балу в Опере. Не забыли и того, что г-н Бернар лишился должности за помощь им. Они знали, что находятся под наблюдением (Адриана даже только что выслали за то, что он в письме, перехваченном «черным кабинетом», назвал Бонапарта «прохвостом»), знали они и то, что Жюльетта в хороших отношениях с Фуше, что может пригодиться… И тем не менее «агенты Людовика XVIII» в Париже не щадили г-жу Рекамье, чей муж был в их глазах одной из финансовых опор «узурпатора».

Либералы: известно, что она с детства дружила с Камилем Жорданом и Лемонтеем, который до самой смерти будет ужинать у нее по субботам. Не говоря уже о Дежерандо, Бенжамене Констане и баронессе из баронесс… И всё же, что думали эти просвещенные — и встревоженные — умы о салоне Жюльетты, наполненном довольными собой рубаками, у которых конституционные тонкости вызывали зубовный скрежет и которые, дай им волю, навели бы порядок во всей этой «метафизике», как говорил их командир… Они знали о ее более чем тесных связях с некоторыми, очень влиятельными членами семьи Бонапарта, в которой они уже видели своего рода мафию, готовую рвать глотку за с таким большим трудом добытые привилегии…

Что до республиканцев, или до того, что от них осталось, они корили г-жу Рекамье за ее огромное состояние, социальную элитарность, близость с обладателями знатных фамилий прежнего и нового режима.

В Тюильри всё это осознавали, но, несмотря на свою суровость, Бонапарт не был бесчувствен к чарам Жюльетты. Поэтому он щадил ее, и она пользовалась относительным, но все-таки доверием, когда оно ей требовалось, чтобы помогать другим. Таким образом Жюльетта, заручившись поддержкой во всех кругах, сохранила некую неприкосновенность.

Она независима, не следует никакой конкретной идеологии: ее темперамент оберегает ее от всяких излишеств, эксцессов, как в образе мыслей, так и в действиях. Она не способна шумно отстаивать какую-либо идею, в душе она не борец, ее оценки четки и проницательны, хотя у нее не политический ум. Вот только она не выносит, когда трогают ее друзей. И она спокойно и искренне принимает сторону несчастной и преследуемой дружбы.

В конце сентября 1803 года г-жа де Сталь поселилась в Мафлие, неподалеку от Парижа. Она написала Первому Консулу, прося разрешения провести два месяца в деревне в сорока километрах от Парижа, чтобы поправить здоровье детей и уладить финансовые дела супруга, и получила ответ, что, если она не уедет сама, жандармы отконвоируют ее до самого Коппе. Дело плохо.

Г-жа де Сталь приехала на несколько дней в Сен-Брис. Жюльетта была взволнована: «Я стала свидетельницей ее отчаяния. Она написала Бонапарту: „Какой жестокой славой вы меня наделили, я стану одной из строк в Вашей истории“. Я страстно восхищалась г-жой де Сталь. Разлучивший нас поступок жестокого произвола явил мне деспотизм в своем самом отвратительном проявлении. Мужчина, изгонявший женщину, и какую женщину, причинявший ей такую боль, в моих мыслях мог быть лишь безжалостным деспотом; с тех пор мои желания были направлены против него, против его восшествия на трон, против установления безграничной власти».

15 октября Первый Консул послал в Мафлие жандарма с предписанием выехать в двадцать четыре часа за сорок лье (160 километров) от Парижа. Г-же де Сталь оставалось лишь подчиниться и собрать чемоданы. Она проехала через Сен-Брис, чтобы попрощаться с прекрасной подругой, и застала там Жюно, военного губернатора Парижа, обещавшего вступиться за нее. На следующий же день Жюльетта отправила г-же де Сталь письмо, извещающее о результате этого ходатайства: Первый Консул

милостиво разрешил г-же де Сталь не покидать пределов Франции и даже, если захочет, поселиться в Дижоне. Она взывала к терпению и сдержанности подруги в надежде на благополучное разрешение конфликта. Однако письмо не дошло до адресатки. Она покинула Францию на несколько лет.

***

Вскоре после этого Жюльетта, невзлюбившая человека, который обидел ее подругу, стала внимательнее прислушиваться к проектам Бернадота.

Воплощение услужливости и соблазнительности, бывший сержант был при том сама хитрость в образе человека. Умен, ловок, наделен политическим чутьем, безупречным хладнокровием и, как настоящий гасконец, дожидается своего часа. На него не произвел впечатления маленький корсиканец с прямыми волосами, на пять лет младше него и произведенный в генералы в тот же год, что и он сам. Бернадот не боялся Бонапарта (он, так сказать, походя отбил у него марсельскую невесту, Дезире Клари, и сделал своей женой) — он его ненавидел. Беспрестанно плел заговоры, и Бонапарт об этом знал. Но Бернадот не тот человек, которым можно вертеть как хочешь! Первый Консул пытается удалить его и назначает послом в США. Тот не спешит садиться на корабль, зная, что возобновление войны с Англией неминуемо, и цепляется за этот предлог, чтобы вернуться в Тюильри и передать себя в распоряжение армии…

Чтобы остановить продвижение к абсолютизму, он планировал собрать группу генералов, которые официально взяли бы под арест Бонапарта. Не хватало самого популярного из них, самого известного — Моро. Поэтому Бернадот попросил Жюльетту, бывшую близкой подругой г-жи Моро, организовать тайную встречу у нее дома. «Они вели долгие разговоры в моем присутствии, но было невозможно склонить Моро к тому, чтобы сделать первый шаг», — сообщает она.

Ближе к зиме, на балу у г-жи Моро, Бернадот снова перешел в наступление. Отсутствие на празднике официальных лиц вносило тревожную нотку, говоря об изоляции Моро. Бернадот стал уверять его в том, что он один может диктовать условия Бонапарту, чувствуя за своей спиной поддержку народа. Моро приводил свои аргументы: он сознавал опасность для свободы, но опасался гражданской войны. Он даже отрицал влияние, которое ему приписывали. Бернадот вышел из себя: «Бонапарт поиграет свободой и вами. Она погибнет, несмотря на наши усилия, а вы

окажетесь погребены под ее развалинами, не дав боя».

Впоследствии Моро оказался замешан со многими другими в процессах над Жоржем Кадудалем и Пишегрю, но г-жа Рекамье оставалась убеждена в том, что он был неповинен в заговорах, как и тогда, с Бернадотом.

Итак, все труды Бернадота пошли прахом. Впоследствии Бонапарту удастся — временно — привлечь его на свою сторону. Он даже включит его в число своих маршалов XII года Республики, хотя это ни в чем не изменило их взаимной неприязни. Из всех маршалов, сделанных Наполеоном феодалами и засланными возглавлять то или иное герцогство, княжество или королевство, Бернадот станет единственным, который без покровительства французского императора займет настоящий трон (шведский), долго на нем продержится и умрет, любимый своими подданными.

Что до Моро, этот щепетильный, нерешительный, покорный человек, подверженный разрушительному влиянию супруги и тещи (ненавидевших Жозефину), скорее всего, оказался марионеткой в серьезнейшем деле Кадудаля. Так думала Жюльетта, считая его невиновным. Но узнаем ли мы когда-нибудь правду?

Заговор XII года Республики

Возобновление войны с Англией в мае 1803 года привело к оживлению деятельности роялистов, которым снова обеспечили надежный тыл по ту сторону Ла-Манша. Один из редких вождей шуанов, не сложивших оружия — Кадудаль, которого все звали по имени — Жорж, — с августа находился в подполье в Париже. Он участвовал во всех крупных шуанских акциях, начиная с осады Гранвиля вплоть до высадки в Кибероне. Трудно поверить, но борцом за восстановление прежней монархии был человек из народа. Его храбрость, сила духа, его энергия создали ему ореол легенды. Можно себе представить, с каким усердием разыскивала его полиция.

Но Жорж был неуловим. Было известно, что он замышлял убийство Первого Консула, между 1 и 15 февраля 1804 года. 16 января во Францию прибыло подкрепление из тридцати пяти роялистов. Один арестованный шуан, Буве, «раскололся» и выдал заговор, возглавляли который, по его словам, два генерала — Пишегрю и Моро. Изложенный им план выглядел вполне логичным: «Восстановление Бурбонов: в парламенте проводит работу Пишегрю, восстание в Париже, поддержанное присутствием лица королевской крови; атака живой силы против Первого Консула; Моро представляет государя армии, предварительно настроив соответственно умы».

Бонапарт отреагировал незамедлительно: 15 февраля он отдал приказ об аресте Моро, что вызвало «живые протесты» со стороны общественности. 28-го настал черед Пишегрю, выданного другом, у которого он прятался на улице Шабане. Блестящий главнокомандующий Рейнской армией, в шесть недель завоевавший Голландию, переметнулся в другой лагерь — в армию Конде; при Директории он вернулся и добился своего избрания в Совет Пятисот. Высланный после фрюктидора в Кайенну, он сбежал оттуда и добрался до Лондона. Там он вступил в заговор против Бонапарта вместе с двумя братьями Полиньяками. Общаясь с членами королевской семьи, Пишегрю многое знал, возможно, даже слишком…

Его обнаружили повешенным в камере до начала подготовлявшегося шумного процесса: общество полагало, что его убили. Тем временем наконец схватили Жоржа, 9 марта, на перекрестке Бюси, после жаркой драки. Допрос подтвердил планы убийства. «Я должен был напасть на Первого Консула, только когда в Париже появится французский принц, а его пока еще нет», — вот и всё, что удалось из него вытянуть. Какой принц?

На следующий день Совет правительства, включая всех трех консулов, верховного судью Ренье, Талейрана и Фуше, решил похитить в Германии, в Эттенгейме, герцога Энгиенского, последнего отпрыска дома Конде. 21 марта, в три часа утра, герцога расстреляли у Венсенских рвов, после недолгого заседания военного трибунала. Во встрече с Первым Консулом ему было отказано.

Процесс Жоржа — Моро открылся 25 мая на фоне неописуемого брожения умов: убийство герцога Энгиенского вызывало возмущение, повешение Пишегрю ошарашивало, трудно было поверить, что Моро спутался с роялистами, ведь он всегда проявлял, скорее, республиканскую независимость по отношению к консульскому режиму. К этому добавлялось любопытство к Жоржу: такая личность завораживала публику…

Г-жа Моро дала понять г-же Рекамье, что ее присутствие будет приятно ее мужу, и та отправилась на заседание. Обвиняемых было сорок семь, возле каждого стояли по два жандарма, поведение охранников Моро свидетельствовало о их глубоком к нему почтении. Жорж защищал только своих друзей. Когда ему предложили последовать примеру других обвиняемых и попросить пощады, он сказал: «Обещаете ли вы предоставить мне лучший случай умереть?» Моро не произнес ни слова. По окончании заседания г-жа Рекамье пошла к выходу мимо скамей подсудимых. Моро вели ей навстречу. Он тихо проговорил ей слова благодарности и просил прийти еще. Но на следующий день, в семь утра, ей доставили послание Камбасереса, призывавшего ее, в интересах Моро, больше не появляться на суде: читая отчет о заседании и увидев ее имя, Первый Консул воскликнул: «А что там делала госпожа Рекамье?» Та поспешила к супруге генерала, и г-жа Моро посоветовала ей подчиниться. К концу процесса все дела были заброшены, народ высыпал на улицы, говорили только о Моро.

10 июня были вынесены двадцать смертных приговоров, приговор Жоржа был утвержден. Он умер так же храбро, как и жил, с горькими и верными словами на устах: «Мы хотели себе короля, а получили императора!» Моро, приговоренный к двум годам тюрьмы, будет выслан по приказу Бонапарта и отправится в Америку. Странная судьба Моро состоит сплошь из недоразумений: он вернется в Европу, чтобы сражаться вместе с русскими, и погибнет под Дрезденом в 1813 году, сраженный французским ядром. Как и его бывшие собратья по оружию, он будет произведен в маршалы, но только Людовиком XVIII и посмертно…

***

Хотя процесс вышел громким, а убийство герцога Энгиенского повергло в ужас иностранные дворы и роялистов, в целом общественное мнение было по-прежнему на стороне Бонапарта и нашло совершенно естественным, что он ускорил события, учредив сенатус-консультом Империю 18 мая 1804 года. Раньше за него боялись, а теперь успокоились.

«Я навсегда заставил замолчать роялистов и якобинцев», — заявил он после казни в Венсене. Фуше сказал тогда: «Это больше, чем преступление, это ошибка!» — и эту ошибку надо было использовать, как трамплин. Первый Консул не колебался, и добрый народ узнал о новом счастье, постигшем его, из следующего сообщения (повторявшего первую статью сенатус-консульта): «Управление Республикой доверено императору, принимающему титул Императора французов…»

Тот, кого отныне следовало называть по имени — Наполеон, в тридцать пять лет обладал колоссальным умом, широким кругозором, несравненной работоспособностью и волей стать абсолютным властителем, способным подчинить весь мир. Он управлял путем издания декретов, окружая себя покорными и ему одному подчиняющимися министрами, проводя систематическую централизацию служащей ему администрации, привлекая к своему двору каждого политического и военного деятеля, которого, по его выражению, он занимал «погремушками» и мог сломать, если тот не согнется. Он опирался на безупречную полицию, управляемую Фуше, который каждое утро информировал его обо всем, что происходило во всех кругах: в прессе, театре, финансах, частных кружках, общественных местах… Короче, Французская республика — это название находилось в употреблении до 1809 года — находилась в умелых и твердых руках — руках диктатора.

Франция не была этим недовольна. Посредственность всегда хорошо уживается с абсолютизмом, а молчаливое большинство — в то время его интеллектуальный уровень был особенно низок — положительно воспринимало простые схемы: централизацию, иерархизацию, милитаризацию. Отсутствие мыслей, жизнь в ногу, удобство надзора во всех обстоятельствах — чего еще желать? Лучше бы, конечно, мир, но военные успехи, идущие один за другим, опьяняли, кричащая роскошь новой аристократии, напыщенность вельмож вызывали восхищение. Нельзя не согласиться с императором, когда тот писал своему брату Жозефу, что «у людей нет других прав, кроме права быть управляемыми». Управляемыми им, вот счастье-то!

Просвещенные круги смотрели на дело совсем иначе. Они слишком хорошо понимали, куда всё зашло: творчество и суждение будут либо уместными, либо запрещенными. Всякая критика — задушена. Несогласное меньшинство, невыносимое для власти, будет вынуждено уйти в подполье. Не понравиться ему — уже крайне опасно. Любой голос, обличающий возврат к закабалению, а следовательно, обскурантизму, будет заглушён. Придется подчиняться, присутствовать при печальном зрелище всеобщей покорности: внутри — элита с заткнутым ртом, вовне — Европа, десять лет подряд предаваемая огню и мечу, бессильная и словно загипнотизированная железным кулаком и харизмой непредсказуемого завоевателя…

Подчиниться, присоединиться, пассивно или активно сопротивляться — иного выхода нет. В окружении г-жи Рекамье, как и во всех семьях, настал раскол. Г-н Рекамье был сторонником того, чтобы не столкнуться лоб в лоб с человеком, которому он по-прежнему доверял. Жюльетта не имела никакого снисхождения к «безграничной власти» и была решительно настроена скрытно противостоять ей, по возможности избегая инцидентов. Она продолжала вести прежнюю жизнь, не удивляясь сверх меры переходу некоторых (например, Бернадота) на сторону власти, но крепя дружбу с г-жой де Сталь и братьями Монморанси. Г-да Бернар и Симонар предавались умеренным радостям камерного роялизма, в то время как другие близкие знакомые, например кузен Брийа-Саварен, гастроном, но прежде всего судейский, открыто решили сделать хорошую карьеру, послужить.

Жюльетта становится заступницей несчастных

Зная, что в Париж ей дорога закрыта, г-жа де Сталь решила совершить осенью 1803 года долгое путешествие в Германию. Она совершенно справедливо полагала, что хороший прием, который она там встретит, компенсирует недружелюбие к ней французского правительства. Сопровождаемая Бенжаменом Констаном и своими тремя детьми, она сначала остановилась во Франкфурте, где от Шатобриана, с большим трудом начинавшего дипломатическую карьеру в Риме, получила известие о смерти г-жи де Бомон. Ласточка отправилась в последний полет, испустив дух в Вечном городе, подле того, кого любила.

«Я намерен серьезно подумать о покое и навсегда вернуться к моей безвестности», — писал Шатобриан. Ни одному слову нет веры! Сколько раз он будет делать такие заявления о намерениях! Это всего лишь обороты стиля, присущие созданному им персонажу, Рене, на которого он почитал своим долгом быть похожим, по крайней мере в тот период своей жизни. Обмануться этим хоть на минуту было бы большой наивностью! Шатобриан, избавившись от бедняжки де Бомон, уже завязал отношения с г-жой де Кюстин, которая останется в истории под именем «дамы из Фервака». Он элегантно оплакивал ту, кого не сумел спасти от величайшего из мучений — его самого. Можно попутно восхититься нахальством этого скромного служащего, имевшего неловкость не понравиться послу, кардиналу Фиески, дяде Первого Консула, тем, что без разрешения сам презентовал своего «Гения» папе римскому (никто лучше него не умел разрекламировать свои произведения), а затем письменно раскритиковал политику вышеозначенного посла (что не могло укрыться от «черного кабинета») и, наконец, на виду у всего Рима, похоронил свою любовницу, скончавшуюся от туберкулеза! Неловкий, но достаточно сметливый, чтобы привлечь на свою сторону местные власти, когда он затеял за свой счет соорудить надгробие Полине де Монморен в церкви Святого Людовика Французского, на которое и сейчас нельзя взглянуть без волнения…

Перо г-жи де Сталь отличалось большей непосредственностью, по меньшей мере, в письмах оно передавало настрой ее души. Она тепло утешала друга, заверяя в сестринских чувствах к нему, осыпая комплиментами и выражая надежду на встречу.

Из Франкфурта она отправилась в Веймар, в Саксонию — маленький, «самый поэтический», по выражению Сент-Бёва, самый интеллектуальный двор Германии… Едва приехав, г-жа де Сталь узнала, что даже самые низшие классы общества читали «Дельфину», а что Шатобриан здесь едва известен — это не могло ей не понравиться! Здесь никто не пел излишних гимнов обскурантизму папистов!

Всё же ей пришлось прождать десять дней, пока великий Гёте (настроенный против нее своей матерью) не вернулся из Йены для встречи с ней. Она повидалась с Шиллером, другой знаменитостью, которым восхищалась с большей симпатией. Двор устроил ей триумфальный прием, и всё было бы к лучшему в этом лучшем из изгнаний, если бы г-н Неккер тяжело не заболел. Его дочь находилась в Берлине, когда получила известие об ухудшении состояния больного. Она тотчас же повернула назад. Но опоздала: в Веймаре она узнала о смерти отца, наступившей 9 апреля.

В жизни г-жи де Сталь наступил новый этап: она обожала своего отца и до последнего момента отказывалась думать о неизбежном (иначе разве бы оставила она старика одного на несколько месяцев!), но по истечении траура вдруг стала хозяйкой своей жизни, своего состояния (огромного, что для Европы, что для Америки), своего «таланта» и своей «славы» (два ключевых понятия у Неккеров), и всё это было сосредоточено в одном слове, в одном месте: Коппе. Начиналась великая эпоха Коппе, его лучшие дни, насыщеннейшие часы.

***

Было совершенно очевидно, что теперь, когда ситуация во Франции ужесточилась, но и прояснилась, дама из Коппе должна выработать стройную линию поведения, если не хочет быть запертой в своем уделе. К несчастью, ее неоднозначность по отношению к недвусмысленной ситуации осталась неизменной.

С одной стороны, она хотела вернуться и продолжала ходатайствовать об этом, подключив Жюльетту, с другой стороны — не упускала случая заставить говорить о себе, что шло ей во вред. Жермена во всеуслышание заявляла о том, что она изгнанница, политическая жертва, при этом не пренебрегая ничем, чтобы перестать таковою являться. Она делала всё, чтобы снова войти в милость, и при этом же всё, чтобы усугубить свое положение. Надо было бы выбрать одно из двух: или добиться возвращения в Париж и, сыграв на руку противнику, заставить

забыть о себе, поскольку Наполеон опасался ее «движения», либо наплевать на Париж и жить во славе где-нибудь в другом месте, в намеренном изгнании, порвав с режимом, не одобрявшим ее, но который не одобряла и она сама.

Вместо этого она пишет из Германии Жозефу Бонапарту, прося о заступничестве перед Первым Консулом, но подчеркивая, что ее хорошо принимают при прусском дворе. В начале лета она обращается с просьбой о содействии к Жюльетте, называя ее столь же влиятельной, как грозный министр имперской полиции. С ума сойти! Жюльетта под надзором! Однажды Первый Консул взорвался, узнав утром, что накануне три его министра находились на улице Монблан: «С каких это пор совет министров собирается у г-жи Рекамье?» И всё же, начиная с этого времени, Жюльетта становится ангелом-хранителем, ходатаем преследуемой г-жи де Сталь, посланницей несчастья…

Теперь необходимо познакомиться с новой дамой, явившейся в парижском свете, которая станет несравненной подругой для г-жи Рекамье, всегда будет рядом с ней и получит большее значение в ее жизни, чем шумная г-жа де Сталь: это графиня де Буань.

Она была дочерью маркиза д'Осмонда, из семьи, происходившей от древнего нормандского рода, родилась в Версале в 1781 году и, по ее собственным словам, была воспитана «буквально на коленях у королевской семьи», которой служили ее родители. Она выросла посреди высшей знати, эмигрировавшей в Лондон. Адель превратилась в восхитительную девушку, ее пепельные волосы и черные глаза, равно как ее таланты и острота ума, привлекали к ней внимание. Она в некотором роде принесла себя в жертву, выйдя за богатого старика, графа Бенуа де Буаня (тогда произносили «Буана»), савойца, сделавшего состояние в Индии. По ее словам, это был ругатель, солдафон, с грубыми манерами и «восточной» ревностью… Он быстро вернул ее родителям и, заключив разумную финансовую сделку, они вели эпизодическую супружескую жизнь, чисто внешнюю, но спокойную. Г-н де Буань, который, как и г-н Рекамье, умрет уже глубоким стариком, станет благодетелем своего родного города, Шамбери, построив там при Реставрации театр, школы, научные учреждения, дом престарелых и лечебницу для душевнобольных. Во времена, когда системы собеса еще не существовало, такие частные инициативы очень ценились. Генералу де Буаню в Шамбери поставят памятник: он действительно его заслужил.

Г-жа де Буань, несмотря на солидное домашнее воспитание, обладала собственным суждением, рано сформированным под воздействием испытаний, пережитых ее семьей, а также

супружеским опытом (более оскорбительным, чем у Жюльетты). В начале века она вела себя настолько вольно, насколько ей позволяли кастовые предрассудки. Она была слишком умна, чтобы не сожалеть о несдержанности лондонских роялистов, совершенно отрезанных от реалий французской жизни. Она быстро прониклась, на примере Англии, идеями конституционной монархии, и при Июльской монархии придерживалась позиции «золотой середины».

Когда она в одиночку прибыла в Париж, чтобы подготовить возвращение своей семьи, то оказалась словно на другой планете. Благодаря семейным связям быстро обосновалась в аристократическом квартале и оттуда наблюдала за зрелищем… На первом балу француженки показались ей элегантными нимфами, заставившими позабыть о том, что в Лондоне ей приходилось видеть гораздо больше красивых женщин. Впрочем, в повседневной жизни разница была поразительна: дома прелестницы ходили неодетые и нечесаные. Впрочем, за несколько лет эта дурная привычка исчезла, и француженки стали и дома так же следить за собой, как англичанки, а в свете одевались с изысканным вкусом. Ее первая встреча с Жюльеттой, о которой г-жа де Буань повествует в своих «Мемуарах», произошла в декабре 1804 года, немногим позже коронации Наполеона. Это было на балу в особняке Люинов. Сначала Жюльетта не поразила ее своей внешностью, однако с каждым новым взглядом она казалась все красивее и красивее…

***

Летом 1805 года, в то время как множились военные приготовления, а против Наполеона формировалась третья коалиция, объединившая Англию с Россией и Австрией, Фуше наметил Жюльетту в придворные дамы.

Эта идея исходила, вероятно, от самого министра полиции, ценившего Жюльетту, знавшего, что она нравится императору, и прекрасно представлявшего себе, чего могла добиться — в разных областях — эта скромная, но обладавшая даром убеждения подруга, если бы стала монаршей фавориткой. Он часто наведывался в замок Клиши и пытался увлечь Жюльетту своими блестящими планами, которые раскрывал со свойственной ему осмотрительностью. Но непроницаемый Фуше мог сколько угодно изощряться во вкрадчивом красноречии и живописать выгоды, которые можно себе представить, — он натыкался на мягкое, но стойкое непонимание. Более того, г-жа Рекамье доверилась мужу

и, опираясь на его поддержку (г-н Рекамье никогда не шел наперекор желаниям жены), уклонилась от предложенной чести.

Вскоре ее пригласили в Нейи, к Каролине, которая пустила в ход всю свою любезность и обаяние, пытаясь в присутствии Фуше убедить ее стать статс-дамой при дворе, которым в данный момент окружал себя ее брат. Жюльетта пришла в несказанное смущение. Под конец встречи Каролина (г-жа Мюрат) вспомнила о том, что г-жа Рекамье восхищается талантом Тальма, и предоставила в ее распоряжение свою ложу во Французском Театре. Эта ложа находилась напротив ложи императора. Г-жа Рекамье дважды воспользовалась полученным предложением. Случайно или намеренно, но на этих двух представлениях присутствовал и Наполеон, во время спектакля не отводивший лорнета от ложи напротив. Это не ускользнуло от внимания царедворцев, и все твердили, что г-же Рекамье уготована высочайшая милость. Отнюдь! Жюльетта не имела никакого желания прислуживать семейству Бонапартов и принимать милости от того, кто преследовал г-жу де Сталь, идти на сговор с режимом, которого не одобряла. С какой стати ей было отрекаться от свободы — ей, пользовавшейся полнейшей независимостью, имевшей в своем распоряжении огромное состояние, — чтобы вдруг превратиться в камеристку на службе клики выскочек, рвавших друг друга на части и стремившихся лишь высмеять конкурента, чтобы получить побольше подачек, нашивок или титулов для своих мужей!.. Что до императрицы, об этом не могло быть и речи, ведь она постоянно ревновала человека, которого так мало любила, когда он сильно дорожил ею, а теперь начинал пренебрегать… Жюльетта отказалась, сославшись на положение г-на Рекамье. Ее отношения с Фуше охладились, но на том и покончили.

Крах

В среду 13 ноября 1805 года Наполеон разместил свой штаб в Шенбрунне, а свою ставку — в Вене. Всё, по крайней мере, на суше, ему удавалось: в двадцать дней он привел двести тысяч солдат из лагеря под Булонью за Рейн, взял Ульм, спустился по Дунаю и вступил в столицу Габсбургов. Через две недели произойдет сражение под Аустерлицем. Пока в осеннем тумане часовые мерно расхаживали по ступеням изящного дворца Марии Терезии, парижский префект полиции ознакомился с донесением о волнениях в банковских кругах: «Объявленные крупные банкротства (Рекамье, Гренден и Казенак, вкладчики коммандитного общества) вызвали всеобщую растерянность».

На следующий день пришло подтверждение: «Продолжаются разговоры о банкротстве Рекамье. Уверяют, что речь идет о двадцати миллионах…»

В субботу г-н Рекамье объявил семье, что если правительство не разрешит Французскому Банку ссудить ему один миллион, то уже в понедельник банк Рекамье будет вынужден приостановить выплаты. Он был уничтожен и попросил Жюльетту одной хозяйничать на большом ужине, назначенном на завтра. Он предпочел удалиться в ожидании возможного решения властей.

Власти на помощь не пришли. Жюльетта сумела взять себя в руки и делала хорошую мину при гостях, которые ничего не заподозрили, хотя слухи ходили уже неделю… Нервы у нее оказались крепче, чем у мужа, хотя, по ее собственному позднейшему признанию, она чувствовала себя точно в кошмарном сне, и от испытываемых ею нравственных мучений даже материальные вещи принимали в ее глазах странный и фантастический облик.

Финансовый кризис, вызванный в основном положением в Испании и ее колониях — и сполна отразившийся на Рекамье — разразился не шуточный. Крах дома Рекамье имел огромные последствия, ибо головной банк поддерживал множество банков дочерних, рухнувших вместе с ним. Наполеон мог бы их спасти. Ясно, что он не имел ни малейшего желания оказать услугу Жюльетте, отвергнувшей предложение, которое он почитал великой честью, да и самому Рекамье, поддержкой которого он заручился в былые времена, но любил его не больше прочих финансистов.

Для красавицы Жюльетты рухнул целый мир. Сказочная жизнь кончилась, будто разорвали волшебное покрывало.

Г-н Рекамье, чья порядочность и профессиональная

компетентность не ставились под сомнение, отказался от всего личного имущества, и его кредиторы, в знак уважения, назначили его руководить ликвидацией собственных дел. Продали всё — украшения, серебро, хрусталь… Резко ограничили себя в повседневных расходах, и у Жюльетты осталось лишь временное пристанище в бывшем ее особняке на улице Монблан, который, пока не подыщется покупатель, сдавали одному из ее друзей, князю Пиньятелли.

Какой удар! Воистину, лишь в испытаниях проявляется искренность чувств, которые к тебе питают: в этом плане Жюльетта была счастлива. Ни один из друзей не отвернулся от нее, напротив: ее жалели и окружили еще более плотным кольцом.

Бенжамен Констан, близкий ее друг, отметил в своем дневнике в роковой день, воскресенье 17 ноября 1805 года: «Банкротство г-на Рекамье. Бедная Жюльетта! Неужели несчастье обрушивается лишь на то, что есть хорошего в мире?»

Реакция г-жи де Сталь была достойна восхищения. В тот же день она написала подруге письмо, исполненное твердости и великодушия. Она жаждала утешить Жюльетту, приглашая ее к себе, на берега Женевского озера, или предлагая приехать самой в Лион или к установленной для нее черте в сорок лье от Парижа. «Разумеется, если сравнить Ваше положение с тем, каким оно было, Вы проиграли, — писала г-жа де Сталь, — но если бы мне было возможно завидовать тому, что я люблю, я отдала бы всё, что я есть, чтобы быть Вами. Несравненная краса Европы, незапятнанная репутация, гордый и великодушный нрав — сколько счастья еще в этой печальной жизни, в которую Вы вступаете обездоленной!.. Дорогой друг, пусть Ваше сердце будет спокойно посреди этих несчастий: ни смерть, ни безразличие друзей Вам не грозят, а это суть вечные раны».

Жюно, испытывавший дружеские чувства к Жюльетте, присутствовал при данных событиях и, явившись из Парижа в Шенбрунн накануне сражения при Аустерлице, обратился к Наполеону с рассказом о банкротстве Рекамье, яростно обличая государственного казначея Марбуа, отказавшего банку в каких-то двух миллионах, которые могли бы его спасти. По словам Жюно, весь Париж, как и он сам, считал, что, будь император в столице, он не раздумывая выдал бы эти деньги. «Ну так вы с Парижем ошибаетесь, — холодно ответил на эту пылкую речь Наполеон. — Я не приказал бы дать и двух тысяч су, и был бы сильно недоволен Марбуа, если бы он поступил иначе. Я не влюблен в г-жу Рекамье и не прихожу на помощь негоциантам, живущим на шестьсот тысяч франков в год, так и знайте, г-н Жюно».

Бернадот узнал новость от Жюно и почти тотчас, едва оправившись от полученных ранений, написал Жюльетте письмо с заверениями в своей преданности.

Получив многочисленные свидетельства сочувствия и дружбы, Жюльетта успокоилась и рассудительно и хладнокровно занялась устройством своей новой жизни. Она не потеряла ни друзей, ни репутации. Напротив! Ее душевное спокойствие вызывало уважение, и поскольку все знали о доле ответственности властей в переживаемых ею испытаниях, ее жалели. Благородные кварталы сблизились с нею, ведь теперь ее окружал ореол несчастной невинности, который ценился гораздо больше, чем ореол богатства!

Г-жа де Буань, отмечая это, составила портрет г-жи Рекамье — проникновенный психологический анализ. Вот его первая часть:

> Г-жа Рекамье — подлинный тип женщины, такой, как она вышла из рук Творца для счастия мужчины. Она обладает всеми женскими чарами, добродетелями, несуразностями и слабостями. Если бы она стала супругой и матерью, ее судьба бы свершилась, свет меньше толковал бы о ней, а она была бы счастливее. В отсутствие этого природного призвания ей пришлось восполнять его в обществе. Г-жа Рекамье — воплощенное кокетство, которое она довела до гениальности, став восхитительной главой отвратительной школы. Все женщины, пожелавшие подражать ей, ввергли себя в интриги или беспорядочную жизнь, тогда как она всегда выходила чистой из пекла, в которое ее забавляло устремляться. Это не вызвано холодностью ее сердца, ее кокетство порождено добродушием, а не тщеславием. Ей гораздо больше хочется любви, нем поклонения… Поэтому она сумела сохранить привязанность почти всех мужчин, которые были в нее влюблены. Впрочем, я не знала никого, кто умел бы так сочетать исключительное чувство со знаками внимания, оказываемыми довольно широкому кругу.
>
> Все славили ее несравненную красоту, ее деятельную благотворительность, ее мягкую учтивость; многие превозносили ее острый ум. Но мало кто сумел обнаружить под простотой ее обычного обращения возвышенность ее сердца, независимость ее характера, непредвзятость ее суждения, здравость ее ума. Иногда она подчинялась силе, но никогда — чужому влиянию.

Запомним эту последнюю черту: она — ключ к характеру Жюльетты.

Смерть матери

Неоспоримая победа при Аустерлице, оставшаяся в сознании людей образцом наполеоновского сражения (а погибло 22 тысячи человек), привела к заключению Пресбургского мира. Император французов реорганизовал по своей воле Южную Европу, передав королевства-вассалы своей семье: его брат Жозеф стал Неаполитанским королем, Луи — Голландским, его пасынок Евгений де Богарне — вице-королем Италии (королевский титул Наполеон присвоил себе предыдущей весной), а муж Каролины Мюрат — эрцгерцогом Бергским, в Вестфалии. Бавария и Вюртемберг отныне тоже получили королей в лице своих законных государей. «По его слову короли входили или выпрыгивали в окно!» — писал Шатобриан. Северные страны, начиная с Пруссии, серьезно забеспокоились…

Париж жил под знаком военных праздников (особенно зимой, когда армии не участвовали в походах), молебнов и парадов. При этом парижане не забывали о своих обычных развлечениях, начиная с маскарадов. Сам Наполеон являлся на них. Его падчерица Гортензия рассказывает в своих «Мемуарах», что он посоветовал ей отправиться туда с матерью. Они повиновались, но в толпе, собравшейся в Опере, никто не заговаривал с ними, пока к ним не приблизилась одна маска: «Как, вам дозволили развлечение, что для вас редкость, и вот как вы этим пользуетесь! Вы просто дурочка!» Это был император…

Жюльетта тоже любила маскарады. Мы знаем из письма юного Огюста де Сталя к матери (ему тогда было пятнадцать лет, и он готовился в Париже к поступлению в Политехнический институт), что прекрасная подруга Жермены охотно отвлекла бы его от серьезных занятий, если бы в дело не вмешался суровый Матье де Монморанси.

«Маленький недотепа», как называла его г-жа де Сталь, остроумием не блистал, но не был лишен известной доли нахальства. Незадолго до того любезной баронессе пришлось поставить его на место за такое письмо к ней:

> Позавчера, дорогая маменька, я отнес твое письмо Жюльетте; она удерживала меня подле себя весь день. Пришлось слушать, как она играет на пианино, скверно поет и беседует еще того хуже. После чего пришлось во что бы то ни стало сопровождать ее к обедне, а потом пешком к ее матери. Я был с нею на бульваре, когда вдруг, к моему несчастию, за нами увязалась гадкая

> собачонка. Она прониклась жалостью к этому уродливому зверьку, и мне пришлось терпеть, когда он путался у меня в ногах… Я бы утешился, глядя на нее, но я уж видел ее утром в неглиже, после ванны, и ни стан ее не был красив, ни лицо приятно, так что я разочаровался даже в самой красоте ее.

Через несколько лет он радикально изменит свое мнение о Жюльетте, равно как и тон…

Жюльетта была сильно обеспокоена состоянием здоровья г-жи Бернар, своей матери, хотя и не показывала этого никому, кроме близких друзей. Г-жа де Сталь, которой снова позволили находиться во Франции в сорока лье от Парижа, поселилась в мае 1806 года между Осером и Авалоном, в замке Венсель, который она снимала у банкира Бидермана. Жюльетта навестила ее и увидела, что атмосфера вокруг баронессы не разрядилась…

Г-жа де Сталь переживала серьезный личный кризис: она чувствовала, что Констан ускользает от нее, и напряженность между ними становилась ощутимой. Шлегель, наставник ее детей и друг семьи, которого она привезла из путешествия по Германии, капризничал и ревновал ко всем. А молодой Проспер де Барант, с которым у нее недавно завязались отношения, был только что назначен в Париж аудитором в Государственный Совет; когда он появлялся в Венселе, сцена следовала за сценой…

Жюльетта пыталась умиротворить свою шумную подругу и, несмотря на собственные заботы, провела несколько дней рядом с ней, но быстро поняла, что ей не следует удаляться от матери. Г-жа де Сталь тоже это сознавала, но всё же не прекращала борьбы, давая Жюльетте разного рода поручения и стараясь быть поближе к ней.

Состояние г-жи Бернар становилось тревожным. Жюльетта, понятно, не могла строить никаких планов, самое большее, отлучилась на несколько дней к маркизе де Кателлан, своей подруге, проживавшей в замке неподалеку от Парижа, да еще раз навестила г-жу де Сталь в Венселе, между 15 и 27 июля.

Жюльетта переживала тяжелые времена. Разорена, под надзором, удалена от любимой подруги, бессильна облегчить страдания обожаемой матери… Свое время она тратила на благотворительность и ходатайства за изгнанников… Порой ей поручали более деликатные дела, когда, например, г-жа де Сталь попросила заступиться за нее перед молодым Барантом… Впрочем, в последний момент неисправимая баронесса удержала ее от этого из опасения, что Барант влюбится в красавицу Рекамье…

Г-жа де Сталь продолжала вращаться вокруг Парижа, «точно несчастная планета», без большой надежды (но она этого не понимала) быть туда допущенной. Пока она жила в Руане, где Фуше позволил ей провести зиму. Она предпочла поселиться под Меленом, в замке Акоста. Принялась там за новый роман, задуманный еще во время пребывания в Италии, весной 1805 года, — «Коринна»… Там же, в Мелене, она узнала в конце января о смерти г-жи Бернар.

20 января мать Жюльетты угасла в своем парижском доме по улице Комартен. До самого конца она оставалась любезной, стараясь произвести хорошее впечатление на посетителей. За шесть дней до смерти, находясь в здравом уме и твердой памяти, она составила завещание.

Это характерный документ, которому уделяли мало внимания. Составлен он был Симонаром-сыном, оценщиком на аукционе, а душеприказчиком назначен Симонар-отец. Жюльетта объявлялась единственной наследницей г-жи Бернар, ясно выражавшей свою «нежную дружбу» к ней и «заботу о ее дальнейшей участи». Г-жа Бернар была богата, и заботой ее было оградить Жюльетту, в том числе и от г-на Рекамье. Она отмечала, что Жюльетта должна передать унаследованное имущество детям, если таковые у нее родятся, и настаивала на том, чтобы та распоряжалась всем, не нуждаясь ни в коем случае во вспомоществовании, присутствии или дозволении своего супруга… Если у Жюльетты не будет детей, ее состояние отойдет ее племянникам и племянницам по материнской линии. Проследить за этим поручалось г-дам де Кателлану и д'Андиньяку, или одному из двух. Если придется назначить новых опекунов, их полагалось избрать совету из по меньшей мере шести родственников. Короче, полнейшее недоверие к несчастному банкиру!

Г-жа Бернар отказала общую долю наследства г-ну Бернару и г-ну Симонару, чтобы не нарушать их привычки жить вместе, возникшей у них с самого детства. Она объяснила это своей нежностью к г-ну Бернару и признательностью к г-ну Симонару, спасавшему их в кошмаре Революции. Она ни о чем не забыла: «Моя дочь будет располагать частью моего движимого имущества, необходимого для обстановки моего мужа и г-на Симонара». Завещание сообщает нам также о том, что г-н Бернар был должен тридцать тысяч франков своей жене, что учитывалось в доле наследства, а на самом деле составляло пенсию, выплачиваемую ему супругой.

Г-жу Бернар похоронили на кладбище Монмартр. Жюльетта посадила на ее могиле кедр, который потом куда-то исчез. Она

получила финансовую независимость и с этой точки зрения надолго оказалась под защитой.

Глава VI
ПРУССКИЙ РОМАН

На берегах Коппе существовало счастье без меня, восторги, чуждые моему существованию…

Шатобриан

Вы одна дали мне познать настоящую любовь, исключающую всякое другое чувство и не ведающую временных пределов.

Прусский принц Август г-же Рекамье

Жюльетта познала самое большое горе в своей жизни. Преждевременная кончина обожаемой матери словно обрекала ее на одиночество. Г-жа Бернар была ее опорой, ее совестью, ее защитой. Никогда она не покидала ее, если не считать нескольких месяцев, проведенных ею в детстве в Вильфранше и в монастыре. И вот теперь мать-подруга, которой можно было довериться в любую минуту, рассказать о самом малом и самом важном происшествии в своей жизни, мудрая женщина, старавшаяся защитить свою дочь, поощрявшая ее светские успехи, словно они были продолжением, порождением ее собственного стремления к приоритету и благополучию, вдруг покинула ее, предоставив самой себе.

Очень жаль, что мы больше ничего не знаем о г-же Бернар, «вылепившей» Жюльетту и находившейся в центре ее эмоциональной жизни. Жюльетта не судила ее. По мнению ее близких, она боготворила мать, как г-жа де Сталь боготворила отца. Г-жа Бернар была образцом для своей дочери с самого юного возраста, от нее Жюльетта унаследовала свою красоту, привлекательность и, частично, — линию поведения. Возможно, г-жа Бернар была более хладнокровной и решительной в своем кокетстве, возможно, она использовала в своих целях свое неоспоримое влияние на других, тогда как Жюльетта лишь проверяла этим себя, но она еще и показала себя предусмотрительной матерью, ловко защищающей интересы дочери. Ибо хотя своим странным семейным положением Жюльетта была обязана в большой степени г-же Бернар, в своем

завещании та выказала грозное недоверие к Рекамье. Вероятно, она плохо приняла его банкротство и потеряла к нему всякое уважение. Эта оборотливая деловая женщина даже из-под гробовой доски сделала для Жюльетты всё, что могла: последний ее шаг должен был компенсировать первый.

Сознавала ли Жюльетта огромную ответственность, которую несла ее мать за ее женскую судьбу? Ведь отныне она была взрослой, а в конце 1807 года пересекла роковую черту тридцатилетнего возраста… Она никогда не знала другого сильного чувства, кроме дочерней любви. К родным ее привязывали любезность и чувство приличий, а еще чувство долга. Перед мужем, например, ведь она уже знала, что он ей отец — г-жа Бернар рассказала об этом, либо во время поездки в Англию, из которой Жюльетта вернулась такой озабоченной, либо в момент банкротства, который мог породить серьезный семейный кризис, либо перед смертью, — и эта связь, хоть она не налагала на нее чувственных уз и допускала взаимную независимость, всё же сковывала ее. Последняя воля матери, в которой говорилось о «будущих детях», приводила ее в замешательство, ибо перед ней открывался новый мир…

Можно представить себе Жюльетту, в глубоком трауре, одну, в маленькой гостиной на первом этаже дома по улице Монблан, из которого виден краешек тусклого зимнего неба и полинявший сад, печальный, окоченелый, в котором деревья, утратившие всё свое очарование, в наготе своей тоже говорят о смерти… Жюльетту одолевают «черные мотыльки», как говорили в ее кругу. Осмысливая открывающиеся перед ней перспективы, она погружалась в раздумья…

Семья? Благородные отцы еще больше сблизились, нужно их поддерживать, утешать, успокаивать, оживлять их существование лучиком женского сияния. Через несколько месяцев, после продажи особняка Рекамье, все, включая Жюльетту, переедут на улицу Бас-дю-Рампар, в двух шагах от улицы Монблан, и жизнь станет повеселее… Потом, слава Богу, есть «милый Поль», который, несмотря на место в администрации, которое ему пришлось принять, помогает, приезжает, уезжает, нагруженный записками и посланиями, сглаживая своей услужливостью шероховатости повседневной жизни… Рана от разорения уже зарубцевалась, и г-н Рекамье старается оздоровить свои дела: он полон надежд снова взять их в свои руки в ближайшее время… По сути, это банкротство положило конец какому-то колдовству, постоянному притворству, не подорвав уважения, с которым к ним относились. Они по-прежнему держались достойно и сохранили прежние светские привычки.

Друзья? Жюльетта с тоской думала о тех, кого уже не было рядом: об иностранцах, вассалах или врагах Франции, которых потрясения в Европе отнюдь не поощряли к путешествиям, не говоря уже об англичанах, у которых не было ни возможности, ни желания вернуться на континент. Была г-жа де Сталь, на плечо которой она оперлась бы с большей охотой, настолько она чувствовала потребность восполнить материнское влияние, настолько привыкла чувствовать над собой власть сильного духа. Но так ли сильна г-жа де Сталь, как ей кажется?.. Во всяком случае, Жюльетта готова отправиться к ней в Мелен, поговорить с ней о многих вещах, интересующих обеих, в частности, о планах дочери Неккера вложить деньги Жюльетты на паях с ней самой. Поговорили бы и о Проспере де Баранте, который писал из Бреслау, куда последовал за армией, и у которого вызывало отвращение «зрелище тысячи ужасов», при котором он присутствовал…

Ибо всё было довольно мрачно. Снова война. Пруссия собрала четвертую коалицию против императора французов, только что придумавшего Рейнскую Конфедерацию — что-то вроде лиги покоренных или союзных государств южной Германии, и прошлой осенью военные действия возобновились. Пруссаков разбили при Йене и Ауэрштадте, в один день. Принц Людвиг, член королевской семьи, был убит 10 октября при Заалфельде, столкнувшись с гусарами Ланна. Его брат, принц Август, несколькими днями позже был пленен драгунами Бомона и виконтом де Резе, при Пренцлау. Раздавленная Пруссия сопротивлялась в лице королевы, прекрасной Луизы, за которой пошли многочисленные патриоты…

Той зимой война была перенесена в Польшу, где французская армия столкнулась с русской. Жуткая бойня при Эйлау, вызвавшая тошноту у самого Наполеона, — двадцать пять тысяч русских и восемнадцать тысяч французов остались лежать на февральском снегу — ничего не решила… В Париже уже не испытывали воодушевления… Зачем нужны эти завоевания, эти тысячи трупов? В Европе только Пиренейский полуостров, Рим, Сардиния, Сицилия да Россия не простерлись под французским сапогом. Пока. Пруссия была почти уничтожена и сведена к своему ядру — Бранденбург, Померания, Силезия. Австрии заткнули рот, Северная Италия, Неаполь, Нидерланды, Бельгия, Женева находились под властью императора французов. Швейцарские кантоны, Бавария, Вюртемберг, Саксония, Баден, Франкфурт, Берг, а вскоре и Вестфалия покорно следовали за ним… Печальное зрелище! Когда же Европа найдет в себе силы восстать, прекратить это нелепое распределение ее народов и

богатств в пользу одного господина!

Как нужно было Жюльетте хоть ненадолго позабыть об этой мрачной картине! Но как тут развлекаться! У нее не лежала к этому душа. Она оставалась дома и принимала нескольких посетителей, близких друзей. Эта другая семья, которую она терпеливо строила, сеть привязанностей и взаимообмена, без которого она не могла бы жить… Матье и Адриан, подпольно боровшиеся за свои идеи, оставались самыми постоянными, самыми верными. Среди тихих поклонников, которых не обескураживало затворничество красавицы из красавиц, был милый Эльзеар де Сабран, оказавшийся братом Дельфины, маркизы де Кюстин — той самой дамы из Фервака, связанной с Шатобрианом, — и завсегдатаем Коппе. Эльзеар был бы не прочь приволокнуться за Жюльеттой, если бы уловил надежду. Пока же он сочинял красивые романсы, в которых говорило его задетое сердце…

Рядом с Жюльеттой был и другой отчаянный воздыхатель, с которым она часто видалась: жилец ее бывшего особняка, князь Альфонс Пиньятелли. Младший брат графа де Фуэнтеса, испанского гранда, граф Эгмонт в Бельгии и князь Пиньятелли в Италии, он принадлежал к высшей европейской знати по своим владениям, титулам, союзам, да и по духу. Этот либерал, вместе со своей семьей пострадавший в Неаполе от обскурантистских репрессий 1799 года (тех самых, что воспел Латуш во «Фраголетте»), предпочел обосноваться в Париже. Он не был особенно красив, но у него были восхитительные манеры, и он умирал от любви к Жюльетте, на которой мечтал жениться. К несчастью, он умирал еще и от чахотки и таял на глазах… Он звал прекрасную соседку своей сестрой… И сестра ухаживала за ним с исключительными мягкостью и постоянством.

Бедная Жюльетта! Как бы ей хотелось развеселиться, вырваться из этого непробудного уныния, из кольца горестных воспоминаний и малоприятных обязанностей: благородные отцы, благотворительность, сократившаяся после банкротства, но она всё же продолжала ею заниматься вместе с Матье, бесцветные воздыхатели, которых постоянно нужно успокаивать или лечить… И всё это на суровом фоне постоянной войны… Где прекрасное время празднеств, беззаботности и блеска?..

Ей бы повидаться с какими-нибудь веселыми подругами, послушать сплетни большого города о властвующих кругах… И какие-нибудь любовные истории… Каролина, свежая, пикантная Каролина, говорят, купается в почестях и невероятной роскоши… Она как будто порвала короткую связь с тем красивым сентиментальным блондином, недавно прибывшим в Париж и

служащим в австрийском посольстве… «Позабавь этого дурачка!» — приказал тогда император. Дурачок звался Меттернихом. А еще говорят, что между супругами Жюно, этими баловнями режима, без удержу щеголяющими только что сколоченным богатством, пролегла трещина. Будто бы Каролина положила глаз на Жюно. Храбрый, а вертеть им можно как хочешь, думала она. К тому же губернатор Парижа… В конце концов, император вечно в походах, в любой момент может случиться несчастье… Что до Лауры Жюно, выскочки, «язвочки», она вроде, в свою очередь, стала заглядываться на Меттерниха…

Как бы хотелось Жюльетте услышать обо всем этом в подробностях от своей прекрасной подруги, маркизы де Кателлан! И о том, что происходит при императорском дворе, в этом скучном гетто, расфуфыренном, немного вульгарном, богатом на мелочные интрижки, питающемся постоянными ссорами и непрерывными скандальчиками… Г-жа де Кателлан так весела, она так хорошо рассказывает об этих пустяках, так падка на любовные истории (как охоча она и до устроения браков, которые в большинстве своем оборачиваются катастрофой для заинтересованных сторон), она так ловко, с веселой яростью, часами распутывает запутанный клубок любовных игр столицы… По правде говоря, Жюльетта приходила в восторг (и это была ее слабость), когда ей «рассказывали про любовь», как говорила г-жа де Буань.

Г-жа де Буань, вот она — та подруга, что могла утешить ее лучше всех. Ее слова были в равной степени разумны и проникновенны. Плутовка так хорошо ее понимала! Она одна догадалась, чего недоставало браку, известности, образу г-жи Рекамье. Г. Сама г-жа де Буань скромно довольствовалась своим показным брачным союзом. Но Жюльетта, могла ли она даже подумать, что ей будет этого довольно? Забьется ли наконец однажды ее сердце? Будет ли занята ее душа чем-то иным, кроме мягкого и уверенного отражения женской дружбы, семейных или светских приличий и обязанностей? Кто знает…

Пока же спокойной рукой она запечатывает свои письма испанским воском, и на нем остается оттиск краткого и красноречивого девиза, который она себе выбрала: *«Nulle dies sine nebula».* Для красавицы из красавиц не бывает дня без туч… Но в ее возрасте небо не бывает вечно хмурым…

Коринна, торжествующая узница…

Жюльетта переживала нелегкие времена, и это сказалось на ее здоровье. В марте она уехала из Парижа, чтобы провести немного времени не в Анжервилье, у г-жи де Кателлан, а в Силлери, в Шампани, в чудесном поместье Жанлис, у Пульхерии де Баланс, младшей дочери знаменитой воспитательницы, которая, как и ее муж, поддержала Империю. Пульхерия была старше Жюльетты на одиннадцать лет, ровесница г-жи де Сталь, и хотя авангардистская система воспитания ее матери не сделала ее образцом добродетели, она развила ее живой ум и общительность, делавшие ее обворожительной.

Пульхерия возобновила совместную жизнь с мужем и к сорока годам остепенилась, не утратив ни обаяния, ни привлекательности «брюнеточки» (прозвище, данное ей г-жой де Жанлис) с колким темпераментом. В прежние времена Пульхерия сталкивалась с г-жой де Сталь на сложной почве любви: вторая увела у первой Матье, та отомстила, отбив у нее Риббинга, шведского «красавца-цареубийцу», а потом Адриана де Мёна. Добавим для полноты списка, что они делили между собой благосклонность епископа Отенского… Неудивительно, что г-жа де Сталь оскорбилась тем, что Жюльетта предпочла общество неунывающей Пульхерии тяжелой атмосфере Мелена.

У г-жи де Сталь были неприятности: она только что купила замок Серне, под Франконвилем, не имея возможности приобрести замок Акоста у его хозяев, Кастеллане, и всё это с упорной, хоть и иллюзорной мыслью быть поближе к Парижу. Но она не получила позволения жить там: 8 апреля ей было приказано выехать за сорок лье от столицы… Как обычно, она попыталась получить отсрочку… Однако Фуше слишком часто шел ей навстречу, так что его господин призвал его к порядку, узнав в Польше от своей контрполиции, что баронесса из баронесс упорно наведывается тайком в Париж. Г-жа де Сталь хотела присутствовать при выходе «Коринны», но после 25 апреля была вынуждена смириться и выехать в Коппе.

«Коринна» была откровенным успехом: автор был узнан под (приукрашенными) чертами поэтессы и мыслительницы, чьему гению подчинено всё произведение. Коринна, как до нее Дельфина, сталкивается с обществом и погибает. Но Коринна обладает всеми свойствами таланта и умственного превосходства. Ее метания между любовью к молодому англичанину-конформисту и творческой независимостью, ее одиночество, ее несчастье нашли возвышенный отклик, облагороженный ее

духовным превосходством. Коринна — тоже героиня романтического типа, и первые читатели узнали в ней, как в «Атале», «Рене» или «Валерии», стилизацию и выражение их собственной чувственной жизни… К этому наверняка добавился ореол преследований, жертвой которых стала г-жа де Сталь. Вся Европа читала «Коринну» и восторгалась как героиней, так и автором. Гёте тепло поздравил ее.

А Наполеон пришел в раздражение: действие романа происходило в основном в Риме, главными героями были англосаксы, сама Коринна была наполовину англичанкой, наполовину итальянкой, и ни слова о французах, об их завоеваниях, присутствии в Италии, ни слова о нем! Для него эта книга была полной дребеденью, он не имел никакого желания отождествлять себя с хилыми мужскими персонажами, ему была отвратительна эта женщина, что портрет, что оригинал, чтобы ноги ее больше не было ни в Париже, ни во Франции, ни под каким предлогом, пусть запрется в своем Коппе, он даже слышать о ней не желает!.. Надо отдать ему должное: на Святой Елене он признает, что г-жа де Сталь была наделена большим талантом. Жаль только, самой ее тогда уже не было.

По выходе своего «бестселлера» г-жа де Сталь получила еще один отрицательный отзыв — от Проспера де Баранта, который не обрадовался, узнав себя частично под чертами Освальда, молодого англичанина, так мало любившего Коринну. Как наивен милый Проспер! Разве он не знал, что любой писатель, желает он того или нет, — людоед? А г-жа де Сталь, надо отдать ей должное, была в этом плане не самой циничной.

Ее простодушие и безрассудство порой завораживали. От выхода своей книги она ждала смягчения своей тягостной участи, совершенно не сознавая, что ее успех работал против нее!

Жюльетта это прекрасно понимала, однако отправила книгу Шанманьи, бывшему тогда министром внутренних дел, с которым сохранила хорошие отношения и который был ей обязан спасением своего ребенка, когда тому грозила потеря зрения после несчастного случая.

В начале лета 1807 года г-жу де Сталь славили наперебой. Но хотя «Коринна» познала триумф, положение ее автора никогда не было более гибельным в личном плане: отныне она стала узницей Коппе. Ее роман чудесным образом преодолевал границы, но сама она, по решению Наполеона, была выслана в Швейцарию. На его стороне была сила, на ее — ошеломляющее жизнелюбие. Европа, ее настоящая родина, была ей заказана, Коринна не могла больше разъезжать по ней. Ну и пусть, у нее есть замок: пусть теперь Европа приезжает туда…

Коппе, европейский салон

В конце весны уехал Пиньятелли: он очень ослаб и, решившись искать исцеления под более милосердными небесами, отправится в Пиренеи. Оттуда он не вернулся. Всё это было невесело, и Жюльетта решила поехать в Коппе.

2 июля она покинула Париж в своей карете, со своими слугами, горничной и Эльзеаром де Сабраном в качестве спутника. Как обычно, она продвигалась небольшими переездами. Всё шло хорошо до самого Мореза, в Юре. Там карета опрокинулась в пропасть. Лошади и форейторы разбились насмерть, Жюльетта и Эльзеар отделались неопасными ушибами. По счастью, баронесса, выехавшая их встречать, посадила их в свой экипаж и привезла в Коппе. Г-жа Рекамье вывихнула ногу и пережила сильное потрясение.

После этой непредусмотренной черной полосы Жюльетта наконец-то увидела вотчину своей подруги, поместье Коппе: замок, перестроенный в XVIII веке, на небольшом холме за Женевским озером, неподалеку от Ниона. На севере — голубоватые очертания Юры, на юге, в сторону Женевы, — роскошный горизонт, над которым возвышаются ледники Монблана. Жилище просторное, приветливое, богато обставленное: красивые портреты, античные бюсты, гобелены из Обюссона, ковры из Савоннери, мебель по большей части из парижских апартаментов Неккера отражали классицизм высшей пробы и роскошь, не лишенную величия.

В центре первого этажа, со стороны озера, парадная галерея, переделанная в библиотеку, а при случае — в театральный зал, выходила на террасу, украшенную розовыми кустами, и на тенистый парк в английском стиле. Летняя игра света, щедрая природа, менявшая свой облик с каждым часом дня, волшебство сумерек на розоватых горных вершинах, берега одного из самых красивых озер Европы превращали Коппе в чарующее, обворожительное место…

Комната Жюльетты была восхитительна: сочетание бледно-зеленых оттенков принесли бы облегчение самой сумрачной душе. На китайской бумаге райские птицы летали среди невесомых стилизованных ветвей. Балдахин кровати в стиле Людовика XVI прекрасно гармонировал с другой мебелью, также обтянутой узорчатым златотканым шелком. Небольшой письменный стол в уголке, покрытый кожей бронзового цвета, под бесстрастным взглядом бюста Неккера, завершал целое. Свежесть и веселость этого убранства, словно предназначенного для юной

девушки, наверняка должны были отогнать «черных мотыльков»…

В то лето Коппе казался непрерывным пиршеством ума и изящества. «Моя мать вдыхала душу в Коппе, а Вы украшали его», — писала позднее Альбертина де Сталь г-же Рекамье. Лучше не скажешь! г-жа де Сталь, счастливая тем, что принимает у себя «своего ангела» и приободренная откликами о «Коринне», поступавшими со всех концов света, блистала искрящимся умом и пылкостью. Хотя она тогда переживала довольно бурный период своей чувственной жизни. В центре ее забот, возникших уже давно, но угрожавших разрастись до драматических размеров, был один человек — Бенжамен Констан.

Констан — значит «верный», но применительно к нему это имя казалось насмешкой. Человеком он был нелегким, в извинение можно лишь сказать, что его жизни выпало тяжелое начало. Его мать умерла, производя его на свет (годом позже рождения г-жи де Сталь), и одному Богу ведомо, какое тайное чувство вины произросло из этого обстоятельства в его детской психике. Им завладели другие женщины семейного клана Констанов де Ребек, породив в нем двойное стремление: избегать их и одновременно искать их покровительства. Всю свою жизнь он искал любви женщины старше и могущественнее его (или, по меньшей мере, всевластной над ним), и в то же время мечтал лишь об одном: ускользнуть от господства, без которого жить не мог…

Он никогда не ладил с отцом — швейцарским офицером, служившим за границей, который больше из стыдливости или робости, чем из настоящего безразличия, всегда перекладывал заботы о сыне на плечи гувернеров, один бездарнее другого. У Бенжамена не было детства. Его перевозили из города в город, из страны в страну, благодаря чему в его юном уме возникло стойкое ощущение относительности. Очень рано он стал пресыщенным, насмешливым скептиком: он много наблюдал за человеческой породой, много наблюдал за самим собой, и ничто из всего этого не помогло ему приобрести крепкую основу, костяк, систему ценностей.

Он испытал влияние замечательной женщины, г-жи де Шарьер, которую случайности жизни привели к подножию Альп и которая смертельно скучала рядом с мужем, неспособным ее понять, и когда не писала — а делала она это превосходно, — предавалась своим настроениям, разнузданным до безумства. Эта связь лишь усилила отрицательные черты характера Бенжамена и, возможно, обрекла его на невозможность когда-либо расцвести.

Г-жу де Шарьер сменила г-жа де Сталь — шумная, широкая душа, мысль и чувства которой открывали перед ним незнакомый

мир — мир грядущего века, новые горизонты, глоток кислорода, предвестники иного образа жизни и творчества, которые назовут романтизмом. Их связь, связь планеты и спутника, началась с окончанием Террора.

Следуя за колесницей этой знаменитой, богатой, гениальной женщины, он понемногу пришел в равновесие. В Париже он начал активную политическую жизнь, поддерживая новый режим, но его ум, отточенный постоянным общением с дочерью Неккера, не мог усмирить его внутреннего волнения. Бенжамен терзался, неудовлетворенный, тревожный. С годами он распылял свои силы и с неохотой, возраставшей с каждым днем, терпел власть своей чересчур эгоцентричной подруги.

Бенжамен в первый раз женился при Брауншвейгском дворе, куда отец услал его делать карьеру, потом развелся. Поэтому он полагал, что благородная баронесса после смерти г-на де Сталя выйдет за него замуж, чтобы у их дочери Альбертины был законный отец. Ничего подобного. Уязвленный Бенжамен смолчал и вернулся к своим парижским связям, к попыткам писать (он был из тех, кого тогда называли «публицистами») и к игре, которая всегда наполняла собой или опустошала его жизнь.

Проблема была в том, что Бенжамен оказывался не в силах столкнуться со «своим вампиром» лоб в лоб, и в тот самый момент, когда собирался порвать с ней, поддавался слабости, малодушию или умилению, и временным спасением ему становилось только бегство. Противник был силен, к тому же небольшая деталь: известность, деньги…

Странная пара! Бенжамен походил на вечного студента: высокий, сутулый, неловкий, сильно близорукий, бормочет что-то себе под нос… И однако, какой ум! Какая пронзительная проницательность, какие неисчерпаемые познания скрывались под этой неприглядной оболочкой. Исключительный мозг, беспорядочная чувственная жизнь, слабые нравственные устои и внешность зомби — примерно таким был Бенжамен, когда 17 июля 1807 года приехал в Коппе.

Жюльетта хорошо и давно его знала. Часто принимала его, особенно в последнее время, когда он жил в Париже. Знала, насколько сложной и взрывной была эта долгая связь с г-жой де Сталь. Понимала, что от нее ждут посредничества в этой истории. Но было ли у нее к тому желание, не говоря уже о средствах? Со своей стороны, Констан надеялся на то, что Жюльетта отвлечет на себя внимание г-жи де Сталь, что позволит ему незаметно наведываться к Шарлотте де Гарденберг, к которой, как ему казалось, он питал пламенную страсть.

***

Вскоре по приезде Жюльетта с грустью узнала о смерти Альфонса Пиньятелли. Она взбудоражена, и это понимает Матье: «Я думаю, как Вы догадываетесь, что возбужденность и жар души нашего друга [г-жи де Сталь] не совсем согласуются с природой Ваших впечатлений и состоянием Вашей души…» Состояние ее души беспокоит и г-на Рекамье: «Ты в конце концов заболеешь (через нее), если не приложишь все силы, чтобы выстоять перед ней, превозмочь и закалить свой характер, чтобы отразить всю ее энергию…» Отеческая забота Рекамье вполне оправданна, но его прозорливость способствовала лишь тому, что Жюльетта замкнулась в себе. По свидетельству одного гостя, посетившего Коппе, ее веселость и учтивость были лишь маской. Она говорила о счастье, и чувствовалось, что она никогда не была счастлива и уже никогда не будет…

Наверное, это было преувеличением со стороны красавицы Жюльетты, если только слово «счастье» не наполнилось теперь для нее иным смыслом, нежели ранее… Она выглядит на двадцать лет, она — воплощение красоты, наделена всеми талантами, утонченностью состоявшейся женщины, она известна, ее общества добиваются, ее любят друзья, родные, ее отношения со светом окрашены той гармонией, что исходит от нее с тех пор, как она стала себе хозяйкой, она богата, ее чествуют как редкую женщину… Так что же? Возможно, она просто чувствует, что счастье — то единственное, чего у нее нет: быть вдвоем.

Она долго была самодостаточной. Потом, на примере Матье, узнала, что существует великая радость дарить, помогать, спасать. Но после кончины матери Жюльетта сбита с толку. Она наверняка размышляла над тем, какой до сих пор была ее жизнь: привилегированной, но неполной. Она сознает, какой должна быть долгая связь, чета. Она, конечно, многим позволяла ухаживать за собой, но никогда не любила. Возможно, ее взволновал Пиньятелли… Но это было безнадежно… Поговаривали, что он сделал ей предложение… Эльзеар де Сабран — тоже. Это лишь значит, что отныне она будет чувствовать себя свободной, свободной для брака…

Г-же де Сталь вдруг кажется, что в Коппе невыносимо жарко, и она решает перевезти всю компанию к Лозанне, на берег озера, в домик под названием Уши. С чего бы это вдруг покидать просторные апартаменты Коппе, армию лакеев, прислуживающих за ужином, который накрывают по меньшей мере на тридцать персон, многочисленную семью, женевских друзей, заглядывающих по-соседски, чтобы вдруг запереться в

очаровательном, но крошечном Уши?

А дело в том, что Бенжамен сбежал в Лозанну и был там под защитой своей тетушки и кузины, которые нипочем не выдали бы его вампиру. Но у вампира припасен беспроигрышный ход: предложить Бенжамену роль в спектакле, который поставят, несмотря на жару. Она затеяла ставить «Андромаху», он будет Пирром. Что скажет он? Разумеется, «да».

Первое представление состоялось 22 августа перед лозаннской публикой, ошеломленной тем, как эта скандальная пара столкнулась на сцене, изрыгая друг на друга стихи Расина. Трагедия, если только не скрытая под ней психологическая драма, имела большой успех. После чего г-жа де Сталь со своим двором, включая Бенжамена, вернулась в Коппе. И там, принимая себя всё еще за Пирра и Гермиону, возбужденные, неумолимые любовники снова сыграли грандиозную сцену. Бенжамен потребовал от Жермены бесповоротного решения: выйти за него замуж или отпустить. Та, созвав детей и их гувернера, воскликнула с неподражаемым пафосом:

— Вот человек, который заставляет меня разрываться между отчаянием и необходимостью загубить вашу жизнь и состояние!

Бенжамен парировал:

— Считайте меня последним из людей, если я когда-нибудь женюсь на вашей матери!

Их мать попыталась задушиться платком. Бенжамен помешал ей и растрогался. Она победила. Занавес.

***

Атмосфера в замке была переменчивой. Бурные сцены, словесные перепалки, попытки самоубийства — расхожим делом. Обычно за ними следовало затишье, во время которого Бенжамен грыз удила, а Жермена успокаивала нервы опиумом. А в остальное время жизнь была очаровательна, не подчиняясь никакому распорядку. О том, как проходили лучшие дни в Коппе, мы знаем благодаря г-же де Буань.

Главным делом присутствующих было разговаривать, что не мешало им заниматься литературным трудом. Г-жа де Сталь работала много, но за неимением лучшего занятия: ей нравилось играть в театре, гулять, вести светские беседы. У нее не было письменного стола; она носила из комнаты в комнату небольшой кожаный письменный прибор, в котором лежали ее работы и переписка, писала, положив его на колени. Она любила окружать себя людьми и боялась только одиночества, а мукой ее жизни

была скука.

Дети г-жи де Сталь росли посреди этих странных привычек, участвуя в них. По счастью, они проводили много часов в удалении от этого сборища, иначе как бы они в таком беспорядке обучились всему, чего достигли: несколько языков, музыка, рисование, глубокое знание литературы всей Европы.

Альбертина увлекалась в основном метафизикой, религией, немецкой и английской литературой, музыкой занималась мало, не рисовала совсем. Что до рукоделия, то, наверное, во всём Коппе не нашлось бы ни одной иголки. Огюст, менее утонченный, чем его сестра, обладал замечательными способностями к музыке. Альбер, которого сама г-жа де Сталь называла поселковым ловеласом, очень хорошо рисовал, но в мирке, где он жил, выделялся своей бездарностью. Он погиб на дуэли в Швеции, в 1813 году.

Г-жа де Сталь судила о своих детях с высоты своего ума и отдавала предпочтение Альбертине. Та долго сохраняла простодушие и наивность, хотя уже в детском возрасте говорила на «языке Коппе», полном гипербол и патетических оборотов. Так, когда ей было одиннадцать лет, мать как-то пожурила ее, что случалось редко. Заплаканная Альбертина так ответила на вопрос о причине своих слез: «Меня мнят счастливою, но сердце мое гложет тоска». Речи г-жи де Сталь обычно были просты и рассудительны, когда же на нее находило вдохновение, они становились совершенно невразумительны, однако присутствующие, увлеченные ее порывом, как будто всё понимали. В Коппе злоупотребляли словом «талант»: каждый был занят своим собственным и только чуть-чуть интересовался чужими.

Коппе… Даже нежная, рассудительная Жюльетта поддалась его влиянию и на некоторое время растворилась в легком мире иллюзий и преувеличений…

Принц — достойная замена князю

К единомышленникам г-жи де Сталь присоединился прусский принц Август, последний из племянников Фридриха Великого, сын принца Фердинанда и брат принца Людвига, убитого при Заалфельде, пленник Наполеона под честное слово, которому вернул свободу передвижения Тильзитский мир, подписанный 8 июля предыдущего года.

Вообще-то принц Август, хотя был молод и храбр, обладал хорошей выправкой, прямой душой и был искренним патриотом, являлся по сути своей военным прусского образца, лишенным всякой утонченности, хотя ему были свойственны человеческая теплота, а если его задеть — незамедлительная реакция на грани с истерией. Он был властным, довольно ограниченным и привык к тому, что дамы ему не сопротивлялись. Он только что порвал связь с Дельфиной де Кюстин и, к большому возмущению своей семьи, содержал в Берлине юную особу, от которой у него уже было двое детей.

Он очень нравился г-же де Сталь, предрасположенной к германскому миру благодаря своей наследственности по отцовской линии и вкусам. Она была в хороших отношениях с Северными дворами, которые радушно ее принимали, и ей льстило иметь среди своих гостей этого Гогенцоллерна, прямого потомка курфюрстов Бранденбургских, которому было не занимать ни стати, ни привлекательности. Среди адъютантов принца был один его ровесник, которого тогда никто не замечал — Карл фон Клаузевиц[23]…

Коринна, сила воображения которой была равна силе ее ума, построила замечательный, по ее мнению, план: ей казалось, что она нашла идеального жениха для своей дорогой Жюльетты. Она прекрасно знала о разочарованиях «своего ангела» и хотела сделать ее наконец счастливой… Она, жившая в жару и пучине страстей, наверняка восхищалась вынужденным целомудрием Жюльетты, но и хотела бы положить ему конец. Одним словом, она сделает всё, чтобы между принцем и красавицей возник роман, который получил бы законное продолжение. Неплохая мысль. И очень кстати.

Когда принц Август явился в блестящий мирок Коппе, он произвел неизгладимое впечатление: «Насколько немцы стоят больше нашего!» — воскликнул Бенжамен. Беляночка-Жюльетта ничего не сказала: она позволяла смотреть на себя и выглядела грациозной, веселой, соблазнительной как никогда. В два дня принц влюбился в нее без памяти! Однажды, во время конной

прогулки, он пожелал поговорить с Жюльеттой наедине, обернулся к сопровождавшему их Констану и сказал ему с тевтонской учтивостью: «Господин Констан, не проехаться ли вам немного галопом?»

В мягкой кротости жизни в замке, состоявшей из конных прогулок, концертов, катаний на лодках, бесед в густой тени парка, роман набирал обороты: принц Август был пылким, убедительным, и Жюльетта была полностью поглощена этим неожиданным поворотом своей жизни. Г-жа де Сталь поощряла рождающееся на ее глазах чувство, отмеченное ее собственным неистовством.

В начале октября Жюльетта уехала на несколько дней. Вернулась в Париж через Лион, где пробыла недолго — однако достаточно, чтобы переговорить с Камилем Жорданом, — и возвратилась в Коппе с совсем иным настроем, нежели в июле. Что произошло в Париже? Повидалась ли она с Рекамье? Рассказала ли ему о властном биении сердца, изменявшем ее жизнь, а возможно, если он согласится, то и будущее их обоих? Мы не знаем.

Но между ею и принцем Августом явно произошло что-то серьезное. Флирт зашел слишком далеко. Такого с Жюльеттой еще не бывало! Они оба настолько потеряли голову, что обменялись письменными клятвами и взаимными обещаниями сочетаться браком, когда появится такая возможность — в волшебной атмосфере Коппе это казалось так просто.

Впервые, не без труда, Жюльетта согласилась тоже взойти на сцену. Она выступила 27 октября в «Федре», которую играли в битком набитой галерее замка, и, завернувшись в белые покрывала, исполнила роль нежной Арисии. Ей бурно аплодировали. Если верить Бенжамену, после представления Жюльетта приняла Августа *у себя,* что было уже чем-то новым, и той ночью он получил от нее обещание выйти за него замуж…

Какие насыщенные моменты переживала Жюльетта! Весной она могла мечтать у изголовья своего чахоточного друга, что, возможно, станет княгиней Пиньятелли… А теперь, под защитой «чести и любви» первого мужчины, затронувшего струны ее души, и со стольких точек зрения казавшегося достойным ее, она могла надеяться стать прусской принцессой! Титул, сопоставимый с положением ее любимой литературной героини, принцессы Клевской… К тому же она влюблена! Что-то в ней подалось… Эти клятвы сулили ей невероятную судьбу…

Жюльетта сияла. Она носила на запястье золотой браслет-цепочку, к которому было прикреплено сердечко с рубином, подарок принца. Внутри этого восхитительного медальона с

потайным замочком — прядь светлых волос…

Обменявшись клятвами, принц Август и г-жа Рекамье расстались. Каждый возвращался к себе. Жюльетта — в Париж, Август — в Берлин, Коринна собиралась ехать в Вену, рассчитывая провести там зиму. Бенжамен оставался в Лозанне в надежде отправиться к Шарлотте в Безансон… Волшебный замок закрывал свои двери. Возможно, он ждал возвращения беляночки-Жюльетты… Возможно, хранил в тишине своих пустынных комнат эхо ее смеха и ее мимолетное счастье…

Разрыв

Едва приехав в Париж, Жюльетта получает поток писем, пылающих страстью и искренностью, несмотря на несколько избитые обороты и строгую нумерацию, на которые она должна отвечать точно и пунктуально, иначе ее призовут к порядку.

Естественно, реальность вступила в свои права, угол зрения изменился, и чарующее видение утратило краски: то, что казалось столь легко в Коппе, стало невероятно сложно в Париже. Жюльетта это понимала, и тем лучше, чем больше Август настаивал на выполнении обязательства. Чем упорнее он домогался от нее ответных действий, тем больше Жюльетта размышляла и слабела.

Положение ее было следующим: бросить свой мир, свое общество, своих друзей, свои привычки, свою религию, г-на Рекамье и похоронить себя в Берлине, при дворе, который из Парижа казался провинциальным кружком, да еще одному Богу известно, примут ли там ее! Может ли буржуазка выйти за принца королевской крови, приближенного к царствующему дому? Гогенцоллерны в этом плане слыли непримиримыми… После развода ей придется отречься от своего вероисповедания и стать протестанткой, как принц… Развод — легко сказать. Даже если г-н Рекамье, никогда ни в чем ей не отказывавший, согласится на развод, покинет ли она его публично, теперь, когда он разорен?

И что она станет делать в Берлине? Ледяные болота, раздробленная страна под французской оккупацией, чопорное общество, подавленное поражением, для которого она будет врагом! Да и сам принц Август, такой непримиримый, столь далекий от мягкого понимания, которое выказывали к ней французские друзья, — сможет ли он уберечь ее, охранить, ввести в свет?..

Август осаждал ее письмами, говорил, что «почти заболел от своего постоянства». Между прочим, если ему верить (а в правдивости его слов нет причин сомневаться), г-н Рекамье дважды предлагал Жюльетте развод. Стало быть, препятствием он не являлся и отказ выполнить свое обязательство перед принцем исходил от одной Жюльетты. Значит, она передумала. Поняла, чему подвергнет себя, нарочито покинув человека, который дал ей всё, что мог. Человека, с которым ее связывал дочерний долг. А у Жюльетты было сильно развито чувство долга.

Принц Август сетовал на холодность Жюльетты, на ее предрассудки, на отсутствие г-жи де Сталь и кузины Жюльетты, баронессы де Далмасси, в которых чувствовал союзниц: они не

любили г-на Рекамье и могли бы повлиять на его супругу в пользу развода.

В марте Жюльетта, как бы в виде компенсации, прислала ему свой портрет работы Жерара. Подарок был роскошным и красноречивым. Август был ей признателен за этот дар, напоминавший о более счастливых временах. Он никогда не расставался с этим шедевром, которым в свое время восхищался весь Париж, повесил его в своем кабинете и завещал вернуть после своей смерти прежней владелице.

Вскоре он получил от Жюльетты письмо, которое его как громом поразило: Жюльетта освобождала его от обязательств по отношению к ней и предлагала встретиться следующим летом, в Швейцарии или в Италии. Август ответил жестко:

> Если предрассудки Вашей страны чинят преграды Вашему счастию, почему не отбросить их? **Вы так счастливы? Можете ли Вы надеяться стать счастливою?** Я почти год провел в Вашей стране, видел столицу и провинцию и не встретил ни одного мужчины, который мог бы Вам понравиться. Вы сами разделяли это мнение. Какую будущность Вы себе готовите?

Он никогда не отличался деликатностью. Явить красивой женщине картину несчастья, старости и одиночества, ожидающих ее, не только не слишком деликатно, но просто не по-мужски… Усилия, которые прилагал принц, чтобы полгода хранить верность избраннице, были героическими. И вдруг такое разочарование! Он взорвался, и его страсть была сродни ненависти.

И всё же главного принц Август не знал! В своих письмах он упоминал о недомоганиях и обмороках, которые преследовали Жюльетту всю зиму. Нервы ее сдали, чувство вины по отношению к г-ну Рекамье, к принцу, к самой себе удручало ее, она считала невозможным выбраться из тупика, в который довольно легкомысленно загнала сама себя. Г-жи де Сталь не было рядом, чтобы каким-нибудь безапелляционным высказыванием унять угрызения совести. То летнее безумие, каким бы чудесным оно ни было, пугало ее. Она сама прекрасно понимала всё, о чем твердил ей Август. Возможно, счастье ей заказано. Зачем тогда эта пустая и суетная жизнь? Жюльетта решилась на непоправимое: попыталась покончить с собой.

Спас ее кузен Брийа-Саварен, выхвативший из ее рук пилюли опиума, которые она еще не успела проглотить. Он сохранил также предсмертную записку, адресованную г-ну Рекамье, с заверениями в признательности за его доброту и просьбой

порадеть о ее родственниках и судьбе сирот, которым она покровительствовала.

Так закончился роман с прусским принцем. Оба героя этой вполне классической истории будут продолжать переписываться: он станет жаловаться, называть ее «коварной», «жестокой», она умилостивит его, прислав к годовщине их клятвы кольцо с выгравированной надписью: «Я снова его увижу». Они еще увидятся, позже, поменявшись ролями: на сей раз пруссак будет офицером-победителем, оккупирующим Париж. Они надолго останутся старыми, далекими, но преданными друзьями. При Реставрации принц попросит г-жу Рекамье подыскать гувернантку для его дочерей. Когда те вырастут, Жюльетта будет принимать их у себя. Пройдет время. Ни тот, ни другая не забудут того лета, упоения на берегу озера, лихорадку, с какой они строили призрачные планы и которую принимали за страсть.

Госпожа де Сталь от унижения переходит в наступление

Эти любовные переживания после двойного траура — по г-же Бернар и князю Пиньятелли — подействовали на Жюльетту очищающе. Тридцатый год ее жизни был мрачным, бурным, исполненным любовных страстей и удручающих мучений. Теперь она оправилась и окрепла: она госпожа Рекамье и останется госпожой Рекамье. Ей кажется предпочтительным оставаться на своем месте, в своем мире, среди своих. Пусть лучше фиктивный, но прочный брак, чем морганатический брак в незнакомой стране. Она считала, что настоящее, каким бы неполным оно ни было, предпочтительнее бескрайней неуверенности в будущем, тревожащей ее. К тому же Жюльетта приобрела большую непосредственность и теплоту души: настойчивость ее принца-солдата взволновала ее, растопила холодность, за которой, из страха или по неопытности, она пряталась столько лет. Отныне она стала еще привлекательнее, еще приветливее к своим поклонникам…

Она знала, что после ее пребывания в Коппе, в котором император видел гнездо заговорщиков против его власти, за ней установлена полицейская слежка. Наполеон громко заявил в салоне Жозефины, что «будет смотреть как на личного врага на всякого иностранца, который посещает салон г-жи Рекамье». От этого распоряжения некоторым образом пострадал наследный эрцгерцог Георг Мекленбургский, брат прусской королевы Луизы. Он приехал в Париж зимой 1807/08 года и впервые встретился с г-жой Рекамье, с которой очень хотел познакомиться, на балу в Опере. Попросил позволения навестить ее, но та сочла своим долгом отказать, предупредив о возможных нежелательных последствиях. Он написал ей, снова прося его принять, и г-жа Рекамье, тронутая его настойчивостью, назначила ему встречу на один вечер, когда двери ее дома были открыты для самых близких друзей. Принц явился в назначенный час, оставил карету на улице неподалеку от дома и, увидев, что входная дверь открыта, вошел, ничего не сказав привратнику, в надежде, что тот его не заметил. Однако верный слуга принял гостя за вора и пошел за ним, спрашивая, что тому угодно. Принц припустил бегом. Г-жа Рекамье, услышав шум в прихожей, пошла посмотреть, что случилось, и увидела эрцгерцога Мекленбургского, которого тряс за шиворот бдительный страж. Инцидент был улажен, но очень ее позабавил.

Вслед за графом Пальфи почти весь особняк на улице Монблан занял князь Сапега (дом вскоре будет продан банкиру Моссельману). В окружении благородного поляка было много иностранцев, которые почитали своим долгом навестить красивую соседку. Князь Пауль Эстергази, секретарь австрийского посольства, упорно за ней ухаживал, а г-же де Сталь, находившейся в Вене, признался, что был сильно влюблен в Жюльетту.

Что до г-жи де Сталь, приехавшей в австрийскую столицу, чтобы поместить сына Альбера в военное училище и собрать необходимые материалы для написания большого труда («О Германии»), задуманного во время первого путешествия по немецким государствам, она порхала с бала на праздник; и всё же прием, оказываемый ей в городе, наиболее враждебном Наполеону, не мог заглушить ее мучений и тревог по поводу Бенжамена. Она просит Жюльетту почаще видаться с ним, оказать на него влияние, уверяя, что умрет, если Констан ее бросит.

Если бы она знала!

На берегах ее красивого озера вызревали новые бури: как следует поработав над нечитабельной трагедией под названием «Валленштейн», Бенжамен отдыхал в объятиях Шарлотты, на которой тайно женился 15 июня в Ереване… Он пытался забыть о том, что однажды вернется г-жа де Сталь, и придется ей во всем признаться…

Жюльетта не поехала тем летом в Коппе. Вместе с благородными отцами она переезжала в очаровательный домик в стиле Людовика XVI, «с зеркалами повсюду, построенный наверняка каким-нибудь откупщиком для певички из оперы, номер 32 по улице Бас-дю-Рампар, внизу бульвара Капуцинок», — сообщает нам г-жа де Буань. Жюльетта проживет там десять лет; г-н Рекамье устроит контору на той же улице, в доме номер 48.

Она осталась верна своим привычкам и стилю жизни, и принц Август не был неправ, высказав такое предположение: «Боюсь, привычка вращаться и иметь успех в большом свете оказала на Вас такое же действие, какое, если верить Ларошфуко, оказывает двор на придворных: не делает счастливым, но мешает обрести счастие в другом месте». Наверное, именно это и говорила себе Жюльетта.

***

Насколько безраздельно г-жа де Сталь властвовала в области мысли и творчества, настолько плохо ей удавалось преодолевать

любовные осложнения. «Моей дочери нужно, чтобы ей предоставили первое слово, — говорил ее отец, — но она всегда хочет, чтобы и последнее слово осталось за ней, и обычно ей это не удается». То же в любви. Она смутно чувствовала, что проигрывает, что партнер изменяет ей, избегает ее, но она была неспособна признаться себе в своем поражении и сложить оружие. Она становилась все более пылкой и властной по мере того, как чувствовала, что от нее ускользают. Она замкнулась в порочном круге, мучила близких своими требованиями и противоречиями, напрасно тратила силы, страдая и заставляя страдать других…

Бенжамен лавировал. Он к этому привык и стал в некотором роде мастером на уловки, делаясь неуловимым. Он постиг искусство притворства, лучше чем кто-либо мог просчитать реакцию г-жи де Сталь и после своего брака, в котором у него не хватило духу признаться, делал ставку на полную покорность… Обманулась ли она этим? Или только притворилось? Ей было бы очень тяжело прилюдно потерять Бенжамена. В отместку она попыталась привязать к себе бедного Проспера де Баранта, что Бенжамен, разумеется, мог только приветствовать…

Проспер, натура гораздо более прямая и твердая, чем Бенжамен, тоже трезво смотрел на вещи. Он любил г-жу де Сталь не больше Констана, но испытывал к этой закоренелой мучительнице нечто вроде сострадания: знал, что ей больно, и жалел ее. Знал он также и то, что не женится на ней, хотя об этом как-то зашла речь. Его семья поставила жесткие условия. Коринне пришлось подчиниться: Баранты были могущественны и на стороне врага. Ей пришлось смириться с новой отлучкой Проспера, назначенного императором супрефектом в Де-Севр. И тут она проигрывала.

Она была на грани отчаяния. Но полно, так ли уж она их любила, чтобы тщетно пытаться удержать в своей свите? Не были ли они всего-навсего масками, прикрывающими ее экзистенциальную тоску? У Бенжамена часто складывалось безрадостное впечатление, что он служит лишь фоном, оттеняющим ее фигуру. Проспер сожалел о том, что отдал свою молодость этому гениальному чудовищу… Неутомимая любовная агрессия г-жи де Сталь, ее страшная жизненная сила, возможно, были откупом за ее чудесный талант, за ее чудесные муки, и называлось это эгоизмом.

Осенью 1808 года Бенжамен, не сумевший удержать Проспера в Коппе, всё же добился позволения укрыться в Женеве, где он следил за публикацией своей трагедии, а главное — продолжал тайно видаться с Шарлоттой. А Проспер, направляясь в Брессюир,

остановился в Париже, немного ошеломленный натиском, которому только что подвергся…

И вдруг осознал нечто новое: он влюблен в Жюльетту! Разумеется, какой контраст с ужасной владелицей Коппе! Жюльетта — вот та женщина, которая ему нужна: как мила! как нежна! как умеет слушать, и какое понимание, такое тонкое, истинно женское! Он так хорошо ее знает, он был свидетелем многих событий ее жизни. И она в курсе всех его мучений, порожденных неумолимой подругой… Обе стороны неоднократно делали ее своим доверенным лицом в частых конфликтах, сталкивавших их друг с другом. Сколько раз она пыталась успокоить г-жу де Сталь… Сколько раз утешала Проспера…

В Венселе, в Мелене г-жа де Сталь тревожилась о том, что ее прекрасная подруга может забрать власть над Проспером и умоляла ее не соблазнять его… Но глядя на этого чувствительного молодого человека, открывавшего ей свою исстрадавшуюся душу, словно в модном романе, перед его прямотой, столь близкой ее собственной, Жюльетта испытывала волнение. Она понимала, что для него она — спасение, способ излечиться от влияния Коппе, уйти навсегда из-под власти несгибаемой Коринны: она была близка к тому, чтобы поощрить чувство, зарождающееся в сердце очаровательного Проспера…

Молодой супрефект покинул Париж как во сне. Он не скрывал своих чувств, однако на его горячие письма Жюльетта отвечала «пунктуально», но холодно-учтиво, что привело его в уныние. Одиночество и ученые занятия предрасполагали к мечтам; он только что закончил «Картину французской литературы», в которую не счел нужным вставить Неккера, что навлекло на него кое-какие неприятности со стороны Коппе, и вскоре должен был приняться за составление «Мемуаров» маркизы де Ларошжаклен. Но все его мысли были устремлены к Парижу и к красивой особе, которую он там оставил.

То ли ее известили, то ли она что-то прочитала между строк писем, получаемых от Проспера и Жюльетты, но г-жа де Сталь вскоре заподозрила, что между ними что-то происходит. Реакция ее была удивительной: впервые она промолчала. Ее молчание по отношению к Жюльетте длилось три месяца.

Г-жа де Сталь никогда не считала г-жу Рекамье своей соперницей — может быть, потому что любила ее, а может, потому что знала о ее неприступности. Хотя после прусского эпизода ей бы следовало быть начеку. На ее глазах и с ее поощрения Жюльетта оставила свою легендарную сдержанность. Она воспылала, и хотя соискатель ее руки вряд ли мог подходить ей долгое время, Жюльетта, это было ясно, оказалась

воспламенимой. С прошлого лета ангел превратился в женщину — в женщину, доступную любви…

Г-жа де Сталь заявила, что «от унижения переходит в наступление». Проспера это только подстегнуло, а Жюльетта пришла в отчаяние и принялась всеми силами охлаждать чувство, которое он к ней испытывал.

В начале 1809 года Жюльетта сделала первый шаг, предложив г-же де Сталь ознакомиться с письмами, полученными ею от Проспера. Жюльетта была слишком умна и добра, чтобы не понимать, как страдает ее подруга. Она хотела положить этому конец и предотвратить конфликт, продемонстрировав собственную лояльность. Хотя, возможно, ее немного раздражало, что ей пришлось дойти до такого… Жермена тотчас написала подруге, что в чтении писем нет необходимости, что она на коленях целует ее ноги и просит простить за черные подозрения.

Черные подозрения… Они встанут в дорогую цену. Никогда больше отношения двух женщин не будут такими непринужденными и доверительными, как прежде. Жермена станет опасаться кокетства Жюльетты. Жюльетта — сожалеть о силе страстей Жермены, которые лучше не разжигать открыто (такова цена мира), а Проспер — тайком любить Жюльетту: «Я постараюсь не заходить дальше, чем Вы того хотите…»

Иногда он взрывался: «Ах, Вы не знаете, что значит любить! Возможно, однажды Вы узнаете об этом на свою беду. Ваша любовь разобьется о какого-нибудь мужчину, недостойного ею обладать, хотя она могла бы встретить полное понимание. Вы ошиблись, Вы не любите меня так, как Вам показалось. Но полюбите меня немного…»

Несколько месяцев он разрывался между двумя подругами, влюбленный в Красоту и привязанный к Уму, несчастный, неудовлетворенный, недовольный сам собой, своей слабостью и двойной игрой, в которой запутался, и всё же неспособный, по крайней мере пока, разорвать этот круг.

***

Под конец весны, выдавшейся довольно бурной, г-жа де Сталь с радостью готовилась встретиться с Жюльеттой в Лионе и, если удастся, завлечь ее в Коппе.

В донесениях имперской полиции говорится о прибытии Жюльетты в Лион 18 июня. На следующий день г-жа де Сталь устраивает у себя чаепитие в честь подруги, на котором присутствуют великий актер Тальма (которого баронесса тоже

хотела бы видеть у себя в Швейцарии) и верный друг Камиль Жордан. Но г-жа Рекамье передумала сопровождать г-жу де Сталь в Коппе и 20 июня уехала на воды, в Экс-ан-Савуа.

Этот савойский город, серные воды которого были оценены еще римлянами, превратился в модный и очень элегантный курорт, раскинувшийся на берегах озера Бурже, обессмерченного Ламартином, и привлекающий дикой природой, множеством аллей и парков. Г-жа Рекамье намеревалась присоединиться там к своей подруге г-же де Буань, муж которой владел соседним замком Бюиссонрон и каждый год туда наведывался.

Г-жа де Сталь одержала странную и суровую победу над супругами Констан. Во время исторической встречи в Сешероне баронесса поставила Шарлотте условия: брак останется тайным вплоть до ее отъезда в Америку, через три месяца (вымышленного отъезда, который был для г-жи де Сталь мощнейшим оружием, последним средством, по отношению как к близким, так и к властям), а Бенжамен все это время будет жить с ней, в Коппе. Шарлотта сопротивлялась, но была вынуждена согласиться, глядя на конвульсии г-жи де Сталь и увертки своего мужа. Потом она попыталась покончить с собой… Г-жа де Сталь и Бенжамен вовремя вмешались (у них-то был опыт в этом деле!), и Шарлотту, когда та поправилась, удалили на почтительное расстояние.

Итак, г-жа де Сталь и Бенжамен воссоединились в Эксе при посредничестве г-жи Рекамье. Утро проходило в жутких сценах, упреках, обвинениях, игре на нервах. Понемногу враждующие стороны успокаивались и переходили к игре ума, а на следующий день всё начиналось сначала.

При всём своем уме г-жа де Сталь отличалась полнейшим отсутствием чувства такта. Она часто выбирала темы для разговора и выражения, наиболее неприятные для ее собеседников, при этом не замечая, что говорит дерзости. Так, она поинтересовалась мнением г-жи де Буань, может ли женщина вести себя достойно, если не питает никакой симпатии к своему супругу.

Однажды за обедом, на котором присутствовал префект, последнему принесли срочное письмо с предписанием препроводить г-жу де Сталь в Коппе, передавая ее с рук на руки бригадам жандармов. Жермене пришлось покинуть Экс; она пала духом и пребывала в отчаянии, как любая заурядная женщина.

Жюльетта приехала к ней в конце июля. С каким чувством она снова увидела, два года спустя, места своего романа с принцем Августом? Это неизвестно. Мы знаем только, что тот сезон был менее памятным, хоть и очень оживленным: много играли в театре, встречались новые лица. Барон фон Фогт,

которого г-жа де Сталь шутливо называла «самым толстым из всех чувствительных мужчин», богатый гамбургский филантроп, путешествовавший по Европе, испытывал отеческие чувства к Жюльетте (он принадлежал к поколению г-на Рекамье). Во всяком случае, отношения между двумя подругами восстановились.

Вскоре по возвращении Жюльетты в Париж эта безоблачная картина была слегка омрачена: принц Август резко оборвал узы, еще соединявшие его с г-жой Рекамье: «Я никогда не был бы счастлив с женщиной, притворно изображающей чувства, которых она, возможно, никогда не испытывала, и ставящей приличия выше нравственности…» Он написал и г-же де Сталь, жалуясь на ее подругу, а та тотчас переслала это суровое письмо Жюльетте, которая оправдывалась, как могла, о чем Коринна сразу же сообщила принцу, тот хотел ответить… Короче, отношения между бывшими возлюбленными резко охладели. К несчастью, г-жа де Сталь не смогла удержаться от того, чтобы не комментировать все эти перипетии, отчасти виня в них свою кокетливую, неисправимую подругу. В конце концов память об истории с Проспером была еще свежа! Жюльетта обиделась и дала это понять.

Нет ничего неприятнее, чем агония любви! Жюльетта, наверное, чувствовала, как уродливо и бесплодно вырождение страсти, несущее с собой смутное чувство вины, угрызения совести с пепельным привкусом. После яркой и краткой вспышки ослепительного света угли пережитого волнения уныло тлели…

Плотно окружив себя семьей и друзьями, что всегда поддерживало ее в испытаниях, даже самых заурядных, Жюльетта могла осмыслить путь, проделанный за два года: она пережила горькие моменты и радостные мгновения. Были слезы, отчаяние, потом, неожиданно, — дрожь любви (настоящей) и красивые мечты. Затем — тупик, упадок, обескураженность. И несмотря на эти колебания, она знает, что по-прежнему красива и любима. Она не может жить без этого почитания; для нее это смысл жизни, опора ее индивидуальности, ее образа. Она изменилась и теперь умеет принимать знаки внимания ближе к сердцу. Но поклонники — сплошь юнцы — не дают того, чего ей еще долго будет недоставать: присутствия рядом более сильного, более знаменитого, твердо стоящего на ногах мужчины. Нет, идеал, мужчина, в руки которого она бы вверила свою судьбу, еще не явился ей. И еще несколько лет ее чувственная жизнь будет походить на ожидание.

Глава VII
ИЗГНАНИЕ

Несчастный, став зачумленным, отчужденным от рода человеческого, пребывал в карантине ненависти деспота.

Шатобриан

В один день он поразил рождение и добродетель в лице г-на де Монморанси, красоту в лице г-жи Рекамье и, осмелюсь сказать, репутацию таланта в моем собственном.

г-жа де Сталь. Десять лет изгнания

В начале 1810 года Великая Империя продвигалась к своему эфемерному апогею. Для осуществления планов господства в Европе Наполеон силой добивался того, в чем ему отказывали умы и народы. Не без труда.

Грубо завоеванная Испания не покорилась: мятежи вспыхивали по всей стране. Французская армия признавала свое бессилие перед многочисленными вылазками «герильерос», упорных и неуловимых. Это первое народное восстание против иностранных захватчиков подействовало ободряюще на порабощенную Европу: Австрия, чувствуя поддержку Англии и надеясь, что русский царь ее не бросит, захватила Баварию и Великое герцогство Варшавское. В ответ на создание этой пятой коалиции Наполеон во второй раз вступил в Вену. Ему удалось разбить врага в тяжелом сражении при Ваграме, 5 и 6 июля 1809 года, ставшем в дорогую цену: двадцать тысяч французов и тридцать пять тысяч австрийцев было убито. Австрии пришлось уступить подступы к Адриатике: Триест, Риеку, Истрию и Далмацию, которые стали именоваться Иллирийскими провинциями.

После Ваграма континентальная Европа была перекроена следующим образом: собственно Французская Империя, в которую, кроме национальной территории, входили Бельгия, Голландия под властью Луи Бонапарта, ганзейские города,

Женева, Валез, Пьемонт, Генуя, Тоскана под управлением Элизы, часть папского государства и Иллирийские провинции; всего 130 департаментов под строгим управлением и неукоснительным надзором.

Государства-вассалы Франции: Рейнский союз, объединявший 36 немецких государств, включая Великое герцогство Варшавское, а также Вестфалию, вверенную Жерому Бонапарту; Швейцарская Конфедерация, королевство Италия под управлением Евгения де Богарне, королевство Неаполь, бывшее в руках Мюратов, королевство Испания, в которое теоретически входила Португалия, наполовину оккупированная англичанами, — им руководил Жозеф, другой брат императора.

Государства-союзники Наполеона: Пруссия, Австрия, Россия и Турция, к которым присоединилась также Швеция, готовившаяся провозгласить Бернадота наследником короля Карла XIII.

Несмотря на то, что одна семья прибрала к рукам столько стран, несмотря на перспективу бракосочетания с эрцгерцогиней Марией Луизой, которое скрепило бы союз с Австрией, Великой Империи не хватало самого элементарного единства: даже внутри самого клана обозначились разногласия. Луи, Мюрат и Жозеф не желали мириться с тем, что они всего лишь «коронованные префекты» без намека на автономию. Им было трудно подавлять ненависть к Франции, которая росла прямо пропорционально поборам. Да и что можно было противопоставить объединению жизненных сил покоренных народов, не желавших смириться и сплачивавшихся против оккупантов?

Наполеону приходилось воевать на несколько фронтов: к сопротивлению либерального типа в лице г-жи де Сталь добавилось национальное сопротивление, либо явное, как в Испании, изматывающее армию, либо подспудное, где постоянно велась подрывная работа против французского присутствия. А теперь еще новое явление: моральное сопротивление католиков, после того как он захватил Рим и заключил папу в тюрьму. Наместник Бога на земле, помазавший его на царство, мог самое большее отлучить его от Церкви. Трещины уже пролегли. Империя держалась лишь за счет союза с русским царем — сколько времени это еще продлится?

Вне страны умы волновались, внутри — тревожились: завоевания больше не казались славными, и французы спрашивали себя, не превратится ли это кровавое видение в постоянный кошмар: война могла стать вечной, иначе искусственное сооружение рухнет, точно карточный домик… Шатобриан так отозвался о Ваграме: «Огромные сражения Наполеона уже по ту сторону славы, невозможно окинуть глазом

поля избиений, которые в конечном счете не приносят никаких результатов, соразмерных с этими бедствиями». «Лишь бы это длилось подольше!» — прозорливо воскликнула в свое время матушка Бонапарта, узнав о первых военных успехах сына. Задать вопрос — значит, уже ответить на него наполовину: это продлится недолго…

***

Жюльетта с друзьями, хоть и разделяли эти опасения, никогда не поверяли их бумаге. Осторожность была нормой жизни. Не давать повода говорить о себе, когда знаешь, что ты под надзором, — единственно разумная линия поведения. А еще, замкнуться в домашней жизни.

По настоянию братьев Монморанси, светская красавица занялась своей внутренней жизнью: теперь у нее был духовник в лице аббата Легри-Дюваля, ранее облегчавший душу зятя Матье, Состена де Ларошфуко, а теперь мягко направлявший ее мысли и чтение. Он боролся с «неуверенностью сердца» Жюльетты. «Продвигайтесь к Вашей цели. Станьте той, кем Вы можете быть», — писал он ей. Он побуждал ее не отказываться от добрых дел: «Освобождайте узников, чтобы самой заслужить Свободу Детей Божиих». Чтобы преодолеть «разлад» в душе и компенсировать «отсутствие» света, он рекомендует ей труды Паскаля, Фенелона, Массильона. Наверняка он слышал от нее некие тайные признания, иначе как объяснить эту записку, дающую простор воображению: «Как я молился за Вас у алтаря. Как умолял Бога Ваших отцов, Бога Вашей матушки, который и Ваш Бог». Он просил сжечь эти две строчки. Она этого не сделала.

Матье писал ей назидательные письма, стараясь вывести ее из «нерешительности». Кристиан де Ламуаньон действовал в том же направлении: «Вам нужны узы, которые бы Вас связали, Вам нужны обязанности, которые защитили бы Вас, да-да, обязанности, ведь не всегда же они будут противны Вашему сердцу…»

В озабоченности ее наперсников ясно читается: Жюльетта печальна и ничем не занята. В ту зиму ее жизнь проходила впустую. Было не до празднеств, не до легких увеселений, отвлекающих от себя самой. И она еще не созрела для великого чувства, преображающего человека и всё окрашивающего своим сиянием. Совершенно ясно: Жюльетта мрачна. Сидя у камелька, небрежно наигрывая пару романсов на пианино, принимая пару русских или австрийских дипломатов, поболтав пару раз с г-жой

де Кателлан, она, наверное, думала, что какой смысл быть молодой и красивой, если не знаешь, куда себя деть…

Любезный барон фон Фогт оказался более гибким советчиком своей прекрасной подруги: он не собирался заставлять ее держать душу в строгости, как к тому призывал Матье. Реально — и не без снисходительности — глядя на вещи, он постоянно твердил ей, что, напротив, «ее судьба — нравиться и внушать нежные чувства, привязывающие незаметно и навсегда…». Он обязался упорядочить ее существование, «собрать его в одно целое». И не ошибся относительно главного призвания Жюльетты.

Между тем г-жа де Сталь, работавшая над своим большим трудом о Германии, разрывалась между присутствием Проспера и ожиданием Бенжамена. Проспер вернулся в Париж и привез с собой письмо из Женевы: «Дорогая Жюльетта, сделайте так, чтобы он любил меня и не любил Вас. Я знаю, как трудно добиться второго, но в этом мире, который принадлежит Вам, Вы будете иметь уважение к моей жизни. Я надеюсь меньше страдать по Бенжамену теперь, когда я смогу страдать по Просперу». Она неисправима, какая тоска скрыта за этими вечными любовными сложностями! «Не расставаться с Матье, не расставаться с Жюльеттой, провести всю жизнь с Проспером. Всё это кажется мне счастливым сном, которому больше нет места в моей печальной судьбе». Когда баронесса из баронесс предается своим мрачным настроениям, она с удвоенной энергией изливает свои чувства к Жюльетте. Это письмо заканчивается словами: «Прощайте, моя юная сестра, моя прекрасная Жюльетта. Прижимаю Вас к моему сердцу. И люблю Вас больше, чем может любить дружба. Я люблю Вас, будто в нас одна кровь. Прощайте. Прощайте».

Если бы не этот жар души, заставляющий забыть обо всем, г-жа де Сталь могла бы вогнать в тоску… Всякая печаль заразительна, когда тебе безрадостно… Хоть бы поскорее весна! Обе подруги с нетерпением ждут той поры, когда можно будет строить планы, путешествовать, встречаться друг с другом…

Поездка в Бюже

Когда распогодилось, г-жа де Сталь, завершив свою книгу и желая следить за ее публикацией в Париже, решила поселиться в пределах своих сорока лье, в замке Шомон на Луаре, недалеко от Блуа. Таким образом, она была бы ближе к Просперу, которого только что назначили префектом Вандеи. Она сняла это престижное жилище у одного банкира, Джеймса Лере, сына нантского судовладельца, получившего американское гражданство и, живя в Нью-Йорке, занимавшегося крупными финансовыми вложениями Неккеров в Америке и их владениями в Пенсильвании.

На одно лето двор баронессы, по блеску ума и оживленности не уступавший двору Валуа, переместился с берегов Женевского озера на берега Луары. Центр Туренского Возрождения, «античный замок», как называл его Матье, сохранил от пребывания Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи роскошную и впечатляющую атмосферу: торжественные пространства, многоцветные камины, гобелены поверх голого камня, тяжелая мебель с витыми деревянными колоннами… Там всё до сих пор дышало феодализмом, столь милым сердцу грядущего поколения, который символизировали угловые башни с бойницами…

Жюльетта побывала там весной, но рассчитывала вернуться на более продолжительное время, подлечившись на водах в Экс-ан-Савуа. Она имела в своем распоряжении элегантную коляску своего друга графа Нессельроде, дипломата, служившего в Париже, и личного осведомителя русского царя, и путешествовала в обществе барона фон Фогта.

В Эксе ее навестила одна из сестер Рекамье, Мария-Антуанетта, повторно вышедшая замуж за г-на Дюпомье и проживавшая в Белле. Немногим позже, Жюльетта нанесла ей ответный визит и по дороге в Турень остановилась в Бюже. Там она впервые увидела фамильное поместье Рекамье, а еще малышку Сивокт, которую годом позже вызовет к себе в Париж и удочерит. Что подвигло ее на эту авантюру — приемная дочь? Размышления прошедшей зимы? Беседы с аббатом Легри-Дювалем? Возможно.

Доктор Шарль Ленорман, внук г-жи Ленорман, восстановил картину этого посещения в 1923 году. О нем мало известно, а ведь оно сыграло определяющую роль в дальнейшей жизни г-жи Рекамье.

«Когда г-жа Дюпомье узнала, что неподалеку находится ее приветливая и знаменитая невестка, то не удержалась от

искушения познакомиться со столь известной личностью. Она решилась приехать из Белле в Экс, взяв с собой дочь, Мариетту Рекамье, за несколько лет до того вышедшую замуж за врача из Белле, доктора Андре Сивокта.

Мариетта, которую мать не любила и которая умерла в двадцать девять лет, была, судя по всему, очаровательна, полна жизни и воодушевления. Она обожала балы и увеселения, а еще катания на санях, хотя именно падение из саней в снег послужило, по словам г-жи Дюпомье, причиной ее болезни: „она вся вымокла, но не легла тотчас в постель и не приняла лекарств“. Но она была еще и трудолюбива от природы и ловко вела домашнее хозяйство. Бедная Мариетта, обожавшая своего мужа и детей, хотела сочетать дела с удовольствиями, но, как назидательно добавляет г-жа Дюпомье, сложно служить двум господам. Она надорвала свои силы и, в конце концов, подхватила воспаление легких, которое и свело ее в могилу несколько месяцев спустя.

Мать и дочь нашли в Эксе самый любезный прием и были покорены очарованием Жюльетты. Покидая невестку, г-жа Дюпомье увозила с собой лестное обещание, что г-жа Рекамье воспользуется гостеприимством своих родственников из Бюже в Белле и Крессене.

Она приехала в Белле, в большой дом, построенный доктором Ансельмом Рекамье, где теперь жили его зять и дочь. Этот дом по улице Сен-Мартен, просторный, но неудобный, остался фамильным домом Сивоктов и до сих пор выглядит довольно величаво с балконом, выходящим на улицу, широкой каменной лестницей с перилами из кованого железа и садом, раскинувшимся позади, с красивым видом на виноградники.

Затем г-жа Рекамье провела день в Крессене, у своей золовки Дюпомье. Поместье Крессен принадлежало Рекамье с конца XVII века; оно хоть и не являлось их „колыбелью“, как напыщенно говорил Жак Рекамье, но по крайней мере побывало в руках трех поколений. Ансельм Рекамье, хирург из Белле, вступил во владение им, женившись в 1691 году на девице Луизе Дютийе из Шамбери. Несколько лет спустя, в 1709 году, дом и гумно сгорели. Ансельм Рекамье отстроил их на следующий год, и с тех пор дом вряд ли существенно изменился. В это имение удалилась г-жа Дюпомье после своего второго замужества. Г-н Дюпомье, который любил оказывать услуги местным жителям и облегчать их страдания, пользовался там большим уважением и стал мэром Крессена.

Особое очарование этому небольшому дому придавал старый сад, окружавший его, а главное — расположение деревушки

Крессен, построенной на склоне холма над долиной Роны: позади — невысокая, но отвесная дикая гора, заросшая кустарником и подлеском, вспыхивающим осенью самыми жаркими красками; впереди — спускающийся уступами холм, украшенный полями, виноградниками и фруктовыми садами; за ним — равнина, Рона едва виднеется за высокими тополями и поросшими лесом островками; на горизонте — величественная стена Альп.

Вот на этом роскошном природном фоне Жюльетта и провела один радостный день весной 1810 года. Дело было в Бюже, на родине гастронома Брийа-Саварена: главной частью приема являлся обед. Он наверняка был обильным, изысканным, торжественным и долгим. За столом сидели так долго, что внуки г-жи Сивокт, старшему из которых было лет восемь, а младшему — пять, потихоньку выскользнули из столовой и убежали играть в сад. Туда их влекла одна чудесная вещь, которую они заметили еще до обеда, — коляска графа Нессельроде, в которой приехала г-жа Рекамье. В ней их и нашли, когда вся компания наконец вышла из-за стола и пошла прогуляться на лужайку возле дома. Именно в тот момент г-же Рекамье, заметившей милую и живую мордашку маленькой Жозефины Сивокт, впервые пришла в голову мысль увезти ее в Париж и оставить подле себя, чтобы заполнить пустоту своего дома. Подойдя к коляске, она ласково спросила девочку, не хочет ли та поехать с нею в Париж, и дитя, ослепленное такой элегантностью, красотой и великолепием экипажа, восторженно ответило „да“. Несколько месяцев спустя план, намеченный г-жой Рекамье на лужайке в Крессене, осуществился, и маленькая Жозефина Сивокт, которую тетя нарекла тогда Амелией, стала приемной дочерью Жюльетты.

На следующий день, перед отъездом г-жи Рекамье из Бюже, ее золовка и племянница устроили прогулку, чтобы она могла насладиться красотами их края. Они вместе с супругой генерала Дальманя посетили Пьер-Шатель, старую обитель, прилепившуюся на склоне утеса, и проехали вдоль диких берегов Роны, где шумная, бурлящая река быстро несет свои зеленые глубокие воды. Тогда, как и теперь, Пьер-Шатель была крепостью, в которой стоял небольшой гарнизон; это была также государственная тюрьма, где в то время находились заключенные испанцы, и в их числе, как будто, очень знатные господа. Несомненно, элегантная компания посетила этих узников, и это, возможно, было ключевой частью прогулки. Г-жа Рекамье, как и г-жа де Сталь и братья Монморанси, открыто противостояла имперскому правительству. Что до г-жи Дюпомье, то она была пылкой поклонницей Бурбонов. Любопытно отметить, каким необычайным почетом пользовались тогда в глазах

антибонапартистов испанцы, одни ставшие препятствием для всемогущего Наполеона.

Прошло три дня, и г-жа Рекамье, всё также в сопровождении барона фон Фогта, снова села в коляску и отправилась на почтовых к г-же де Сталь, на берега Луары; г-жа Сивокт с детьми возвратилась в свой дом на улице Сен-Мартен, а г-жа Дюпомье вернулась к домашним хлопотам в Крессене».

Маленькая почта Шомона

24 июля 1810 года г-жа де Сталь писала своему другу О'Донеллу:

> Хотите знать, кто живет в моем замке? Г-н де Монморанси, г-н де Собран, г-жа Рекамье, Бенжамен Констан, г-н Шлегель, мои дети. Старший весьма умен без лишних забот; бедный Альбер глуховат, что мешает разуму пробиться к нему; Альбертина очаровательна; Проспер де Барант, о котором я Вам говорила, часто приезжает сюда из Вандеи, где он префектом, а г-н де Балк, с которым Вы знакомы, ухаживает за мной, чтобы утешиться от ухода своей жены. В замке музицируют с утра до вечера, это жилище, окруженное Луарой, которое видно за два лье отсюда, превратилось в Звучащий Остров. Огюст делает первые шаги в любви благодаря г-же Рекамье. Г-н де Сабран бродит как тень среди живых, и всё в этом доме достаточно оригинально.

Огюст делает первые шаги в любви… «Недотепа», который, пять лет тому назад, насмешничал над красавицей Рекамье, вышедшей из ванной, теперь безумно — и шумно — в нее влюблен! В двадцать лет дело могло обернуться и похуже… Огюст де Сталь был сыном графа де Нарбона, обворожительного, ветреного посла, только что проведшего переговоры о браке с австрийской эрцгерцогиней; по слухам, он был побочным сыном Людовика XV, на которого был похож… Тяжелая наследственность! Его мать, когда он еще лежал в пеленках, писала: «У меня есть восхитительные идеи по поводу воспитания сына, но если Огюст решит стать лишь вторым гениальным человеком своего века, я буду сильно разочарована…» По капризу генетики, Огюст будет лишен всякого апломба, всякого блеска, всякой даровитости: это всего лишь серьезный мальчик, преданный своей матери, который преждевременно умрет, не оставив потомства. И как знать, не были ли часы, проведенные у ног красавицы из красавиц, самыми памятными из тех, что он пережил…

Явление Жюльетты в этом маленьком мирке, да еще в этой исторической обстановке, вызвало всеобщее сентиментальное брожение: Бенжамен наблюдал, но не оставался безучастным; Проспер вспоминал и ревновал; Шлегель не смел открыться, а Огюст потерял голову… По счастью, Матье был там, все время

настороже… Юная Софи де Барант, сестра Проспера и подруга Альбертины, долго будет вспоминать «об этих интрижках, ибо г-жа Рекамье тишком невинно кокетничала сразу с несколькими, что развлекало и занимало всех».

Среди гостей тем летом находился более проницательный свидетель, невосприимчивый к чарам той, кого называли «милая Рекамье»: друг Шлегеля, Адальбер де Шамиссо, уроженец Шампани, по превратности эмиграции поселившийся в Пруссии и оставшийся в памяти потомства благодаря своему рассказу «Петер Шлемиль, или Человек, потерявший свою тень». Он свысока развлекался кокетничаньем Жюльетты, тайными разговорами, которые с наступлением ночи происходили в «аллее объяснений», если только не в «аллее примирений», при которых и те и другие присутствовали украдкой, появляясь и уходя, точно в пьесе Мариво… Однажды благочестивый Матье застиг там Жюльетту за нежной беседой с Огюстом. Можно себе представить, что за уроком любви последовал строгий (и бесполезный) урок морали…

Г-жа де Сталь следила за всем этим относительно снисходительно, если не пресыщенно. Выдумали игру, которую назвали «маленькой почтой»: один писал другому (все сидели за одним столом) и передавал сложенный листок человеку по своему выбору, который, нацарапав там несколько слов, передавал записку другому или возвращал ее отправителю.

Неудивительно, что под влиянием Жюльетты эта игра превратилась в некое коллективное любезничанье, способ намекнуть на то, чего не скажешь вслух, провоцировать, очаровывать, возражать под защитой безымянности, с риском (о котором тайно мечтали) быть разоблаченным. До нас частью дошли обрывки этих перекрестных диалогов — двусмысленных, фрагментарных, показательных.

Ж.Р.: Благодарю за вашу доброту, но мне особенно дороги ваша дружба и ваше счастие.

Огюст: Заклинаю вас, дорогая Жюльетта, будьте добры к вашему другу, меня страшит ваше ужасное письмо.

Ж.Р.: Что вы пишете? Что вам написали? Я хочу все знать, я ревнива, я требовательна, я деспотична, и я достаточно люблю вас, чтобы оправдать все эти недостатки.

(?): Дорогая Жюльетта, я люблю вас с каждым днем сильней, это каждый раз начинается будто сначала.

Ж.Р.: Вы не говорили мне прежде, что относитесь ко мне хуже г-на де Сабрана.

Г-жа де Сталь: Ангел мой, не богохульствуйте даже в шутку. Я заработалась до недомогания, но мне казалось, что я беседую с

вами, потому что я писала под звук вашего голоса.

Альбер или Огюст де Сталь: Маменька, г. де Сабран мне снова пишет, что я его убил! Однако досадно оказаться убийцею, не подозревая об этом. Дорогая маменька, ты холодна со мной, и мне это сегодня особенно досадно, ибо, если позволишь воспользоваться твоим сравнением, я для тебя на уровне двух градусов по стоградусной шкале. Впрочем, возможно, меня так влечет к тебе сегодня по моей парижской слабости к моде, ибо все пишут тебе красивые слова и ухаживают за тобой.

Г-жа де Сталь: Дорогая Ж(юльетта), пребывание здесь скоро окончится. Без вас я не мыслю ни деревни, ни внутренней жизни. Я знаю, что некоторые чувства как будто мне нужнее, но я знаю также, что всё рухнет, когда вы уедете. Вы нежный и спокойный центр нашей жизни здесь, всё утратит связь меж собой. Господи, хоть бы это лето повторилось!

(?): Дорогая Жюльетта, я вас люблю.

Неожиданное возвращение владельцев Шомона в середине августа вынудило г-жу де Сталь переменить место жительства: из исторического замка переселились в дворянское имение, принадлежавшее графу де Салаберри, — Фоссе, небрежное очарование которого внушало покой после пышного величия…

Теплая компания продолжала свою беззаботную летнюю жизнь: пели романсы, играли на арфе или на гитаре в сопровождении неаполитанца Пертоза, учителя музыки Альбертины, гуляли, болтали в шутку и всерьез, играли в «маленькую почту». Огюст млел у ног Жюльетты, которая поощряла его, потому что так чудесно, когда тебя так любят, а потом отбирала у него надежду, потому что это неразумно, наконец, утешала, как могла, потому что это так трогательно.

Среди всех этих мелких волнений г-же де Сталь, как всегда, удавалось укрыться одной и поработать: она считывала верстку третьего тома. Думая, что близка к своей цели…

Запрет «О Германии»

Г-жа де Сталь закончила правку гранок своей книги 23 сентября. Два первых тома уже были переданы в цензуру. Она была полна доверия, писала г-же де Кюстин, которая тогда жила в Женеве: «Труд мой окончен; два первых тома отцензурованы, я жду третьего. В первых числах октября рассчитываю уехать в Нант; там подожду эффекта своей книги и оттуда поеду либо в Руан, либо в Морлэ…», то есть в зависимости от того, хорошим или плохим окажется прием, она приблизится к Парижу или отплывет в Америку.

25-го, во вторник, Жюльетта отбывает в Париж с гранками третьего тома и полной версткой всего труда, на который г-жа де Сталь возлагала такие надежды. Сама же она отправилась с Матье в поместье Монморанси по соседству с Фоссе. На следующий день, возвращаясь в Фоссе, они заблудились и укрылись в замке Конан. Туда и примчался ночью Огюст де Сталь, который тоже заблудился, разыскивая свою мать. Матье решил не беспокоить ее до следующего утра. И действительно, посланный прибыл с ужасной вестью. Савари, герцог де Ровиго, сменивший чересчур уступчивого Фуше в министерстве полиции, усердно исполнял волю своего господина: в его письме к г-же де Сталь содержался приказ в 48 часов отплыть в Америку или вернуться в Коппе. Он требовал рукопись книги вместе с версткой. И объявлял, что 5 000 экземпляров, уже отпечатанные издателем (два первых тома), конфискованы, равно как и гранки третьего тома. Типографские наборные доски опечатаны.

Огюст немедленно вернулся в Фоссе, опасаясь обыска, в четверг 27-го туда же приехала г-жа де Сталь, узнав дорогой о своем несчастье. Слава богу, рядом с ней был Матье: он обо всем рассказал, поддержал и помог, ибо волнение ее было чрезвычайным.

Г-жа де Сталь намерена ответить немедленно: ей надо выиграть время, и, не оправившись от потрясения, она начинает действовать. Нужно попытаться прорваться в Париж, смягчить императора. Жюльетту, еще поддерживающую связи с некоторыми влиятельными лицами, подключают к делу. Но увы! Ходатайства Жюльетты и Огюста (который доставил письма к императору и Савари) ни к чему не привели. Уступив просьбам своей падчерицы Гортензии, Наполеон попросил взглянуть на книгу г-жи де Сталь; она привела его в такое раздражение, что он швырнул ее в камин! Баронессе удалось добиться лишь недельной отсрочки, о чем ее известил Савари в на редкость грубом письме:

> Ваше изгнание — естественное следствие направления, которого Вы неизменно придерживаетесь в последние годы. Мне показалось, что воздух этой страны Вам не подходит, и мы еще не дошли до того, чтобы искать образцы в народах, коими Вы восхищаетесь. Ваше последнее сочинение не французское…

Сквозь каждое слово пробивается гнев императора. Как будто слышен его голос; поневоле пожалеешь об изворотливости и слащавости Фуше: по крайней мере, хорошее воспитание вынуждало его облекать свои мысли в пристойную форму!

У г-жи де Сталь был выбор: отправиться в Америку (порты Ла-Манша для нее закрыты из опасения, что она уедет в Англию) или в Коппе. Она выбирает Коппе и уезжает туда 6 октября 1810 года, с тяжестью на душе, ибо ей не удалось повидаться ни с одним из своих друзей. Однако ей удалось спасти главное: три рукописных списка своего труда. Как и произведения Гёте и Шиллера, ее сочинения вскоре будут запрещены для публикации в Империи.

Наполеон ставил г-же де Сталь в вину не столько ее объемистое исследование нравов, литературы и философии Германии, сколько ее темперамент, прямо противоположный его собственному. Конечно, в тот момент, когда баронесса готовилась представить свою книгу публике, в оккупированных германских государствах подспудно вызревали разнообразные по своему проявлению национальные чувства, и в глазах оккупанта книга могла показаться вредной. Но, освободившись от нескольких пикантных, по мнению имперских властей, пассажей, «О Германии» стало обширным сборником информации, предназначенным открыть французскому читателю иной образ мыслей и творчества, и вполне пригодным к публикации. В нем противопоставлялись Юг со своим греко-римским наследием — классицизмом, и Север с его феодализмом и произошедшим из него романтизмом, который автор анализировал, открывая читателю.

Император не мог допустить другого, что было гораздо глубже: г-жа де Сталь являлась духовной дочерью Просветителей, наследницей Монтескье и Руссо, она верила в прогресс, в цивилизацию, в свободу. Она непреклонно противилась абсолютизму в любой форме. Она не терпела порабощения мысли. Ненавидела военную диктатуру. Восставала против всякого произвола. Ее тонкий ум немедленно распознавал всякое злоупотребление. И она клеймила его со всею щедростью, остроумием и пылкостью своей натуры. Она была смелой,

горячей, неудобной. А против нее стоял неумолимый фантазер, веривший только в силу и завоевание, питавший лишь презрение к человечеству — что к народам в целом, что к людям в частности. Ему требовалось принудить, подчинить своей воле всё, что ему противилось: кровью, полицейским террором, лестью — как угодно! Его хрупкое здание зиждилось единственно на его силе, его представлении о собственном величии; г-жа де Сталь была песчинкой, но песчинкой, способной превратиться в камень в почках, погубивший Кромвеля. Ее нужно было устранить.

Легче сказать, чем сделать! Можно пытаться поработить мысль, подчинить ее себе, но убить ее нельзя… Когда всё рухнет, Наполеон признает, что за него были только мелкие писатели, а великие — против него… Его правление было красноречиво бесплодным в том, что касалось литературы и духовной жизни, он это сознавал и, вероятно, сожалел об этом. А кто виноват? Он терпел только конъюнктурную и льстивую литературу, всякое независимое творчество — а существует ли вообще творчество без независимости? — ему мешало. Он утверждал, что писатели у него по струнке ходят: известно, что это обошлось в потерю Шатобриана и г-жи де Сталь…

Став затворницей в Коппе, г-жа де Сталь превратилась в символ. И какой! Остроумная г-жа де Шатене выразила это по-своему: «В Европе есть три державы: Англия, Россия и г-жа де Сталь». Ход теперь был за баронессой. Сумеет ли она им воспользоваться?

***

В одном из умоляющих писем, адресованных императору, г-жа де Сталь выдвинула главный аргумент, который он обернет против нее:

> Немилость Вашего Величества ставит людей, которые ей подвергаются, в столь незавидное положение в Европе, что я не могу сделать и шага, не столкнувшись с ее действием: одни опасаются скомпрометировать себя, видясь со мной, другие почитают себя римлянами, торжествуя над этим страхом, и простейшие общественные отношения превращаются в услуги, которых не снести гордой душе. Среди моих друзей одни с восхитительным великодушием разделили мою судьбу, но я видела, как рвутся самые тесные связи перед необходимостью жить со мной в одиночестве, и вот уже

восемь лет я живу между страхом, что мне не принесут этих жертв, и болью, когда приходится их принимать.

Трагедийно привлекая внимание к своей уязвимости, она вложила в руки Наполеону вернейшее оружие, чтобы себя победить: разумеется, он не преминет изолировать ее (чего она больше всего боялась) и запереть в Швейцарии, которую она ненавидит. На войне как на войне. Она могла бы предвидеть реакцию противника, не переносящего риторику и слезы и суровеющего каждый раз, когда его пытаются смягчить… Но хотя удар был и жесток, наверное, были такие, кто сильнее пострадал от жестокостей Империи, чем эта женщина выдающегося ума, известная на всю Европу, владелица роскошного замка, наследница огромного состояния, которым она управляла сама, да еще с какой хваткой!

В новых испытаниях от г-жи де Сталь ожидали душевной силы на уровне ее интеллектуальной закалки. Увы! Вместо того чтобы проявить достоинство и самообладание, Коринна с удвоенной силой заметалась, шумно приходя в отчаяние и стеная во всеуслышание о том, что «изгнание — тюрьма». Конечно! Но как же она не понимает, что опять, как и всегда, действует себе во вред, убивает своих настоящих друзей, удрученных этими новыми конвульсиями, которые, как она сама признается, подтачивали ее здоровье, тогда как другие отвернулись от нее из усталости или по трусости. Враг же ее торжествовал, потому что сразил ее, и она сама кричала об этом каждому, кто желал слушать!

На Святой Елене Наполеон скажет: «г-жа де Сталь в опале одной рукой сражалась, а другой просила милостыню». Парадокс в том, что она сражалась, как мужчина, а просила, как женщина. В результате чего она не могла выпутаться из своих противоречий: ненавидела тирана и в то же время вверяла себя его воле. Всё еще надеялась, что абсолютизм, который она обличала, снизойдет к ее положению… И это поведение было вызвано не столько неверной оценкой политической ситуации, сколько упорной ее иллюзией, будто она существо исключительное, а следовательно, не подвластна общим правилам, общей судьбе. Заблуждение, которое не уменьшило ее бесспорную славу, но и превратило ее существование в неизбывную муку!

Шатобриан прислал ей сочувственное письмецо, прося оказать финансовую помощь книготорговцу Николю, пострадавшему от запрета «О Германии». К чему присовокупил:

Пишу Вам из моего приюта [Волчьей Долины]. У меня есть маленькая хижина в трех лье от Парижа, но я

> сильно опасаюсь, что придется ее продать. Ибо даже хижина слишком велика для меня. Если бы у меня, как у Вас, был хороший замок на берегу Женевского озера, я бы никогда его не покидал. Никогда публика не прочитала бы ни единой моей строчки. Я употребил бы столь же пыла, чтобы заставить забыть о себе, сколь безумно вложил в то, чтобы прославиться. А Вы, сударыня, возможно, несчастливы от того, что составило бы мое счастие?

Понятен такой взгляд на вещи со стороны безденежного дворянина, который всю свою жизнь перебивался с хлеба на квас — и сумеет тратить не считая, когда сможет… Г-жа де Сталь оскорбилась этими словами и долго еще держала обиду на того, кто их написал! Она пишет Жюльетте: «Ах, как плохо г-н де Шатобриан знает сердце, думая, что я счастлива. Он говорит, что не стал бы больше писать, если бы у него были деньги. И с той же точки зрения рассматривает счастье. Вот вульгарная сторона человека, в остальном весьма незаурядного». Видно, что она родилась богатой! И что она не ведала никаких других превратностей, кроме тех, что создала себе сама. Позже г-н де Шатобриан, не ужившись с властью, будет вынужден продать не только свой дом, но и свою библиотеку: ему будет больно, но он притворится, будто ему всё нипочем… Богатая буржуазка, каковой являлась г-жа де Сталь, самовлюбленная эгоистка, которой всё было дано, повела себя некрасиво, как посредственность, не умея понять человека, более обездоленного, чем она сама. Как превосходит ее в этом Жюльетта! Как она, которая всё потеряла, умеет ценить и удовольствоваться тем немногим, что у нее осталось! Она поведет себя совсем иначе, когда удар обрушится и на нее…

Появление ребенка

После нежных часов и завлекающих игр в Шомоне и Фоссе Огюст де Сталь уехал вслед за матерью: отныне он будет сновать между Парижем и Коппе, но его любовь к Жюльетте не охладела. Он любит ее «серьезно, рыцарски», как писала она сама его матери. Дойдет ли рыцарь Огюст до того, чтобы строить планы на будущее, просить ее руки? Судя по всему, да, раз г-жа де Сталь и Матье (опекун детей Сталя после смерти шведского барона) тревожатся и пытаются свести на нет эту безумную идею.

У Жюльетты было время поразмыслить над новой любовью всю осень, что она провела у друзей Кателланов, в Анжервилье. Матье приезжал туда по-соседски из Дампьера. Возможно, обсуждался и более серьезный план, касавшийся Рекамье: по удочерению той маленькой белокурой девочки, мелькнувшей на красивой лужайке Крессена и воспылавшей страстью к элегантной посетительнице своей бабушки, если только (ей ведь тогда было пять с половиной лет) не к красивой коляске с белыми подушками, в которой та появилась.

Вернувшись в Париж незадолго до новогодних праздников, Жюльетта узнала о смерти Мариетты Сивокт, дочери своей золовки Рекамье, так любившей праздники и не пропускавшей ни одного бала. Ей было двадцать девять лет, после нее остался муж-врач да трое маленьких детей, в том числе очаровательная Жозефина. Жюльетта, которая уже однажды выразила такое пожелание, снова попросила ребенка себе, после долгих разговоров об этом с г-ном Рекамье.

Весной он воспользовался поездкой в Лион, по пути в Италию, чтобы навестить свою родню в Бюже. Он писал Жюльетте: «Если мы окончательно решим [взять девочку], я считаю, что для тебя, как и для меня, будет большой радостью растить ее и смотреть, как расцветает этот юный цветок».

Он просит жену поразмыслить над будущими сложностями: «Надо будет устраивать ее замужество, привлекать или удалять женихов, выделить ей приданое».

С согласия семьи девочку отправили в Париж в июле 1811 года. Она прибыла сначала в контору дяди, тот отвел ее домой, раскрыл дверь гостиной, где Жюльетта, лежа на кушетке, беседовала с Жюно, и возвестил, подтолкнув ее в комнату: «Вот и малышка!»

По воспоминаниям г-жи Ленорман, она тотчас узнала красивую женщину, к которой тогда прониклась симпатией, и между ними установились доверительные отношения. Девочка

спела ей песенку, наполовину на французском языке, наполовину на местном наречии, что очень рассмешило г-жу Рекамье. Ей поставили кровать в кабинете по соседству со спальней Жюльетты, и сквозь калейдоскоп незнакомых лиц, проходивших перед ней, она всегда чувствовала нежную заботу своей покровительницы.

Маленькую Жозефину (родившись в 1804 году, она, как и многие ее сверстницы, носила имя императрицы французов) окрестили именем ее новой крестной матери, маркизы де Кателлан, — Амелия. Она была живой, лукавой, чрезвычайно смышленой, и более тридцати лет, за редкими исключениями, ее жизнь была неотделима от жизни ее тетушки.

Реакция г-жи де Сталь была типичной:

> Почему Вы взяли эту девочку из Белле? Из доброты! Но чувствительная ли у нее душа? Чувствительнее, чем у ее родителей, злоупотребивших Вашей щедростью? Как Вам живется?

Почему? Да потому, что она была женщиной, как все, потому что она тоже стремилась к материнству и справедливо полагала, что это дитя станет лучиком света в ее семейной жизни, ибо благородные отцы начинали стареть. Позднее она будет вспоминать об этом решении и признается Амелии: «Я думала этим удочерением скрасить старость твоего дядюшки; то, что я желала сделать для него, я сделала для себя. Это он дал мне тебя. Я буду всегда благословлять за это его память». Жюльетта — кто бы мог подумать! — окажется необычайно внимательной и нежной матерью.

«г-же Рекамье, урожденной Жюльетте Бернар, надлежит удалиться за сорок лье от Парижа…»

Всю зиму и всю весну 1811 года Жюльетта получала душераздирающие призывы с берегов Женевского озера: «Верно ли, что Император приезжает весной в Женеву? Я спрашиваю об этом, разумеется, не чтобы искать, а чтобы избегать его. Скажите честно, видите ли Вы хоть малейшую опасность в нашей встрече с Матье? Ах, как больно пребывать в постоянном страхе, быть как зачумленной для всех, кто к тебе приближается! Я борюсь со своим сердцем, чтобы не потонуть в горечи всего того, что навлекло на меня изгнание…»

Какое простодушие! Разве может г-жа де Сталь сомневаться в том, что приезжать к ней опасно? С течением времени все, кто ее окружал, подпали под удар: префект Корбиньи из Блуа был смещен за то, что был с нею слишком покладист. Префект Барант из Женевы — тоже, и по той же причине. Шлегеля принудили удалиться… Жаловаться — значит затрагивать чувствительные струны в сердце двух своих преданных друзей, Жюльетты и Матье, побуждая их приехать к ней и обрекая их, рано или поздно, на изгнание.

Жюльетта всё же решилась нанести ей визит: она поедет якобы на воды, с подорожной до Экс-ан-Савуа, наведается в Коппе, а оттуда отправится в Шаффхаузен, красивое место близ Рейнских водопадов, где она назначила встречу прусскому принцу Августу, в середине сентября. Братья Монморанси приедут в Коппе до нее.

Не стоит и говорить, что все вокруг нее пребывали в беспокойстве. Предостережения сыпались со всех сторон: Эменар, Жюно, сам Фуше приходили к ней, пытаясь отговорить от путешествия. Если верить Балланшу, Фуше напирал на то, что, навестив г-жу де Сталь, она не сможет ни вернуться в Париж, ни остаться в Коппе. Жюльетта якобы ответила: «Герои имели слабость любить женщин, Бонапарт (ей бы следовало сказать „Император“) первый, кто имеет слабость их бояться…» Всё тот же Балланш (которому не стоит доверять, ибо он питал редкую снисходительность к своему кумиру) сообщает, что, когда эти слова дошли до Наполеона, тот сей же час принял решение об ее изгнании.

21 августа 1811 года Матье, будучи в Коппе, узнал о своем наказании. Надо признать, он уже давно заслуживал высылку за

сорок лье от Парижа: они с кузеном Адрианом постоянно агитировали в пользу папы и черных кардиналов. Организовали подписку, чтобы им помочь. Пытались заступиться перед Талейраном за испанских принцев, заключенных в Балансе. Всё лето посещали камеры заключения при полицейских участках и тюрьмы, помогая военнопленным…

23 августа Жюльетта выехала из Парижа вместе с маленькой Амелией. В пути она получила письмо от Матье, в котором тот отговаривал ее от задуманного. О его изгнании она узнала 30 августа, в Море, где четыре года назад опрокинулась ее карета. Огюст де Сталь, посланный матерью, заклинал ее не ехать дальше. Жюльетта не послушалась и на следующий же день пустилась в путь.

По прибытии Жюльетты в Коппе ее племянник, Поль Давид, стажировавшийся в Женевской администрации, призвал ее немедленно уехать. О приезде г-жи Рекамье и об изгнании Матье (которого возмущало не столько само наказание, сколько его причина: он желал бы пострадать за веру, но не из-за протестантки и светской женщины) было хорошо известно в местной префектуре, и «добрый Поль» дрожал не столько за Жюльетту, сколько за себя самого.

А приказ об ее изгнании уже был оглашен ее семье. Г-на Рекамье вызвали к префекту полиции барону Паскье. Растревоженный банкир не спал всю ночь. Паскье зачитал ему приказ: «г-же Рекамье, урожденной Жюльетте Бернар, надлежит удалиться за сорок лье от Парижа». На просьбу сообщить причину изгнания он ответил, что такие приказы не сопровождаются объяснениями. В письме к супруге Рекамье не корил ее за принятое решение, но умолял не усугублять положение «новыми легкомысленными поступками», которые могли бы отрицательно отразиться на его собственном финансовом положении, а также на карьере каждого члена семьи. Он рекомендовал ей вести себя «осторожно и благоразумно» и не поддаваться «окружающему влиянию». Г-н Рекамье был добр к Жюльетте, и всё же являлся главой семьи…

Куда направилась Жюльетта из Коппе, где провела лишь несколько часов? Если верить «Мемуарам» г-жи де Буань, г-жа Рекамье, неосторожно наведавшись к г-же де Сталь в ответ на ее настойчивые призывы, повернула обратно в Париж. В Дижоне ее встретил кузен, г-н де Далмасси, который забрал у нее свою дочь, которую воспитывала Жюльетта, потому что не хотел компрометировать себя связью с изгнанницей. (Нам неизвестно, воспитывала ли Жюльетта еще и маленькую Далмасси, ровесницу Амелии; мы знаем лишь то, что обе девочки жили потом вместе в

Шалоне-на-Марне.) Наконец, по словам все той же г-жи де Буань, в полночь Жюльетта прибыла в Париж.

«Г-н Рекамье задрожал, увидев ее: — О Боже! Что вы здесь делаете, вы должны быть в Шалоне, садитесь скорее в карету.

— Я не могу, я провела в ней две ночи, я умираю от усталости.

— Хорошо, отдыхайте; я закажу почтовых лошадей на пять часов утра.

Г-жа Рекамье отправилась к г-же де Кателлан, которая постаралась утешить ее, как могла [собрав нескольких близких друзей], и проводила в Шалон, можно сказать, с героической самоотверженностью, ибо мы видим, какой ужас внушало клеймо изгнанника заурядным душам».

Клод Ошe напишет ей в Шалон, сожалея о том, что отлучился тогда из Парижа. Он приписывает изгнание «постоянному интересу» Жюльетты к г-же де Сталь, но также и свойству людей, которых она обычно принимала в последнее время: знатных иностранцев, в том числе русских, а также независимых личностей. Фактически, хотя в подписанном императором приказе об изгнании не указывались его причины, Жюльетта была в списке внутренних изгнанников Империи, составленном еще 17 августа. Против ее имени была пометка: «Дурное влияние в обществе».

Миловидная г-жа Мармон, герцогиня Рагузская, узнав новость, написала Жюльетте теплое и информативное письмо: «Уверяют, что приказ вызван вовсе не Вашим посещением г-жи де Сталь, а тем, что у Вас вели разговоры о войне и политике…» В глазах императора это было одно и то же.

Шалон-на-одиночестве

В середине сентября 1811 года Жюльетта покинула Париж вместе с маленькой Амелией и своей горничной Жозефиной. Г-н Рекамье проводил ее до Шато-Тьерри, то есть до полпути. Она отправилась в Шалон-сюр-Марн, выбрав это место по нескольким причинам: этот город находился ровно в сорока лье от столицы, на оживленной дороге в Мец и Германию, благодаря чему чаще могли представляться «оказии», то есть легче было передавать почту. Затем, в префектуре Марны заправляет приятный человек, г-н де Жессен, что немаловажно, если подумать о тысяче мелких неприятностей, которые в противном случае могли бы отравить существование особы, находящейся под надзором. Наконец, Шалон относительно недалеко от замка Монмирайль, обычного места пребывания Дудевилей и их сына Состена де Ларошфуко, который, как мы уже упоминали, был молодым супругом Элизы де Монморанси, дочери Матье: соседство клана, с которым Жюльетта поддерживала хорошие отношения, могло оказаться неоценимым в случае серьезных осложнений.

Шалон-сюр-Марн был — и остается — восхитительным городом, резиденцией епископа, с собором XIII века, красивыми площадями, роскошным дворцом префекта — бывшей резиденцией интендантов Шампани, несколькими очаровательно тихими каналами и большими садами, услаждавшими его обитателей. Красивый город, но провинциальный… И в глазах элегантной парижанки г-жи Рекамье жить в Шалоне значило не жить, а похоронить себя. Социальный вакуум в ту эпоху был синонимом смерти.

Однако Жюльетта не жаловалась, она сохраняла присутствие духа, предоставив другим стенать о ее судьбе. Полностью владея собой, она для начала наладила свою жизнь: остановилась по приезде в гостинице «Золотое Яблоко», расположенной на бывшей римской дороге из Милана в Булонь, проходившей через Шалон и Париж. Гостиница пользовалась европейской репутацией, с тех пор как Станислав Лещинский, бывший польский король и тесть Людовика XV, случайно отведал там восхитительного лукового супа. Гастрономическое впечатление надолго запало ему в память, и он регулярно наведывался в «Золотое Яблоко» из Нанси или Люневиля. После него там, среди прочих, побывали принцесса де Ламбаль, герцог Кумберленд и Иосиф II, брат Марии Антуанетты.

Через некоторое время Жюльетта сняла квартиру по соседству, недалеко от собора Святого Стефана, на тихой улочке,

которая сегодня носит ее имя. Дом, в котором она прожила несколько месяцев, исчез: от него осталось лишь одно резное деревянное панно, хранящееся в муниципальной библиотеке и свидетельствующее о том, что он был построен или сменил убранство во второй половине XVIII века. Еду приносили из «Золотого Яблока», что облегчало работу Жозефины.

Итак, красавица из красавиц поселилась в самом сердце Шампани, в компании семилетней девочки, отрезанная от друзей, любовных увлечений, привычного общества, удовольствий… Что она делает? Чем занимает свои дни? Время движется медленно; по воскресеньям — колокольный звон, долгие мирные вечера, регулярные собрания избранного круга, сонное биение жизни в провинции…

Она посвящает себя Амелии: учит ее читать, преподает начала латыни, заставляет учить стихи. Девочка не отходит от нее ни на шаг. Она разделяет ее печали и тревоги. Позже она расскажет, как однажды ночью в дверь дома громко постучали. Г-жа Рекамье подскочила на постели и воскликнула: «О Господи, чего им еще от нас нужно?» Девочка, спавшая в своей комнате, ответила: «Чего вы боитесь, тетушка, разве мы не в сорока лье?» С проницательностью, свойственной некоторым детям, девочка смотрела на нее. Возможно, это помогло Жюльетте сохранить то душевное равновесие, которым восхищались ее друзья…

Амелия успокаивала ее, забавляла, порой раздражала: однажды Жюльетта рассерженно сказала ей: «Ты не та маленькая девочка, которую я себе представляла. Ты бесчувственная…» И Амелия, беспрестанно слышавшая от тети о «талантах, которыми она хотела ее наделить», потребовала себе в ответ «учителя чувствительности»!

Жюльетту принимали Жессены, столь компетентные и благонадежные, что члены этой семьи пробудут префектами Марны тридцать восемь лет. В их доме г-жа Рекамье могла найти хоть на один вечер немного парижской светскости и элегантности… Однако она вела себя сдержанно, что гарантировало спокойствие ей самой и ее семье. Ей дали понять (впрочем, она сама знала это по опыту), что несколько месяцев молчания и отдаления, возможно, умерят императорский гнев. Она остерегалась нарушить это элементарное, хоть и не явное предписание.

Как и везде, Жюльетта посвящала себя благотворительности: она оставит по себе долгую память у монахинь из шалонских богаделен. Ее друг, герцог де Дудовиль, неоднократно засвидетельствует это при Реставрации и даже при Июльской монархии. Она завязала добрые отношения с соборным

органистом, г-ном Шарбонье, два сына которого служили в армии, из-за чего он не жаловал императора. Наверное, этот маленький человечек, настолько же рассеянный, насколько он был прекрасный музыкант, в свободное время сочинявший в стиле Глюка, был очень забавным — и очарованным расположением к нему Жюльетты. Он скоро предложил ей играть по воскресеньям во время мессы, с чем, похоже, она великолепно справлялась.

Так, между уроками маленькой Амелии, прогулками вдоль течения Ормессона или по аллеям сада, посещениями бедных и музицированием в соборе Святого Стефана, шло время… Сожалела ли в эти тихие часы в Шалоне божественная Рекамье о бурных часах в Париже, или о тех других, пьянящих и нежных, в Коппе и Шомоне? Смотрела ли она с тоской, или со скукой, на заиндевелые берега Марны, на городские ворота? Радовалась ли в душе этому негласному заключению, что позволяло ей держаться особняком от нелепостей провинциальной жизни — глупеньких девушек, неловких молодых людей, нескончаемых и ритуальных партий в экарте в плохо натопленных и плохо освещенных гостиных, где язвительно судачат чопорные старые девы?.. О чем она думала? Что читала? Ходила ли в церковь Сен-Лу взглянуть на картину Симона Вуэ, о которой Клейст, обнаруживший ее за четыре года до того, когда был военнопленным во Франции, говорил, что «никогда не видел ничего более волнующего и захватывающего»? Умирающий вручает свою душу ангелам: этот символ привел в сильное смятение прусского поэта. Тронул ли он хоть на мгновение прелестную парижанку?

***

Жюльетта была изгнана, но не покинута. За восемь месяцев своего пребывания в Шалоне она приняла многочисленных гостей; г-жа де Кателлан практически там поселилась. Нам бы хотелось лучше узнать эту близкую подругу Жюльетты, но, к несчастью, от нее не осталось почти никаких следов, чего не сказать о ее муже, посылавшем Жюльетте всегда очень теплые письма. Похоже, г-жа де Кателлан с ним не слишком ладила, но она была богата, что всё объясняло и усложняло. Амелия, повзрослев, так высказалась о ней: «Она нерассудительна, у нее живое воображение, никаких твердых принципов, никакого представления о порядке. Ее воспитание было самым дурным. Унаследовав огромное состояние, она взяла в привычку не считаться с расходами и смотреть как на недостойное занятие на

всякие хозяйственные заботы. Ей свойственны великодушие, добрые порывы, а главное, способность веселиться. Десять лет она питала настоящую страсть к моей тетушке».

Портрет неласков. Граф Головкин дополняет его одной сухой фразой из письма к Жюльетте той поры: «Она холодна и себе на уме». Более того, настроения ее переменчивы. Она устраивает своим поклонникам тяжелую, если не сказать адскую жизнь: «Она так и норовит то утопиться, то выброситься из окна», — стонет бедный Эжен д'Аркур, измотанный этим постоянным шантажом.

Из всего этого следует, что г-жа де Кателлан не была ни легким, ни предсказуемым человеком. Веселая Жюльетта наверняка любила веселость своей красивой подруги, которой нельзя отказать в истинном мужестве: именно через нее шла переписка изгнанницы, к ней сходились новости об общих друзьях. Добавим, что знавшая ее г-жа де Сталь ревновала к ней.

Еще одна женщина целый месяц разделяла одиночество Жюльетты: ее кузина г-жа де Далмасси. О ней мы тоже мало что знаем, кроме того, что она была несчастлива в браке, устроенном г-жой де Кателлан. Г-жа де Далмасси была мягкой и покорной. И не была искренной: она напишет Матье де Монморанси, за спиной кузины, чтобы отговорить его от визита в Шалон, хотя в тот же день Жюльетта дала ему знать, что ждет его с нетерпением!

Благородные отцы сменяли друг друга подле Жюльетты: сначала г-н Рекамье, в октябре, за ним, в декабре, благодушный Симонар. Потом г-н Бернар приехал вместе с Рекамье, в январе 1812 года. Кузены Монморанси тоже не преминули доказать свою преданность «прекрасной подруге», как они ее называли. Адриан приехал первым: он провел вечер 13 декабря в ее обществе и восхищался впоследствии силой ее духа.

Матье больше всех друзей Жюльетты пострадал от этого испытания. Он был вынужден вести себя крайне осторожно и лишь недолго погостил в Монмирайле. Его главной и неотвязной заботой был Огюст де Сталь. Матье вскипел, узнав, что рыцарь Огюст присоединился к красавице «по дороге». Сопровождал ли он ее в Шалон? Вполне возможно. Ибо Огюст всё так же влюблен, а Жюльетта, несмотря на побуждения Матье, как будто не желает его отдалить… Письма г-жи де Сталь это подтверждают.

Не имея возможности явиться в Шалон средь бела дня, пока на то не получено разрешение администрации, Матье посылает к Жюльетте из Монмирайля своего зятя Состена с выражениями своего почтения. В письме упоминается о «двух девочках», с которыми живет г-жа Рекамье, — Амелии и малышке Далмасси, которая, наверное, упросила отца дозволить ей пожить немного с

тетушкой.

Матье увидится с Жюльеттой во второй половине января: можно представить себе содержание их беседы… Признавался ли себе благородный виконт, что относительное одиночество, в котором она жила, вполне подходило «несравненной подруге», более того, это был случай, лучше не придумаешь, чтобы излечить ее от кокетства, неистребимой жажды знаков внимания, без которых она не могла жить?.. Сознавал ли он, что выдают письма, которые он к ней писал? За всеми этими пылкими нравоучениями, проницательными духовными наставлениями, возможно, скрывалось тайное удовлетворение от того, что она против воли удалена от всякого соблазна? Короче, понимал ли Матье, до какой степени он любит Жюльетту?

Одной из их общих забот была г-жа де Сталь. От баронессы приходили странные письма: она терзалась, но не предлагала конкретной встречи. Что она скрывала?

Оказалось, что г-жа де Сталь к сорока шести годам забеременела от молодого гусарского офицера, на которого робко намекнула в одном письме к Жюльетте за прошлый год, — Джона Рокка, двадцати трех лет, «красивого как бог» и якобы без ума от нее. Они соединились тайным браком. Баронесса тщательно скрывала свое состояние, так тщательно, что ее собственные дети, ничего не заподозрив до самых родов (в ночь с 7 на 8 апреля 1812 года), говорили о приступе водянки… Понятное дело, пока она не стремилась ни разъезжать, ни принимать у себя кого бы то ни было…

Пока г-жа де Сталь пребывала в отчаянии, кавалер Огюст навестил свою красавицу, а ее друзья, часто ей писавшие, старались из Парижа смягчить ее участь. Хотя Жюльетта этому строго противилась, были предприняты некоторые ходатайства за нее. Адриан педантично в них отчитался: г-жа Мармон поговорила с Мюратами, которые были расположены к г-же Рекамье. Виделись и с Жюно. Но из этого ничего не вышло. Да Жюльетта на это и не рассчитывала.

Она не похожа на героиню. Просто тверда и ведет себя с выдержкой и хладнокровием, которые всегда были ей присущи. И всё же это изгнание довлеет над ней, у нее ощущение «ледяного одиночества». Ей, как никогда, хотелось бы окружить себя людьми, теплом, любовью. «Париж Вас обожает», — пишет ей любезный Эжен д'Аркур. Париж для нее закрыт. Тогда она начинает подумывать о путешествии. 27 марта сообщает художнику Жерару о своем желании поехать в Италию. Г-жа де Буань хочет ее от этого отговорить: Вена кажется ей предпочтительнее, как с социальной, так и с финансовой точек

зрения. Жюльетта колеблется, потому что не хочет и не может отказаться от мысли увидеться с г-жой де Сталь.

И тут происходит событие, прояснившее ее положение.

Лионские друзья

Как рассказывает об этом сама г-жа де Сталь в книге «Десять лет изгнания», в субботу 23 мая 1812 года она села в карету «с веером в руке», сопровождаемая Джоном Рокка и двумя своими детьми, как будто собираясь на обычную прогулку. В два часа пополудни она покинула Коппе, где ее ждали к обеду… Вернулась она туда только двумя годами позже.

Власти всё поняли только тогда, когда баронесса была уже вне досягаемости: она попросту сбежала! В отличие от королевской семьи, 21 год тому назад[24], г-жа де Сталь тщательно подготовила свое бегство, и оно удалось. Она больше не могла выносить заточения между Коппе и Женевой. Доносы и давление были ей нестерпимы, мысль об аресте пугала. Она получила разрешение отправиться в Америку, но и в мыслях не имела покинуть цивилизованную Европу. Она намеревалась пожить в свободной стране, а в ее положении на эту роль подходила только Англия. Чтобы туда добраться, ускользнув от наполеоновской полиции, ей придется сделать крюк. И какой! Прошло тринадцать месяцев, прежде чем она прибыла в Лондон.

Итак, она пустилась в путь, который приведет ее сначала в Берн, потом в Вену, затем, через Моравию и Галицию, — в Россию: Киев, Москву, Петербург, наконец, через Финляндию и Ботнический залив, в Стокгольм, где она поживет какое-то время, а затем отплывет из Гётеборга в Гарвич… Свои странствия она описывает в «Мемуарах об изгнании», опубликованных сыном Огюстом после ее смерти.

Узнав об этом неожиданном отъезде, Жюльетта «свалилась с небес на землю»! В день своего бегства баронесса написала ей, но не предложила ничего конкретного, кроме вероятной встречи на водах в Швейцарии, которую она предпочла бы любому другому месту… В следующей записке была такая значимая фраза: «Я люблю Вас больше, чем Вы думаете». Ибо, не зная о реальном положении своей подруги, Жюльетта могла справедливо подумать, что этот отъезд, совершенно не учитывавший ее интересы, хотя г-жа де Сталь и «доверяла ей Огюста», был верхом эгоизма… Она была им глубоко возмущена.

Ожидание в Шалоне больше не имело смысла. Жюльетта решает провести некоторое время в Лионе: в родном городе ей, по крайней мере, будет с кем общаться. Ее хорошо примут члены семьи, особенно золовка, очаровательная г-жа Дельфен, она встретит там нескольких друзей, к тому же Лион лежит на дороге в Италию, которую ей так хотелось бы открыть для себя в

компании с Коринной…

Жюльетта остановилась в гостинице «Европа» на площади Белькур. Она была грустна, и письмо от г-на Рекамье не могло ее утешить: муж просил не забывать, что она постоянно находится под негласным надзором полиции и что из Лиона уже поступили два донесения: о ее прибытии и о том, что она ведет себя хорошо, мало с кем видится и чаще остается дома…

Чаще оставаться дома — вот и все, что она могла делать. Когда через Лион проезжали супруги Жюно, они зашли взглянуть, как она проводит время между пианино и пяльцами, всё такая же грациозная и одетая в белое… Вслед за г-жой Дельфен она навещала бедняков, больных и заключенных. Г-н Рекамье, хорошо знавший свою младшую сестру, предостерегал Жюльетту от того, чтобы не бросаться лишний раз в глаза, «выходя за границы разумного». Это не помешало г-же Рекамье забрать у бродячих актеров маленькую англичанку и воспитать ее за свой счет.

Но обычная благотворительность, хоть и отвлекала Жюльетту от посещавших ее грустных мыслей о своем незавидном положении, не могла сгладить подавленность, ощущение пустоты и ненужности, которые она испытывала после бегства г-жи де Сталь. В Лионе, по крайней мере в начале своего пребывания, Жюльетта не проявляла безмятежной отрешенности, которая заслужила ей в Шалоне восторженные похвалы друзей. Она гораздо более ранима. Что ей нужно — и Лион ей это даст, — так это восстановить собственные силы, завязав новые и крепкие отношения в обществе. Жюльетта всегда черпала нравственные силы, необходимую уверенность в том, что она существует, во взгляде других людей, обращенном на нее, чувствуя, что ее аура, ее сияние, ее чары продолжают действовать. По воле случая на ее пути окажутся прямо противоположные человеческие типы: две знатные дамы и один поэт.

***

В том же отеле жила другая, но столь отличная от Жюльетты изгнанница — герцогиня де Шеврез. Урожденная Гермессинда де Нарбон-Пеле, она после замужества с Альбером де Люином оказалась свояченицей Матье де Монморанси. К тому моменту когда Жюльетта сошлась с ней, ей было двадцать семь лет. По соображениям в основном имущественного характера, часть клана Люинов-Монморанси, во главе с отцом Матье, примкнула к императору. Герцогиня де Шеврез и ее свекровь, герцогиня де Люин, были из непримиримых. Наполеон не ошибся, назвав

особняк Люинов «метрополией Сен-Жерменского предместья». Тем не менее Гермессинду принесли в жертву, принудив ее стать статс-дамой. Свои обязанности она исполняла неохотно и заносчиво. Когда император назначил ее сопровождать развенчанную королеву Испании, она ответила: хватит ей и того, что она сама узница, тюремщицей быть не желает… Изгнание последовало незамедлительно.

Она переносила его плохо. Умирала от чахотки и, как многие больные туберкулезом, горела в лихорадке и капризничала. Хотя рядом с ней была самая снисходительная подруга в лице ее свекрови, которая обожала ее и осыпала знаками внимания. Г-жа де Шеврез была надменной, но и к тому же вела себя странно. Например, полтора года писала к г-же де Жанлис, когда та вернулась из эмиграции, выдавая себя за юную крестьянку. Подписывала свои восторженные письма «Жанетта» и нанесла визит писательнице, нарядившись садовницей. «Хоть и рыженькая, она была необычайно миловидна и элегантна», — скажет о ней г-жа де Буань, которая была к ней строга за ее непоследовательность. Она страшно страдала от своей рыжины, не знала, что и сделать, чтобы скрыть ее, и — последний каприз — велела обрить себе голову за два часа до смерти, наступившей в следующем году.

Ее свекровь, г-жа де Люин, урожденная Гийонна де Монморанси, была необыкновенным человеком, которая еще больше, чем ее больная, выигрывала в глазах Жюльетты по сравнению с почтенными матронами семейства Рекамье. Высшего ума, она отреклась от всякой женственности и всё время, которое не отдавала г-же де Шеврез, делила между двумя своими страстями: типографией и игрой. Г-жа Ленорман так ее описывает:

> Ее грубые и неправильные черты были мужескими, как и звук ее голоса. Когда она носила женскую одежду (что случалось не каждый день), то надевала некий костюм, ни тот, который она, должно быть, носила в дореволюционной молодости, ни тот, что вошел в моду при Империи: он состоял из просторного платья с двумя карманами и чепца с отворотами; ее никогда не видели в шляпе… И все же даже людям, не ведающим о ее состоянии, было невозможно не узнать в ней в пять минут знатную даму. Чувствительность и возвышенность ее души проявлялись даже под грубостью ее повадок… Она была хорошо образованна, прекрасно владела английским языком и много читала. Да что там! Она

печатала; велела установить пресс в замке Дампьер и была хорошим наборщиком.

Что до игры, г-жа Ленорман, разумеется, об этом не говорит, но все знали, что герцогиня де Люин спускала огромные суммы, тем легче, что она финансово поддерживала своих менее состоятельных партнеров. Талейран ценил ее ум, а также либерализм: он был завсегдатаем на улице Сен-Доминик, где «столы для игры в вист, крепс и бириби» не пустели всю ночь, под наблюдением челяди, работавшей в четыре смены…

Она сразу прониклась нежным чувством к Жюльетте, которую называла «красавицей», виделась с ней каждый день по получасу, водила в театр, делала ей очаровательные маленькие подарки и ценила умиротворяющее воздействие ее присутствия на взбалмошную и больную душу ее снохи. Эта связь оказалась прочной: до самой смерти герцогини де Люин в 1830 году Жюльетта получала от нее живые и пикантные записки. Эта знатная дама без всяких предрассудков оценивала прочих членов своего клана, прекрасно разбираясь в движущих мотивах и пороках каждого из них. Когда она называла Матье «большим дуралеем», Жюльетта наверняка улыбалась…

Лионское изгнание ознаменовалось еще одним знакомством — с поэтом и христианским философом Пьером-Симоном Балланшем. Его представил г-же Рекамье Камиль Жордан, и сын печатника с первого взгляда влюбился в белую Жюльетту. Он посвятит ей всего себя, всю свою жизнь и все свои помыслы. Он был старше ее на год и, несмотря на малопривлекательную внешность (у него была атерома на лице), выказал себя невероятно верным и преданным даме, которую избрал для себя на всю жизнь: едва вырвавшись от своей семьи, он приедет к ней и станет жить рядом. О нем говорили, что он был ее «домашним Платоном»: справедливее не скажешь. Этот целомудренный и стыдливый влюбленный станет в некотором роде нравственным опекуном Амелии, ее приемным отцом. Он по-прежнему будет заниматься творчеством (мало известным), которое, по мнению Эррио, причислило его к «лионским метафизикам»: «Их мысли были окутаны туманом, который порой делал их совершенно непроницаемыми, и уж конечно руководствовались они не чистыми традициями французского духа. Зато они отличались глубокой оригинальностью, и поэзия, очень нежная и проникновенная, сглаживала извилистость их мысли, смягчала нюансы их языка: их не всегда можно понять, но всегда подпадаешь под их обаяние…» К сведению любителей: его «Палингенез», который принес ему членство во Французской

Академии, был опубликован в 1830 году.

Г-н Балланш обезоруживал своей доброжелательностью и наивностью. Будучи представленным г-же Рекамье, он на следующий же день нанес ей визит. В разговоре на бытовые темы он с трудом подбирал слова, но о философии, морали, политике и литературе говорил необычайно увлекательно. Всё портила маленькая деталь: его туфли были начищены какой-то ужасно зловонной ваксой, от запаха которой Жюльетте делалось почти дурно. Не выдержав, она робко намекнула гостю на это обстоятельство. Балланш извинился, вышел в прихожую и вернулся уже без обуви.

Так началась их дружба, которая длилась до самой смерти. В окружении Жюльетты порой плохо понимали это тусклое, лишенное блеска присутствие. Жюльетта, такая красивая женщина, ценящая во всем превосходство, всегда привлекавшая к себе всё самое замечательное по своему престижу, компетентности, известности, — как могла она водиться с этим увальнем?.. Можно лишь отдать должное ее благородству и хорошему вкусу, ведь она первая поняла, кем был Балланш (сам бы он этого сказать не посмел): очень тонким и очень добрым человеком, мысль которого, если только не терялась в излучинах начитанности и эрудиции, разворачивалась во всю ширь к великому удовольствию его собеседников — достаточно сказать, что его высоко ценил Шатобриан. Правда, Балланшу пришла в голову удачная мысль напечатать в 1802 году второе и третье издания «Гения христианства»…

Несмотря на свою неловкость и рассеянность ученого, Балланш окажется чрезвычайно деликатным в том, что касалось Жюльетты: он сделает ее своей Музой, Лаурой, Беатриче, найдет такие слова, которые возвышают и преображают. Балланш, эта находка Жюльетты, станет для нее самым приятным, самым надежным спутником, волшебным зеркалом.

***

Шел 1812 год, и положение Наполеона понемногу становилось тревожным. Возможно, в Шалоне Жюльетта наблюдала прохождение войск, которые незаметно, но непрерывно усиливали собой немецкие гарнизоны. Может быть, она, как Гёте в Фульде несколькими неделями позже, задавала себе неизбежный вопрос: «Сколько их вернется?»

Как только с обеих сторон будут стянуты войска, франко-русский союз может лопнуть. После ритуального обмена

ультиматумами, русский царь и император французов готовы к столкновению. 24 июля Наполеон перешел Неман: началась катастрофическая российская кампания. Она станет прелюдией к его падению.

В Лионе, бывшем в целом на стороне императора, как и везде в Европе, ждали вестей с этой далекой войны и, несмотря на принятые предосторожности, довольно скоро поняли, что вести эти дурные. Чем дальше Наполеон углублялся в Россию, тем больше он тревожился: по совету старика Кутузова (командовавшего войсками при Аустерлице), противник избегал сражения, а когда наконец принял бой — под Бородином, на Москве-реке, — то потерпел лишь полупоражение, поскольку ему удалось уйти. 14 сентября Наполеон вошел в оставленную Москву. Двумя днями позже ему пришлось покинуть Кремль. Священный город предпочел сгореть, чем терпеть иностранную оккупацию. Наполеон терял время… Он дождался первого октябрьского снега, прежде чем решился на отступление. Слишком поздно, оно обернется кошмаром: уходя из Москвы, Великая Армия насчитывала сто тысяч человек, Неман перешли менее тридцати тысяч. Поздно вечером 18 декабря император, в сопровождении Коленкура, инкогнито вернулся в Тюильри. И заявил: «Я совершил большую ошибку, но у меня есть средства ее исправить».

Эти средства можно было себе представить: массовые рекрутские наборы для восстановления вооруженных сил. Помимо 130 тысяч новобранцев 1813 года, призванных с опережением срока, он провел «призыв четырех классов», стянув под знамена призывников с 1808 по 1813 год, в том числе и замещающих. Он обязал дворянскую молодежь записываться в почетную гвардию, вернул пехотные дивизии, временно служившие на флоте, укрепил старую и молодую гвардию — короче, произвел суровую реорганизацию армии. Она была особенно непопулярна.

Париж волновался со времен несчастного и нелепого дела Мале — попытки государственного переворота, предпринятой генералом-республиканцем, который воспользовался отсутствием императора, чтобы объявить о его смерти и, не дав опомниться, попытаться завладеть браздами власти. Дело тут же уладили, Мале расстреляли. Экономическая разруха еще больше усилила недовольство и брожение умов. До самого июня 1813 года жили в ложном спокойствии: основы империи сотрясались, оставалось лишь ждать, когда она рухнет.

Рим, префектура Тибра

В это смутное время Жюльетта, с поощрения Матье де Монморанси, с которым она встречалась в январе 1813 года, решилась поехать в Италию. Она выехала из Лиона в первые дни Великого поста. Есть какая-то тайна в этом внезапном отъезде, которого ничто не подгоняло: от парижских друзей, проездом в Лионе, да и от самого г-на Рекамье, всегда находившего способ переслать ей «Бюллетени» с изложением того, что происходило в политических кругах, она получала достаточно сведений, говорящих о том, что с возобновлением конфликта Европа будет снова предана огню и мечу.

Никого из ее биографов не заинтересовала фраза герцогини де Люин, которая напишет ей десятью годами позже, после второго внезапного отъезда в Италию: «Если бы не Матье, сообщивший мне причину, вынудившую Вас это сделать [поспешно уехать], то я уже боялась, что это по поводу, схожему с лионским [отъезд в 1813 году]»[25]. Какой же это был повод? Сердечный? Политический? Финансовый?

Одна из явных причин путешествия Жюльетты в 1813 году состояла в том, что она отныне не была связана никакими планами с г-жой де Сталь. В отношения между ними закрался холод: баронесса, поселившись в Стокгольме, требовала к себе сына Огюста. После поездки в Лион, где, вероятно, произошел взаимный разрыв, беспечный молодой человек прибыл к матери в шведскую столицу. Г-же де Сталь не понравилось, что сын не привез ей ничего от Жюльетты.

Что произошло? Позволяла ли Жюльетта любить себя Огюсту или по-настоящему привязалась к нему? Мы этого не знаем. Знаем мы, что этот разрыв был ей неприятен, поскольку навязан. Но так уж ли ей было больно? Собиралась ли она выйти замуж за Огюста? Он был милым кавалером, но жалкой партией… Такая мысль не могла быть особо привлекательной, если не считать перспективы стать еще одной г-жой де Сталь… Если такая шутка и позабавила Жюльетту, то не надолго. Как бы там ни было, баронесса вновь забрала власть над женихом своей подруги, как когда-то вернула себе Проспера.

Когда в начале августа младший сын, Альбер де Сталь, которого мать называла «сумасбродом», погиб на дуэли в Мекленбурге из-за ссоры, связанной с игрой, Жюльетта послала письмо с соболезнованиями. Баронесса ответила взволнованной и горячей запиской: «Я уверена, что Вы пожалели меня, мой дорогой друг. Но что бы со мной сталось, если бы подле меня не

было Огюста? Подумайте об этом и простите…» Простила ли Жюльетта? Во всяком случае, смолчала.

***

Она уехала в Италию в довольно дурном настроении. Матье, обещавший присоединиться к ней, передумал и проводил ее лишь до Шамбери. Она путешествовала в собственном экипаже, в котором была библиотека, пополненная Балланшем недавно изданной «Историей крестовых походов». Плюс к этому — «Гений христианства», который она перечитывала спустя десять лет после поездки в Англию, а еще итальянские поэты — наверное, чтобы подготовиться к грядушим открытиями… Ибо путешествие в страну Данте и Тассо было еще и большим духовным приключением…

Она начала со столицы Савойских королей, Турина, который под французским управлением забывал о своем феодальном прошлом. Г-жа Рекамье остановилась у Огюста Паскье, брата барона-префекта полиции, отправившего ее в изгнание, который, как и в Женеве, ведал сбором налогов. 26 марта 1813 года она написала два письма своим лионским друзьям, Балланшу и Камилю Жордану. В письме к последнему содержатся такие строки: «Я получила Ваше второе письмо, дорогой Камиль, и просто пришла в ярость: возможно ли, чтобы такой возвышенный человек, как Вы, находил удовольствие в том, чтобы распространять и повторять пересуды маленького городка…»

Жюльетта в ярости — это нечто небывалое! Что произошло? Обиды накопились — отсутствие Матье, печаль, двойное разочарование в Сталях, да еще раздражение, вызванное пересудами, о которых ей сообщают… Объясняют ли они ее гнев и «нервные припадки, коих у нее никогда прежде не бывало»? Хотелось бы знать…

Она продолжает путь небольшими переездами: Алессандрия, Парма, Пьяченца, Модена, Болонья, Флоренция. Паскье посоветовал ей в Турине не путешествовать в одиночку и нашел ей превосходного спутника в лице одного немца, которого г-жа Ленорман представляет таким образом:

> Это был очень образованный, очень скромный немец, отличный ботаник, который, только что завершив образование молодого человека из хорошей семьи и отныне свободный, желал посетить Рим и Неаполь. Общество этого превосходного человека оставило у г-жи

Рекамье и ее юной спутницы приятнейшие воспоминания. Г-н Маршалл был чрезвычайно сдержан и редко выходил из кареты. В дорогу отправлялись в половине седьмого утра; к одиннадцати часам или полудню останавливались, чтобы позавтракать и покормить лошадей; снова пускались в путь около трех часов и шли до восьми, до захода солнца. Часто, когда солнце клонилось к горизонту и жара уже не была нестерпимой, г-жа Рекамье подсаживалась к молчаливому немцу, чтобы поболтать с ним и насладиться прекрасными видами природы.

Одна, вдали от друзей и от семьи, в чужой стране с ребенком семи-восьми лет, под покровительством незнакомца, г-жа Рекамье часто впадала в продолжительное и печальное молчание, и порой слезы текли по ее лицу. Г-н Маршалл ни разу не смутил ее меланхолии словом неуместного участия, и Жюльетта была ему за это благодарна.

Новая горничная, Дженни, писала Балланшу из Флоренции, где они провели неделю, что этот добрый немец, не знавший, что бы сделать полезного, однажды утром «поднялся в пять утра, чтобы нарвать цветов, от которых у нее (г-жи Рекамье) ужасно разболелась голова»… Они расстались по приезде в Рим, на Святой неделе.

***

Рим прозябал. Уже двадцать лет город, как мог, приспосабливался к беспорядкам, привнесенным революционными волнениями. Сначала туда прибыли первые эмигранты (в том числе будущая г-жа де Буань), затем якобинцы, посланные художником Давидом[26], которые превратили Французскую Академию в подобие клуба подстрекателей. Римляне недобро смотрели на обеднение папской казны, прямое следствие этого идеологического наплыва. Директория, а затем Бонапарт совершили грубую ошибку: применили свои схемы к другому народу, который не знал, что с ними делать. Они искренне воображали, что Рим — то же, что Париж, что неудержимое восстание против «правительства попов» всколыхнет его и увлечет по дороге Революции к сияющим небесам свободы и братства!

Чудовищное заблуждение! Это значило плохо знать римлян, любивших патриархальный уклад, при котором они жили,

любивших своего папу, как они любили свои праздники и роскошные процессии, по сравнению с которыми шествия с идолами из папье-маше якобинского толка казались им жалкими пародиями. Бонапарт послал к ним в 1797 году своего брата Жозефа, потом, на следующий год, — Бертье. Он хотел бы, чтобы военная оккупация имела вид покровительства. Ее узаконили, создав искусственную Римскую республику, которую римляне и тогда, и сейчас еще называют «французским режимом». Они были убиты горем, но бессильны.

Разграбление Рима французской армией при попустительстве Массены, адъютанта Бертье и поклонника Жюльетты, остается одной из скандальных акций политики Директории. Война, как известно, должна была кормить войну. Мало того, что население было обескровлено, сокровища церквей, дворцов и музеев систематически опустошались, богатства Ватикана, в том числе его знаменитая библиотека, были разграблены, и всё это, разумеется, как всегда, во имя святой свободы. Статуя Паскуино, это чисто римское изобретение, каждое утро пестрела мстительными или лукавыми бумажками, выражавшими глас народа. «Правда ли, что все французы воры?» — спрашивали у него. Паскуино отвечал: *«Tutti, no, ta buona parte!»*[27] Под иронией всё труднее удавалось скрыть ненависть к оккупантам.

При Консульстве всё как будто уладилось: подписание Конкордата означало перемирие. Но как только Наполеон был коронован, он снова превратился в угрозу для римлян. Его двусмысленное отношение к папскому городу сбивало с толку. Завороженный его славным прошлым и его призванием, Наполеон хотел сделать его вторым городом своей будущей империи. Он провозгласил своего сына Римским королем и мечтал о том, чтобы самому там короноваться. И при этом проявлял к нему суровость и ни разу там не побывал. Наполеон без всяких церемоний располагался лагерем при всех дворах Европы, но ни разу не посмел показаться в Вечном городе. В июне 1809 он послал Миоллиса его оккупировать. Чуть позже похитил папу. Установил там Консульту — правительственный совет из пяти французов, снова обескровил, а потом попросту аннексировал.

И вот в этот-то скорбящий город и приехала Жюльетта. Столица департамента Тибр плохо выносила управление, навязанное иностранными силами, которые символизировали военный губернатор, всемогущий генерал Миоллис, префект, г-н де Турнон, и начальник полиции, г-н де Норвен. Аристократия приспособилась к этому лучше, чем народ, пребывавший в мрачном отчаянии.

В оправдание официальным представителям французского

правительства надо сказать, что они вовсе не были палачами: они делали всё, что в их власти, чтобы постичь нравы и особенности психологии населения, которым управляли. Миоллис всей душой полюбил Рим и решился покинуть его с тяжестью на сердце. Несмотря на оковы, которые фантазер желал наложить на римлян, смесь слепого бюрократизма и модели, внушенной чтением древних в редакции Корнеля, — короче, самое далекое от действительности представление о Риме и его жителях оскорбляло их, не давая дышать. Это нелепое *возрождение* казалось им верхом неудобства, если не сказать регрессом.

Жюльетта временно остановилась у Серии, на площади Испании, пока не подыщет постоянной квартиры, которая подвернулась месяц спустя. Первым римским обиталищем Жюльетты стал «благородный этаж» палаццо Фиано, на улице Корсо. Французские власти являлись к ней из уважения, по-прежнему внушаемого ее именем. Да и какую опасность может представлять для имперских властей эта одинокая молодая женщина с ребенком?

Разболевшись по приезде, Жюльетта прошла посвящение в римскую жизнь, побывав на самом красивом и самом символичном христианском обряде — сумеречном богослужении в соборе Святого Петра, когда по завершении мессы хор Сикстинской капеллы исполнял *Miserere Allegri.*

Великий момент! Miserere, сочиненное в начале XVII века собственным композитором знаменитой капеллы, было ревниво охраняемым сокровищем. Написанное для двойного хора на слова 51-го псалма, оно проникало в душу благодаря как чистоте голосов, так и инсценировке, предшествовавшей его исполнению. Говорят, что юный Моцарт, услышав его в 1770 году, смог, выйдя из собора, записать его от начала до конца. Один экземпляр (подписанный гением) просочился в свет.

У Жюльетты еще будет случай снова послушать этот хор, и мы к этому еще вернемся, но в начале 1813 года доступ в Сикстинскую капеллу, закрытую в отсутствие Святого отца, был закрыт. Одетая, как положено, во все черное с ног до головы, она заняла место в большой Хоровой капелле, богато украшенной искусственным мрамором и позолотой, где по традиции ставили гроб с телом недавно умершего папы, пока не закончится сооружение предназначенного для него памятника. В тот вечер она была сильно удивлена: пока великолепные и нежные голоса кастратов уносились ввысь, она, крайне взволнованная, услышала рядом рыдания растроганного мужчины. Это был префект полиции, г-н де Норвен… Кто бы мог подумать, что высший имперский чиновник, да еще на такой суровой должности,

окажется столь чувствительным?..

Г-же Рекамье понравится в Риме. Очень скоро она полюбит неподражаемую красоту неба, холмов, развалин (где проводили раскопки археологи, отряженные Наполеоном), церквей и дворцов. В Риме к ней вернулся жизненный задор. Невеселый, осиротевший город, оставленный блестящими иностранцами, оживлявшими его светский сезон, город во власти оккупанта покорил ее и излечил.

Жюльетта без труда составила себе приятное окружение. Поселившись на Корсо — элегантном проспекте Рима, между площадью Венеции и Пьяцца дель Пополо, — она смогла открыть скромный, но приятный салон. Палаццо Фиано занимал центральное положение: на углу площади Лючина, напротив улицы Фраттина, параллельной улице Кондотти, выходящей на площадь Испании. Эта резиденция Перетти, а затем Оттобони, в стиле барокко, но перестроенная в конце XIX века, до сих пор сохраняет всё свое очарование и миленький фонтан во внутреннем дворике. Во времена г-жи Рекамье палаццо Фиано был знаменит своим кукольным театром. Этим развлечением очень дорожили, потому что оно не подвергалось цензуре. Особенно ценил его Стендаль. В двух шагах оттуда — церковь Святого Лаврентия в Лючине, основанная в IV веке, гордившаяся тремя своими сокровищами: решеткой, на которой был сожжен святой, красивым распятием над алтарем и могилой Никола Пуссена. Жюльетта, считавшая, что последняя слишком мало известна, впоследствии, вместе с Шатобрианом, способствовала созданию барельефа, достойного великого художника.

Навещали ее, кроме официальных лиц, с которыми она была в хороших отношениях, по большей части французы. Самым романизированным из них, и самым пожилым, был старый маркиз д'Аженкур, археолог и нумизмат, который уже почти сорок лет, поселившись в Вечном Городе, изучал его чудеса, работая над «Историей искусства в памятниках». Это был типичный дворянин дореволюционной эпохи, безупречно учтивый, рыцарски галантный и безгранично добродушный. Он жил в доме под названием «Сальваторе Роза» у церкви Святой Троицы на холмах, и когда Жюльетта навещала его, то обратно уходила с целыми охапками цветов и ветвей апельсинового дерева.

Жюльетту, естественно, принимал банкир Торлониа, француз по происхождению, который, когда утихли бури Революции, сколотил огромное состояние, но в отличие от г-на Рекамье не утратил его; он был известным любителем искусства и празднеств. Он закатывал роскошные приемы и как нельзя лучше

обращался с супругой своего парижского коллеги и корреспондента.

Более забавным был г-н де Шабо, «друг Матье»: будущий герцог де Роган, будущий прелат (о нем упоминается в «Красном и черном», а также в «Отверженных»), Тогда он был всего лишь молодым человеком двадцати пяти лет, которого семья принудила стать камергером императора, а недавняя женитьба на мадемуазель де Серан никак не изменила ни его девичьего лица, ни дендизма в одежде, ни призвания. Его молодая жена умрет в январе 1814 года, заживо сгорев в собственном доме, собираясь на бал, и у красавчика Огюста будет полно времени, чтобы подготовиться к постригу. Это случится при Реставрации, и герцог-аббат повеселит современников той тщательной заботой, с которой он по-прежнему ухаживал за собой. С ним мы тоже еще встретимся.

Еще одна личность, следующая за колесницей Жюльетты, — скульптор Канова. Пятидесятипятилетний венецианец всё еще был исключительно красив, но пользовался небольшим успехом у прекрасного пола, который недолюбливал. Известный деятель наполеоновского режима, Канова был мастером академического и строгого неоклассицизма. При жизни его превозносили до небес. Он жил вместе со своим сводным братом, аббатом, в очаровательном доме недалеко от улицы Бабуина. Он был домоседом и довольно обидчивым человеком, но как только познакомился с Жюльеттой, то влюбился в нее и изменял своим драгоценным привычкам, чтобы сопровождать ее на прогулке или явиться к ней в салон. Эта рассудочная любовь, каждое утро изливавшаяся в пламенных записках, на какое-то время увлекла красавицу из красавиц.

В начале июля к г-же Рекамье на неделю приехал Балланш. Примчался на почтовых, не останавливаясь ни днем, ни ночью, чтобы не лишать себя ни единого мгновения из того краткого срока, который был ему отпущен на встречу с его музой. Он привез из Лиона печальные вести: угасла г-жа де Шеврез. Тем не менее радость Жюльетты при виде верного друга была так велика, что она в тот же вечер, после ужина, пожелала показать ему красоты Рима. Народу набралось много: выехали в трех экипажах. Предполагалось осмотреть Колизей и собор Святого Петра. Вечер выдался совершенно прелестный, однако Канова кутался в пальто, находя совершенно нелепой фантазию разгуливать по ночам. Балланш же, предпочитавший идеи камням, пусть даже они символизируют целую цивилизацию, историю или религию, ходил большими шагами, заложив руки за спину. Вдруг г-жа Рекамье заметила, что он с непокрытой головой. «Месье Балланш,

где же ваша шляпа? — воскликнула она. — А, — ответил тот, — осталась в Алессандрии». Он действительно забыл там шляпу и даже не подумал купить себе новую, настолько мало его заботили детали внешней жизни.

Бедная Жюльетта! Нельзя не пожалеть ее немного… Оказаться на ритуальной ночной прогулке среди руин и памятников, преображенных луной, которая высекает их из темноты, подчеркивая их размеры, среди красивейших и исполненных глубочайшего смысла мест античной и христианской истории в компании самого холодного из творцов и евнуха с сомнительным обаянием!.. Как далеко еще от нее тот, кто смог бы должным образом оценить подобное зрелище! Пока еще кажется невероятным, что он займет свое место в жизни Жюльетты — Волшебник, Чаровник, незаменимый Шатобриан…

***

Вскоре после отъезда Балланша Жюльетта в поисках прохлады перебралась в окрестности Рима, на холмы, которые римляне называют «Кастелли» (замки), а французы — Албанскими горами: Фраскати, Альбано, Неми, Рокка ди Папа… Она выбрала Альбано, где Канова каждое лето снимал апартаменты в постоялом дворе под названием «Локанда ди Эмилиано». Они договорились жить вместе неподалеку от рыночной площади, у романской церкви XIII века с четырехъярусной колокольней, возвышающейся над морем. Оттуда открывался ослепительно красивый вид на Аппиеву дорогу, озеро вулканического происхождения и холмы, усеянные роскошными виллами. Одну из них, виллу Тусколана на Фраскати, приобретет ее давний друг Люсьен Бонапарт.

Г-жа Ленорман рассказывает о прелестях этого времяпрепровождения, а также о печальной истории одного местного рыбака:

> Каждое утро, спозаранку, г-жа Рекамье со своей юной спутницей отправлялись гулять по красивым аллеям вкруг озера Альбано. Вид озера и его берегов в утреннем свете были несравненно красивы. В этих счастливых краях, где свет творит чудеса, можно неустанно созерцать один и тот же пейзаж: свет заставляет его бесконечно меняться и делает его вечно новым и вечно красивым. Канова и аббат время от времени приезжали на три-четыре дня подышать

благотворным и ароматным воздухом местных лесов.

Ведя такую тихую и монотонную жизнь, г-жа Рекамье, как и в Шалоне, завязала знакомство с органистом и каждое воскресенье музицировала на органе во время обедни и вечерней службы. Однажды в сентябре, в воскресенье, «французская синьора», как прозвали прекрасную изгнанницу в Альбано, возвращалась домой после вечерней службы, спускаясь с юной Амелией по улице, ведшей от церкви на площадь. На этой улице, перед низкой дверью, стояла плотная толпа мужчин в широкополых шляпах и накидках. Толпа казалась угрюмой и угнетенной; на свои расспросы иностранка узнала, что в низкую и зарешеченную залу, служившую тюрьмой, только что привели одного местного рыбака, обвиняемого в сношениях с англичанами, которого должны расстрелять завтра на заре. В этот момент исповедник узника, альбанский священник, которого знала г-жа Рекамье, вышел из тюрьмы; он был чрезвычайно взволнован и, завидев француженку, неоднократно передававшую ему пожертвования, вообразил, что она могла бы как-нибудь повлиять на *французские* власти, в чьих руках находилась судьба осужденного. Он пошел к ней, народ, вероятно, подумав о том же самом, расступился на его пути, и г-жа Рекамье, обменявшись десятком слов с исповедником, очутилась, сама не зная как, вместе с ним в камере узника.

> Руки и ноги несчастного были закованы в кандалы; он выглядел молодым, высоким и сильным; голова его была обнажена, взгляд метался от страха; он дрожал, зубы его стучали, со лба стекал пот. (…) г-жа Рекамье прониклась к нему такой жалостью, что склонилась над ним и заключила в объятия. Исповедник объяснил ему, что синьора — француженка, что она добрая и великодушная, сочувствует ему и будет просить о помиловании. При слове «помилование» осужденный как будто пришел в себя… Священник велел ему успокоиться, молиться и немного поесть, пока его покровительница поедет в Рим просить об отсрочке.

Казнь была назначена на следующее утро, нельзя было терять ни минуты. Г-жа Рекамье вернулась домой, спросила почтовых лошадей и через час выехала, полная решимости сделать всё, что в ее власти, чтобы спасти несчастного… Она увиделась с французскими властями в Риме и нашла их непоколебимыми. Генерал Миоллис был вежлив и участлив, но не мог ничего сделать. Де Норвен повел себя жестко и почти угрожающе: в ответ

на настойчивые мольбы г-жи Рекамье он напомнил ей, что не пристало *изгнаннице* вмешиваться в дела имперского правосудия. На следующее утро она вернулась в Альбано, в отчаянии от безуспешности своих ходатайств и преследуемая образом несчастного… Днем исповедник рыбака пришел к ней и принес ей благословение казненного.

> Надежда на помилование поддерживала его до самого того момента, когда ему завязали глаза перед расстрелом; ночью он спал; утром, прежде чем взойти на повозку, ибо его казнили на берегу, немного поел, а его глаза беспрестанно были обращены в сторону Рима: он всё еще надеялся увидеть «французскую синьору», везущую помилование. Этот рассказ, не уменьшив сожалений г-жи Рекамье, всё же успокоил ее воображение уверенностью в том, что хотя ее вмешательство и не спасло узника, оно по меньшей мере скрасило его последние часы.

Комментарий Шатобриана в «Замогильных записках» просто восхитителен: «Есть молчаливая кровь и кровь, которая вопиет: земля молча пьет кровь, пролитую на поле брани, но когда льется кровь мирных жителей, земля испускает стон. Бог слышит его и отмщает. Бонапарт убил рыбака из Альбано; несколько месяцев спустя он отправился в изгнание к рыбакам с острова Эльба, а после умер среди рыбаков с острова Святой Елены».

Несгибаемый Норвен неслучайно был раздражен: Французская Империя рушилась. Наполеон не мог противостоять созданной против него шестой коалиции, в которой к русскому царю примкнули Пруссия и Швеция. На сей раз фронт растянулся от Мекленбурга, где действовал шведский наследный принц Бернадот, до юга Богемии под контролем принца Шварценберга, проходя через Силезию, где его поджидал Блюхер: 500 тысяч человек, готовых напасть, по отдельности или все сразу, на наместников императора. Тот же пытался бросить основные силы на Лейпциг, чтобы атаковать одновременно Блюхера и Шварценберга. Сражение, проходившее с 16 по 19 октября, обернулось катастрофой. Наполеон поспешно отступал к Франции. Но его противники решились его преследовать: вторжение стало неминуемым. Французская кампания, самая неумелая из всех, что вел император, начнется с нового года, а 31 марта 1814 года Париж подпишет капитуляцию.

Когда Жюльетта вернулась во дворец Фиано, она не могла не обсуждать со своими французскими друзьями то положение, в котором оказалась ее страна: она, должно быть, испытывала

смешанные чувства, ибо освобождение стольких покоренных народов, крушение самодержавного режима, конец ее изгнания и изгнания близких ей людей — г-жи де Сталь, Матье де Монморанси, Эльзеара де Сабрана, за полтора года до того посаженного в тюрьму, — означало также поражение и иноземное вторжение.

Той осенью 1813 года ее маленький кружок расширился: к нему присоединились г-н Люллен де Шатовье, друг г-жи де Сталь, которого она встречала в Коппе, барон Огюст де Форбен, пылкий и одухотворенный художник, состоявший в связи с Полиной Бонапарт, а также безупречно любезный г-н д'Ормессон. Двое последних ухаживали за прекрасной хозяйкой, причем первый проявлял в этом наибольшее упорство. Форбен, который при Реставрации станет директором национальных музеев, долгое время останется другом г-жи Рекамье. Встретился ли ей другой изгнанник, только что прибывший в Вечный город, — бывший член Директории Баррас? Вряд ли.

Огюст де Шабо только что уехал в Неаполь. Он писал Жюльетте, что местные властители — Мюраты — ждут ее там и, если она пожелает, окажут ей теплый прием. Этого было достаточно, чтобы она решилась отправиться к Паузилиппо, у подножия которой открывался чудесный залив.

В краю короля Иоахима…

В первых числах декабря г-жа Рекамье покинула Рим в сопровождении Амелии, которая уже бегло говорила по-итальянски и начинала постигать музыку, и кавалера Когилла, знаменитого английского антиквара, который, как и Жюльетта, путешествовал в экипаже, со своими людьми, используя почтовых лошадей. Дороги были так ненадежны, что Шабо посоветовал своей прекрасной подруге попросить у Миоллиса вооруженный эскорт, по меньшей мере на подвластной ему территории. В пути произошло курьезное происшествие: на почтовых станциях англо-французский поезд уже поджидали готовые лошади с форейторами, экипажи перезакладывали с феерической быстротой. Выяснилось, что впереди ехал курьер, извещая о появлении двух карет. Г-жа Рекамье поняла, что их принимают за кого-то другого, но всё же решила воспользоваться этой ошибкой. Таким образом в Террацину, где собирались остановиться на ночлег, прибыли рано. Г-жа Рекамье занималась своим туалетом в ожидании ужина, когда во двор под звон бубенцов въехали два экипажа, и вскоре на лестнице загремел рассерженный мужской голос: «Где эти наглецы, что всю дорогу воровали у меня лошадей?» г-жа Рекамье тотчас узнала голос Фуше и со смехом вышла из номера: «Вот они, это я, господин герцог». Фуше был несколько смущен. Он спешно направлялся в Неаполь с поручением императора: необходимо было заручиться верностью Мюрата его шурину.

По словам г-жи Ленорман, Фуше, поговорив какое-то время с г-жой Рекамье, дал ей совет соблюдать осторожность: «Помните, мадам, надо быть незаметным, когда ты слаб…» — «И справедливым, когда ты силен!» — якобы ответила его собеседница… Просто историческая фраза… Но этот диалог был вполне в духе обоих путешественников…

Прием, оказанный королем Иоахимом (официальное имя Мюрата) и королевой Каролиной, был что ни на есть изысканным: не успела Жюльетта остановиться в гостинице «Великобритания» в Киайе, как к ней явился царедворец с посланием от государей. Они предоставляли в ее распоряжение все возможные средства, чтобы она могла вести в Неаполе жизнь, хоть отчасти напоминающую ее блестящее парижское житье: ложи в главных театрах, лучшие места на празднествах, которые они организовывали, заботу о ее здоровье и удобствах.

И всё же чета Мюратов пребывала в крайней озабоченности. Их возвысил император, сделавший своего зятя последовательно

военным комендантом Парижа, маршалом, адмиралом, великим герцогом Клевским и Бергским, а затем, после экспедиции в Мадрид, закончившейся памятной резней, наградил этой синекурой — Неаполитанским королевством… И хотя Мюрат оставался закоренелым рубакой, первым вступившим в Вену в 1805 году и в Москву в 1812-м, он очень серьезно относился к своему королевскому титулу. Власть завораживала его. Мысли о возможном распаде наполеоновской империи и перегруппировке европейских сил его тревожили. У Мюрата не было никакого желания расстаться с троном.

Каролина его в этом поддерживала… Надо помнить, что самая юная из трех сестер Бонапарта была и самой умной, и самой пробивной. Она любила играть в государыню, а одному Богу известно, сколько ей пришлось ждать, чтобы прийти к этому после всех остальных женщин в семье: после Жозефины, которую она терпеть не могла, после Гортензии, после Элизы… Каролина была менее высокомерной, менее надменной, чем Элиза, но она метила дальше. Она не любила рассусоливать и могла быть резкой и категоричной. При всем при том она умела нравиться, когда того желала. Вертела, как хотела, двумя своими известными любовниками — Жюно и Меттернихом. Талейран говорил, что у нее «голова Макиавелли на теле красивой женщины», а ее брат признает на о. Святой Елены, что у нее был стальной характер и безграничные амбиции.

К моменту приезда прекрасной изгнанницы (само по себе то, что они оказали королевский прием жертве Наполеона, было уже знаменательно), Мюраты задавались вопросами: их только что призвали вступить в коалицию против Наполеона. Англия и Австрия, очевидно, хотели привлечь Неаполь на свою сторону. Граф фон Нейпперг был отправлен к ним с чрезвычайным поручением от Габсбургов. Фуше только что покинул их, призвав к обратному. Что они станут делать?

Нейпперг, блестящий фельдмаршал и дипломат, был снабжен и другим поручением, на сей раз частным: сообщить Жюльетте известия об их общей подруге, г-же де Сталь. Он часто с ней видался и можно предположить, что он участвовал в раскопках под руководством г-на Кларака, устроенных в Помпее ради прекрасной парижанки: сеанс работ, в процессе которых якобы удалось обнаружить два красивых бронзовых изделия, завершился элегантным завтраком…

Момент был ответственный, но все продолжали развлекаться, веселиться с беззаботностью отчаяния, в котором отказывались себе признаться. Последние бури, возвещавшие конец целого света, а здесь, скромнее — конец слишком недолгого и

иллюзорного величия… Каролина нашла возможность влюбиться в красавца Огюста де Шабо. Встречи наедине, прогулки, письма, передача портретов… Королева потеряла голову и не скрывала этого. Шабо держался подчеркнуто уважительно, однако получил ключ от тайных апартаментов и приглашение на свидание. Огюст отправился туда, а на следующий день получил паспорт с предписанием покинуть Неаполь в тот же день. Шкатулку с ключом потребовали назад.

Разумеется, Жюльетта была в это посвящена, разумеется, маленькая Амелия ничего об этом не знала или не хотела знать. Г-жа Ленорман вообще отказывалась допустить, что будущий прелат может оказаться в скабрезной ситуации! Об этом приключении нам сообщает г-жа де Буань, не терпевшая ханжества и ужимок Рогана.

Добавим, что герой этого приключения стал герцогом и пэром Франции по смерти своего отца, в 1816 году, принял сан в 1819 году, стал викарием Парижа, архиепископом Оша, а потом Безансона и умер кардиналом, в 1833 году. Он — тот прелат, перед которым предстает юный Жюльен Сорель в «Красном и черном», и тот, что грациозно проповедует в монастыре Пти-Пикпюс в «Отверженных»: в этом эпизоде одна немного сумасшедшая послушница, некогда знатная дама, внезапно узнает его и восклицает на всю часовню: «Смотри-ка, Огюст!»

***

Мюрат примкнул к коалиции 11 января 1814 года. Если верить г-же Ленорман, Жюльетта была непосредственным свидетелем этих исторических событий. Мюрат надеялся, что она одобрит его решение, она же ответила: «Вы француз, сир, вы должны быть верны Франции». Но в Неаполитанский залив уже входил английский флот. Вечером монаршая чета появилась в своей ложе в театре и была встречена горячими приветствиями толпы. Через день Мюрат покинул Неаполь, чтобы возглавить свои войска, оставив жену управлять королевством.

Пока император одерживал в Шампани победы при Монмирайле и Шампобере, римские друзья звали г-жу Рекамье обратно: Форбен присылал ей подробные отчеты об обстановке в городе, из которых мы узнаем, что соотечественники Жюльетты оставляли Рим, пребывавший в неизбывной печали, ибо туда доходили известия одно мрачнее другого, и, группами человек по пятьдесят, почти все направлялись в Геную. Тем не менее карнавальные празднества не прерывались, и оба приятеля —

Форбен и Ормессон, — проезжая в коляске по элегантному Корсо, с тоской поднимали глаза на ложу палаццо Фиано, надеясь увидеть там хоть на мгновение свою грациозную подругу…

Вот в этой-то обстановке подавленности и тревоги Жюльетта, которой, разумеется, нечего было бояться краха имперской власти, вернулась в папскую резиденцию. Там ее ждал сюрприз: в ее отсутствие Канова изваял два бюста своей прекрасной подруги. Один — с непокрытой головой, другой — с покрывалом. Он был от них в восторге. Жюльетта не разделяла его воодушевления и, к несчастью, плохо это скрывала. Канова был сильно раздосадован.

Узнав о падении Наполеона, Жюльетта сразу же одна отправилась к Каролине Мюрат. Амелия, которой там не было, рассказывает, что, получив брошюру Шатобриана «О Бонапарте и Бурбонах» (ядовитый памфлет против Наполеона), неаполитанская королева якобы предложила подруге прочесть ее вместе. Быстро ее проглядев, Жюльетта якобы ответила: «Читайте ее одна, Ваше Величество!» Мы не верим ни единому слову. В то время любопытство к любой информации было огромно, и все, что поступало прямо из Парижа, наверняка тут же проглатывалось, что бы это ни было… Жюльетту всегда быстро и досконально извещали о происшествиях текущего времени в ее кругу. Это было неотъемлемым атрибутом влияния уважаемой женщины.

А Жюльетта стремилась как можно скорее вернуться в Париж, однако дождалась возвращения папы в свой город, прежде чем его покинуть.

Перед отъездом из ликующего города, возвращенного самому себе — который она еще увидит в лучшие времена, — Жюльетта совершила поступок, который ярко ее характеризует. Как жертва побежденного, она была на стороне победителей. Однако, как и всегда, она думала о тех, чье положение коренным образом переменилось, о тех, кому теперь грозило познать в свою очередь всю горечь поражения и изгнания: Жюльетта нанесла визит генералу Миоллису, которого застала одного, совершенно убитого. Он хорошо с ней обходился. Она заверила его в своей симпатии. Как он сам потом признался, Жюльетта была единственным человеком, подумавшим явиться к нему с тех пор, как он больше не правил Римом…

На этой ободряющей ноте человечности и милосердия завершается самая мрачная страница в жизни г-жи Рекамье. «Тиран» пал, не отменив приказа об ее изгнании. Новое правительство 25 апреля 1814 года составило список лиц, изгнанных из Парижа, и дозволило им вернуться. Начиналась новая эра. Жюльетта ожидала от нее всего. И была права.

Глава VIII
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Привычка к обществу дала ее уму способ проявить себя, и ум ее был на высоте и красоты, и души ее.

Бенжамен Констан

Элита европейского общества присудила ей господство над модой и красотой.

Госпожа Ленорман

По своем возвращении в Париж, в середине июня 1814 года, Жюльетта сияла. Ее настроение было под стать тому, в котором пребывала освобожденная столица. Ибо союзные государи действовали как освободители, а не как оккупанты.

Народ не обманулся в своих ожиданиях, он вздохнул с облегчением, причем по самой очевидной причине: ему вернули мир. Сен-Жерменское предместье ликовало, ибо союзники вернули ему не только мир, но еще и короля. Действительно, благодаря Александру I и Талейрану, в доме которого царь решил остановиться, бурбонский вариант был предпочтен всем остальным — республике, регентству Марии Луизы, царствованию Бернадота или младшей ветви — Орлеанской династии. Либералы, как и нотабли, были удовлетворены только что дарованной хартией, внедрявшей конституционную систему, основную гарантию от абсолютизма. Гражданские или военные, высокопоставленные служители имперской власти примыкали к новой и по большей части сохраняли прежние позиции.

Только часть армии, прежде всего младший командный состав, — была недовольна. Еще бы: эти унтер-офицеры были профессиональными военными, ничего другого делать не умели, к чему им вновь обретенная свобода! После демобилизации они превращались в ничто. Они по-прежнему были фанатически преданы своему поверженному командиру, который, надо отдать ему должное, приучил их считать себя опорой его могущества.

Об этом часто забывают, но в 1814 году Франция вздохнула свободно. Падение Орла воспринималось как освобождение. Г-жа де Буань выражает это очень точно:

> Прошу прощения у поколения, воспитанного в поклонении либерализму Императора, но в тот момент друзья и враги — все задыхались под его железной рукой и чувствовали почти равную потребность сбросить ее. Если честно, то его ненавидели; каждый видел в нем препятствие своему покою, а покой стал первейшей всеобщей потребностью.

Принужденный к безусловному отречению, Наполеон, после душераздирающей сцены прощания с верными себе людьми, отправился царствовать на остров Эльбу, напротив Тосканских берегов. Людовик XVIII вернулся из Гартвелла и был провозглашен Сенатом «королем французов» после того, как 6 апреля принял сенатскую Конституцию. Его брат, элегантный граф д'Артуа, приехал раньше него, и изящное словечко, которое, как утверждают, слетело с его губ по возвращении на родную землю — «Еще одним французом стало больше!» — имело большой успех. Парижский договор от 30 мая вернул Францию в ее границы по состоянию на 1 января 1792 года: она сохранила за собой Авиньон, графство Венессен, Монбельяр, Мюлуз, часть Савойи, а также северные крепости. Зато уступила англичанам остров Маврикий и несколько малых Антильских островов. На нее не наложили военную контрибуцию, и союзные войска немедленно покинули ее территорию.

Общее впечатление было — дешево отделались. Кровавые завоевания сошли на нет, да к чему они были нужны? Что общего было у этих покоренных народов, кроме участия в планах Наполеона? Ни один француз не считал своим соотечественником жителя Гамбурга или Женевы, и только еще более кровавый, еще более суровый военный деспотизм смог бы попытаться их удержать. Да и надолго ли? И какой ценой?

Наполеоновская легенда родится позже. Ее создаст следующее поколение, которое не жило при диктатуре, а расцвело на фоне неподражаемого культурного подъема во времена второй Реставрации, впервые после Революции обучавшееся мирной жизни и парламентаризму. Ностальгия по эпохальности, европейскому господству и харизматическому лидеру — все это начнет бродить в головах детей, вскормленных Романтизмом, одержимых великими мечтами и великими делами, и окончится идиллическим воссозданием былого величия. Как всегда, когда отдаляются от исторической правды, когда выдумывают «золотой век», об обратной стороне медали забывают. Бонапартистское мифотворчество станет отрицать страшную ответственность его героя за избиения, кровопролитие

в Европе на протяжении более десяти лет: великий человек чуть ли не стал невинной жертвой коалиции! Что до сотен тысяч трупов, то их просто сотрут, точно ластиком, — что за беда! — оставив лишь зрелищные кончины нескольких «храбрецов»…

***

Когда г-жа Рекамье вновь поселилась на улице Бас-дю-Рампар, Париж, пережив оживленную весну, снова повеселел. Снова стали выходить газеты, брошюры и памфлеты. Театры и бальные залы не пустовали. В то время как вновь создаваемый двор устраивался в Тюильри, салоны открывали свои двери, и чисто парижское искусство беседы вновь вступало в свои права. Никто, за исключением завсегдатаев благородного предместья, не знал хорошенько воцарившихся Бурбонов, но конституционная монархия, после стольких лет угнетения и затыкания ртов, внушала уверенность. К тому же союзники старались не унижать население: они заявили во всеуслышание, что сражаются с Наполеоном, а не с французами. Союзные государи, в особенности император Александр, щадили самолюбие и вели себя учтиво. Теперь они отправились восвояси вместе со своими войсками — старательно размещенными вне столицы, — среди которых были эти странные казаки, на чей лагерь, разбитый на Елисейских Полях, ходили поглазеть, точно в цирк… Остались только дипломаты и высшие военные чины, в том числе кое-какие старые друзья Жюльетты. Парижское общество глотнуло кислорода. Париж ожил в свете нарождающегося лета, и со свойственной ему беззаботностью и бесшабашностью всей душой предавался вновь обретенным увеселениям.

После трех лет отсутствия Жюльетта всё еще была очень красивой. Ей было тридцать шесть с половиной лет, однако она казалась такой же свежей и грациозной, как в двадцать. Она сумеет и впредь не утратить эту моложавость, которая была ее отличительным свойством: ее фигура безупречна, а на лице отражено внутреннее равновесие, уберегающее от дряхления. Пройдя сквозь годы и недавние испытания, Жюльетта даже приобрела блеск, сильно разнившийся от ослеплявшего общество времен Консульства. Теперь это было нечто иное, нежели явное превосходство ранней юности: от нее веяло очарованием, типичным для парижанки бальзаковского возраста, смесь сияния ума и внимательного ухода за собой, искусство подать себя, которое, некоторым образом, было платой за опытную женственность, за навыки соблазнения вкупе с бдительностью по

отношению к себе, что можно назвать твердостью вкуса. Раньше Жюльетта была таинственной, желанной и недоступной. Теперь стала неотразимой.

Она создала себе наилучшее окружение: в городе, снова ставшем перекрестком европейского общества, центром элегантности и ума, освободившемся от принуждения и угрюмости империи, а также крикливых и пошлых бесчинств парвеню, любимых детей императора, тех, что выставляли себя на посмешище, кичась богатствами, которыми не умели распорядиться. Общества Жюльетты добивались сильнее, чем когда бы то ни было.

Со всех сторон ей выражали уважение, вызванное ее поведением во время изгнания, ее благосклонностью к вчерашним победителям, чувством меры, с каким она принимала победителей нынешних. Она не была ни на чьей стороне, что не являлось новостью, и довольствовалась тем, что собрала вокруг себя самый избранный кружок того времени. Больше никаких толп, как во времена улицы Монблан, никаких драк по пути ее следования. Жюльетта пользовалась осознанным и тонким успехом, походившим на избранность. Ее финансовое положение подкрепляло это положение в свете: г-жа Рекамье располагала состоянием своей матери, оценивавшимся в четыреста тысяч франков. Она держала лошадей, которые ей были необходимы, ибо не могла ходить пешком, и вновь взяла ложу в Опере и принимала у себя после спектакля.

Визит в Сен-Ле

Для многих ее друзей колесо Фортуны повернулось, и их положение оказалось прямо противоположным тому, что они занимали при прежнем режиме. Монморанси, Ноайли, Дудовили и Люины ликовали: Адриана назначили послом в Мадрид, Матье — почетным кавалером герцогини Ангулемской, что пришлось как нельзя кстати, ибо дочь Людовика XVI была наверняка его самой большой соперницей в благочестии во всем королевстве!

Госпожи де Кателлан и де Буань были счастливы вновь увидеться с той, кого они так верно ждали и кому помогали в испытаниях. Г-жа де Буань вскоре покинет Париж, чтобы сопровождать своего отца, маркиза д'Осмонда, назначенного послом Людовика XVIII к его родственнику, королю Сардинии. Красивая графиня не была в восторге от перспективы похоронить себя при маленьком Туринском дворе, но она была слишком большой аристократкой, чтобы выказать это открыто. Она также радовалась присутствию в Париже своих иностранных друзей, в особенности князя Волконского, адъютанта русского царя, и Поццо ди Борго, его посла. Она безгранично его любила, так как знала его уже давно и внимательно следила за вендеттой, которую он двадцать лет вел по всей Европе против клана Бонапартов.

Г-жа де Сталь тоже тут, равно как и ее дети, и Бенжамен Констан. Она бы лично предпочла Бурбонам шведский вариант, но смирилась и с этим… С превеликой радостью, после стольких лет, она вновь вступила в город, который предпочитала всем остальным. Однако она сильно изменилась: побледнела, похудела, долгая борьба явно изнурила ее. Бенжамен отмечает, что она «рассеянна, почти суха, думает только о себе, других слушает мало…». Рядом с ней — трогательный Рокка, который следует за ней как тень и медленно умирает от туберкулеза. Зато Альбертина превратилась в восхитительную девушку. Мать подумывает о том, как бы выдать ее замуж. А еще о том, как вернуть два миллиона Неккера, которые ему по-прежнему должна французская казна.

Она часто встречается с Жюльеттой. Записки, которые она посылала ей до самого отъезда в Коппе, в середине июля, свидетельствуют о том, что кое-какие тучи в отношениях между двумя женщинами рассеялись — по крайней мере, по видимости.

Г-жа де Сталь уговорила Жюльетту нанести вместе с ней визит благодарности бывшей королеве Голландии, Гортензии де Богарне, которая, как мы помним, вступилась за баронессу во

время неприятного происшествия с трактатом «О Германии». Гортензия, знавшая г-жу Рекамье с ранней юности, уже почти добилась ее помилования, когда Империя рухнула. Но ее личное положение было далеко не трагичным: по настоянию Александра I, Людовик XVIII сделал ее герцогиней де Сен-Ле, превратив в герцогство земли в окрестностях Парижа, которые ей принадлежали.

Об этом дне рассказали в своих мемуарах сама Гортензия и ее чтица, мадемуазель Кошле. Дочь Жозефины пишет очень естественно, а вот ее чтица излагает точку зрения служанки — наивной, преданной и недалекой, но ее воспоминания тоже не лишены интереса. Послушаем их по очереди и получим представление об эффекте, произведенном обеими подругами в среде, которая была какой угодно, но только не интеллектуальной.

Приготовления в замке Сен-Ле шли полным ходом; проблема состояла в том, кого пригласить одновременно с этими знаменитостями? Кто «не ударит в грязь лицом» перед известной своим умом баронессой? По методу исключения сошлись на господах де Латур Мобур, де Канувиле, а также герцогине де Фриуль, она же г-жа Дюрок, испанке высокого полета. Проезжавший мимо генерал Кольбер был перехвачен, но потом был на высоте положения. Юная Кошле прекрасно описывает эту атмосферу птичника, окружившую Гортензию, а также нервозность маленького войска, упражнявшегося в остротах, поджидая карету знаменитых парижанок: «Мы были похожи на актеров, готовящихся выйти на сцену и осматривающих друг друга в ожидании занавеса…»

Вот какими показались ей гостьи:

> Госпожа Рекамье, еще молодая, очень миловидная при своем наивном выражении, произвела на меня впечатление инженю, которой досаждает чересчур строгая дуэнья, настолько ее мягкий и робкий вид контрастировал с чересчур мужественной уверенностью ее спутницы. Однако говорили, что госпожа де Сталь очень добра, особенно к своей подруге, и я передаю здесь только то впечатление, которое она произвела на первый взгляд на зрителей, которые были с ней не знакомы. Смуглое лицо г-жи де Сталь, ее оригинальный туалет, ее совершенно обнаженные плечи, которые были бы красивы по отдельности, но так плохо сочетались друг с другом, — все это вместе казалось мне так мало похожим на то, какой была в моем представлении автор

«Дельфины» и «Коринны».

После полагающихся по случаю комплиментов было решено совершить прогулку в шарабане по парку и прилегающему лесу Монморанси. Во время поездки, неисправимая Гортензия совершила оплошность, в которой сама же признается: «Я, наверное, невольно уколола авторское самолюбие г-жи де Сталь. Прогуливаясь по саду, мы говорили о путешествиях, о прекрасных краях, и, будучи крайне рассеянной, я спросила ее, бывала ли она в Италии. Все разом закричали: „А „Коринна“! „Коринна“!“»

Да уж, Гортензия действительно была рассеянной! Но еще простодушной, и г-жа де Сталь об этом знала… Во всяком случае, она оказалась слишком умна, чтобы пойти на поводу у низменного литературного тщеславия! Тем не менее между этой великой писательницей и пансионеркой-переростком, какой оставалась Гортензия, контакт устанавливался с трудом. Гортензия, «такая чувствительная, — как скажет Наполеон, — что можно было опасаться за ее рассудок», импульсивная, всегда готовая развеселиться из-за пустяка, действующая по настроению, способная забыть при первом простейшем развлечении, первой подвернувшейся интрижке о сердечных переживаниях, терзавших ее неустанно, и о грозах, разражавшихся в ее жизни одна за другой…

Поговаривали, что к моменту визита Жюльетты Гортензия утешилась от скоропостижной смерти матери, случившейся в конце мая, в обществе самого соблазнительного из союзных государей, а также самого снисходительного к ее семье — императора Александра… Наверняка она, испытывавшая к Жюльетте неизменную привязанность, основанную на их взаимной веселости и равной простоте, захотела бы с ней поделиться… Но случая к этому не представилось. Присутствие «ученой» г-жи де Сталь вносило напряжение: Гортензия, как весь Сен-Ле, робела перед ней, ей не хотелось разочаровать именитую гостью.

В лесу гуляющих застигла гроза, прекрасные дамы вымокли до нитки. Двум подругам тотчас выделили апартаменты, чтобы они могли привести себя в порядок к ужину. Присутствовавшая при этом мадемуазель Кошле с удовлетворением отметила, что гостьи, которых принимали с такой помпой, были, оказывается, такими же, как все, и в мокром виде представляли собой мало поэтичное зрелище…

Когда все садились за стол, во дворе раздался топот сапог и громкий голос с немецким акцентом: будто бы случайно, явился прусский принц Август, которого, естественно, упросили остаться

ужинать.

«Госпожа де Сталь много расспрашивала меня об Императоре, — пишет Гортензия, — говорила, что поедет к нему на остров Эльбу и хотела знать в подробностях все, что он говорил мне о ней. Я сообщила ей, что он выказывал к ней суровость, но был снисходителен к госпоже Рекамье, которую наверняка вскоре бы вернул из изгнания». Это различие как будто очень польстило г-же де Сталь: ее боялись! Она несколько раз повторила: «Правда? Он так-таки и не позволил бы мне вернуться?»

Гортензия избавила бы себя от многих тревог, если бы, вместо того чтобы подыскивать г-же де Сталь блестящих собеседников, просто удовлетворяла неисчерпаемое и завороженное любопытство гостьи ко всему, что касалось Наполеона! Баронесса ошеломляла своих слушателей разнообразием и возвышенностью тем, которые поднимала: Турция, свобода прессы, а также изгнание. Она льстила Гортензии, вспоминая о романсе ее сочинения — «Делай, что должно, и будь что будет», — который часто пела в Фоссе. А главное, забрасывала вопросами ее двух детей (старшему было десять лет, младшему, будущему Наполеону III, — шесть), всё на ту же тему — об их дядюшке. Любили ли они его? Правда ли, что он заставлял их твердить басню, начинающуюся словами: «По мне, так кто силен, так тот и прав»? Дети не знали, что сказать…

Вихрь, ураган! Когда блестящая посетительница уедет, принц Наполеон, старший сын Гортензии, подытожит этот день одной фразой: «Эта дама большая охотница до расспросов. Вот это и называют умом?»

***

Примерно в то же время, в конце июня или в начале июля 1814 года, г-жа Рекамье устроила у себя чтение «Последнего Абенсерага» Шатобриана, небольшого рассказа, вдохновленного путешествием на Восток, которое автор «Аталы» совершил несколькими годами ранее. При чтении присутствовали г-жа де Сталь, Альбертина, Бернадот с супругой, маршал Моро, маршал Макдональд, герцог Веллингтон, герцогиня де Люин, Камиль Жордан, Балланш, герцог де Дудовиль, Матье де Монморанси, Бенжамен Констан, художник Давид, старый шевалье де Буфле, принц Август Прусский, Канова, Жерар, Сисмонди, Поццо ди Борго, Гумбольдт, Тальма, Монлозье и Меттерних. Как и полагается, читал сам автор.

Г-жи де Буань там не было, ибо она не являлась поклонницей писателя после одного инцидента, происшедшего еще при Империи на чтении того же произведения у г-жи де Сегюр, на котором она присутствовала. Шатобриан читал весьма проникновенно, чуть ли не роняя слезы на страницы, и все присутствующие, включая г-жу де Буань, разделяли его переживания. По завершении чтения подали чай:

— Господин Шатобриан, не желаете ли чаю?

— Охотно.

И тотчас по салону эхом пронеслось:

— Дорогая, он хочет чаю.

— Он будет пить чай.

— Передайте ему чай.

— Он просит чаю!

«И десять дам засуетились, чтобы услужить своему кумиру. Я впервые присутствовала при таком спектакле, и он показался мне столь смешным, что я пообещала никогда не принимать в нем участия. Поэтому, хотя я поддерживала постоянные отношения с г-ном де Шатобрианом, я не записалась в компанию его „мадамов“, как их называла г-жа де Шатобриан, и так и не вошла в ближний круг, куда он допускал только истинных почитательниц».

Подавала ли в тот день чай Жюльетта? Вероятно, нет. Час еще не пробил…

Шатобриан не включил этот эпизод в историю своих отношений с красавицей из красавиц, изложенную в его мемуарах. Ему больше по душе описывать их встречу и внезапно возникшее чувство у одра умирающей г-жи де Сталь. Это более выигрышная мизансцена: Красота является в противовес Уму, но в его свите. На самом же деле, как мы уже знаем, все было несколько иначе. Он познакомился с Жюльеттой на ее территории, в пышности приемов на улице Монблан. И снова встретился с ней, опять же в ее доме, когда уже был известным писателем и только что добился откровенного успеха памфлетом «О Бонапарте и Бурбонах», о котором королю нравилось говорить, что тот сделал для него больше, чем армия в сто тысяч человек!

Можно себе представить, что в момент блестящего начала политической карьеры Шатобриана (6 июля ему поручили посольство в Швеции, где он ни разу не появился), это чтение у г-жи Рекамье имело для него важное значение — благодаря аудитории, собранной Жюльеттой: всемогущий Веллингтон, уже становившийся любимцем салонов, Меттерних, Бернадот, Поццо и Гогенцоллерн — просто Венский Конгресс в миниатюре! И все же — ни слова…

Благородный виконт проделал длинный путь после «Аталы»! Сначала он даровал ей брата-близнеца, также вырванного из «Гения христианства» и опубликованного отдельно, в 1805 году, — «Рене». Восхитительный рассказ, этакий «Вертер» на французский лад, описывающий «смуту страстей», которая превратится в «болезнь века», неминуемую для следующего поколения, что вырастет, терзаясь сердечными муками и вздыхая по сводным сестрам, предающимся полуинцесту и умирающим от чахотки, если только не заключающим себя в какой-нибудь монастырь… Эта куча маленьких Рене, более подлинных, чем сам образец, надо сказать, выводила из себя их создателя. Он публично от них отрекся. Эта мода, созданная им, казалась ему отвратительной, но она возвела его в отцы-основатели французского романтизма, и в конце концов, несмотря на глупость и ограниченность подобных ярлыков, он к ним приспособился.

После неудачного хождения в дипломатию он вернулся из Рима, надувшись, и ухватился за предлог убийства герцога Энгиенского[28], чтобы удалиться от власти и путешествовать. Начал он с Оверни, потом была Швейцария, затем — Бретань. После чего он отправился в дальние края, как некогда в Америку, но теперь — на Восток: Греция, святые места, Египет, Тунис и Испания. Поскольку он был сильно влюблен, а дама из Меревиля (сменившая в его сердце даму из Фервака) ждала его в Гренаде, он прибавил ходу. Однако собрал неплохой материал и, поселившись в «маленькой хижине», которую приобрел в 1807 году, посвятил себя сочинительству: «Мученики», «Путешествие из Парижа в Иерусалим», и маленький «Абенсераг», которого он только что читал у Жюльетты, были плодами его обширного и (слишком) скорого исследования.

Его отношения с Наполеоном откровенно испортились, когда тот велел расстрелять, в страстную пятницу 1809 года, его кузена Армана де Шатобриана, захваченного во время выполнения во Франции тайного поручения принцев в эмиграции. Когда, в 1811 году, Шатобриан был избран во Французскую Академию, он написал приветственную речь, весьма суровую к властям. Отказавшись принять изменения, указанные императором, он был включен в число «бессмертных», не будучи ими принятым, — такого еще не бывало! И в этом Шатобриану выпала судьба отличиться.

Вместе с крушением империи пришел конец, как ему казалось, и его писательской карьере. Начинались серьезные вещи: пора было становиться государственным деятелем. В этом он очень рассчитывал на влияние последней из «мадамов» —

дамы из Юссе, герцогини де Дюрас, ровесницы прекрасной Рекамье, бывшей замужем за одним из столпов нового режима и горевшей желанием помочь своему кумиру. Мы увидим, что из этого выйдет.

***

Париж времен первой Реставрации был завален публикациями, ибо, как бы курьезно это ни выглядело, из двух государей, сменившихся в Тюильри, самым интеллигентным был, разумеется, второй, которого тучность и недомогания склоняли к наслаждениям ума и литературным удовольствиям. Людовик XVIII, известный своим пристрастием к Вольтеру, в достаточной степени обладал остротой ума, терпимостью и блестящей иронией, и хотя ему не всегда удавалось совладать со своим окружением, «качавшим права», он по меньшей мере ничем не сдерживал либеральных тенденций, придушенных цензурой его предшественника.

В окружении г-жи Рекамье Балланш готовился представить свою «Антигону», признаваясь, что многое в ней обязано собой Жюльетте, а Бенжамен Констан наблюдал за третьим и четвертым изданиями замечательного развенчания абсолютизма — «О духе завоевания и узурпации». Бенжамен завершал работу над автобиографическим рассказом, который станет его шедевром, — «Адольф», и представлял монументальную эпопею в стихах, озаглавленную «Осада Суассона», — обширную антиимпериалистическую поэму, в которой мужественный читатель мог бы, на протяжении двух тысяч стихов, найти сходство с известными ему персонажами: некая рабыня по имени Анаис позаимствовала, как и Антигона добряка Балланша, некоторые свои черты у Жюльетты…

Какова же была реакция прототипа? Мы не знаем, но наверняка это ее позабавило или порадовало, она ведь была женщина… Тем летом 1814 года Жюльетта была счастлива: она снова находилась в центре брожения, оживлявшего Париж, с тем дополнительным отличием, что отныне ее окружали не просто выдающиеся люди эпохи, но и великие умы, самые образованные и творческие люди того времени. Писатели толпились в ее салоне, сменив дельцов, политиков и рубак предыдущих правительств, а еще артисты: у нее устраивались чтения, концерты. Беседы по вечерам, на которые, среди многих других, съезжались Монморанси, Бернадоты, Бенжамен Констан или герцог Веллингтон. К ним порой примыкали неожиданные

личности типа Монлозье, которого она принимала несколько месяцев тому назад, в палаццо Фиано, и чья переменчивость сбивала с толку: воспитанник святых отцов прошел через Учредительное собрание, затем примкнул к армии принцев, уехал в эмиграцию в Лондон, где познакомился с Шатобрианом, вернулся одновременно с ним, поддержал империю и в завершение всего явился в Париж с собственным произведением: анахроничной апологией феодализма! Автор «Рене» признавался, что ему нравится эта «разношерстная личность», и Монлозье, конечно, еще не раз удивит своих современников.

К Жюльетте приехал и другой римский знакомый — Канова. Он уже не сердился на нее за то, что она не узнала себя в бесстрашных матронах, изготовленных к ее возвращению из Неаполя. Он даже переделал одну из них, ту, что с покрывалом, в «Беатриче» с холодными глазами, увенчанную лаврами, которая сейчас хранится в Лионском музее…

Круг поклонников обновлялся, но самым настойчивым — вот Жюльетте не повезло! — был герцог Веллингтон. Г-жа де Буань ехидно замечает, что «он был самым важным лицом того времени. Все были в этом уверены, но больше всех он сам…». С тех пор как Жюльетта повстречала его у г-жи де Сталь, упрямый ирландец не отставал от нее. Он то и дело являлся с визитом на улицу Бас-дю-Рампар, сопровождал ее повсюду, даже отправился за ней в Сен-Ле — можно подумать, что падчерица Наполеона умирала от желания с ним познакомиться! Он сопровождал Жюльетту и в особняк Люинов. Они виделись в узком кругу с Талейраном, что интересно, ибо Жюльетта, хоть и была дружна с Аршамбо де Перигором, одним из братьев князя, как будто не поддерживала постоянных отношений с этим великим государственным мужем… Хотелось бы знать ее мнение…

Бенжамен сходит с ума!

Вернемся в август, к блестящему возвращению Жюльетты. Закружившись в элегантном вихре, она все же не забыла далеких друзей, и среди них тех, кто некоторое время подвергались угрозе, — Мюратов. Их положение было шатким и в любой момент могло стать щекотливым. Венский Конгресс должен открыться в сентябре, и королева Каролина тревожится: сколько еще времени Австрия будет соблюдать союзный договор, заключенный с Неаполем? Ведь, в конце концов, королевство находится в руках наполеоновских узурпаторов. Если европейские державы применят принцип законности, Австрия может припомнить, что свергнутая королева была из Габсбургов, сестрой Марии-Антуанетты…

У Каролины идея: попросить подругу Жюльетту, окруженную самыми блестящими парижскими литераторами, найти ей публициста, который составил бы записку о необходимости оставить нынешним правителям их ненадежную корону.

Жюльетта задумалась: естественно, ей на ум пришел Бенжамен Констан. Пишет он быстро и ловко манипулирует самыми парадоксальными идеями, не замарал себя сношениями ни с империалистами, ни с роялистами. Если дельце выгорит, ему будет выдано значительное вознаграждение… Короче, в ответ на просьбу Каролины Жюльетте, как ей кажется, тоже пришла хорошая идея. Несчастная, если бы она знала!

31 августа она переговорила с Бенжаменом, входившим в ее ближний круг, наедине и обрисовала ему свое предложение. Жюльетта старалась говорить убедительно. Она живо поддержала просьбу королевы Каролины. Она была весела и, словно для удовольствия, провоцировала старого друга, пыталась увлечь его на легкую почву светской болтовни, оглушала его очарованием и, ради шутки, бросила искру на пороховую бочку… «Если бы я смел!» — сказал ей Бенжамен, знавший ее уже более четырнадцати лет и изучивший ее наизусть на собственном опыте, а также на опыте г-жи де Сталь. «Осмельтесь же!» — ответила Жюльетта, которая по какой-то причине была в приподнятом настроении. Они могли бы посмеяться над своим странным диалогом, и все на этом бы и закончилось. Никто бы никогда ничего не узнал. Завлекающая подруга, все кокетство и соблазнительность, равно как и благодушие которой были прекрасно известны Бенжамену, получила бы свою записку, и дело было бы в шляпе!

Но судьбе было угодно, чтобы в тот вечер у непредсказуемого

Бенжамена было смутно на душе, что делало его непривычно уязвимым. В последнее время дела его шли неважно: ему не удалось возвращение во Францию при падении Империи, ибо он поставил на Бернадота. Он жаловался на свою жену, которая доводила его до белого каления. После двадцати лет знакомства он окончательно отдалился от г-жи де Сталь. В сорок семь лет Бенжамен не был ни в чем уверен. Незанятое сердце и голова, разгоряченная последними литературными опытами (он только что адресовал копию «Адольфа» Жюльетте), безучастность и ирония не помогали ему жить. Они не решали проблемы его несостоятельности, разве что шутливо маскировали ее. Между игрой, девочками, салонами и рабочим столом Бенжамен слишком хорошо мог соразмерить тщету мира и свою собственную ненужность. Он тосковал.

И вдруг — неожиданная психологическая развязка: сраженный любовью, он падает к ногам прекрасной Рекамье! Господи сохрани! Ведь того и гляди голову потеряет…

Вернувшись домой, он помечает в дневнике, как каждый день, свои деяния и свершения: «Ужин в кругу. Госпожа Рекамье. Неужели! Я схожу с ума?» Дневниковые записи, а также письма, которыми он забросал Жюльетту, позволяют нам проследить за этим неожиданным и бурным романом.

Жюльетта — это очевидно — не придает этому никакого значения. Она знает о Бенжамене всё, она наблюдала его вблизи, во всех лицах: счастье, жуткие сцены с г-жой де Сталь, двойные подковерные игры, разрывы и душещипательные примирения в Коппе, Эксе, Шомоне… Чего она еще не видела? Она знает, что самый главный недостаток Бенжамена в том, что он с трудом отдается во власть своим чувствам. Его вечный самоанализ, бесконечное насмешничанье убивают эмоции. Он износил себя таким поведением, которое она называет «скептицизмом» и не одобряет.

Жюльетта права: Бенжамен чувствует больше головой, чем сердцем. Он как никто умеет изобрести то, чего непосредственно не ощущает. Как только в ход пошла голова — лучшее, что у него есть, — ему уже трудно повернуть назад, угнаться за рассудком, которого, впрочем, ему остается достаточно, чтобы присутствовать при собственных мучениях и удесятерять их полным их осознанием… Тем роковым летом Бенжамен созрел, чтобы окунуться во что угодно, лишь бы отогнать мрачные мысли о собственном бесплодии, не чувствовать себя неудачником. Дать захватить себя страсти, изобрести лихорадку, которая сковала бы его ужасное и язвительное разочарование — вот лучшее лекарство! Как игра, это единственный способ забыть о времени,

бежать, ни о чем не жалея, от гримас действительности, иначе воспринимать неизбежное биение жизни…

Поскольку все его авансы отвергали, он закусил удила. В своем упорстве он дошел до разнузданности, до исступления, которое с каждым днем становилось всё сильнее. Жюльетта, колебавшаяся между нежной учтивостью (ведь, в конце концов, она давно питала к нему самые дружеские чувства) и раздраженной холодностью (ибо нет ничего неприятнее, чем одержимый, бьющийся в припадках, а этот прошел хорошую школу в Коппе!), наблюдала, как непреодолимо разгоралась эта безудержная страсть. Она получала поочередно пламенные признания, угрозы покончить с собой, обещания отступиться и вопли ненависти и упрека… Ибо у влюбленного Бенжамена была такая отвратительная черта: он всегда старался обвинить женщину, которую, как ему казалось, любил: «Я люблю Вас, следовательно Вы в ответе…» Короче, его неожиданно преобразившиеся отношения с Жюльеттой для него стали адом, а для нее — прискорбным и нелепым любовным приключением.

Он составил записку для Мюратов, но по завершении переговоров, осложненных ранимостью автора, были отвергнуты и вознаграждение, и миссия при Венском Конгрессе (которая осталась бы неофициальной). Жюльетта, по своему обыкновению, часто живала у Кателланов, в Анжервилье. Бенжамен увязывался туда за ней. Позднее его перестали пускать. Г-жа де Сталь вернулась в конце сентября и поселилась в замке Клиши, том самом, где жила Жюльетта, когда с ней познакомилась. Стенания и признания Бенжамена в присутствии кавалера Огюста не способствовали укреплению дружбы двух женщин… Надо заметить, что, по странному стечению обстоятельств, Жюльетта соблазнила двух молодых людей, окружавших баронессу, — Проспера, который в конце концов женился, и ее сына. А теперь она посягнула (ведь Бенжамен представил вещи именно таким образом) на сожителя с двадцатилетним стажем! Какая безнравственность…

Жюльетта продолжала жить, как жила, и хорошо делала, ибо безумие Бенжамена могло бы под конец стать заразительным. Видясь с ней почти ежедневно, он писал длиннющие письма, в которых то курил ей фимиам, то пытался разжалобить своими стенаниями, то обвинял ее, то вручал себя в ее руки. «Располагайте мной…» Жюльетта поостереглась это делать.

Шли дни, расцвеченные обедами, балами, спектаклями, а также и вечерами наедине, прогулками по Люксембургскому или Ботаническому саду. В своем дневнике Бенжамен замечает: «[14 ноября] О любви больше речи нет, лишь о дружбе, которая, по

сути, более показная, чем подлинная. Такого сухого сердца, как у Жюльетты, еще не порождали небеса — или ад. Что до г-жи де Сталь, то это змея, яростная в своем тщеславии. Она ненавидит меня в глубине души, и я плачу ей тем же. Оградим мое счастье от когтей гарпии…» В тот же день Бенжамен, и глазом не моргнув, заявил своей красавице: «Вы самое умное, самое тонкое, самое грациозное, ангельски доброе создание…» А про себя заметил: «Будем принимать ее за то, что она есть!»

Ядовитое трезвомыслие, которое о многом говорит! Бенжамен, закоренелый игрок, ставит на Жюльетту! Бенжамен играет в любовь. Он держит пари на то, чтобы покорить эту молодую женщину (которая нравилась ему с тех пор, как он с ней познакомился, но была недоступна, пусть даже потому, что являлась близкой подругой его опасной спутницы), против своего внутреннего упадка, своей неизбывной скуки. Как бы он ни кипятился, как бы ни пытался переманить удачу на свою сторону, у него нет никаких надежд на победу, и он это прекрасно знает. Но не хочет этого допустить, пересмотреть свою стратегию. Ему доподлинно известно, что Жюльетта — женщина не для него, как и он не тот мужчина, что ей нужен.

О конвульсиях Бенжамена написано очень много. Даже слишком. Читая его патетические послания, какие только порицания не обрушивали на легкомысленную Рекамье, которая своими белыми ручками разбила столь благородное сердце! Но как еще могла она себя вести с этим больным человеком, знаменитое непостоянство которого за годы изучила досконально, а он еще усугубил бы свое положение, пытаясь доказать, что в этот раз всё по-настоящему? Она старалась держаться подальше от порочного круга, затянувшего Бенжамена. Она продолжала жить своей жизнью, не отталкивая его грубо, ибо с помешанными ничего не знаешь наперед…

Что до кокетства, то ясно как день: у Жюльетты оно было безобидным; ей требовалось поклонение ради чувства безопасности, из любви к тому, чтобы ее окружали, развлекали, узнавали, любили. Эта склонность, которая ни на секунду не встревожит умного Шатобриана, имела ясное происхождение: недостаток любви. Ничего общего с профессиональными Селименами, холодно, сознательно пускавшими в ход свои чары, чтобы обеспечить себе власть над мужчиной, а то и еще хуже — чтобы манипулировать им… Жюльетта не была способна откликнуться на пожары, которые она разжигала, что нарушило бы ее равновесие, ее целостность, ее внутреннюю гармонию и не принесло бы ей того, в чем она нуждалась — нечто более глубокое, нежели бенгальский огонь, разожженный отказом…

Она ждала. Пока она не могла отдаться. Ни один мужчина из ее окружения не смог бы ее к этому подтолкнуть. А Бенжамен еще в меньшей степени. У Жюльетты было сердце, но чтобы оно забилось сильнее, ей нужно было почувствовать настоящее, мощное волнение. Это пока не пришло.

Жюльетте досаждают грубые шутки Бенжамена. Они, должно быть, напоминают ей эпизод с Люсьеном Бонапартом… Бенжамен, на досуге сочиняющий вместе с ней некоторые фрагменты ее «Мемуаров», задним числом соперничает с пылким Ромео! И даже превосходит его в том, что касается ревности и агрессивности. В те лихорадочные месяцы — с лета 1814 года до лета 1815-го — он поочередно вызвал на дуэль трех друзей Жюльетты — Огюста де Форбена, которого она принимала с явной охотой, ибо он был живым, забавным и полным очарования (полная противоположность Бенжамена), маркиза де Надайяка, другого поклонника, с которым можно было и не заходить так далеко, и, наконец, переливающегося всеми цветами радуги Монлозье, который будет ранен в руку…

Однако Бенжамен не заблуждался относительно себя, и у этой истории будет и красивая сторона: несмотря на откровенное отвращение, которое он будет питать к Жюльетте, когда его помешательство пройдет, он не станет держать на нее зла за то, что она была предметом этого разнузданного и довольно нелепого поведения. Ни обиды, ни презрения, ни безразличия — словно по волшебству, но снова станет другом, близким знакомым, каким и был. Она же будет обходиться с ним так, как и раньше, до этого приступа безумия — естественно, элегантно, сочувственно.

***

Этот роман окажется лишь скучным и поучительным в том, что касается закоулков человеческого сердца — или, как указывает Шатобриан, «человеческой головы», — к тому же мы бы предпочли те, что описаны в «Адольфе», в самой законченной и близкой к действительности литературной форме, если бы политические события не перечеркнули собой жалкую жестикуляцию Бенжамена.

С тех пор как Бенжамена выставили за дверь Трибуната, он не имел никакого снисхождения к Бонапарту и, несмотря на робкие попытки состряпать себе политическую карьеру, без стеснения, сурово и твердо высказывал всё, что думал об абсолютизме. «Дух завоевания и узурпации» недавно это доказал. Когда Париж

взбудоражили слухи о возможном возвращении тирана, Бенжамен был решительно настроен упорно защищать идеи, которых всегда придерживался и от которых никогда не отступится. 11 марта 1815 года, когда император был уже в Лионе и ждали столкновения с маршалом Неем, посланным королем, чтобы остановить его, Бенжамен написал статью в «Журналь де Пари», призывая выступить на стороне Бурбонов перед лицом империалистической угрозы. Он четко заявил о своей позиции, и в этом не было ничего удивительного.

Его раздражал страх, от которого дрожали роялисты. «Я единственный, кто смеет предложить защищаться, — писал он в своем дневнике. — Погибну ли я? Узнаем завтра ввечеру». Он замечает Жюльетте: «Говорят, что через три дня мы будем окружены. Окрестные войска будто бы выступают против нас. Возможно, это преувеличение, ибо все страшно трусят. Я же боюсь лишь одного — не быть любимым Вами».

Когда в Париже узнали об измене Нея, по городу прокатилась волна паники. Узурпатор возвращается, корсиканское чудовище у ворот — все, кто открыто примкнул к Бурбонам, мучились вопросами, метались, теряли голову… и вскоре были готовы бежать. И в первых рядах — г-жа де Сталь, не имевшая ни малейшего желания вновь оказаться во власти своего палача и вернувшаяся в Коппе, она и Жюльетту призывала последовать ее примеру. Все прекрасные дамы, особенно переметнувшиеся империалистки, более других опасавшиеся возможных репрессий, наспех прощались… Одному Богу известно, когда теперь увидимся, да и увидимся ли…

Жюльетта не тронулась с места. Она спокойно ждала. У нее не было желания снова отправляться в изгнание, и она считала (и была права), что всегда успеет уехать, когда ей укажут, да еще и укажут ли. Бенжамен, как и г-жа де Сталь, пытался убедить ее, что она действует во вред г-ну Рекамье, что оставаться — безумие, что она должна бежать вместе с ним. Правда, у Бенжамена было больше причин, чем у нее, опасаться возвращения Орла. 19 марта, совершенно потеряв голову (король сбежал ночью), он опубликовал в «Журналь де Деба» статью, еще более яростную, чем ту, неделю назад, которую завершил как нельзя более однозначно и энергично:

> Парижане! Нет, не таковы будут наши речи, по крайней мере мои. Я видел, что свобода возможна при монархии, я видел, что король примкнул к нации. Я не стану, как жалкий перебежчик, влачиться от одной власти к другой, прикрывать подлость софизмом и

бормотать невежественные слова, чтобы купить себе постыдную жизнь.

Яснее не скажешь! Парижане увидят то, что они увидят!..

В тот же день он написал Жюльетте письмо приговоренного к смерти, в котором просил провести последние часы вместе с ним. Накануне он пометил в дневнике: «Если корсиканца разобьют, мое положение здесь улучшится. Если! Но двадцать против одного не в нашу пользу». Запись от 19-го числа: «Статья вышла. Совсем некстати. Полное поражение. Даже и не думают сражаться». На следующий день, 20 марта: «Король уехал. Всеобщее смятение и малодушие». Днем позже: «Я уезжаю». К несчастью, в Париже не хватает лошадей. Ему потребуется ждать еще два дня, чтобы сбежать вместе с остальными… 25 марта он передумал и мчится на почтовых в обратном направлении! Снова поселяется в столице, и никто и не думает о том, чтобы его погубить: общее положение слишком неясно, чтобы император занимался преследованиями журналиста!

Тот же вскоре связывается с членами восстановленного имперского правительства: несколько раз видится с Фуше, а также Жозефом Бонапартом. 14 апреля Бенжамен пишет в дневнике: «Встреча с Императором. Долгий разговор. Это удивительный человек. Завтра несу ему проект конституции». 19 апреля он снова увиделся с ним и сумел предложить несколько из своих конституционных идей. Бенжамен сделан государственным советником. Он составляет «Аддитивный акт», по которому будут управлять Францией в те три месяца, что продлится восстановленное царствование Наполеона. Ну вот: парижане увидели! Увидели Бенжамена, который 19 марта метал громы и молнии в нового Аттилу, а месяцем позже стал самым ценным его сановником, поскольку принес залог либерального фасада, без которого император бы не удержался в Тюильри!

Для Бенжамена это было неслыханным повышением! Это самоотречение, этот перевертыш — не лишенные логики, поскольку это император принял его идеи, а не он отрекся от них, чтобы принять императора, — разумеется, вызвали гнев роялистов, которых меньше месяца назад Бенжамен пламенно призывал сражаться и которые теперь кипели от бешенства в вынужденном изгнании! Бенжамен — предатель! Это клеймо на нем навсегда…

Слава богу, Шатобриан, последовавший за королем в Гент, был не из этой породы!

Разумеется, такой кульбит не преминули приписать влиянию женщины, в которую Бенжамен был тогда влюблен, то есть

Жюльетты. Абсурд! Об оппозиции Бенжамена Наполеону было известно давно. Ему никто не был нужен, чтобы подсказывать идеи, которые он будет изрекать в лицо Европе до самой своей смерти! Бенжамен один нес ответственность за свое бесстрашие на словах, а виноват он был в том, что в своей статье «напал» на человека — человека, от которого, несколькими днями позже, принял блестящее возвышение. И это приятие касалось его одного. Жюльетта ни в коей мере не была мстительной; при абсолютизме она заплатила за свою приверженность к свободе и к друзьям. Но она не боялась Наполеона; когда он вернулся, она не сбежала — вот доказательство. Что до Бурбонов, то если она их и предпочитала, то не до такой степени, чтобы призывать к оружию! Позже мы увидим, как она умеряла пыл Шатобриана в этом отношении. Жюльетта ничуть не была ответственной за позицию Бенжамена, как и за его карьеризм. Наконец-то он кем-то стал! Как долго он этого ждал… Хотя его лояльность оказалась скорой и шумной, хотя ей недоставало изящества, Бенжамен был в большей степени неловким, чем подлецом. И он был не один… Он в очередной раз рискнул. Сыграл. Но поставил не на ту карту.

Крушение иллюзий

Хотя молниеносное возвышение Наполеона осталось в воспоминаниях в виде потрясающе красивой легенды, хотя его путь, свершенный с помощью «народа, солдат и унтер-офицеров» и приведший государя в двадцать дней с острова Эльба в Тюильри, казался чудом, действительность последнего бонапартистского потрясения быстро предстала перед его действующими лицами такой, какой была: запутанной, если не сказать нестерпимой.

Внутри страна бурлила: насколько первая реставрация Бурбонов прошла гладко, по воле Людовика XVIII, союзников и самого народа, изнуренного годами войны, настолько внезапная реставрация империи волновала и тревожила. Чего хочет Наполеон? Восстановить свою власть, опираясь на сей раз на свободы, — он, десять лет попиравший их ногами? Кто в это поверит? Двусмысленность была во всем: переменчивости народа, беспочвенном воодушевлении, помогшем ему вернуть себе трон. Сохранит ли он его, подперев возрожденным революционным духом, или вступит в сделку с действующими сановниками, успокоив либеральную буржуазию? Его положение далеко не прочно.

«Аддитивный акт», как мы уже сказали, был своего рода залогом гражданского мира. На самом деле он вызвал недовольство у всех: люди, выпестованные Революцией — неоякобинцы, — возмущались учреждением палаты пэров, и вообще, этот акт, дарованный императором, чье стремление к самодержавию им было хорошо известно, вызывал скепсис с их стороны: в любой момент он может восстановить фактическую диктатуру. Бонапартисты кипели: их глава тянул время и ради того, чтобы понравиться обществу, упустил абсолютную власть. Либералы были крайне недоверчивы: то, что им было дорого — личные свободы, равенство перед законом, свобода печати, дух Прав человека, конституционный режим, — казалось, было слабо гарантировано Наполеоном, всегда действовавшим по предопределению и известным своим презрением к ценностям Просветителей. Армия рыла землю копытом: она вновь обрела своего императора и жаждала действий во славу его; при этом ей недоставало главных командиров.

Короче, все были разочарованы, не говоря уже о роялистах, которые были просто убиты: несвоевременное возвращение Бонапарта уничтожило все завоевания мира, установленного десять месяцев назад. Фуше был прав, говоря, что «Париж

оказался на вулкане». Этот замечательный наблюдатель, автор первой Реставрации наряду с Талейраном, снова был в святая святых: Наполеон не счел нужным обойтись без его компетентности и сделал его своим министром полиции…

Вне страны положение Наполеона было отчаянным: узнав о его высадке в Гольф-Жуане, союзные государи, собравшиеся на Венский конгресс, немедленно провозгласили его «вне закона», изгоем Европы. Он нарушил свои обязательства. Было решено держать его на почтительном расстоянии и по возможности уничтожить: отныне война была неминуема.

Поражение Наполеона было полным 18 июня 1815 года в одном из самых страшных сражений — битве при Ватерлоо. Отвергнутый народом, принужденный к отречению палатой депутатов, он сделал это в пользу своего сына (Наполеона II) в надежде, что Австрия поддержит это решение, предполагавшее регентство Марии Луизы. Англичане и пруссаки, победители при Ватерлоо, рассудили иначе: никакого регента, даже из Орлеанской династии («узурпатора из хорошей семьи», по словам Веллингтона), только восстановление Людовика XVIII под контролем союзников.

В своих «Замогильных записках» Шатобриан оставил нам несколько очень живых страниц о своем изгнании, когда он вслед за королем удалился в Гент. Рассказал он нам и о встрече в Сен-Дени между Фуше, главой временного правительства, Талейраном, без спешки вернувшимся с Венского Конгресса, где он ловко маневрировал, защищая французские интересы, и Людовиком XVIII. Цареубийца 1793 года и бывший епископ-отступник, вместе входящие в кабинет короля, вызвали отвращение у благородного виконта! Он не мог найти достаточно суровых слов, чтобы описать медленную поступь «порока об руку с преступлением», проходивших рядом с ним, не видя его… Он не мог допустить, что эти два государственных деятеля с переменчивыми пристрастиями необходимы тем, кто намеревался взять в свои руки дела государства, самые насущные и запутанные из которых были ведомы только этой паре… И если б дело было только в этом!

Общее положение было катастрофическим: помимо многочисленных перебежек политиков и военных, крушение иллюзий сопровождалось национальным крахом. Второй Парижский договор (от 20 ноября 1815 года) был просто драконовским: союзники на сей раз решились заставить Францию заплатить за свое непостоянство, за эту нелепую выходку: ее оккупировали 1 миллион 200 тысяч иностранных солдат. У нее забрали еще принадлежавшую ей часть Савойи. Разрушили

северные крепости (страну в любой момент могли захватить), потребовали огромную контрибуцию — 700 миллионов франков, а также содержание оккупационной армии в течение трех лет. Она должна была также вернуть все произведения искусства, награбленные за двадцать лет по всей Европе, — это было только справедливо, ибо художественный грабеж был возмутителен и не имел оправданий. Последний полет Орла дорого обошелся! Национальная территория стала меньше, чем до Революции… Столько смертей, и всё для чего!

Союзники вели себя уже не как освободители, а как оккупанты, подозрительные и бдительные победители. Самыми мстительными, если не сказать злобными, были пруссаки. Послы союзных держав будут три года внимательно следить за каждым решением правительства; французам, на которых возложат ответственность за возвращение Наполеона, не простят ничего: в отличие от 1814 года, Франция была не освобождена, а просто-напросто разбита.

На Венском Конгрессе, за несколько дней до Ватерлоо, Европа была реорганизована следующим образом (четыре союзные державы отхватили себе львиную долю): Россия сохраняла за собой Финляндию и Бессарабию. Она получила польские провинции Пруссии до самой Варшавы[29], превратив их в королевство, примыкающее к ее империи.

Англия, помимо владения морями вместе с Мальтой, Ионическими островами, Кейптауном и Цейлоном, которые ей вернули, забрала обратно Ганновер.

Пруссия приобрела шведскую Померанию, север Саксонии, Вестфалию, великое герцогство Берг, левобережье Рейна.

Австрия вновь обрела Тироль, Ломбардо-Венецианское королевство, Иллирийские провинции.

Швейцария вернула себе Женеву и Валев и стала нейтральной конфедерацией. Бельгия и Нидерланды составили единое королевство. Норвегия была отдана Швеции. Дания получила герцогство Шлезвиг-Гольштейн. Крупнейшие вассалы наполеоновского Рейнского союза перегруппировались под эгидой Австрии в Германскую Конфедерацию. Испания и Португалия восстановились в прежних границах. Италия была раздроблена, как прежде: папские государства, королевства Неаполь, Пьемонт-Сардиния, Ломбардия-Венеция, а также несколько княжеств: Геную отдали Пьемонту, Парму — Марии Луизе.

Всё это было справедливо, но в расчет не принимались чаяния народов: реакция на Венский договор в значительной мере определит историю Европы XIX века.

***

А Жюльетта? Она никуда не уезжала, разве что ненадолго в Сен-Жермен, у парижской заставы, в конце весны. Жюльетта присутствовала при этом новом, уже гораздо более ярком потрясении, в городе, угнетаемом требованиями и унижениями, связанными с военной оккупацией. Пока император Александр будет находиться в столице, он попытается умерить злобу пруссаков, особенно Блюхера: ему удастся спасти Йенский мост и Вандомскую колонну, которые старый маршал хотел снести без долгих разговоров.

Другой победитель при Ватерлоо, Веллингтон, вел себя не менее нагло, больше из тщеславия, чем по злобе. Когда он явился на улицу Бас-дю-Рампар и заявил, довольный собой: «Ну и побил же я его!»[30], Жюльетта ответила ему с несвойственной ей суровостью. Было не до бахвальства! Пусть благородный лорд набивается на комплименты в другом месте…

Если друзья Жюльетты из числа роялистов возвращали себе свои посты, посольства, обязанности при дворе (Шатобриана включат в следующую партию пэров), у некоторых других ее знакомых были проблемы. Ибо умеренности и терпимости, как год назад, уже как не бывало: сводили счеты, и хотя король заявлял, что хочет «национализировать королевскую власть и роялизировать нацию», к тем, кто примкнул к Наполеону во время Ста дней, были приняты репрессивные меры. Цареубийцы (в том числе Фуше и художник Давид) были высланы, шестнадцать генералов осуждены. Нея, обещавшего остановить Наполеона по возвращении того с острова Эльба и привезти его к королю в железной клетке, судили и расстреляли. Лабедойера, несмотря на все попытки за него заступиться, — тоже.

Мюрат, как всегда не вовремя, не устоял перед успехами человека, которого покинул: явился в его распоряжение, бросив жену, детей, королевство и союз с Веной. 23 мая, при Толентино, его разбили австрийцы, он был вынужден укрыться в Канне, потом на Корсике. Император запретил ему являться в Париж, и бывшие его союзники завладели Неаполем, уладив тем самым проблему возврата короны его законному правителю. Мюрат предпринял попытку десанта, жалким образом провалившуюся в Пиццо, в Калабрии. Он был предан военно-полевому суду, не успев хорошенько понять, что произошло. Его расстреляют 13 октября, и этот забияка умрет как храбрец. Жюльетта не забудет Каролину, чье хождение по мукам, как и у всех прочих членов семейства Бонапартов, только начиналось.

После Ватерлоо Бенжамен Констан нашел себе занятие, на

некоторое время снискав покровительство баронессы де Крюднер, происходившей из знатного ливонского рода и разъезжавшей по Европе вместе со своим мужем-послом, тогда она была молода и красива, а впоследствии с успехом попробовала себя в литературе, написав «Валерию» — многословный, свежий и чувствительный роман, затем она стала кем-то вроде модной иллюминатки, проповедуя в салонах и держа в своей власти самого русского царя. Шатобриан, как и г-жа де Буань, обрисовал эти странные сеансы, проходившие в особняке в предместье Сент-Оноре, сад при котором сообщался с садами вокруг Елисейского дворца, резиденции российского государя, и на которых последний присутствовал по-соседски, инкогнито. На этих сеансах смешивались медитация, проповедь, политика, а заканчивались они общими молитвами. Г-жа де Крюднер подтолкнула царя к заключению Священного Союза, объединявшего в духе христианских крестовых походов трех монархов разного вероисповедания — российского, австрийского и прусского. Дипломаты, естественно, первыми обличили нелепость этой моды на мистицизм, которой было мало заполонить салоны, она метила еще и в канцелярии! г-жа де Крюднер, любившая прекрасную Рекамье, просила ее не выглядеть слишком привлекательно, когда она явится на молитву в обществе царя или какого-нибудь другого из своих поклонников!

Бенжамен почувствовал умиротворяющее влияние пророчицы и оказался достаточно рассудительным, чтобы удалиться из Парижа. Он был изгнан королем, но 24 июля сумел добиться пересмотра приказа; несмотря на это, он сознавал, что ему лучше не напоминать о себе. Его положение в Париже было ненадежным: все партии ненавидели его за то, что он оскорблял императора, или за то, что он примкнул к нему.

Осенью Бенжамен отправился в Брюссель, затем в Лондон. Успокоили ли его добрые слова ясновидящей, или он испытывал облегчение, дыша другим воздухом? По выезде из Франции к нему вернулись силы. Любовная лихорадка понемногу утихла, через три месяца тон его писем к Жюльетте снова пришел в норму.

Так завершилась для него черная полоса, бурный, но несчастливый период его жизни… В тот год Бенжамен много стенал, много писал, плакал, сражался, совершил тысячу экстравагантных поступков, пережил звездный час, был, хоть и ненадолго, допущен ко двору и оставил там яркий след! Он играл и проиграл. Красавице из красавиц, а еще государю, которого желал просветить своими идеями. Или, вернее, они оба были

достаточно безумны, чтобы вообразить, будто их прекрасная мечта окажется долговечной! Жюльетта, Наполеон, разочарования!.. Сознавал ли Бенжамен, свершая свой одинокий путь, что его слава, пропуск в вечность — не в этой неразумной любви и не в этой надреальной политической роли, а, скорее, в том маленьком «Адольфе», который он, в мученические месяцы, беспрестанно читал в салонах, в том числе у Жюльетты? Знал ли разочарованный, рисковый Бержамен, что только этим оправдал свою жизнь — ту жизнь, которую влачил с горечью и находил «ужасной»?.. На это мало надежды.

Смерть госпожи де Сталь

Г-жа де Сталь старела плохо. Здоровье ее слабело, нервная неуравновешенность усиливалась. Как и ее мать, она страдала бессонницей и то и дело принимала опиум, чтобы обрести покой: самое распространенное успокоительное средство того времени было также и самым убийственным. Плохо очищенный, в неверных дозах, опиум порождал предсказуемую зависимость и разрушал того, кто предавался ему в такой мере, какую трудно себе представить.

Застигнутая врасплох возвращением Наполеона, баронесса укрылась в Коппе, теряясь в догадках о судьбе Европы, а главное, крайне раздраженная этим несвоевременным обстоятельством, произошедшим накануне «ее ликвидации», то есть формальностей, позволявших ей вернуть свои два миллиона. Она только об этом и думала, точно эти деньги, которые она намеревалась дать в приданое Альбертине и от которых, таким образом, зависела судьба ее дочери, помолвленной с герцогом Виктором де Брольи, были стержнем ее существования, его главным побудительным мотивом. В этом нетерпении было словно предчувствие. Г-жа де Сталь так закончила письмо к своей подруге герцогине Девонширской: «Я бледна как смерть и грустна как жизнь…»

Во время Ста дней она, через Жозефа Бонапарта, связалась с Парижем, чтобы возобновить прервавшиеся финансовые переговоры. Наполеон этому не препятствовал.

Раздраженная тем, что дела шли не так быстро, как бы ей хотелось, она вскоре затеяла ужасающую ссору с Бенжаменом Констаном (кстати, отцом Альбертины) по поводу восьмидесяти тысяч франков, которые он был ей должен уже многие годы: она нетерпеливо требовала вернуть эти деньги, а он был неспособен это сделать. Она грозила ему судом, он отвечал угрозой опубликовать письма, полученные от нее! Нельзя сказать, что тон этой перепалки был к чести двух блестящих умов… Конец этой жалкой драке положило Ватерлоо. Комментарий г-жи де Сталь, в другом письме к своей английской подруге: «Этот человек (Наполеон) — точно лава: он угас, но всё пожег…» Надо думать, начиная с нее.

Ей приходится поддержать Бурбонов; в конце концов она добивается своего. Наконец-то она может выдать замуж дочь и устроить положение сына Огюста, что несколько смягчает ее настроение. У нее нет намерения вернуться в Париж, поскольку ей не по душе как его оккупация, так и атмосфера нетерпимости,

которая там царит. Поскольку состояние здоровья Рокка не улучшилось, она решила провести зиму в Италии. Свадьба Альбертины состоялась в феврале 1816 года, в Пизе. Это было смешанное бракосочетание, католико-протестантское, и г-жа де Сталь описала его в письме к Жюльетте.

Тон ее писем оставался любезным, но, зная о привычном лиризме г-жи де Сталь, легко понять, до какой степени охладели отношения между двумя женщинами. Авторитарная Жермена так и не простила Жюльетте ее слишком легкого успеха у Проспера де Баранта. Эпизод с Огюстом вбил в трещину новый клин. С точки зрения Жюльетты, решающую роль сыграло поведение баронессы во время ее изгнания. Приступ безумия Бенжамена все завершил. Однако они не разошлись бесповортно: Ум и Красота горячо любили друг друга. Кокетство и Эгоизм еще порой вспоминали об этом…

От «добродетельной» четы помощь была небольшая: Виктор де Брольи, которого англичане называли *«Jacobine Duke»*[31], тогда как его теща видела в нем «единственного англичанина во Франции», принадлежал к той духовной среде, что отличится при Июльской монархии, провозглашая идеалы золотой середины, и которая под именем «доктринеров» объединяла Гизо, Руайе-Коллара, Бертена де Во, Себастиани — это из самых известных. Ни гибкость, ни политический прагматизм не были в числе его сильных черт. Это был суровый человек, с твердыми принципами и преданный абстракции, которого сегодня бы назвали косным партократом. Не стоит уточнять, что в отличие от элегантного Гизо он терпеть не мог г-жу Рекамье и все, что она собой олицетворяла.

Что до очаровательной Альбертины, к которой сватался Байрон, а Ламартин вдохновлялся ею, создавая свою Грациэллу, она странно изменилась: некая аскеза привела ее от языка гипербол Коппе к сухости самого отъявленного методизма. Закосневшая в благочестии, подурневшая, она преждевременно умрет в сорок один год. Она тоже не любила г-жу Рекамье, хотя всегда придерживалась с ней приличий, быть может, в память о матери. Между ними возникнет конфликт, когда Альбертина попытается завладеть письмами, принадлежавшими Жюльетте. Слава богу, та даст ей отпор! Благочестивая Альбертина, дочь Коринны и Адольфа, совершит глупое и непоправимое преступление: сожжет всю переписку своих родителей, отмеченную, на ее взгляд, печатью греха. Узость ума, ханжество и отсутствие литературного чутья погубили таким образом невосполнимое сокровище… А вот Жюльетта — и позже ее наследники — сумеют сохранить красоту страниц, подписанных

Сталь, Констаном или Шатобрианом. Чувству меры и способности отличать хорошее от дурного нельзя научить. Способности отделять свое суждение от предрассудков и щепетильности — тоже. Под покровом ригоризма Альбертина предавалась главному недостатку своей матери, который от нее унаследовала, — несдержанности.

***

С наступлением следующей весны ремонтные работы, затеянные в особняке на улице Бас-дю-Рампар, побудили Жюльетту оставить Париж. Мы бы хотели точно представить себе это парижское жилье Рекамье, которое, как и другие, исчезло, и где в шумные дни обеих Реставраций соседствовали друг с другом все знаменитости, которые только были в городе. Г-жа де Буань с матерью приезжали туда в отсутствие Жюльетты, чтобы посмотреть в окна второго этажа на прохождение союзных армий по бульвару в 1814 году: из почтения к гостеприимству г-на Рекамье, они не выказали никакого особого воодушевления, но их радость, хоть и молчаливая, всё же была велика.

По возвращении Жюльетта приютила там Балланша, которого семейные обязанности удерживали в Лионе, а потому он редко жил в Париже, затем — двух братьев Канова: скульптору Ватикан поручил переговоры о возвращении предметов искусства, которые французы «приватизировали» у римлян. Красавицу из красавиц продолжала связывать с друзьями любезная и постоянная переписка, широкая сеть связей, выбранных с умом и поддерживаемых с постоянством. Некоторые из них позже станут для нее чем-то вроде семьи, узким, но неразлучным кружком, трое из членов которого нам уже известны: маленькая Амелия, Балланш и Поль Давид.

Сначала Жюльетта провела пять недель у своих кузенов Далмасси, в верховьях Соны, в замке Ришкур. Атмосфера в их доме ее порядком огорчила: ее кузина сильно переменилась: «худая, измученная, несчастная», — пишет она «доброму Полю», после падения Империи снова ставшему ее незаменимым и пунктуальным гонцом. Адель де Далмасси умирала от чахотки, а ее муж, «довольно посредственный и очень ревнивый», словно нарочно делал семейную жизнь еще более тяжелой. Жюльетта тосковала, разрываясь между заботами, которыми окружала ту, кого нежно любила еще с детства, и временем, которое выкраивала для себя, «в маленькой галерее, выходящей в сад», которое она посвящала переписке и чтению. Как она призналась

своему племяннику, «жизнь в Шалоне была легкомысленной по сравнению с этой…»

По совету своего кузена, доктора Рекамье, она покинула Далмасси и отправилась на воды в Пломбьер. Милый курорт в Вогезах, хотя и немноголюдный в то лето (Жюльетта сетовала, что из знакомых там был только граф Головкин, которого она сторонилась как «самого вздорного человека, какой только может быть»), показался ей после болезненной и удушливой атмосферы в Ришкуре островком покоя и цивилизации. Она дышала полной грудью, ее мигрень отступила, и, что симптоматично, она велела «открывать окна в шесть часов утра»…

Ее врач и родственник, Жозеф Клод Ансельм Рекамье, уже десять лет руководил отделением в Отель-Дье[32] в Париже, где будет практиковать сорок лет, и в профессиональном плане был знаменит на всю Европу. В результате, в Пломбьере с его хорошенькой кузиной произошло небольшое недоразумение, сильно позабавившее всю семью. Однажды ей вручили визитную карточку одного немца, который очень просил удостоить его встречи с ней. Г-жа Рекамье, привыкшая к восхищенному любопытству по отношению к своей персоне, назначила день и час. Посетитель — молодой человек весьма приятной наружности — явился и стал молча и восторженно смотреть на нее. В конце концов смущенная Жюльетта осведомилась, чем она обязана его посещению. Оказалось, что немец, услышав о том, что в Пломбьере находится женщина, имеющая непосредственное отношение к знаменитому доктору Рекамье и к тому же носящая его фамилию, не пожелал вернуться на родину, не увидев ее.

Тем же летом 1816 года г-жа де Сталь, окруженная своими детьми, находилась в Коппе, который по такому случаю сиял всеми огнями — в последний раз, но кто, кроме Коринны, мог такое предполагать? Все было выдержано в английском духе, и одним из самых знаменитых британцев, наведывавшихся туда по-соседски, был лорд Байрон, проживавший на вилле Диодати, на противоположном берегу озера, чья скандальная репутация не могла не волновать кружок баронессы. Она была бы счастлива принять Жюльетту, если бы та согласилась сделать крюк на обратном пути из Пломбьера. Жюльетта колебалась. К ней вот-вот должен был приехать принц Август, пожелавший навестить ее на водах. Вернуться в зачарованные места? Встретиться с Чайльд Гарольдом? Разбередить былые раны? Огюст де Форбен из Лиона открыто отсоветовал ей ехать. Жюльетта не поехала в Коппе.

К тому же она спешила вернуться в Париж, взбудораженный предстоящей свадьбой младшего сына графа Д'Артуа, герцога Беррийского, с Марией Каролиной де Бурбон, юной принцессой

Неаполитанской, шестнадцати лет от роду: всех интересовало, так же ли она пленительна, как ее двоюродная бабушка Мария Антуанетта.

Первым своими впечатлениями о новой герцогине Беррийской поделился с Жюльеттой Эжен д'Аркур, видевший ее во время празднеств, устроенных в ее честь. Юмора новому командиру эскадрона гвардейских гусар было не занимать:

> Между нами, она лишена очарования, ее следовало бы поместить на некоторое время в школу у нас. Однако для принцессы она неплоха. Она косит, но с достоинством, подобающим ее сану, и если уловить направление, можно надеяться перехватить благосклонный взгляд…

Суждение г-жи де Буань было еще более строгим: молодая женщина произвела на нее плохое впечатление, она «угрюма и неотесанна», «косолапит», «насмешничает», обращаясь с маленьким двором, который ей составляют… И всё это казалось подруге Жюльетты тем более прискорбным, что принцессе присуща широта души: «В умелых руках она бы выгодно преобразилась…» Но этого не произойдет. Герцогиня Беррийская, интересовавшая парижан, потому что при дворе недоставало принцесс — король и его брат были вдовы, — казалась всем глупой гусыней хорошего происхождения: ее желали видеть безобидной, и конечно, ее невежество и веселость не бросали тени на ее чопорную тетю, герцогиню Ангулемскую. Пока…

Герцогиня Беррийская еще вызовет много разговоров, и мы с ней еще встретимся: ее капризы и безумные приключения не пройдут бесследно для Жюльетты, когда в них, неприкрыто и неоднократно, окажется замешан сам г-н де Шатобриан.

По возвращении Жюльетту ждал явный политический кризис: в сентябре король распустил палату депутатов, прозванную «Бесподобной», потому что, вопреки всем ожиданиям, в ней собралось мощное реакционное большинство. Государь пытался преградить дорогу фанатизму, разбушевавшемуся на юге, этому «белому террору», грозившему докатиться до Парижа — горнила страстей и недовольства.

Большинство в стране, как и ее государь, желало мира. А для этого нужно было разрядить политические страсти, разжигаемые в первую очередь теми, кто был «большим роялистом, чем сам король», и которых по этой причине называли «крайними»: они не принимали хартию, клялись только троном и алтарем, мечтали лишь о репрессиях и о восстановлении прежних привилегий. Их вожаком, пока еще неявным, был собственный брат короля, граф

Д'Артуа. Людовик XVIII оказался достаточно умен, чтобы не пересматривать главного завоевания Революции, еще укрепленного Наполеоном: национальной собственности. Подразумевалось, что будет соблюдаться равенство всех перед законом, Гражданский Кодекс, свободный доступ к труду, а также свобода вероисповедания, хотя католическая религия была признана государственной. Конечно, Франция была готова последовать за королем, но многие раны были еще слишком свежи, чтобы все быстро успокоились.

Партии крайних противостояла конституционная партия, объединявшая умеренных, почитавших парламентарную систему, но различных меж собой, таких, как герцог де Ришелье, Матье Моле, Паскье, или еще Руайе-Коллар или Гизо из «доктринеров». Именно они и победили на новых выборах. В течение ближайших трех лет они восстановят устои страны, поколебленной годами войны и разоренной недавним поражением. Среди них был один человек, которого король отличит публично, — Деказ.

Дела оказались в руках конституционной партии, что раздражало крайних, но успокоило левое крыло депутатов, которое Шатобриан вскоре окрестит «либералами» и которое объединяло республиканцев, верных идеям Революции, а также бонапартистов и сторонников независимости, противостоящих всякому абсолютизму. Среди них самыми известными были Лафайет, генерал Фуа, адвокат Манюэль. Бенжамен Констан примкнет к ним и до самой смерти будет заседать с ними рядом.

Шатобриан, назначенный королем в июле 1815 года государственным министром, а 17 августа — пэром Франции, отличился, в самых нелестных выражениях выразившись о роспуске «Бесподобной палаты» в приписке, поспешно добавленной к переизданию его «Монархии согласно хартии». Он был отставлен от министерского поста. Вынужденный разыграть в лотерею свой дом в Волчьей Долине и продать с молотка свою библиотеку, благородный виконт переживал нелегкие времена. Как обычно, невзгоды подзадорили его, и отныне, неожиданно и твердо, он станет вдохновителем политической жизни. Его временные уходы со сцены всегда походили на яркое царствование в одиночку.

***

Прибыв в столицу в октябре 1816 года, г-жа де Сталь один из первых визитов нанесла г-же Рекамье. Она принесла ей книгу, которую у нее недостанет сил завершить, — «Размышления о

французской Революции». Она признавалась, что «убита опиумом». Ее было не узнать. Наверное, на Жюльетту, как и на всех, это произвело сильное впечатление.

Прежде чем уехать из Коппе, г-жа де Сталь привела в порядок свои дела: оформила брак с Рокка, приняв меры, чтобы после ее смерти их ребенок мог ей наследовать. Никаких трудностей не возникло. Она также составила завещание: Жюльетта в нем не упоминалась. Что само по себе знаменательно.

Г-жа де Сталь 21 февраля следующего года, отправляясь на бал к министру внутренних дел Деказу, упала на лестнице, спускаясь под руку с зятем. В результате приступа водянки ее частично парализовало. Ее отвезли домой, на улицу Рояль, где однажды утром ее навестил Шатобриан. Там пред ним предстали два призрака: один — с лихорадочным румянцем (сидящая, опершись на подушки, г-жа де Сталь), а другой — бледный как смерть (умирающий Рокка).

Бедная Коринна! Она страдала от своей неполноценности, но желала, чтобы ее друзья всё так же собирались под крышей ее дома, и иногда, когда могла, даже являлась среди них ненадолго… Чаще всего такими странными собраниями руководила ее дочь.

В мае она покинула шумную улицу Рояль и поселилась на улице Нёв-де-Матюрен, в доме, преимуществом которого был прилегающий сад, куда выносили ее кресло. Если у нее доставало сил, то она своей неслушающейся, но еще щедрой рукой срывала для своих посетителей розы.

Она сделала прощальный подарок своему «дорогому Фрэнсису» и прекрасной Жюльетте: свела их вместе за одним ужином, на котором не присутствовала. Если верить Шатобриану, именно с этого момента в его жизнь и вошла его несравненная муза, его «ангел-хранитель».

В тот день, 28 мая 1817 года, за столом присутствовали также Адриан, герцог де Лаваль-Монморанси, Проспер де Барант и Джордж Тикнор, американский журналист, который пристально за всем наблюдал, как и подобает уважающему себя американскому журналисту:

> Г-же Рекамье теперь, должно быть, лет сорок или больше [неправда: тридцать девять с половиной], хотя она выглядит моложе, и блеск ее красоты, известной на всю Европу, уже не так ярок. Я не хочу сказать, что она не красива, ибо она даже очень хороша. Стройная фигура, нежные выразительные глаза, необыкновенно красивые руки… Неожиданностью для меня явилось то,

что в лице ее вовсе нет меланхолии, а беседует она весело и живо…

Шатобриан — невысокий, смуглый, черноволосый мужчина с черными глазами [или темно-синими, или сине-зелеными, вопрос остается открытым…], и при этом в лице его четкое выражение; не нужно быть большим физиономистом, чтобы сразу сказать, что у него твердый и решительный характер: каждая черта его, каждый его жест это подтверждают.

Хорошая компания собралась за столом, чтобы отвлечь Жюльетту от ее забот. Ведь действительно: ее кузина Адель была не в лучшем состоянии, чем г-жа де Сталь, хотя десятью годами ее младше, — баронесса де Далмасси, чувствуя, что конец ее близок, приехала в Париж умирать подле своей любимой кузины. Жюльетта поместила ее в домике Лавальер, в Монруже, у Парижской заставы, который тогда был еще оазисом зелени и покоя. В этом восхитительном загородном доме, построенном в конце XVII века, с террасой поверх ряда ионических колонн, Жюльетта ухаживала, без большой надежды на спасение, за той, кого считала своей сестрой и которая растворилась в тумане времен, а мы даже не имеем возможности представить себе ее черты. Смирилась ли она, пылая в лихорадке, как г-жа де Бомон, или капризничала до последнего дня, как г-жа де Шеврез? Мы знаем всё о последних минутах г-жи де Сталь, при которых Жюльетта не присутствовала, так как не отходила от постели другой умирающей, о которой мы ничего не знаем. Таков ход Истории…

В ночь с воскресенья 13 на понедельник 14 июля 1817 года, приняв опиум из рук мисс Рендалл, английской гувернантки, г-жа де Сталь заснула, чтобы никогда больше не проснуться. В полдень 14-го, под проливным дождем, Адриан и герцогиня де Люин явились в Монруж, чтобы поддержать подругу, уже, по их мнению, бывшую в курсе происшедшего. Они принесли ей записку от Матье, от чтения которой ей стало дурно:

Какое несчастье, и к тому же оказавшееся внезапным. Бедные дети. Иду увидеться с ними в доме, откуда я вышел вчера в одиннадцать часов, без всяких опасений по поводу ночи.

Восскорбим вместе.

Племянница г-жи Рекамье уточняет, что пришлось «разрезать шнурки ее корсета», чтобы привести ее в чувство. К записке Матье прилагались несколько строчек от Шлегеля, уведомляющего о

кончине г-жи де Сталь.

Жюльетта немедленно поспешила на улицу Нёв-де-Матюрен. Она увиделась только со Шлегелем. Альбертина выставила заслоны, руководствуясь некими собственными критериями: ее отец не имел доступа в дом, пока Коринна была жива; по смерти же ее он получил право сидеть у гроба в обществе Виктора де Брольи. Зато Жюльетта могла наносить визиты своей угасающей подруге, но не была допущена в траурную залу! Все окружающие действительно были удручены: никто не ожидал столь быстрого конца. Доза опиума, несомненно, оказалась чересчур большой. Г-же де Сталь был пятьдесят один год.

Большое царствование над жизнью Жюльетты подошло к концу. Его готовилось сменить другое, гораздо более могучее.

Глава IX
СТРАСТЬ

…моя любовь, моя жизнь, мое сердце — всё принадлежит Вам.

Жюльетта — Рене (март 1819 г.)

Я живу лишь тогда, когда думаю, что не покину Вас во всю жизнь.

Рене — Жюльетте (ноябрь 1820 г.)

Европа была в трауре: сильный и завораживавший голос, столько лет оживлявший (кое-кто сказал бы «баламутивший») ее, теперь умолк, оставив ощущение пустоты. При дворах, в салонах, в узких кружках, в университетах, в Стокгольме, Лондоне, Вене, Берлине или Веймаре говорили и скорбели об этой потере. Если при жизни г-жу де Сталь воспринимали неоднозначно, то после смерти славили в один голос превосходство ее ума. Некоторые сожалели об уходе неустанной пропагандистки Просветителей, другие горевали о предтече новой чувственности, подготовившей приход романтизма, третьи оплакивали женщину-политика, дававшую советы правителям, обличительницу абсолютизма, противницу Наполеона. Все вместе прославляли лучезарное сияние ее мысли.

Во Франции этот любознательный, свободный, живой ум всегда подстегивал другие умы, но и был неудобным: г-жа де Сталь выглядела иностранкой, ее ценили как личность, не укладывающуюся ни в какие рамки. Выпуклость каждой занимаемой ею позиции, каждой ее публикации, каждой ее удачи или несчастья казалась слишком броской: парижское общество, превыше всего ставящее чувство меры и вкус, так никогда и не признало мадемуазель Неккер, а тем более Коринну, неотъемлемой частью самого себя. Просто г-жу де Сталь нельзя было измерить общим аршином, она была неподвластна никаким критериям, кроме собственных. Ее имя — или, вернее, оба ее имени, ибо она не удовольствовалась положением дочери знаменитого государственного деятеля, прославив новую фамилию, полученную в браке, — ее состояние, социальная

принадлежность, ее любовные перипетии, материнство, места проживания, путешествия, а также ее идеи были отмечены печатью недюжинности, ее незаурядным, и зачастую удивительным характером.

Характер этот, как прекрасно знали ее друзья, был противоречивым, мощным, а под конец просто ужасным. Коринна хотела быть ни на кого не похожей (как, в некотором роде, и Жюльетта), и в результате ее усилий в Европе не было никого, кто бы о ней не знал, хотя, пользуясь ее выражением, похожим на патетический девиз, «слава — блестящий траур по счастью»… Печать ее слов оставалась несмываемой (все свидетели это подтверждают): она вкладывала в них весь свой огонь, весь свой ум, а еще всю свою тоску перед преходящим. Как и у Шатобриана, сознание неминуемости смерти оживляло ее жизнь.

Г-жа де Сталь не всегда умела совладать с темными силами, смущавшими ее. Ее преждевременная смерть тому свидетельство. Ее недостатки, как и ее жизненная сила и страсть к рассуждениям, не знали меры. И все же в первую очередь они отражались на ней самой. Храбрая, но несдержанная на язык, она была отстранена от власти, которая так ее привлекала. Влюбленная в Париж, она не всегда находила у него понимания. Одна из самых окружаемых женщин в Европе, она стала изгоем и страдала от этого: эта сильная душа не выносила одиночества. Эта исключительная, щедрая, увлекающая, прямая женщина выказывала себя властной, эгоистичной, утомительной. Самовлюбленной, но также и замкнутой в своих мучениях.

Что осталось после нее? Разнородное творчество, влияние которого до сих пор до конца не изучено, блестящая переписка, отражающая ее манеру разговора, и долгий след ее деятельной и светлой мысли.

Ее уход, надо подчеркнуть, поверг в печаль ее близких друзей. Каждой отреагировал по-своему: Бенжамен, как он сам написал Жюльетте, был «грустен, а главное, безразличен» — безразличен к жизни, которая утратила свой вкус, теперь, когда он лишился своего идеального партнера, ума, под стать его собственному. Матье был удручен больше всех, в буквальном смысле безутешен. Проспер, Сисмонди, Бонштеттен, завсегдатаи Коппе выражали свои переживания в длинных и витиеватых письмах. Ее кузина, г-жа Неккер де Соссюр, сосредоточилась и готовилась посвятить ей самые справедливые и, возможно, самые проницательные страницы, когда-либо о ней написанные. Шатобриан воздаст ей должное в своих «Записках»:

Уход таланта потрясает сильнее, чем исчезновение

> индивида: скорбь охватывает все общество без изъятия, все как один переживают потерю. С госпожой де Сталь исчезла значительная часть моей эпохи: смерть высшего ума — невосполнимая утрата для века.

Жюльетта искренне оплакивала ее. Забывчивость была не в ее характере, и какими бы ни были обиды и раздоры последних лет, она преданно чтила память г-жи де Сталь до самой своей смерти. Жюльетта помнила, какой восторг испытала в Клиши, будучи тогда еще молодой, миловидной и робкой женщиной, перед этой силой, сумевшей открыть ее себе самой, способствовавшей расцвету ее очарования, утонченности и уверенности в себе, без чего она никогда бы не стала той изысканной женщиной, в которую сумела превратиться. Коринна унесла с собой в могилу большой отрывок европейской истории, а также «былое» Шатобриана, почти ее ровесника. А еще — двадцать лет жизни ее юной спутницы.

И по капризу судьбы или по логике воздаяния, но прекрасная Рекамье, которой скоро должно было исполниться сорок лет и которая близилась к своему зениту, была готова наконец свершить то, чего желала для нее почившая подруга: состояться в любовной страсти. Прежде чем отойти в вечность, г-жа де Сталь указала ей на человека, который поощрит ее к этому и чье имя отныне навсегда будет связано с ее собственным.

Она и Он

Для нас, знающих, чем всё кончилось, это кажется очень просто: Жюльетта и Рене были предназначены для того, чтобы любить друг друга. Глубоко, долго, ярко. Пара, которую они будут составлять тридцать лет, познает часы страсти, невзгоды, мучения, трудности и пройдет испытание временем. Их связь будет длиться всю их оставшуюся жизнь и даже дольше, в легенде, которую они породят и которая жива еще и поныне.

Когда им пришло в голову взглянуть друг на друга, оба были уже зрелыми людьми. Она — в апогее своего сияния, он — в начале пятого десятка. И тот и другая — явно моложавы. Жюльетта — всё такая же свежая и грациозная, в ореоле белого цвета, который она избрала очень рано и символическую моду на который распространила до самых границ цивилизованного мира: в Санкт-Петербурге восхитительная, любимая подруга царя Александра, сама княгиня Мария Нарышкина, не скрываясь, заимствовала у красавицы из красавиц продуманную простоту ее белоснежных платьев, подчеркнутую жемчугом… Рене — смуглый и язвительный, с чеканными чертами, оживленными энергией, удесятеренной недавними политическими перипетиями.

Оба — знаменитости; полюбили бы ли они друг друга, если бы кто-то из них был безвестен? Сомнительно. Оба мирились с известностью. Та воздавала им по заслугам, и хотя они утверждали, что не гонялись за славой, она всё же пришла к ним неслучайно… Нарциссизм Жюльетты, карьеризм Рене, но главное — инстинктивное стремление к незаурядности, бывшей в моде. Ни тот ни другой не позволяли увлекать себя потоку. Они не похожи на других, знают об этом, а потому тоже подходят друг другу.

В 1817 году в жизни обоих знаменитостей наступал решающий поворот. Он, в суровой борьбе завоевавший себе прочную репутацию путешественника и писателя-новатора (хотя и защитника традиционного христианства), считал — о ирония! — что его литературная карьера закончена: отныне ему нужно было — и быстро, ибо терпение не относилось к числу его добродетелей, — стать государственным деятелем, по возможности передовым. Она созрела для великого потрясения внутренней жизни. У нее было всё, она оставалась живой легендой, иностранцы, проездом в Париже, по-прежнему покупали гравюры с ее портретов, ее, как в двадцать лет, осаждали многочисленные поклонники (самым очаровательным был Анри де Монморанси, сын Адриана, «несчастье семьи», по

словам его отца), и всё же, как заметил ей чуткий Балланш: «Вам некому посвятить свои мысли…» Вернее не скажешь.

Оба лишь «немножко» женаты: Жюльетта, как мы знаем, уравновесила в мнимом браке свою личную жизнь между составленной ею семьей и более широким, но избранным кругом своих друзей. Рене, женившийся молодым и немного поспешно, вел эпизодическую и фальшивую семейную жизнь. Виконтесса де Шатобриан, наделенная и характером, и пониманием и плохо соответствовавшая своему имени «Селеста» («небесная»), уже давно поняла, с каким экстравагантным человеком связала свою судьбу. Эта язвительная женщина поддерживала его, несмотря на кое-какие обиды покинутой и несмирившейся жены. Она займется благотворительностью и найдет в г-же Рекамье деятельную союзницу. Очень скоро г-жа де Шатобриан примет связь Жюльетты со своим мужем как меньшее из зол: уж лучше это благотворное влияние на него, чем череда непредсказуемых «мадамов», считала она… Г-жа Рекамье пользовалась у всех репутацией доброй души, и г-жа де Шатобриан не откажет себе в том, чтобы обращаться к ней или эксплуатировать ее, когда понадобится. Не поступаясь своим властным достоинством, она всегда будет облекать эти просьбы в самую непосредственную форму. Ее письма к Жюльетте ясные, сердечные и не лишены определенного изящества.

Жюльетта и Рене — известные обольстители. Они даже слывут неотразимыми… С той небольшой разницей, что она всё же сдерживает свое сердце. Она ждет мужчину, который наполнит собой ее жизнь, станет ее стержнем. Она ждет и, возможно, немного страшится: подчинить ее себе способна только всепоглощающая любовь, всемогущая сила, а это предполагает то, что ей почти неизвестно, — отречение от самой себя. Он же, напротив, сердцеед, соблазнитель, быстро добивающийся своего и столь же быстро впадающий в скуку, познавший все оттенки любовных переживаний. До Жюльетты он пользовался успехом у тех женщин, которых хотел, и после — тоже… Неважно! Жюльетта вошла в его жизнь не как очередная женщина, а как Женщина, образ — и реальность — столь им желанный, что он вобрал в себя всех остальных, воплотив собой также Музу, имеющую доступ к главному. А главным для него было его творчество. Жюльетта сразу соединилась в уме и чувствах Шатобриана с тем, что было для него святого на земле, — писательством.

Она будет любить только его. Он, встретившись с ней, переживет краткий и жгучий роман и несколько более или менее сильных увлечений. Тем не менее Жюльетта останется главной,

непреложной, необходимой бурному существованию Рене, потому что сумеет никогда не отделять в нем мужчину от писателя. Она покорит их обоих, поощрит, охранит. Она вложит в это всё свое существо, свой тонкий ум, свое инстинктивное чувство другого, эту тактичность, которая была ее этикой, искусством жить. Без г-жи Рекамье, да простят меня некоторые чересчур ярые поклонники мастера, его шедевр, «Замогильные записки», не были бы тем, что они есть… Мы к этому еще вернемся.

Итак, Красота и Гений нашли друг друга. Жюльетта слушает Рене. Рене смотрит на Жюльетту. Или, возможно, наоборот. Богиня хорошего вкуса, душа парижского общества лицом к неистовому романтику, дикому автору «Аталы» и «Мучеников»… Как эта женщина, столь поднаторевшая в человеческих взаимоотношениях, с таким элегантным окружением, могла обратить внимание на натянутого, как струна, и талантливого человека, но признанного эгоцентрика? Жюльетта, такая спокойная, заботящаяся о гармонии во всем, столь умело устраивающая в зоне своего притяжения встречи совершенно разных, противостоящих друг другу, взаимоотрицающих мужчин, которым, через ее посредство, удается вести диалог, понимать и уважать друг друга, — чего могла она ожидать от этого одиночки, намеренного маргинала, каким был Шатобриан, который мог существовать только *в стороне* от схватки, а если возможно, то над ней? Рене был непростым человеком. Так почему же он?

Так вот: именно потому, что он радикально отличался от других. Она вскоре признается своей подруге, г-же де Буань: «Возможно, это прелесть новизны: прочие занимались мною, а он требует, чтобы я занималась только им…» Как он далек от любезных воздыхателей, никогда не смевших выйти за рамки установленных приличий! Рене из другого теста: это мужчина, каких Жюльетта редко встречала, если не считать Бонапарта, — волевой, решительный, предприимчивый. Он наделен пылом и убежденностью человека, которому ничто не давалось легко. Впрочем, ему нравится сражаться, и нет никаких сомнений в том, что и неприступную Жюльетту он воспринял как вызов. Этот деятельный обольститель с острым умом был к тому же джентльменом, никогда не отступавшим ни от своего понятия чести (этот не стал бы плаксиво хныкать!), ни от безукоризненной учтивости. Короче, совершенный мужчина, идеал, о котором только могла мечтать прекрасная Жюльетта. Недоступная и любезная, она смутила его. Властный и услужливый, он не выпустил ее. Поскольку он этого хотел, он подчинит ее себе. Поскольку она всеми силами этого желала, она сумеет его удержать.

Итак, красавица и писатель, кокетка и эгоцентрик, светская женщина и дикарь, ангел и донжуан… Отнеситесь к этому, как хотите, но когда эти двое вздумали соединиться и объединить свои чары, всё началось с серьезного столкновения душ.

***

Несчастье наше в том, что они старательно уничтожили все следы. В конце концов, это было их право, их личная жизнь принадлежала только им. Однако, сознавая, что они необычная пара, если не сказать общественная, они оставили нам авторизованную версию своей связи, которая, по их мнению, заслуживала известности. Мы располагаем четырьмя сотнями писем Шатобриана к г-же Рекамье, а также целой книгой «Замогильных записок», которую их автор посвятил своей красавице, точно «часовню» в «базилике», которую «спешил закончить». К этому следует добавить несколько обрывков, ускользнувших от их бдительности, среди которых — восемь писем или записок Жюльетты к Рене. Нетрудно понять, что они скрыли от любопытства потомков то, что было слишком личного в их переписке: эти исчезнувшие частички мозаики крайне показательны.

О самом начале их связи нам не известно практически ничего. Можно лишь сказать, что с первой Реставрации они поддерживали светские отношения. Париж того времени был невелик, и светское поле, которое занимала в нем Жюльетта, было тем более обширным, что ее салон пользовался славой и был открыт всей Европе. Это уже не был модный дом, где устраивались самые прекрасные празднества, как во времена Консульства, но еще и не интеллектуальный кружок, в какой он превратится в Аббеи-о-Буа. Он просто отражал дух разнообразия и избирательности хозяйки дома. Можно получить о нем представление по той аудитории высокого полета, что собралась, например, на чтение «Абенсерагов»… Зная Жюльетту, невозможно вообразить, что она не сохранила более-менее близких контактов с Шатобрианом. Что до него, нельзя было представить ничего полезнее — и приятнее, — чем такой прием, как у Жюльетты. Он не любил свет и совершал выходы в него, лишь чтобы представить в лучшем виде свои произведения и продвинуть свои дела, и не располагал никакой иной почвой для знакомств, кроме той, что ему предлагали различные «мадамы», среди которых самой недавней была герцогиня де Дюрас. По сравнению с размахом салона г-жи Рекамье, салон г-жи де Дюрас походил на узкий, хоть

и действенный кружок.

Судьба госпожи де Дюрас, родившейся в один год с Жюльеттой, но ушедшей в могилу за двадцать лет до нее, сложилась совершенно иначе: дочь члена Конвента Керсена, погибшего на эшафоте, она вышла замуж в Лондоне, в эмиграции, за ярого легитимиста. Однако от отца она унаследовала подлинный идейный либерализм. Она помнила об унижениях, испытанных в первое время своего брака, когда ей объявили, что она не может сопровождать своего мужа в Митаву, к принцам крови: герцогиня Ангулемская, никогда не забывавшая, что она была Сиротой Тампля[33], не приняла бы ее…

Прожив при Империи в стороне от парижского общества, г-жа де Дюрас вновь заняла в нем место, посвятив себя политике (теперь, когда Бурбоны вернулись, бразды правления снова тайком ухватили женские руки), а также литературному творчеству. Обладая элегантным, сентиментальным стилем, о чем свидетельствуют «Урика» и «Эдуард», г-жа де Дюрас имела таким образом еще один общий интерес со своим другом Шатобрианом. Их близость основывалась на действительном сходстве: оба были бретонцами, обладали живым наблюдательным умом и порывистым темпераментом. Благородный виконт высоко ценил то, что его влиятельная и умная подруга могла оказать содействие его политической карьере.

При этом г-жа де Дюрас, «дорогая сестра», как он ее называл, обладала, как и предыдущие спутницы Шатобриана, довольно неприятной чертой характера — горячностью. Пылкость наделяла ее непререкаемым, даже властным тоном. Своим нравом она слишком походила на Рене. Несмотря на свою преданность ему или благодаря ей, г-жа де Дюрас никогда не была удовлетворена. Она страдала и не скрывала этого… А вот в этой-то области любезная Жюльетта брала мягкостью…

Ее биограф, аббат Пайлес, сообщает, что великой болью, сведшей г-жу де Дюрас в могилу, было не ее чувство к Шатобриану, а чрезмерная любовь к ее старшей дочери — иная грань того же страстного порыва… Фелиция де Дюрас, в пятнадцать лет ставшая принцессой де Тальмон, сделалась подругой своей свекрови, что раздражало ее мать. Против воли последней, но с согласия первой, она снова вышла замуж (принц де Тальмон скончался через два года после свадьбы) за графа де Ларошжаклена, войдя таким образом в семью, громко прославившуюся во время войн в Вандее. Этот поступок, совершенный в 1819 году, и нанес ее матери «смертельный удар», который ошибочно приписывали измене Шатобриана, полностью поглощенного в ту пору Жюльеттой…

Слава богу, г-жа де Дюрас уже не увидит при Июльской монархии безумной вылазки герцогини Беррийской, несвоевременно явившейся, в компании Фелиции де Ларошжаклен, раздуть пожар в Вандее! Обе амазонки вели себя как несостоявшиеся мальчишки и, заварив кашу во имя защиты законности, пережили несколько моментов сильного романтического возбуждения… Конец выйдет жалким: после ареста герцогини Беррийской дочь г-жи де Дюрас вместе с мужем сбежит в Португалию…

Первые симптомы

Мы помним, что Шатобриан, попав в немилость, разыграл в лотерею свое поместье Волчья Долина. Эта затея имела небольшой успех, он отказался от нее и вернул подписчикам внесенные ими суммы. 18 марта 1818 года Жюльетта сняла имение Шатобриана сроком на три года, пополам со своим другом Матье де Монморанси. В июле следующего года Матье приобрел его за 50100 франков, а Жюльетта, желавшая бы участвовать в приобретении, была вынуждена, к несчастью, от него отказаться, ибо ее мужа снова постигли финансовые неудачи. При этом в последующие два года она частенько туда наезжала.

Как же всё это случилось?

После смерти своей кузины Адель де Далмасси, 7 ноября 1817 года, Жюльетта, по старой привычке, погостила у своих друзей Кателланов в Анжервилье. Но атмосфера там становилась всё более тягостной, ибо г-жа де Кателлан плохо ладила со своей дочерью, г-жой де Грамон, и их ссоры (обычно связанные с деньгами) превращались в безобразные сцены. Но Жюльетта издавна привыкла проводить лето где-нибудь поблизости от Парижа, что позволяло ей, в случае необходимости, запросто наведываться в столицу. Волчья Долина, расположенная в трех лье от улицы Анжу, с этой точки зрения подходила ей идеально. Прелести этому месту добавляло присутствие по соседству, в Шатене, г-жи де Буань, жившей там у родителей. Матье и Жюльетта были рады разделить между собой этот дом, что в их глазах выглядело подтверждением их дружбы. И потом, что самое главное, Долина дышала напоминанием о Шатобриане, который прожил там десять лет…

Рене и Жюльетта виделись довольно часто. Шатобриан вчерне набросал новеллу, в которой описал себя в образе грека, Антимаха Афинянина, спасающегося бегством от варваров и находящего приют на острове, где он встречает жрицу Леонию — Жюльетту. Леония «соблазняет, как Венера, и вдохновляет, как Муза. К ее ногам падаешь, сраженный любовью, и остаешься там, окованный уважением».

Эти строчки сообщают нам, в каком образе желала выступать Жюльетта: Венера, Беатриче, уважение, чтобы не спугнуть… Короче, без лишнего труда Шатобриан делает то, что нужно, чтобы она была довольна. И она была довольна, если верить Адриану. А это главное…

***

И вот она поселилась в Волчьей Долине, в доме человека, который уже заставляет биться ее сердце. Искала ли она его в этих уединенных местах, которые он так любил и на которых лежит его отпечаток? Доставляло ли ей удовольствие разглядывать архитектурные украшения, преобразившие «сарай», купленный в 1807 году, в дворянское гнездо с чеховским обаянием, тонущее в зелени и, несмотря на близость Парижа, сохранившее вид жилища отшельника, старательно огражденного от внешнего мира? Что чувствовала она в этой скрытой ложбине, словно созданной для приюта любви, а также для ученых исследований или мрачных раздумий?

Собственно дом — «хижина», как его называли Шатобрианы, — был украшен по их вкусу, беспорядочно, но довольно мило. Со стороны въезда, зажатого между крутыми склонами, они разукрасили фасад неоготическими мотивами в «трубадурском стиле», который очарует герцогиню Беррийскую, а со стороны парка, где открытое поле упиралось в лесистые холмы на горизонте, пристроили к кирпичному, очень простому фасаду французского образца монументальный мраморный портик в неопределенном греко-виргинийском стиле, с треугольным фронтоном, поддерживаемым двумя кариатидами и двумя ионическими колоннами… Издали это производило грандиозный эффект. Вблизи жилище выглядело непретенциозно и было приятно устроено: по обе стороны центральной прихожей с винтовой, легкой и грациозной лестницей, сделанной по рисунку Шатобриана, располагались гостиные, вровень с природой. В подвале — кухня, на втором этаже — спальни, разделенные лестничной площадкой: комната, которую займет Жюльетта, — справа, та, что занимал Рене, — слева, обе выходят в парк.

Парк был делом рук самого писателя: прекрасно, с любовью разбитый и посаженный лично им. Собор из зелени, с глубокими пространствами, длинными лужайками и рядами высоких деревьев, впечатляющая скульптура, создающая иллюзию одиночества, тайны и обновления. Виргинские и ливанские кедры, сосны из Иерусалима, дуб из Арморики[34], клены, смоковницы, рододендроны, две катальпы, одно иудино дерево, один лысый канадский кипарис, не говоря уже о магнолии с пурпурными цветам (подарок Жозефины)… Можно бесконечно перечислять семена, растения и кустарники, которые Шатобриан, в сабо, в любую погоду, тщательно распределял по плану, долго предварительно обсуждавшемуся… Г-жа де Шатобриан рассказывает об этом в своей «Красной тетради»: она считала, что

ей лучше удавался замысел аллей, но признавала, что посадки ее мужа были идеальны… Результат получался роскошным.

О чем думала миловидная женщина, прогуливаясь по парку или сидя на каменной скамье, которую она велела установить при выходе? Она знала, что Шатобриан относился к этим деревьям, как к своим детям. «Это моя семья, другой у меня нет, — напишет он, — я надеюсь умереть подле нее»… Заходила ли она в маленькую восьмиугольную постройку, где писатель разместил свою библиотеку и рабочий кабинет, и которую помпезно называл башней Велледы?[35] Поглаживала ли она украдкой мебель в Желтом салоне, которая принадлежала прежнему владельцу, выбранная и расставленная по его вкусу? Казалось ли ей порой, что она чувствует его присутствие, в сумерках, когда эти комнаты с низким потолком вбирали в себя полумрак, похожий на расплывчатое обещание?

Новый симптом: с июня Жюльетта захворала, об этом сообщает Матье. Сильные чары Рене начали действовать, и Жюльетта сначала им противилась. Психические переживания находят явное выражение в соматических изменениях: всё лето она жалуется на здоровье, на нервы. Вернулись «черные мотыльки», и в большом количестве. Понимала ли она, в чем причина этих недомоганий? Она ни в чем не признавалась. И ее окружение было поставлено в тупик.

Первую половину июля 1818 года она провела в Дьеппе, в обществе Балланша, последовавшего за ней затем в Ахен, на воды, где она пробыла с 3 августа по 1 октября. Рене же проживал в Нуазьеле и посвятил себя созданию новой газеты — «Консерватор». Юная Амелия, которой теперь исполнилось четырнадцать лет, была поручена заботам дам из Сакре-Кёр, готовившим ее к первому причастию. В течение года она будет обучаться в этом заведении, под руководством г-жи де Грамон, сестры Антуана де Грамона, который был зятем г-жи де Кателлан, при этом безумно влюбленным в г-жу Рекамье. Во время этой непривычной разлуки девочка получала от тети ласковые, но грустные письма: «Бедная моя крошка, да благословит тебя небо, чтобы ты была счастливее меня!»

Жюльетта явно пыталась сосредоточиться на своей единственной семье, но в каждом ее слове сквозит обескураженность. Лечение обливанием, которое она проходила в Ахене, «ужасно утомляло и еще усиливало склонность во всем находить мучение».

Проще всего Жюльетте было довериться Полю Давиду: «Для меня было бы в тысячу раз лучше умереть, ибо жизнь — всего лишь разнообразная мука…» Или такой пассаж, не нуждающийся

в комментариях: «Я ничего не значу для этого мира, я не умею вырваться из этой жизни, я страдаю по тысяче противоположных причин, мучаюсь и мучаю всех, кто меня любит».

Как объяснить этот тон, если не глубоким потрясением, которое она переживает. Жюльетта испытывает двойную, еще неясную боль: ее привлекает соблазн, чуждый такому размеренному, такому безопасному, такому привычному ее мирку. Она подозревает, что поддаться ему — значит, нарушить равновесие, и пытается сплотить вокруг себя свое окружение, которое по контрасту с тем, что ее притягивает, кажется ей пошловатым, достойным насмешки. Жюльетта не способна на риск, она не игрок. Пока она не испытывает никакой радости, думая об опасности, которую, в ее глазах, представляет собой тесная связь с неуживчивым Шатобрианом. Напротив, она потихоньку впадает в депрессию. Борется, как может, и всё это очень мрачно.

В довершение всех бед в Ахен «случайно» является принц Август. И притом «со всеми прежними привычками», что, к чему скрывать, растрогало ее, но и необычайно смутило.

Конечно, когда знаешь, когда можешь себе представить, что она чувствовала, то «живость», как она это называла, то есть грубость и настырность пруссака, становилась ей нестерпима… В конце концов она отослала его в Париж, неопределенно пообещав приехать туда следом. Она понимала, что вела себя с несчастным поклонником натянуто, даже сурово, но на сей раз могла сравнить его с не менее решительным мужчиной, который при всем при том умел в любой ситуации вести себя как настоящий джентльмен.

Позже, много позже она сделает такое признание мужу одной из дочерей г-жи Ленорман, Луи де Ломени: «Воспоминания о тех двух неделях [в Коппе, в 1807 году] и о двух годах в Аббеи, во времена любви с г-ном де Шатобрианом, — самые прекрасные, единственно прекрасные в моей жизни. С тою только разницей, что если прусскому принцу чего-то недоставало, то г-ну де Шатобриану достало всего».

«Пропасть, которая рядом с нею…»

По возвращении в жизни Жюльетты произошло изменение: она вместе с семьей покинула дом на улице Бас-дю-Рампар, где прожила десять лет, и переехала в особняк на улице Анжу-Сент-Оноре, номер 31, примерно туда, где сейчас находится бульвар Мальзерб. Шатобриан, как указано в его мемуарах, регулярно ее там навещал.

Жюльетта год прожила на улице Анжу, в двух шагах от г-жи де Буань. Увы! С тех пор там бульдозером прошелся барон Османн…[36]

Вскоре к ней приехала старинная приятельница, англичанка — исключительная женщина, связанная с Монморанси (те называли ее «герцогиней-кузиной») и так же долго с г-жой де Сталь. Буквально пара слов о той, чье свидетельство о переломном периоде в жизни г-жи Рекамье имеет определяющее значение: Элизабет Форстер, вторая супруга пятого герцога Девонширского, умершего в 1811 году, была дочерью графа Бристоля, любившего колесить по Европе и оставившего там череду дворцов, которые до сих пор носят его имя. Дочь была не меньшей оригиналкой, чем ее отец, и в молодости (она родилась в 1758 году) ее имя не сходило со страниц газет, ибо она совершенно недвусмысленно присоединилась к первой семье герцога. Тот был тогда женат на Джорджи(а)не Спенсер, блестящей душевной молодой женщине, ярой поклоннице игры. Когда первая герцогиня Девонширская не занималась своим лондонским салоном, в открытую поддерживавшим вигов, она путешествовала по Европе в сопровождении сэра Чарльза Грея, бывшего ее тенью, и подруги Элизабет, в свою очередь состоявшей в нежных отношениях с герцогом, ее мужем. Джорджи(а)на умерла в 1806 году, и Элизабет, как можно было ожидать, стала второй герцогиней Девонширской.

Она познакомилась с Жюльеттой во время пребывания той в Англии в 1802 году и ни разу, будучи в Париже, не преминула нанести ей визит. Ранее г-жа де Сталь воздавала должное проницательному уму и особому очарованию герцогини, которая, как и Жюльетта, умела сочетать мягкость и твердость. Позже Адриан признавал, что между «герцогиней-кузиной» и «очаровательным другом» существовало сходство. «Эта женщина, как и Вы, — писал он Жюльетте, — сделана из *магнита…*»

После падения Империи Элизабет Форстер решила обосноваться в Вечном городе. Она стала близкой подругой кардинала Консальви, одного из самых блестящих умов Ватикана,

и собирала в своем римском салоне выдающихся гражданских и церковных деятелей, а также художников того времени. Именно ей принадлежит тонкое высказывание о Жюльетте: «Во-первых, она добра, во-вторых, умна, и наконец, очень красива!» Да и она сама не была обделена всеми этими качествами!

Ясно, что по прибытии в Париж она стала наперсницей прекрасной Рекамье. К тому времени ничего решающего еще не произошло, но беспокойство Жюльетты нарастало. Когда герцогиня Девонширская продолжила путь в Италию, то написала подруге, и ее слова отражают состояние души Жюльетты:

> 13 января 1819 г., Фонтенбло.
>
> Заботьтесь о Вашем здоровье и нашей подруге [предмет был столь деликатен, что герцогиня пользуется шифром: под подругой подразумевается сама Жюльетта] … Пусть она поостережется пропасти, которая рядом с нею…

Следуют суровые рекомендации, точно вдохновленные самим Матье: осторожно! Опасность! Нет ничего хуже, чем потерять уважение к самому себе…

Кстати, Матье де Монморанси тоже начал беспокоиться о состоянии Жюльетты и, возможно, подозревал, в чем тут дело. Ибо Жюльетта оказалась буквально под надзором своего окружения, и это только усугубило ее расстройство: не было ни одного слова, ни одного движения, ни одного визита, ни одного выхода, о котором бы все тут же не прознали: это была плата за счастье, которое она себе устроила. Она в равной мере страдала как от этого ласкового кокона, так и от угрозы того, что терзающее ее чувство его уничтожит…

Балланш развлекал ее, как мог: он побуждал ее сосредоточиться на последовательной умственной работе, например, переводить Данте или Петрарку на французский, принудить себя записать свои воспоминания… Напрасный труд: когда Шатобриан врывается в чью-то жизнь, разражается буря! И бедную Жюльетту скоро накроет волной… Пропасть рядом с ней, как открыто напомнила ей подруга-англичанка, она заглядывает туда, и ее охватывает головокружение и тоска. Но каждый знает, как упоительно может кружиться голова…

Между началом января (дата отъезда герцогини Девонширской) и 20 марта 1819 года случилось непоправимое. Полиция г-на Деказа перехватила такую записку красавицы из красавиц к Шатобриану:

«Любить Вас меньше! Вы ведь не верите в это, милый друг. До восьми часов. Не верьте в то, что Вы называете планами против

Вас. Более никто — ни я, ни Вы, ни кто-либо иной не помешает мне любить Вас; моя любовь, моя жизнь, мое сердце — всё принадлежит Вам (20 марта 1819 г., три часа пополудни)».

Зная об обычной сдержанности г-жи Рекамье, перед таким признанием просто умолкаешь. Крепость пала. Обратим внимание на точную датировку: стремление зафиксировать подробности памятных моментов, возможно, еще более красноречиво, чем сами слова.

Итак — да. Теперь — где?

На сегодняшний день мы не можем с уверенностью ответить на столь деликатный вопрос. Жюльетта должна была преодолеть давнюю и вполне реальную преграду. Чтобы свершилось то, что часто называют поражением, но в данном случает было, скорее, торжеством над собой, ей требовалось убеждение и время. А г-н де Шатобриан был более чем сведущ в таких делах… Что же это за редкое место, куда они могли бы удалиться без скандала, приняв необходимые предосторожности? Причем место, которое было бы наделено особым смыслом для обоих? В их положении выбор невелик… Мы склоняемся к Волчьей долине, которую они оба так любили, которая питала мечты сначала одного, потом другой, а теперь им было бы чудесно их объединить… Но это всего лишь догадка.

Ястреб в птичнике

Этот великий переворот в жизни г-жи Рекамье сопровождался финансовой катастрофой: как она писала в Лион своей золовке Дельфен, «доверие г-на Рекамье снова было обмануто…» Практически весь 1819 год они будут заняты проблемой денег. Придется продать дом на улице Анжу, который Жюльетта приобрела на свое имя и на личные средства, и подыскать новое жилище. Это уладится осенью. В ожидании итога второго банкротства Жюльетта принимает поразительное решение: предлагает г-ну Рекамье остаток наследства своей матери, против воли г-жи Бернар, тщательно обозначенной в ее завещании. Жюльетта прислушивается только к своему внутреннему голосу. Она помогает мужу удержаться на плаву и вскоре потеряет почти всё… Она была слишком рассудительна, чтобы не понимать, что ставит под угрозу свое будущее и будущее Амелии, но поступила именно так.

Один из ее друзей все это видел и пытался удержать ее, пока она не совершила этот непонятный поступок, — это был Бенжамен Констан. Он просил г-жу де Кателлан вступиться за Жюльетту, поговорить с Рекамье, Бернаром, Симонаром… Иначе ей грозит полное разорение.

Ничего не помогло… Нам вспоминается справедливое замечание г-жи де Буань: «Иногда она подчинялась силе, но никогда — чужому влиянию». Но зачем нужно было это саморазорение? Вызов? Угрызения совести? Стремление к независимости?

Отныне Жюльетте придется лично распоряжаться оставшимся ей имуществом. Она знала в этом толк. Экономить приходилось на всем, даже на нотах для уроков музыки Амелии и ее корсетах…

Она размышляла над новым порядком, который намеревалась предложить своей семье: она вместе с Амелией поселится в монастыре, Аббеи-о-Буа, на улице Севр. Благородные отцы будут жить рядом, на улице Вьё-Коломбье, их хозяйство будет сведено к минимуму, поскольку они каждый день будут ужинать у нее. У Поля Давида будет маленькая отдельная квартира, по улице Шерш-Миди, а Балланш станет его соседом. Прекрасный план.

***

Близкие Жюльетты не могли долго оставаться в неведении

относительно ее чувств к Шатобриану, и начиная с весны 1819 года в письмах к ней звучит хор стенаний и предостережений. Матье, Балланш, «герцогиня-кузина», г-жа де Буань и Амелия опасались разрушительной власти Шатобриана над гармоничной личностью Жюльетты.

Никто из них не был готов допустить, что г-жа Рекамье, став наконец женщиной в полном смысле слова, женщиной влюбленной, прислушивающейся к своему сердцу, перестала им принадлежать. Матье и Балланш, Адриан, благородные отцы и добрый Поль, хоть и в меньшей мере, вдоволь обладали Жюльеттой. Косвенно, возвышенно и как будто бесконечно… В тот день, когда Жюльетта вышла из-под власти своего окружения, началась паника… Со временем, совершая чудеса дипломатии, она сумеет частично умерить глухую ненависть, которую все испытывали к похитителю их кумира. Это произойдет очень нескоро, и скорее всего, в глубине души они всё-таки затаили обиду на неотразимого Шатобриана за те разрушения, которые он вызвал, явившись на пороге их маленького птичника…

Герцогиня Девонширская опиралась на собственный опыт: уж ей-то были знакомы сердечные бури! Будущая г-жа Ленорман и г-жа де Буань были рассудочными женщинами, слишком рассудительными, чтобы поддаться страсти, — их г-н де Шатобриан, при всем своем таланте, соблазнить не мог… Дело вкуса. Амелия станет властвовать в своей семье, и неровный характер писателя был ей просто невыносим. Что до г-жи де Буань, ее отношения с бароном, а затем и с герцогом Паскье, основанные на длительной привычке, не располагали ее к беспорядочности такого рода. Правда, ее партнер был антиподом дикаря Рене: великий государственный муж всегда был образцом гибкости, умеренности, политическим долгожителем, если не сказать эквилибристом-виртуозом… Жюльетта представала в их глазах жертвой, лишившейся рассудка из-за чувства к невыносимому человеку, с которым она не могла совладать. Жюльетта заслуживала лучшего! Они были не правы, ибо, хотя партия не всегда была легкой и выгодной, на ее взгляд — и на наш тоже, — ее стоило разыграть.

***

В Долине, в конце августа, Жюльетта узнала печальную новость, сразившую Монморанси: единственный сын Адриана, Анри, которого Жюльетта называла «самым юным своим другом», ушел из жизни. Он умер в двадцать три года от чахотки, как

многие другие. Удар был тяжел, ибо вместе с ним угас последний представитель старинного и славного рода: Адриан был единственным из четырех братьев старшей ветви, имевшим детей, и его супруга, герцогиня де Лаваль, была уже не в том возрасте, чтобы восполнить горько оплакиваемую потерю. Семейный совет обратился к Матье — последний шанс на выживание.

Курьезная ситуация! Мы не упомянули бы о ней, если бы она в свое время не потешила публику, а Жюльетта не сохранила в своих бумагах письма обоих заинтересованных супругов. Матье, когда он еще не сделался святым, женился на своей кузине Гортензии де Люин, дочери живописной герцогини, которая на наших глазах ухаживала в Лионе за г-жой де Шеврез. Гортензия не унаследовала широты темперамента и повадок своей матери, которую резко критиковала, как и прочих членов своего клана. Мелочная, узколобая, скупая, она так и не простила обольстителю Матье грехи его молодости, и после их разрыва во время Террора, а особенно после смерти своего отца, оставившего ей внушительное состояние, держала мужа в узде… После того как он вернулся из эмиграции, она поставила его в известность, что в казематах Террора принесла обет целомудрия во имя спасения родных. Матье, ставший святошей, что не умерило его законного, хоть и запоздалого пыла в супружеских делах, вынужден был смириться. Ему это дорогого стоило, но пути Господни неисповедимы, а благодушие обращенного безгранично: он сублимировал, как мог, отсутствие личной жизни в добрые дела и наставление на путь истинный своих прекрасных подруг… Что хуже, Гортензия постоянно унижала его, не упуская ни единого случая напомнить, что он нищ: одолжить у нее лошадей было целым делом, и чаще всего святой Матье путешествовал в дилижансе, как какой-нибудь мещанин…

И вдруг от них потребовали того, что для них было самым больным вопросом, — исполнения супружеского долга! Как это уладить? Матье составил письмо «примирения» в адрес Гортензии — маленький шедевр супружеской и христианской дипломатии: «Я всегда уважал Вас за то, что Вы не откажете ни в чем во имя долга…»

Потребовалась смерть Анри, чтобы он решился «попытаться вернуть потерянное время и по-настоящему отметить тридцать первую годовщину их свадьбы». Их история была похожа на историю Сары и Авраама. Не повредит ли это ее здоровью? Матье предложил… э-э-э… сближение на 21 сентября, свои именины, и заверял ее, что всё пройдет как нельзя лучше, они вручат свои души Господу, он же, со своей стороны, постарается действовать как можно проще…

Самое смешное и неожиданное, что по завершении испытания виконтесса вновь воспылала безудержной страстью к своему супругу! «Она не могла жить без его присутствия, просто настоящий роман, — комментирует г-жа де Буань. — И лицо этой сорокапятилетней героини — некрасивой, плохо сложенной и к тому же невероятно вульгарной, довершало нелепость этого шутовского медового месяца, который Матье сносил со своим привычным смирением…» Однако и Матье, по его собственному признанию, с трудом удавалось соблюдать спокойствие. Как только оба сняли с себя обеты целомудрия, ничто не мешало им вдоволь предаваться взаимной привязанности. К несчастью, несмотря на всё свое воодушевление, потомства Сара и Авраам не произведут.

***

В первых числах октября г-жа Рекамье поселилась в месте, отныне связанном с ее именем — Аббеи-о-Буа. Это был женский монастырь, снесенный в 1906 году, занимавший 7500 квадратных метров между улицей Шез и улицей Севр, на углу нынешнего бульвара Распайль, — иначе говоря, на западной окраине Парижа, изобилующей садами, церквами и обителями.

Это аббатство, основанное буржскими аннунциатами, перешло к цистерцианкам из Нуайона, обосновалось в Париже с разрешения Людовика XIII и существенно разрослось в следующем веке. Королевское аббатство превратилось в мощный дом, а его аббатисы до самой Революции всегда принадлежали к самым знатным семействам в королевстве. При Терроре оно было закрыто, потом преобразовано в тюрьму, а теперь восстановлено: его приобрели канониссы храма Святого Августина конгрегации собора Парижской Богоматери, чтобы упражняться в известных педагогических талантах: они устроили там пансион для девушек из хороших семей, бесплатный экстернат, да к тому же сдавали вдовам и старым девам часть построек, сооруженных в 1779 году Вернике и выходивших одновременно на улицу Севр, в сад и на парадный двор. Жизнь жилиц, как и положено, не зависела от монашеской общины.

Жюльетта была не первая: актриса мадемуазель Клерон, г-жа Дюдеффан и г-жа де Жанлис некогда жили на улице Сен-Доминик, в доме Дочерей Святого Иосифа. Пантемон на улице Гренель или монастырь бернардинцев на улице Вожирар тоже высоко ценились. Преимуществом такого образа жизни была экономия, стабильность, хороший тон и покой.

Для Жюльетты начиналась новая жизнь: в сорок два года она рассталась со своей семьей, оставив при себе лишь племянницу, и сама стала распоряжаться остатками своего состояния. Она обрела независимость. Когда ее решение было принято, все большие апартаменты оказались заняты, поэтому она поселилась в знаменитой «малой келье» на четвертом этаже, уговорившись с дамами из аббатства, что спустится на второй этаж, как только он освободится. Плата за жилье составляла 40 франков в год, и за 10 тысяч франков Жюльетта 7 апреля 1820 года подписала пожизненный арендный договор на большие апартаменты, которые с 1810 года занимала г-жа де Монмирайль.

Первое жилище Жюльетты в Аббеи было неудобным, вытянутым в длину и расположенным на верхнем этаже, это была единственная комната, в которой она устроила альков и где собирала свой салон. Кровать стояла против камина, обрамленная двумя библиотечными шкафами. Между двумя окнами, выходившими в сад и с видом на улицу Бабилон, — картина Жерара, изображающая г-жу де Сталь в виде Коринны, под ней — фортепиано. Арфа, небольшой письменный стол, кресло и любимая кушетка хозяйки дома составляли почти всю мебель из красного дерева — остатки былой роскоши. Скромную квартиру — пол был всего лишь выложен плиткой — дополняли прихожая и кабинет. Туда попадали по лестнице, пристроенной к той, что вела на второй этаж. Вид открывался восхитительный: море зелени, из которого выглядывали колокольни маленьких церквушек…

Картина, написанная в 1826 году Дежюинном, прекрасно передает элегантность и нежность новой обстановки, в которой жила прекрасная Жюльетта. Наконец-то мы видим ее дома, окруженную любимыми вещами: она, облокотившись, сидит на кушетке (похожей на ту, с портрета Давида, но только подлинной) с книгой в руках, одновременно задумчивая и внимательная, словно прислушивается к внутреннему голосу, отзвуку только что прочитанной фразы. Рядом с ней — пианино, арфа, круглый столик с цветущим кустом. Прозрачность занавеси, отодвинутой от раскрытого окна, белизна ее платья, мягкость шали, небрежно наброшенной на столик, — всё дышит полной изящества атмосферой, окружавшей г-жу Рекамье, запахом женщины, принадлежавшим ей одной… Литография, выполненная Обри-Леконтом в следующем году, принесла известность этому восхитительному образу, точно выхваченному из частной жизни богини, а не простой смертной.

По рассказам г-жи Ленорман, первый ужин прошел печально: маленькая колония была похожа на жертв кораблекрушения,

выброшенных на незнакомый берег. Но в последующие дни мрачное впечатление от прибытия в монастырь рассеялось: г-жа Рекамье нашла понимание и одобрение не только у друзей, но и у людей, пользующихся уважением в обществе, «и поскольку в нашей стране мода вмешивается во всё, стало модным быть принятым в келье Аббеи-о-Буа».

Жюльетта легко выполнила трудный маневр. В несколько месяцев она совершила невероятное: узнала мужчину, которого сможет полюбить, отдалась великому чувству, отвела ему главное место в своей жизни и выстроила эту жизнь вокруг нового полюса. С того лета в Коппе, проведенного в обществе принца Августа, она знала, что доступна, и ждала мужчину, которого бы ввела в свою жизнь. При этом его присутствие должно быть оправданным, модным, неотразимым, чтобы смести ее оборону. Час пробил, Жюльетта не ошиблась. И Шатобриан пошел навстречу судьбе. Пустив в ход свою энергию и чары, он сумел завладеть всем ее существом. Жюльетта со здравомыслием, не исключавшим тревоги, приняла его господство. Чаровница была очарована.

Страсть выставляла свои требования: именно эта глубинная причина руководила красавицей из красавиц, когда она, вопреки всем, ликвидировала свое прошлое. Поступиться своим состоянием, потом, с той же решимостью, построить свою независимость, свою личную жизнь на иных основах — все это служило той же цели: внести ясность. То, как она уладила дела с семьей, отдалившись от нее, но не бросив, с парижским обществом, в которое она продолжала выезжать по утрам, но уже в нем не растворялась, а главное, со своим будущим, которое она утвердила, как сама утвердилась в Аббеи, — выбор, сделанный на долгую перспективу. То, что могло показаться заточением, изоляцией, вынужденным отступлением, на самом деле было взвешенным и прочным обустройством, окончательно защитившим ее от непостоянства судьбы…

Не будь Шатобриана, Жюльетта никогда не повернула бы свою жизнь в таком направлении: эта светская дама, известная кокетка, на всю жизнь поселилась в монастыре, превратив свой салон в политический и литературный кружок, центром которого был человек, которого она любила, и освятив таким образом новое царство, при котором отныне решила жить и умереть, — вот что, должно быть, многих привело в замешательство!

Салон превращается в кружок

Наверное, великие обольстители обречены беспрестанно умерять чувства к себе, которые столь хорошо умеют возбуждать и поддерживать. Жюльетта и Рене не стали исключением из правила и прилагали все усилия, чтобы умерить ревнивую нежность, объектом которой являлись, и защитить то, от чего ни тот ни другая, по крайней мере теперь, не желали отрекаться — их общую частную жизнь.

Жюльетта умела сбежать, когда хотела, и ей случалось тайно встречаться с Шатобрианом, например, 25 октября: нам известно из полицейских источников, что по возвращении писателя из путешествия по Нормандии Жюльетта встретила его в Версале. Доносчик сообщает, что слуга был отослан в Париж и «всё указывает на то, что он [Шатобриан] провел этот день наедине с г-жой Рекамье»… Очень вероятно, что были и другие дни.

Встречи наедине стали расхожим делом у Жюльетты, и ее окружению было трудно к этому привыкнуть. Матье, которого медовый месяц не сделал более понятливым, адресовал ей такую возмущенную записку:

> Воскресенье утром 10 октября [1819] …Я не могу привыкнуть к тому, что после двух дней отсутствия, во второй раз за день являясь справиться о вас открыто и с искренним интересом, вы закрываете передо мной двери и заставляете горничную рассказывать мне сказки, чтобы вам было вольготнее наедине с г-ном де Ш., которого вы **так живо** желали познакомить со мной запросто, в вашем доме…

Нелегко быть влюбленным, когда за тобой столь внимательно следят! Потребуются время и ловкость, чтобы заставить смириться с очевидным… То же самое относилось к Рене, который со своей стороны пустил в ход буйство, чтобы положить конец ревнивым тревогам г-жи де Дюрас. Ему это не всегда удавалось… Однако он щадил ее: политические обстоятельства складывались таким образом, что он мог надеяться снова войти в фавор. Он не имел никакого намерения упустить такой случай, если тот представится. А отныне мог рассчитывать еще и на то, что Сент-Бёв называл «милосердным посредничеством» Жюльетты, примирявшей в своем салоне непримиримых сторонников разных партий.

В последующие два года Жюльетта посвятила себя в

основном тем своим друзьям, которые добились власти: Матье и Рене. И вот при каких обстоятельствах.

Первое правительство герцога де Ришелье справилось с двойной, особенно деликатной задачей: выплатой контрибуции, изначально установленной в размере 700 миллионов франков, и освобождением страны от армий союзников. Ахенский конгресс, состоявшийся осенью 1818 года, закончился быстро и счастливо для Франции, только-только переведшей дух и наконец поднявшей голову. Оппозиционные партии набрали силу, и вскоре правительственный кризис привел к смещению того, кому страна была обязана своим возрождением, в пользу недавнего фаворита короля Деказа, явно большего либерала, чем его предшественник.

Деказ приложил все силы, чтобы уничтожить оппозицию «крайних», возглавляемую графом д'Артуа, или, как обычно говорили, «Марсанский домик», его резиденцию в «Замке». Новыми законами о печати, смягчавшими цензуру, он способствовал укреплению позиций либералов, повел лобовую атаку на бастион чистого роялизма — палату пэров. Шатобриан, со своей стороны, с октября 1818 года по март 1820-го вел в своем «Консерваторе» ярко выраженную антиправительственную деятельность. Не стоит говорить, что он всей душой ненавидел председателя Совета министров, бывшего душеприказчика матери Наполеона, ставшего орудием Людовика XVIII и слишком либеральной, на его взгляд, политики.

Остановимся ненадолго на политических взглядах Шатобриана, сложных и темпераментных. Чтобы их понять, нужно распутать внешние противоречия, состоящие из трех элементов: его пламенных речей оппозиционера, его действий, когда он был облечен властью, и оправданий, которые он пространно приводит в своих «Замогильных записках». Этот самый что ни на есть «крайний» намеревался свести воедино свободу и законность и с этой точки зрения защищал хартию. Однако, как только у него появилась такая возможность, он отправил французскую армию свергнуть соседнюю конституционную монархию, которая ему мешала! А когда лишился своего поста, во весь голос клеймил цензуру и посягательства на свободы! Впоследствии он нарочито подробно опишет все события того недолгого времени, когда он полгода был наделен действительными полномочиями, как будто судьба всей Европы зависела от него!

Скажем сразу (хотя мы к этому еще вернемся), что политические *деяния* Шатобриана, которые позволяют нам судить о нем, поскольку и он намеревался занести их на скрижали

Истории, носят откровенно абсолютистский характер. Его блестящая оппозиция зависит от случая и обманчива: его виртуозность заставляет забыть о недостатке хладнокровия и искренности пера, которое тотчас воспламеняется, когда держащий его задет за живое. Тот, кто своими делами попирал свободу, вдруг находит зажигательные слова, чтобы защищать ее, когда считает, что ему затыкают рот… Наконец, хотя этические устои Шатобриана весьма непрочны, в эстетическом плане его воссоздание истории своего века и его самого в этом веке просто великолепно. Его мемуары в буквальном смысле вознеслись на гребне Истории: затуманенному взгляду все предстает в неверном свете, зато дух захватывает от ощущения скрытой мощи. Этого человека, не питавшего никаких иллюзий, даже в отношении государей, которым он служил, бившегося со своими современниками и обращавшего каждое слово к потомкам, которых желал покорить, извиняет лишь одно — литературный гений. Его политическое поведение, неловкое, не знающее меры (рядом с Гизо или Паскье Шатобриан выглядит подмастерьем), имеет лишь одно приемлемое, на наш взгляд, объяснение: Шатобриан ступил на стезю власти лишь затем, чтобы *после* передать нам на досуге свое надменное, субъективное и роскошное видение того, что он пережил и повидал.

Не стоит удивляться, что окружавшие его, даже в рядах его друзей из «крайних», были сбиты с толку, раздражены и обескуражены: как мы уже имели случай заметить, с благородным виконтом было весьма трудно ладить. Многие презирали его за карьеризм, браваду и эгоцентрическое ослепление. Не будем жаловаться: то, что он сделал в этой области, он сделал не столько для себя самого, сколько для своих будущих читателей, то есть нас.

Правительство Деказа могло бы долго продержаться в стране, к которой возвращались стабильность и процветание, если бы не произошла катастрофа, перетасовавшая политические карты.

В разгар карнавала 13 февраля 1820 года герцог Беррийский, младший сын графа д'Артуа, храбрый и порывистый юноша и единственный из Бурбонов, способный оставить потомство (все знали, что его брат, герцог Ангулемский, был на это неспособен), был убит в Опере фанатиком-одиночкой Лувелем. Нежданный удар кинжалом поразил умы и взбудоражил страну, в том числе и оппозицию. Герцог Беррийский оставил законную дочь и трех внебрачных сыновей — двух от давней связи с одной англичанкой, мисс Браун (о которых тайно позаботится Жюльетта), и одного от парижской танцовщицы. На момент трагедии герцогиня Беррийская была беременна: 29 сентября

родился герцог Бордоский, «дитя чуда», которого будут шумно приветствовать Гюго, Ламартин и Шатобриан. Преступление Лувеля оказалось бесполезным.

Из трагедии, поразившей старшую ветвь Бурбонов, Шатобриан, как бы мы сегодня сказали, извлек политическую выгоду: сразу после убийства он яростно ополчился на Деказа и на его так называемое попустительство. Его перо разило беспощадно, когда он писал премьеру (явно бывшему тут ни при чем), что тот «поскользнулся на крови»! Деказ пал. Вернули герцога де Ришелье. Положение его было не из легких: этот честный джентльмен безо всякого воодушевления занял кресло, в котором, как он знал, было трудно усидеть. Король, огорченный уходом своего любимца (того отправят послом в Лондон), не шел на сотрудничество. Его брат, что бы он ни обещал, сразу возобновил свою непримиримую оппозицию. После левоцентристской политики Деказа Ришелье мог перейти к политике правоцентристской. Но она поправела до крайности: на частичных выборах, последовавших за рождением герцога Бордоского, «крайние» набрали силу.

Это следовало учесть при составлении нового правительства: Шатобриан вмешался, чтобы протолкнуть наверх своих друзей-роялистов — Виллеля и Корбьера. Матье де Монморанси, со своей стороны (и Жюльетта тоже приложила к этому руку), предпринял попытку «примирения» между Шатобрианом и королем: в результате друзья виконта стали министрами без портфеля, а сам он отправился с посольством в Берлин. Это было его второе посольство: как мы помним, во время первой Реставрации Шатобриан был назначен послом в Швецию, куда он даже не явился. Так уж ли ему хотелось удалиться от Замка, где события просто кипели, покинуть влиятельную г-жу де Дюрас и нежную Жюльетту, чтобы стать послом в далекой, холодной, унылой стране?.. Главное, и он это прекрасно знал, — это изгнание обещало возврат к делам, и он, хотя и ворчал, был, несомненно, доволен своим первым успехом.

***

В тот первый год в Аббеи салон г-жи Рекамье преобразился: его посетители поредели, зато остались самые прилежные. Жизнь Жюльетты выстраивалась в зависимости от желаний, капризов и интересов Шатобриана. Отныне было ясно, что, не пренебрегая своими друзьями, она учится жить в ритме потрясений и ненадежности политической деятельности.

Учитывая требовательную натуру Рене, Жюльетта оставила за ним привилегированное место подле себя. С годами выработался неукоснительный ритуал: каждый день он «спозаранку» посылал ей небольшую записку. Затем, после обеда, когда у Жюльетты собирались г-н Рекамье, все такой же жизнерадостный оптимист, похожие друг на друга благородные отцы, немного грубоватый, но преданный Поль Давид, а также Балланш и юная Амелия, ровно в три часа Шатобриан приезжал на улицу Севр. Он был настолько пунктуален, что знавшие его местные жители, говорят, даже сверяли по нему часы… В маленькой келье соблюдался «его час». После чего являлись различные посетители: завсегдатаи, новые лица, а порой иностранцы, проездом в столице.

Весной 1820 года, после семнадцатилетнего отсутствия, в Париж вернулась Мария Эджеворт в обществе своей сестры Гарриет. В их письмах к семье описаны маленький салон Жюльетты, семьдесят восемь ступеней, которые туда ведут, и внешность красавицы из красавиц. «Она все еще очень красива, но слишком располнела», — сообщает Гарриет… Англичане называют это «forty fatty» — полнотой пятого десятка. Вскоре она снова утратит мимолетную пышнотелость, тоже бывшую показательной.

Среди новых лиц, постоянно привносивших глоток свежего воздуха в кружок г-жи Рекамье, был молодой человек, похожий на Керубино — безбородый и словоохотливый Жан Жак Ампер, родившийся вместе с веком, который вскоре привлечет в Аббеи самых выдающихся представителей нарождающегося поколения. Сын великого ученого Андре-Мари Ампера, сам родом из Лиона и очень дружный с Балланшем, он был представлен Жюльетте на новый, 1820 год. Ей исполнилось как раз столько, сколько было бы его матери, Жюли Каррон, если бы она еще была в живых. Молодой человек, читавший «Обермана» и «Вертера», с первого взгляда влюбился в хозяйку дома. Эта платоническая страсть сохранится многие годы, и очень скоро Керубино станет частью своей новой семьи. Разве не был он, в определенном смысле, духовным сыном Балланша? Как и Амелия, которая подрастала и получила от лионского мыслителя настоящее образование в области политики и морали…

Кстати, Амелию поручили г-же де Жанлис, задававшей ей сочинения: ее преподавание оставило более прочный след, чем влияние доброго Балланша (который, возможно, и не был так уж и добр, во всяком случае, имел слишком высокое представление о себе самом и о своем вкладе в современную консерваторскую мысль), ибо Амелия, которой нельзя отказать в элегантности стиля с ярко выраженным критическим духом и благонравным

морализмом, во многих отношениях, скорее, дочь автора «Бдений в замке», чем создателя «Палингенеза».

В начале лета г-жа де Жанлис, затеявшая переделать «Энциклопедию» на свой лад (!), попросила Жюльетту привезти ее великого друга на улицу Пигаль, где она тогда жила у своего зятя, генерала де Баланса. «Она сумасшедшая, я не хочу иметь никакого отношения к ее „Энциклопедии“», — якобы сказал Шатобриан Жюльетте, но поехал вместе с ней. Госпожа де Жанлис так ловко повела дело, что, выходя от нее, Рене находил ее проект уже не «сумасшедшим», а «превосходным»! Однако он быстро остыл: «Видите ли, сударыня, у меня недостало мужества: переделка „Энциклопедии“ мне показалась сродни переустройству мира, чтобы свершить это, нужно быть бессмертным, как Вы».

Осенью Жюльетта остановилась в Волчьей долине в обществе молодого Ампера и его друга, Адриана де Жюсье, отец которого, Антуан-Лоран, принадлежал к знаменитой семье ботаников и сам был директором Музея естественных наук. Адриан де Жюсье, 1797 года рождения, отличавшийся утонченностью своего ума, потом женится на своей двоюродной сестре Фелисите, за которой одно время ухаживал Жан Жак Ампер. Алексис де Жюсье, брат Фелисите, родившийся в 1802 году (Жюльетта сожалела о «легковесности его характера»), был тоже очень дружен с сыном ученого. По возвращении последнего Аббеи было взбудоражено забавной сценой: Керубино разразился рыданиями, он влюблен, это очевидно! И все, естественно, решили, что в Амелию — союз двух приемных детей был бы идеалом! Но бедный Ампер поспешил признаться в своем смущении и воскликнул, указывая на Амелию: «Ах, дело не в ней!» А в тете! Пустячок, а приятно.

В то время у Жюльетты читали первые «Размышления» Ламартина — великий поэт оплакивал разбитую любовь, привнося в общее звучание личные ноты, возвышенные и гармоничные… «Озеро», «Одиночество», «Долина» были приняты на «ура». Родился французский романтизм… Госпожа Ленорман припоминает другой памятный вечер: первое выступление чтицы и поэтессы Дельфины Гей, которой было уготовано прекрасное будущее.

Жюльетту часто навещала одна пожилая англичанка, мисс Берри. Однажды вечером она рассказала ей о курьезном происшествии, которое наблюдала. Мисс Берри была с визитом у леди Стюарт, жены английского посла в Париже; они беседовали у камелька, не зажигая света; супруга посла ожидала гувернантку, которую ей рекомендовали. Открылась дверь, слуга-англичанин назвал какое-то имя, и вошла женщина среднего роста,

пухленькая и просто одетая. Леди Стюарт была уверена, что это и есть гувернантка; она указала ей на кресло и учтиво, но в то же время давая понять, где ее место, задала ей несколько вопросов. Вошедшая же дама оказалась королевой Швеции; она поняла, что произошло недоразумение, и, чтобы прояснить ситуацию, сказала: «Ужасно холодно; король, мой супруг, послал меня узнать…» Леди Стюарт смешалась, а мисс Берри долго смеялась.

В тот момент, когда она заканчивала свой рассказ, дверь открылась (у г-жи Рекамье не докладывали) и вошла маленькая пухленькая дама. Развеселившаяся англичанка все повторяла: «Представляете, это была королева Швеции!» Напрасно г-жа Рекамье пыталась ее унять: «Ради бога замолчите, это опять она», — мисс Берри приняла это за шутку.

Но г-жа Ленорман не сообщает нам, что столь мало царственная королева Швеции, а попросту говоря, госпожа Бернадот, когда жила в Париже полуинкогнито (а такое часто бывало после падения Империи), воспылала безудержной страстью к герцогу де Ришелье. С того самого дня, как она с ним повстречалась, он не выходил у нее из головы, и с тех пор она следовала за ним повсюду, пускаясь на всякого рода ухищрения, чтобы он обратил на нее внимание, доходя до того, что жадно ловила взгляды отвращения. Именно это чувство он к ней питал… Это помешательство, которое не удалось умерить даже Жюльетте с ее даром убеждения, описала в своих мемуарах г-жа де Буань. Дезире Клари, бывшей невесте Бонапарта, была уготована славная судьба, и все же она «сделалась сказкою всего Парижа».

***

В конце ноября переговоры шли полным ходом и в конце концов увенчались министерской комбинацией, к которой стремились Шатобриан и его друзья. Шатобриан был назначен послом в Берлин с обещанием министерского портфеля. Последние приготовления, поход по магазинам в сопровождении Жюльетты, чтобы выбрать украшение для г-жи де Шатобриан, которая не поедет с мужем, а останется в Париже, дабы присматривать за своей больницей, открытой в октябре на улице Анфер под патронажем герцогини Ангулемской и предназначенной для приема пожилых больных, пострадавших при Революции. Наконец новоиспеченный посол уехал: он твердо настроен вернуться так быстро, как только сможет, но, по обыкновению, рад снова оказаться в дороге. Неисправимый путешественник вполне удовлетворен комфортными условиями, в

которых передвигается посол Его Христианнейшего Величества…

Посольство в Берлине

Шатобриан покинул Париж в последнюю ночь уходящего 1820 года. Он вернется 26 апреля 1821 года — берлинское посольство, хоть и далекое, оказалось недолгим: неполных четыре месяца. Состояние души Жюльетты в этот период нам неизвестно. Весь февраль она провела в Анжервилье, что раздражало Матье, и по письмам к ней Шатобриана мы можем догадаться, что она могла успокоиться относительно скорого его возвращения.

Эти письма к Жюльетте чужды всякой нежности по сравнению с теми, что она получит из Лондона или Рима, где в каждой фразе бурное чувство! Странно, но это так. Чувствуется, что в Берлине Шатобриан был напряжен, стремясь в основном оправдать и укрепить свои позиции, довести свои взгляды до сведения правительства. В этом плане он не будет разочарован: вернувшись, чтобы присутствовать при крещении герцога Бордоского, он снова стал государственным министром, к тому же его сделали кавалером ордена Почетного легиона (с осени 1814 года он был кавалером ордена Святого Людовика). Он не брезговал такими погремушками, отнюдь!

Встреча, если верить насмешкам Матье, говорившего в записке к Жюльетте о «радости, удивлении и всем таком прочем», была теплой. Но недолгой. 30 июля 1821 года лукавый Виллель с неизменным Корбьером вышли из правительства, и Шатобриан подал прошение об отставке барону Паскье. Это значило отступить назад, чтобы дальше прыгнуть: 15 декабря был сформирован новый консервативный кабинет. Виллеля назначили министром финансов, Корбьера — внутренних дел, Матье — иностранных дел. Хотя должность премьер-министра временно упразднили, Виллель по сути возглавлял кабинет, и Шатобриан ожидал от него своего продвижения, которое не замедлило последовать. Королевским ордонансом от 9 января 1822 года он был назначен послом в Лондон вместо бывшего фаворита Деказа. Это было гораздо интереснее Берлина. Виконт ликовал! Отметим попутно остроумную фразу, которую мы приписываем г-же де Буань: когда в то же время стало известно о назначении герцога де Дудовиля управляющим почтовым ведомством (малопривлекательная тогда должность), она воскликнула с деланым простодушием: «А кто станет герцогом де Дудовилем?»

Лондонское посольство

В своих мемуарах Шатобриан комментирует свое назначение в Лондон, напирая на воскресшие воспоминания: свою юность, проведенную в Англии, когда он, бедный эмигрант, питался только своими химерами, начало очаровательного романа с Шарлоттой Ив, которую он после встретит уже замужней женщиной, матерью двух взрослых сыновей. «По слабости человеческой, мне было приятно вновь явиться, известным и могущественным, туда, где я был безвестным и слабым», — честно добавляет он.

Его посольская должность, подкрепленная щедрым жалованьем в триста тысяч франков, будет блестящей. Прием в Портланд-Плейс, его лондонской резиденции, оставит внушительное впечатление: бретонский дворянчик поведет себя как настоящий вельможа. Правда, в данном случае у него будут развязаны руки: щепетильная г-жа де Шатобриан осталась на улице Анфер, лечась от постоянного бронхита и занимаясь своими дорогими пансионерами неподражаемо умело и строго. Посол пообещал себе продолжить составление мемуаров и приглядеться к английскому обществу: «Переход от скрытной и молчаливой берлинской монархии к публичной и шумной монархии лондонской принес мне много пользы: контраст двух столь различных народов наводит на поучительные размышления».

Можно с уверенностью сказать, что Жюльетта была далеко не так спокойна, как перед его отъездом в Берлин. Но разве можно любить кипучего и решительного Рене, не прилагая всех усилий для его успеха, даже в связи с его долгим отсутствием. А Шатобриан был слишком влюблен в Жюльетту, чтобы не знать, что она чувствует. При этом и на секунду нельзя предположить, чтобы он отказался от своего пути наверх, от этого первоклассного трамплина, каким было назначение в Лондон, позволявшего совершить скачок к более высокой должности, которой он добивался не скрываясь, — поста министра иностранных дел. Короче, они ободряли и успокаивали друг друга.

Незадолго до отъезда, намеченного на апрель 1822 года, Жюльетта и Рене приехали в Шантильи, в дом под названием «Большой Фонтан», построенный в 1786 году и принадлежавший Луи-Мартену Берто, племяннику архитектора семьи Рекамье. Что там произошло? В их переписке того времени неоднократно упоминается Шантильи. «Не забывайте Шантильи!» — эта фраза

звучит лейтмотивом в письмах благородного виконта каждый раз, когда ему кажется, что Жюльетта в нем не уверена или что она теряет присутствие духа. Шантильи стал словно новым паролем в их отношениях. Даже верный Адриан, который вскоре отправится послом в Рим, говорит в одном письме к своей прекрасной подруге о «человеке из Шантильи»…

Можно предположить, что в Шантильи состоялась знаменательная встреча наедине, был дан обет, заключен договор или дано важное взаимное обязательство. И договор, вероятно, был нацелен в будущее, что и давало ему ободряющую силу. Что же это было — мысль о совместном проживании? (Жюльетта, как можно понять из одного письма г-на Рекамье к г-же Берто, ездила смотреть один дом под Шантильи, выставленный на продажу.) Планы союза, как только он станет возможен? Клятва в верности? Кто знает…

***

В те полгода, что Шатобриан провел в Лондоне, он часто писал к Жюльетте: более тридцати писем. Чувствуется, что он трепетал, его распирало от уверенности в себе, он хозяйской рукой вел свои дела — как и дела своего государя, — к тому же он любит Жюльетту, не забывает Шантильи, пусть она поймет его и поможет, чем может, в Париже. В его планах было сделать так, чтобы его отправили на ближайший конгресс Священного Союза, точное место проведения которого еще не было известно, но было уже ясно, что он может выдаться бурным, если ситуация в Испании еще ухудшится: трон Фердинанда VII, по происхождению Бурбона, но явно бездарного правителя, мог быть поколеблен либеральной оппозицией, которая уже навязала парламентскую систему в Мадриде.

Шатобриан вел сеанс одновременной игры: с одной стороны, он ожидал, что г-жа де Дюрас, все так же преданная ему, но уязвленная предпочтением, которое ее кумир оказывал Аббеи, убедит Виллеля. С другой стороны, прекрасная Жюльетта, к которой прислушивался Матье (между прочим, министр иностранных дел, непосредственный начальник Рене), должна была склонить его к тому, чтобы на встрече держав вместе с ним присутствовал посол в Лондоне.

Всё это еще было писано вилами по воде. Ибо хотя, с точки зрения Замка, благородный виконт рассуждал *правильно,* никто не сомневался в его карьеризме. Это слово не в полной мере передает исступленное стремление выдвинуться вперед, не

имевшее ничего общего с вульгарной любовью к власти ради власти: политические союзники Шатобриана не слишком хорошо себе представляли не столько *чего* он хочет добиться, сколько *почему*… Они смотрели, как он умирает от нетерпения, пока не получит того, чего хочет, — поста, посольской должности, — а потом, при первом разладе, заявляет, что он «сыт всем этим по горло»! С какой стати такая обидчивость? Его гневливость уже была притчей во языцех, живость реакции поражала. Когда нужно, он блистал, пылал и разил своим красноречием: он излучал сияние и знал это, играл на этом и был готов заставить дорого заплатить каждого, кто станет ему поперек дороги. Одним словом, он не был по натуре высокопоставленным чиновником, его было слишком трудно использовать, и все же лучше было иметь этот ценный феномен на своей стороне, чем против себя!

Легко понять, что кружок «крайних» в тихих приемных Марсана остерегался столь кипучей натуры. Задача г-жи де Дюрас и г-жи Рекамье была не из легких… И все же они с ней справились.

Госпожа де Буань, не принадлежавшая к «крайним», не бывшая тихоней и не любившая Шатобриана, очень сурово отозвалась о письмах Рене к Жюльетте: она ознакомилась с ними в 1859 году, в версии, опубликованной г-жой Ленорман. Вот что она написала тогда племяннице Жюльетты:

> Это нестерпимое тщеславие, это безудержное честолюбие, беспрестанно эксплуатирующее мягкость бедной женщины, чтобы плести интриги, которые столь явно были противны ее природе, и за которые он расплачивался парой ласковых слов, стремление к маленькой келье, очевидно предназначенной служить переходом в золоченые гостиные, — все это возбудило во мне возмущение, которое я часто ощущала. Видно, чары его над ней были слишком сильны, раз она, с ее проницательным и утонченным умом, не возмутилась всеми этими уловками. Она и возмущалась несколько раз, но это длилось недолго.

Г-жа Буань прочла лишь выхолощенную версию переписки, на которую она столь яро нападает: целомудренная Амелия вымарала фразы личного характера, пересыпавшие речи посла. Изменилось ли бы мнение г-жи де Буань, если бы она о них узнала? Вряд ли. Для Жюльетты же всё было иначе: в этом сжатом, повелительном тоне, в этой сухой пылкости был весь Шатобриан. Одно-единственное из таких повелений должно было надолго окрасить внутренний мир той, которой оно

предназначалось… И Шатобриан был слишком великим писателем, чтобы не осознавать производимого эффекта, не то чтобы он не был искренен, просто сила слов обладает странной властью и в том числе дает немедленное отпущение грехов тому, кто соединяет слова меж собой. Судите сами, ужасен Рене или неотразим:

> Лондон, 7 мая 1822 г.
>
> Здесь завтра ожидают г-на де Брольи и г-на де Сталя. Они сообщат мне новости о Вас. Прошу Вас, будьте посдержаннее с Адрианом. Вы не представляете, что пишет мне г-жа де Дюрас.
>
> Я завален работой. Наши дела здесь идут превосходно; если бы они так же шли во Франции, Ваши друзья либералы не были бы столь злобными. Как бы там ни было, мое предсказание осуществится и они будут побиты бедным маленьким роялистским правительством, таким невзрачным на вид. Однако это правительство сделало много глупостей со времени моего отъезда, и роялисты имеют все причины жаловаться. Я написал, чтобы всё поправить. Частная переписка, которую печатают в английских газетах, также беспрестанно призывает меня во Францию, чтобы стать премьер-министром. Не знаю, что могло породить эти глупые слухи.
>
> Покидаю Вас; валюсь с ног от усталости. Я сегодня написал длинную и крайне важную депешу.
>
> Отчего я не в маленькой келье!
>
> Лондон, вторник 3 сентября 1822 г.
>
> Дело сделано; но с какой неохотой со стороны Матье! Виллель был бесподобен и целиком на Вашей стороне. Я смогу уехать лишь в следующее воскресенье, 8 сентября. Так что я увижу Вас не раньше 11-го или 12-го. Но скажите, не могли бы Вы встретить меня в Шантильи? Я постараюсь сообщить Вам точный день и час, когда я смогу там быть. Я увидал бы Вас прежде всех, мы бы поговорили! Мне столько нужно сказать Вам, столько чувств я таю в своем сердце уже пять месяцев! При мысли, что я Вас увижу, мое сердце бьется сильнее.

А Жюльетта? Билось ли ее сердце, когда она приезжала к нему в Париже, где он жил с 10 сентября по 3 октября? Мы не знаем, но разве можно сомневаться? Это возвращение было подготовкой к новому отъезду, на сей раз радостному, — в

Верону, где должен был состояться новый конгресс Священного Союза. Хотя из этого собрания ничего не выйдет, Шатобриан отправлялся туда с воодушевлением: ради дипломатического цветника, собравшегося на берегах Адидже, стоило сделать крюк.

От Вероны к Трокадеро

Пока мирная область Венеция с большой помпой готовилась к конгрессу, Жюльетта гостила в Монморанси вместе с молодым Ампером, который, по его собственному признанию, «был ею опьянен». Матье, возглавлявший французскую делегацию (и не сумевшей отделаться от назойливой супруги, последовавшей за ним), поехал в Верону и остановился по дороге в «знаменитой, любопытной и печальной Венеции», в которой никогда не бывал. Он первым сообщил Жюльетте о внезапной смерти дорогого ее сердцу друга — прославленного Кановы, случившейся 13 октября. Его соотечественники скорбели. Г-жа Рекамье — тоже, она поспешила передать Матье письмо к брату скульптора, аббату, чтобы доставить его в Рим с диппочтой.

В середине октября 1822 года в Вероне, вокруг министра иностранных дел, собрались французские официальные лица, намеченные для участия в конгрессе, — четыре посла при дворах союзных держав: посол в Лондоне, виконт де Шатобриан; в Санкт-Петербурге, граф де Ла Ферроне; в Вене, герцог де Караман, и в Берлине, граф де Рейневаль. Все более или менее влиятельные государи были там, за исключением нетранспортабельного Людовика XVIII и английского короля, приславшего вместо себя Веллингтона, что позволило Шатобриану простодушно сказать: «Я был представлен королям, я знал их почти всех».

С самого времени своего существования, то есть после падения Наполеона, Священный Союз, в который входили четыре страны — Австрия, Англия, Пруссия и Россия, — никак не мог успокоиться, перекраивая Европу. Он надзирал за границами, вновь установленными им на Венском Конгрессе, пристально — даже слишком — следил за каждым членом семьи Бонапартов и железной рукой поддерживал спокойствие в европейском калейдоскопе. В 1818 году в него вступил новый член — Франция. Французские либералы возмущались: эта лига, которой заправлял царь Александр и князь Меттерних, всегда была готова к крестовым походам, владычествовала в Европе, и дух ее был как нельзя более консервативным и абсолютистским.

Меттерних был в первую голову обеспокоен либеральным, а зачастую и националистическим волнением, разжигаемым с 1815 года главными очагами оппозиции: в Пруссии, не желавшей смириться с австрийским главенством в Германском Союзе, в Северной Италии, где реакционная и ограниченная военная оккупация породила и расшевелила множество тайных обществ, самым известным из которых остается общество карбонариев, и в

самой Австро-Венгерской империи, где многочисленные народности добивались своего признания.

Союз последовательно уладил германские проблемы на конгрессах в Карлсбаде (1819) и Вене (1820), затем итальянский вопрос, обсуждавшийся в Троппау (1820) и Лайбахе (1821). В Вероне, как мы уже сказали, предполагалось найти решение испанской проблемы. И в этом вопросе предстояло лишь прийти к согласию относительно того, с чьей стороны последуют репрессии.

Шатобриану с трудом удавалось скрывать свою радость, он был опьянен тем, что находится среди сильных мира сего, дергая вместе с ними за ниточки высшей дипломатии… У него были свои идеи по поводу того, чем должен завершиться конгресс. Он громко заявит о них в книге своих «Записок», посвященной сему блестящему собранию: вопреки главе кабинета и с гораздо большим пылом, чем его непосредственный начальник, он высказывался за вооруженное вторжение Франции в Испанию, будучи убежденным в том, что от нее исходит угроза. Как можно скорее восстановить в Мадриде королевский абсолютизм — вот гордые планы Рене! После отъезда Матье он бросит все силы на то, чтобы рассеять недоверие англичан, противодействие со стороны Пруссии и Австрии, опасавшихся односторонних действий державы, которая была им не по нутру, и заручиться поддержкой российского императора…

Послушать его (а когда его читаешь, то такое впечатление, будто его слышишь), так Верона — его конгресс, вызванная им война в Испании — его война. Ладно. Скажем то, что, наверное, думала Жюльетта: не было ничего похвального в желании восстановить на троне бездарного короля, для которого всякая мысль, за редким исключением, приравнивалась к преступлению! Политическая дурость и жестокое мракобесие, увы, совместимы друг с другом! И возвращение Фердинанда VII вскоре будет означать неумолимый возврат инквизиции в стране, которая только что вышла из Средневековья, каким бы ни был ее карикатурный образ, вымышленный французскими романтиками, сочинившими притягательную, аристократическую и гордую Испанию, этакий «золотой век»… Как и в Неаполе в 1799 году, всё, что было умного и талантливого в испанском королевстве, было уничтожено с таким зверством, что сам глава французского корпуса, герцог Ангулемский, почувствовал омерзение: он далеко не пользовался репутацией либерала, но то, что он увидит, покажется ему столь возмутительным, что он поспешит публично заявить о своем неодобрении и как можно скорее вернуться в Париж.

Но какое дело было Шатобриану до испанской элиты, до их Кортесов и их Просветителей! Циничная противоречивость писателя: он, не терпевший ни малейшей цензуры над своим творчеством, делал все, чтобы восстановить ее по ту сторону Пиренеев. Шатобриан видел в этой операции лишь ловкий маневр внутренней политики с целью укрепить посредством быстрой и легкой (так и оказалось) военной экспедиции престиж французского кузена Фердинанда VII. Он прежде всего хотел поддержать своего короля. Да, но как тут было далеко до того духа, что руководил старшим братом этого монарха, «тираном» Людовиком XVI, когда тот посылал оружие, офицеров и подкрепление американским повстанцам, чтобы помочь им завоевать свободу! Потребуются время и помощь, оказанная грекам в войне за независимость, чтобы Франция вернула себе репутацию, соответствующую ее призванию. Слава богу, после блестящих выпадов Шатобриана его страна понемногу отделится от Союза…

***

Матье вернулся из Вероны первым; в благодарность за исполненное поручение король 1 декабря 1822 года сделал его герцогом. Небольшое уточнение: Людовик XVIII хотел дать ему титул герцога Веронского. Матье отказался (это отдавало наполеонщиной), и поскольку и речи быть не могло о том, чтобы он стал герцогом де Монморанси, ибо этот титул мог принадлежать только главе его рода, его в виде исключения сделали «герцогом *Матье* де Монморанси». 25 декабря, во время шумного заседания кабинета, Матье, резко расходившийся во мнениях с королем и Виллелем, занимавшими гораздо более умеренную, чем он, позицию в отношении Испании, подал в отставку с поста министра иностранных дел.

Каким образом Шатобриан, оставшийся в арьергарде в Вероне, продвинувший свои ультраидеи до их крайней точки (в частности, доведя их до сведения царя), сумел убедить Виллеля в том, что он — тот человек, который сейчас нужен? Мы не знаем. И тем не менее, заставив себя поупрашивать (минимальный отступной Жюльетте и ее другу), он 28 декабря согласился заменить Матье. Он мог возомнить, что управляет делами страны, да что там, всей Европы! Небольшая переписка с Жюльеттой, которая, находясь в тени, за всем наблюдала, все знала и чье положение, надо признать, было не из легких:

Рене:

Суббота, 10 часов. Я отказал Виллелю в полдень. Король послал за мной в четыре и удерживал меня полтора часа, читая проповеди, но я стоял на своем. Наконец, он приказал мне подчиниться. Я подчинился. И вот я остался подле Вас. Но я погибну в правительстве. Ваш!

Матье:

Волчья Долина, 31 декабря 1822 г.

Я верил, что получу от Вас письмо, любезный друг, хотя Вы не любите писать; я ничуть не укоряю Вас за это, ибо и я должен Вас упредить за ту доброту и деликатность, которую Вы проявили ко мне в данном случае. В сердце моем останется об этом долгая память. Я в самом деле жалею Вас, оказавшуюся между бывшим министром и министром, заступающим на его место: помимо скуки петиций, которые лишь сменят адрес, наши отношения, испорченные в особенности двумя последними письмами, произведут на Вас тягостное впечатление, которое я хотел бы смягчить. Возможно, Вы упрекнете меня за сухость; я вынужден быть черствым либо принимать вещи близко к сердцу, что было бы истинным надувательством.

Я поговорю с Вами обо всем этом завтра в восемь; это будет мое новогоднее свидание, которым я очень дорожу.

Прощайте, прощайте. Вы знаете, какое место занимаете. С нежностью и уважением…

Рене:

1 января 1823 г. Сколько раз я уже поздравлял Вас с Новым годом с тех пор, как полюбил Вас? Просто дрожь пробирает. Но мой последний год будет Вашим, как был бы и первый, если бы я знал Вас тогда. Я снова заночевал на улице Университа. Сегодня вечером я перейду на другой берег. Сегодня вечером я явлюсь засвидетельствовать Вам обычное почтение.

Год, который уготовит им несколько сюрпризов…

***

Рене выиграл: его радость неописуема… Его ликование, воодушевление почти трогательны! Он упивался своим могуществом: достаточно почитать «Замогильные записки», в частности, книгу, посвященную войне в Испании 1823 года, чтобы в этом убедиться:

> Война в Испании могла спасти Законность; она вложила ей в руку хлеб победы: Законность употребила во зло жизнь, которую я ей вернул. Мне показалось полезным для ее спасения, с одной стороны, укрепить ее в свободе, с другой — подтолкнуть к славе; она рассудила иначе.

Вот так тон!

В марте 1823 года сто тысяч солдат под командованием герцога Ангулемского отправятся спасать французскую законность, растоптав соседнюю конституционную монархию, которая могла подать дурной пример. Победу одержали быстро: осада Кадикса, где укрылись Кортесы, после взятия Трокадеро 31 августа, завершилась сдачей осажденных 1 октября. Последовали памятные репрессии (мы уже упоминали о заявлении герцога). Шатобриан торжествовал…

У него были и другие причины для радости. После связи с бывшей прелестницей Фортюне Амелен новый министр иностранных дел пустился в любовное приключение, в буквальном смысле слова приводившее его в исступление. Счастливая избранница была очаровательной, белокурой и ангелоподобной. Урожденная Корделия Греффюль, эта дочь финансиста при Империи, вышла замуж за военного, графа де Кастеллане. Ей было двадцать семь лет, когда она повстречала всемогущего Шатобриана: их связь была сродни извержению вулкана. Рене оставил несколько пламенных записок, где все без утайки: «Один страх загубить жизнь, которая принадлежит тебе, тебе, кому я обязан славой любимого человека, может помешать мне бросить все и увезти тебя на край земли…»

Короче, физическая, оглушающая страсть… Возможно, не слишком сентиментальная, ибо эта связь не выдержит внезапного падения прекрасного министра с лазоревыми глазами… Было ли сердце у Корделии? Она открыто проявляла благосклонность к одному из хороших друзей виконта, Матье Моле, о котором нельзя сказать, что он был образцом верности и рыцарской чести… Она быстро и некрасиво состарится. Моле к этому как будто приспособится. Сохранила ли она воспоминания о том лете 1823 года, исполненном безумия, которое она вроде бы разделяла?..

Шатобриан был неосторожен. Если только проницательная Жюльетта не догадалась о том, что занимало воспаленный мозг министра… Тем летом г-жа Рекамье часто бывала в Анжервилье. Больше мы ничего не знаем.

И потом, вдруг — неожиданная развязка: Шатобриан, который год назад одерживал победу за победой, считавший, что уже достиг вершины своей карьеры (хотя ему недоставало высшей власти — председательства в Совете министров, но он об этом мечтал), Шатобриан, неотразимый, обольстительный и властный, потерял — но понял ли он это, — по неловкости, по легкомыслию то, что, возможно, было у него самое ценное — сердце Жюльетты. Жюльетта ничего не сказала. Она ушла. Это решение произвело в Аббеи эффект разорвавшейся бомбы: оно было принято 24 октября. А 2 ноября, вместе с племянницей, Балланшем и горничной, Жюльетта отправилась в Италию. Молодой Ампер последует за ними. Страсть внезапно иссякла, как захлопнулась дверь «маленькой кельи». Больше она не возродится.

Глава X
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ…

Я ввергнута в одиночество, но на краю света и так, чтобы различать множество вещей, не будучи подвластной ни одной из них.

Рукописная надпись г-жи Рекамье на форзаце сборника изречений

Это был отъезд, а не бегство. Каким бы внезапным ни оказалось решение Жюльетты, оно не было продиктовано паникой. Напротив, это был продуманный поступок, мотивировку которого прекрасно можно объяснить: Жюльетта больше не могла выносить тревог страсти. Она использовала слова «смятение» и «беспокойство», но это одно и то же. В начале лета, а может быть, и раньше, поведение Шатобриана вызвало у нее неизбежное потрясение: Жюльетта утратила равновесие. Она хотела вернуть его. Исступление, охватившее новоиспеченного министра и бывшее ей неподвластным, глубоко ранило ее. Она чувствовала себя задетой отсутствием обходительности, недавно проявившимся в отношении к ней. Страсть, подчинившая ее Рене, волновала ее больше, чем ей того хотелось. Она намеревалась стряхнуть ее с себя, установив между ними дистанцию.

С обычной твердостью она решила поехать в Рим, где однажды, при трудных обстоятельствах, уже обрела покой благодаря тому, что ей, как никому, удавалось взращивать в себе и распространять вокруг внутреннюю гармонию.

Думала ли она об этом по дороге в Лион, где она пробудет недолго, прежде чем отправиться небольшими переездами, в сопровождении семейного эскорта, под другие небеса? Вероятно. Она уехала не жалея о содеянном. У нее почти не было времени, чтобы привести в порядок свои дела, но добрый Поль — еще и замечательный министр финансов: он всё поправит, следуя наиподробнейшим инструкциям, которые она будет ему посылать. Благородные отцы, наверное, растерялись от того, что их вот так бросили, но у них, несмотря на возраст, еще крепкое здоровье, а это неизбежный риск. Что до парижского общества, то тут всё просто: здоровье Амелии с лихвой оправдывало необходимость провести зиму на юге. Амелия в девятнадцать лет

начинала покашливать (успокойтесь, умрет она в девяносто!), и Италия могла пойти ей только на пользу…

В Риме Жюльетту ждали — и уже несколько месяцев звали — два ее самых дорогих друга: герцогиня Девонширская, которая старела, но могла все понять благодаря своему уму и проницательности, и Адриан, очаровательный герцог де Лаваль, поклонник Жюльетты в молодые годы, который теперь вел в Вечном городе блестящую жизнь посла Его Христианнейшего Величества… Жюльетта была уверена, что найдет себе прекрасное окружение в их лучах…

Амелия тоже была способна понять, от чего отказывается ее тетя, покидая Париж, и чего хочет, отправляясь в Рим. Но была ли она с этим согласна? Она проявит себя приятной, тонкой, пикантной подругой, и ее бодрость оживит собой существование г-жи Рекамье. Но ведь она была уже в том возрасте, когда могла привлекать внимание? Вслед за ней явятся молодые люди с новыми идеями (Адриан уже тогда называл ее «маленькой либералкой»), вносившими свежую струю… Жаль, что с Ампером-сыном… Он смотрел только на Жюльетту: он был буквально ею поглощен. По сути, он искал в ней свою мать, и ласковая нежность заставляла его забыть об иссушенном детстве подле отца-физика, с трудом допускавшего, что сын не создан по его образу и подобию. Великий Ампер вступил в конфликт авторитетов с прекрасной Рекамье, которая, по его мнению, отвращала его сына от научного призвания… Но понемногу он смирился с тем, что, не став великим ученым, Жан Жак мог надеяться сделать хорошую литературную карьеру… Разве не написал он прошлым летом трагедию, которую читал Тальма и которую могут принять для постановки в театре…

Керубино, с осени не покидавший Жюльетту, не скрывал своей ревности к чересчур кипучему, чересчур переменчивому министру, отсутствие которого еще больше довлело над жизнью Аббеи, чем его присутствие… По крайней мере, от него отдалялись, все дальше и дальше с каждым поворотом колеса… Напишет ли он? Ответит ли она? Поимеет ли он уважение к потребности в спокойствии, за которым отправился в другую страну? Или явится разорвать этот заколдованный и преданный круг, с которым ей удалось не разлучиться?

В Лионе Жюльетта получила одно из двух писем, адресованных ей Рене. Оно заканчивалось такими словами: «Возвращайтесь как можно скорее. Я постараюсь дожить до Вашего возвращения. Я так страдаю». Она не ответила. Только из Шамбери отправила в Париж записку. Отстраненную. Великий человек уведомляет о ее получении в письме от 29 ноября: «Я

получил Вашу записку из Шамбери. Она нанесла мне жестокую рану. „Сударь“ заставило меня похолодеть. Признайтесь, я этого не заслужил».

Непонимание? Неискренность? Шатобриан, пораженный отъездом Жюльетты, контратакует, и это честно: зачем ее понесло в Италию? Можно лишь склониться перед ее волей… Но пусть признает, что сама этого захотела… И что он страдает из-за того, что ее нет рядом. И что он ее ждет. Именно этого она и желает. Пусть подождет. Время и пространство, которыми она их разделяет, должны умерить неровные и бурные отношения. Когда она почувствует себя излеченной и укрепит свою душу, она вернется. Пока же они обменяются несколькими письмами и записками. «Вернитесь, твержу я», — скажет он. И тишина — на долгие месяцы. До того еще далекого дня, когда она явится вновь.

Разумеется, во время римских каникул Жюльетта будет в курсе всего, что делается и говорится в Париже: ей будут сообщать об этом семья, Матье и сам Адриан. И это хорошо: она должна отделаться от своей уязвимости. Восстановить внутри себя плодородный слой. Закалить свой независимый дух и свойственную ей силу, о которой мало кто подозревает, поскольку она умеет облечь ее в самую грациозную и мягкую форму. Не стоит и говорить, что она прекрасно с этим справится.

Десять лет прошло со времени ее первой и ступенчатой поездки в Италию. Вспомним о ее переживаниях, горечи, разочаровании после измены г-жи де Сталь, Огюста и даже, в меньшей мере, Матье, вызвавшегося ее сопровождать и передумавшегр в последнюю минуту: Матье, как и Наполеон, никогда не увидит Рима… Жюльетта, изгнанница, прекрасная одиночка, подпала под обаяние ровного ясного неба и римских нравов: в оккупированном, бессильном городе она смогла воссоздать скромный и приятный салон… Прошло время: бурное возвращение, женственность, расцветшая на фоне политических передряг, поражений и Реставраций… Потом скончалась г-жа де Сталь. И ее сменил Шатобриан, став грозным и грандиозным центром всей ее жизни, всех ее помыслов… Шатобриан, человек-буря, гроза, ураган, обольстительный, опасный поэт, надменный дипломат, невоздержанный министр, опьяненный собственными химерами, влюбленный в свои излишества и головокружение от успехов, экстравагантный путешественник, который видит только себя, где бы он ни был, но также самое юное, увлекающее существо, обезоруживающее своим очарованием и аристократичной учтивостью… Шатобриан, судьба Жюльетты, ее покоритель.

Как это она догадалась, чтобы успокоить волнение своего

сердца, избрать город — теперь она это знает, — который он любил и где страдал, насколько он был к этому способен! Нет, Жюльетта ни от чего не бежит. Она бы тогда поехала в другое место, в страну, свободную от всяких воспоминаний, от его следов, а не в столицу цивилизации и христианства — одним словом, того мира, где сияние Шатобриана было ярким, как нигде… Жюльетта, она в этом убеждена, снова увидится с Рене: она внутренне желала того, что совершила, — не яростного разрыва, а плодотворного и продуманного удаления.

Она «взбрыкнула» (о чем свидетельствует ее сильно изменившийся почерк), но знает, что эти страдания — последние: отныне в ее власти изменить направление своей жизни и того чувства, на которое она обречена, чтобы они были под стать ее образу — мирными, насыщенными, подконтрольными ей.

Путешествие проходило удачно, перевалили через Мон-Сенис, который побаивались преодолевать, так же, как боялись пускаться в море… Балланш, по своему обыкновению, оставался погружен в свои мысли, но это неясное и привычное присутствие ободряло Жюльетту как милая привычка. Балланш был бы хорошим отцом: ему хватало добродушия и педагогических навыков, чтобы общаться с молодыми людьми. Амелия лукаво называла его «своей дуэньей» и не слишком ошибалась… Почти семейный покой каравана подстегивал его мысли: у него была куча планов, и он действительно принялся в Риме за свой монументальный «Палингенез». Пока же он делился с Ампером мыслью о составлении подробного «Путеводителя» по Италии, который должен был стать чем-то превосходным и идеальным, — разумеется, ничего такого они не создадут, но во время всего пути будут лелеять и множить наброски.

На две недели остановились во Флоренции — с 19 ноября по 10 декабря — ровно настолько, чтобы насладиться архитектурными и живописными красотами. Для молодого Ампера это было открытием (которое зачтется в его будущей работе историка), и его радость оказалась заразительной: можно было поспорить, что благодаря ему его спутники по-новому взглянули на шедевры, которыми вместе любовались. Он заметил, что Жюльетта «живо чувствовала высшую красоту в искусстве и литературе; менее достойное ее не трогало…» И в этом, как и во всем, она, рожденная под знаком Стрельца, всегда умела дойти до самой сути. Поэтому, во время остановки во Флоренции, ее чаще всего можно было найти в галерее Уффици и во дворце Питти…

Госпожа Рекамье навела справки у французского посланника в Тоскане, г-на де Ла Мезонфора, о графине Олбани, которая вот

уже тридцать лет держала знаменитый салон в городе Медичи. Эта заходящая «звезда» (она умрет в начале следующего года), прославленная своей молочной красотой и темным взглядом, с возрастом отяжелела и, если верить Шатобриану, была похожа на картину позднего Рубенса. Однако она по-прежнему очаровывала свою эпоху: эта легендарная аура, вероятно, была обязана собой как блеску ее приемов, так и ее личной жизни…

Урожденная принцесса фон Штольберг, она в девятнадцать лет вышла за своего жениха Чарльза-Эдуарда Стюарта, гораздо старше ее и записного пьяницу. Чета поселилась в Риме под именем графов Олбани, и очень быстро молодая женщина связала свою судьбу с крупным поэтом и драматургом, графом Альфиери. Это произошло в 1777 году, в год рождения Жюльетты. Их роман, пересыпанный побегами, попытками примирения со стороны мужа, покорил всю Европу. Когда Шатобриан присутствовал в 1803 году на похоронах поэта, он склонился перед их любовью и прочитал стихи, написанные Альфиери для своей подруги: «Он двадцать лет предпочитал ее всему на свете. Он постоянно следовал за ней и почитал ее, смертную, словно она была божеством…» Госпожа де Сталь восторженно воскликнула: «Они не были женаты, они выбирали друг друга каждый день…»

Божество, в конце концов, утешилось с молодым художником Фабром из Монпелье, который делил с ней жизнь во Флоренции. Небольшого ума, но наделенная вкусом и здравым смыслом, графиня Олбани казалась Горацию Уолполу довольно заурядной немкой, тогда как Сент-Бёв видел в ней подлинную женщину XVIII века, «причем из лучших, чувствительную и разумную». Графине Олбани — подруге Бомарше, г-жи де Жанлис, Коринны, Сисмонди, герцогини Девонширской придет в голову удачная мысль завещать свои коллекции Фабру, который впоследствии оставит их своему родному городу… В ее лице Жюльетта могла бы встретить то, что еще оставалось от ее великих предшественниц — Дюдеффан, Жоффрен, Тансен — тех женщин, которые всемогуществу двора противопоставили всемогущество салонов, гостеприимства и женского сияния.

Сирена приручает Бабуина…

Жюльетта прибыла в Рим в середине декабря, под серым небом. Она заняла апартаменты, заказанные для нее друзьями — герцогиней Девонширской и герцогом де Лавалем, между площадью Испании и Пьяцца дель Пополо, за которой открывался Пинчио, недавно обустроенный наполеоновскими оккупантами. Ее новый адрес очарователен: улица Бабуина (Виа дель Бабуино), дом 65. Этот дом сохранился, стоит напротив церкви Греков; он, бесспорно, скромнее, чем прежняя римская резиденция Жюльетты, палаццо Фиано, но и гораздо спокойнее, хотя и расположен неподалеку от Корсо. Фасад, выкрашенный красной краской, как у многих средиземноморских построек, того неопределимого оттенка крови, который золотят сумерки… В маленьком дворике — фонтан, украшенный головой женщины в стиле неоканновы, затем лестница, светлая, покойная.

Квартира, в которой поселились Жюльетта, Амелия и Балланш (Ампер жил в соседнем переулке, Виколо деи Гречи), была очаровательна: в ней попадали в элегантно простую атмосферу, в это нерушимое облако, которое окутывало красавицу из красавиц, где бы она ни жила… Ее племянница говорит о том, что последний гостиничный номер, снятый на одну ночь, тотчас преображался по вкусу этой несравненной хозяйки дома: несколько книг, разложенных тут и там, муслиновое стеганое одеяло, накинутый плед, срезанные цветы — и готово дело! Не станем же удивляться, что за несколько дней и небольшой ценой Сирена приручила Бабуина…

В Риме эпохи Реставрации светская жизнь была блестящей и неоднородной. Нередко можно было встретить в салоне какого-нибудь палаццо миловидных особ из местной аристократии вперемежку со старыми остроумными прелатами, членами престижного дипломатического корпуса и путешествующими высокопоставленными иностранцами. Естественность и космополитизм (все говорили по-французски) были отличительными чертами собраний, на которых царили веселость, благосостояние и некая умственная беззаботность…

Жюльетта без труда восстановила вокруг себя небольшой, мягкий и дружеский кружок. Навязчивое присутствие, господствовавшее в Аббеи, более не довлело над новым салоном. Под знаком Бабуина царило приятное единение, несмотря на непохожесть завсегдатаев. Там действительно можно было встретить «официальных лиц», в первую очередь французского посла, любезного Адриана, который, хоть и «крайний», тем не

менее был сама учтивость; двух священников — Канову и герцога-аббата де Рогана, с которым Жюльетта познакомилась в этом самом городе десять лет тому назад, когда он еще не был ни герцогом, ни аббатом, а просто обольстительным Огюстом де Шабо; и «интеллигентов». Балланш встретился с Дюга-Монбелем, лионским другом, выдающимся эллинистом и переводчиком Гомера, эрудиция которого не препятствовала его активному либерализму, а молодой Ампер сошелся с группой друзей без предрассудков (по крайней мере, они так думали), которых более интересовали нравы Вечного города, чем его руины, — Анри Бейлем, который только становился известным под немецким псевдонимом Стендаль, Дювержье де Оранном, Шнетцем, Делеклюзом… Виктор Шнетц, талантливый художник, осмелившийся искать модели на улице, принадлежал, как и Леопольд Робер, к Французской Академии. Оба, под эгидой своего директора, интересного и болезненного Герена, наведывались к Жюльетте.

Из друзей Ампера только Делеклюз бывал там постоянно: представленный графиней де Бонневаль, он часто оставлял свою драгоценную учебу и «Прогулки по Риму», рождавшиеся в процессе совместного творчества[37], ради улицы Бабуина. Какой симпатичный характер! Он немедленно и однозначно привязался к Жюльетте, как он сам уточняет, потому что был закоренелым холостяком и ее ровесником: чего он не мог предвидеть, так это того, что влюбится в Амелию… Сент-Бёв описывает его как типичного парижского буржуа, самодовольного зеваку, придерживающегося своих устоев, которому до всего есть дело, непунктуального, поначалу доброго гуманиста, но яростного противника «готики», что довольно пикантно, если знать, что он был дядей Виолле-ле-Дюка![38]

Делеклюз начал с живописи: он был автором труда о Давиде, у которого в молодости брал уроки, потом стал художественным критиком. В данный момент он, в перерывах между историческими исследованиями эпохи Возрождения (что в то время не имело большого распространения), работал над хроникой, публикуемой в «Журналь де Деба», в которой в форме «Писем», излюбленном жанре предыдущего века, живописал нравы римского общества. Зимой (в конце апреля 1824 года он уедет в Неаполь) он вел «Дорожный дневник», который был недавно опубликован и содержал живые и забавные рассказы о Жюльетте и Амелии. Делеклюз был наблюдателем без комплексов: он с неугасимым пылом будет писать объемистые мемуары, озаглавленные «Воспоминания шестидесяти лет», где мы, разумеется, встретим главных действующих лиц эпохи,

которая нас интересует. Сент-Бёв зацепит его определением, бьющим в самую точку: «человек, который ничего не вычеркивает».

Благодаря ему мы можем представить себе тот эффект, который произвела прекрасная парижанка, когда толпа расступалась перед ней во время какого-то религиозного праздника; мы видим, как она принимает гостей у себя в салоне, следуем за ней на прогулки по городу или за городом, можем четче обрисовать кое-какие контуры… Главное качество этого самодовольного мемуариста — Делеклюза (вернее, Этьена, ибо он всегда говорит о себе только в третьем лице!) — естественность. Вот картинка, как говорится, написанная с натуры:

> Дела еще обстояли таким образом, когда графиня де Б…, которой г-жа Рекамье попеняла за Этьена, не торопившегося нанести ей визит, заехала за ним, отвезла к г-же Рекамье и так представила ей своего пленника: «Ну, вот и он!» Затем, извинившись в нескольких учтивых выражениях за свой скорый уход, г-жа де Б… снова села в экипаж, чтобы сделать остальные визиты.
>
> Это внезапное вторжение вызвало улыбку у всех присутствующих, включая г-жу Рекамье и Этьена, которого такой неожиданный поворот избавил от предисловий, всегда несколько затруднительных, когда делаешь новое знакомство. Хозяйка дома, одетая в белое платье с голубым поясом, по своему обыкновению покоилась на софе, неподалеку от которой сидела ее племянница. Ошеломленные нежданным явлением Этьена, Ампер и Монбель остались стоять, а добрый Балланш, размышлявший у камина, не выразил на своем странном лице никакого удивления.
>
> Входя в этот дом, Этьен сказал себе, что намерен лишь нанести визит вежливости; но вышло иначе. Прошло не более четверти часа, а разговор его с г-жой Рекамье принял ту легкость, которую обычно придает беседе лишь очень давнее знакомство. И правда, общие воспоминания двух собеседников, бывших почти ровесниками, возрождали в их памяти те же события, свидетелями которых они являлись, отчего у них могло составиться представление, будто они уже давно знакомы. В общем, Этьену был оказал такой сердечный прием, а г-жа Рекамье так любезно сказала ему: «До завтра!» — когда он уходил, что пришлось уступить.

***

Хотя Жюльетта сразу же влилась в римское общество, ее пребывание в Вечном городе началось с большой неприятности: ее горничная серьезно заболела. Ее уже отчаялись спасти, когда герцог-аббат де Роган попросил о встрече с ней: женщина, хоть и замужем за католиком, была протестанткой. Поверите ли, но после разговора с неотразимым Огюстом умирающая не только обратилась в католичество, но и выздоровела! Двойное чудо, которому не преминул умилиться издалека безупречный Матье…

Затем последовал внезапный траур, нанесший тяжелый удар герцогине-кузине. Папа Пий VII (Кьярамонти) скончался прошлым летом. Его сменил Лев XII (Делла Дженга) — Жюльетта приехала вовремя и присутствовала при его въезде в папскую резиденцию, — что повлекло за собой обновление высших политических кругов Ватикана. Старый кардинал Консальви, государственный секретарь, работавший в трудные послереволюционные годы, ловкий участник переговоров о заключении конкордата, который затем отправился в изгнание и в заключение вместе с Пием VII, по сути, оказался отстранен от дел. Вскоре он от этого умер. Не помогла даже нежная дружба дамы, к которой были устремлены все его помыслы…

Жюльетта разделяла ее тревогу в те пять недель, что продолжалась болезнь прелата. Он умер 24 января 1824 года. Она не знала Эрколе Консальви, однако, с согласия герцогини-кузины, приехала вместе с Амелией в его дворец, где, по обычаю, тело кардинала, облаченное в пурпур, было выставлено на парадном ложе. Амелия писала Балланшу, уехавшему с Дюга-Монбелем в Неаполь и Грецию: «Говорила ли вам тетушка, что мы видели кардинала на его смертном одре? У него было благородное и спокойное лицо, отнюдь не искаженное и вовсе не страшное. Я привыкаю к смерти, видя, что она нимало не уродлива».

Как нельзя более типичное приобщение к римской жизни!

Герцогиня страдала от невозможности носить траур по своему другу в тишине и одиночестве. Ей приходилось (ведь их связь была незаконна) продолжать вести обычную светскую жизнь, как и раньше… Эта высокая исхудалая женщина с чеканными чертами лица, надменной осанкой походила на призрак. Когда она появлялась в каком-нибудь салоне, ее печаль не могла укрыться от глаз: Жюльетта держалась подле нее и утешала ее взглядом, давая ей почувствовать, как она ее понимает, как бы ей тоже хотелось сейчас очутиться в другом месте…

Так было и в четверг 5 февраля 1824 года, когда графиня

Аппоний, жена австрийского посла, устраивала большой прием в палаццо Венеция. Окружение Жюльетты не могло позволить себе пропустить этот прием, ибо он должен был перейти в особенный спектакль. Играли одну пьесу Седена и еще одну Скриба — «Новый Пурсоньяк». В числе актеров была юная дебютантка — Амелия Рекамье, как ее обычно называли.

Собрание было самым высокородным и высокопоставленным: все послы были здесь. Сыграли первую пьесу (в числе актеров были, между прочим, русский князь Гагарин и принц Мекленбургский), затем разыграли шараду, поставленную Гереном, после чего перешли к «Новому Пурсоньяку». Вот несколько отрывков из «Дорожного дневника» Делеклюза:

> Ампер волновался за мадемуазель Амелию, которая должна была играть. Он говорит, что не любит ее, и я бы охотно в это поверил после того, что он мне о ней говорил, хотя не поспорил бы и на грош, что между ними ничего нет. Я совершенно уверен, что не влюблен в нее, однако и я боялся за ее дебют. Эта юная особа начинает вызывать к себе интерес. Она миловидна, хорошо сложена, у нее очаровательная ножка, она наделена здравым смыслом, чувством меры, спокойствием, утонченностью — короче, это само совершенство, и, наверное, именно поэтому Ампер ее не любит. Женщины, внушающие бурную страсть, часто обладают большими достоинствами, но по меньшей мере одним большим недостатком.
>
> Представление довольно удалось… Мадемуазель Амелия была венцом праздника. […] Амелия — шедевр французского воспитания, подражающего естественности. Итальянки даже не понимают достоинств такого рода, но у них есть другие. Г-жа Рекамье, тетя Амелии, была очень красива. Великолепная осанка, хорошо одета, держится совершенно по-французски. Итальянки рядом с ней кажутся дикарками, но какое мощное очарование в их естественности.
>
> В конце ужина г. де Лаваль очень удачно выразился по поводу французского языка, на котором все здесь говорят, и французских пьес, разыгрываемых иностранцами: он сказал что «это реванш за вавилонское столпотворение».

Жюльетта сообщила Полю Давиду, что Амелия играла с «совершенством, восхитительной грацией и оттенком

застенчивости», что встретило единодушное одобрение. И хотя тетушка рано отвезла ее обратно на улицу Бабуина, поскольку ей показалось, что личико племянницы осунулось, девушка могла спокойно уснуть: ее римский дебют прошел успешно…

***

Амелия в восторге. Она радуется тому, что вскоре примет участие в самом прекрасном из развлечений, в этом ежегодном фейерверке, великом ритуальном развлечении — карнавале…

Вакханалии, сатурналии, луперкалии, либералии — разумеется, эти четыре языческих «буйства», соответствовавшие природному циклу, были направлены в нужное русло Церковью, смирившейся с этими бесчинствами, лишь бы они прекратились до первого дня Великого поста — Пепельной среды. В Риме карнавал был незабываемым, поскольку остался живым достоянием всего населения: город искрился иллюминацией, празднествами, балами, маскарадными шествиями и неизбежными битвами конфетти… Традиционно больше всего народу собиралось на Корсо, обязанном своим названием конным скачкам, которые проходили там в древности, и на прилегающих улицах.

В субботу 21 февраля празднества открылись грандиозным балом во французском посольстве: девятьсот приглашенных устремились в гостиные дворца Симонетти. Бал удался и завершился в три часа ночи вальсом, длившимся пятьдесят две минуты…

Пару слов о любовной кадрили, завертевшейся в Риме: Ампер, капризный, непредсказуемый Керубино, влюблен в Жюльетту, которая утешает, защищает его, поощряет его первые литературные опыты, а главное — предоставляет ему наилучшее алиби, чтобы не смотреть в глаза самому себе. Делеклюз, считавший себя неуязвимым, подпал под чары Жюльетты, а еще более Амелии, хотя это нарастающее чувство практически безнадежно… Усложняет всю картину возможная связь Ампера и Этьена, предшествовавшая описываемым событиям. Да будет нам позволено сказать, что мужественность Ампера навечно останется под сомнением…

Жюльетта — обольстительница чистейшей воды, и разнообразие ее привязанностей свидетельствует в пользу богатства и утонченности ее натуры: никто не может перед ней устоять, ни самые мужественные мужчины, ни гомосексуалисты, ни милые евнухи, ни красивые женщины…

Маскарадные игры с Гортензией

Одна из подруг Жюльетты как раз только что приехала в Вечный город к началу карнавала — бывшая королева Голландии, Гортензия де Богарне, или, если угодно, герцогиня де Сен-Ле. Обе женщины были разлучены после второй Реставрации. Гортензия, как и все члены семьи Бонапартов, находилась под неусыпным надзором союзных держав и обычно жила на берегах Боденского озера. Ей, а также двум ее сыновьям позволили приехать на время к тем из ее родственников, кто воспользовался гостеприимством папы, которому по меньшей мере нельзя было отказать в великодушии…

Мадам Летиция, занимавшая благородный этаж палаццо Ренуччи, на углу Корсо и площади Венеции, реорганизовала часть семейного клана: кардинал Фиески, Люсьен с семьей, Жером с семьей, Полина, расставшаяся с мужем, но обустроившая виллу Паолина, жили в своем кругу, куда были допущены некоторые верные люди, и в целом могли лишь порадоваться своему выбору.

Встреча с Гортензией была довольно романтическим эпизодом в жизни Жюльетты: действительно, обе подруги снова поменялись ролями. В феврале 1824 года влиятельной особой оказалась Жюльетта. Ее близкая дружба с послом французского короля и возможности, которыми она располагала, свидетельствовали об этом ежеминутно. Гортензии же разрешили навестить семью лишь в виде исключения, этакого особого отпуска. Ясно, что ни та ни другая не могли открыто ввести подругу в свой круг… Эти трудности их забавляли, и вот как они придумали их обойти: Жюльетта предпочитала посещению салонов, в которых можно было встретить те же лица, что и везде, прогулки среди римских памятников, единственных в своем роде. Они условливались с Гортензией о месте и «случайно» встречались там. Место было каждый день разным: храм Весты, гробница Цецилии Метеллы, церкви, дворцовые галереи или красивейшие места вокруг Рима, описанные Шатобрианом двадцать лет тому назад, относительное запустение которых добавляло им очарования. Г-же Рекамье было приятно общество подруги, любившей и понимавшей искусство, Гортензии же хотелось поговорить с ней о Франции и, в частности, заверить ее в своей непричастности к бегству Наполеона с острова Эльбы. 23 февраля они решились нарушить запрет, довлевший над их дружбой, и явились на маскарад в одинаковых домино из белого атласа, только у Жюльетты была гирлянда из роз, а Гортензия держала в руках букет тех же цветов. Улучив момент, они

обменялись этими украшениями, и Гортензия ушла под руку с послом Его Величества Людовика XVIII, а Жюльетта оказалась окружена Бонапартами. Потом они неоднократно проделали тот же маневр, пока он не перестал их забавлять, а окружающие не начали догадываться о подмене. Всеобщее замешательство, вызванное этими подозрениями, пока личность подруг не была установлена, только добавило им удовольствия от этой проделки. Все оценили их чувство юмора, за исключением княгини Ливен, бывшей тогда супругой русского посла в Лондоне и даже на балу не забывавшей о политике. Как и многие ее соотечественницы, она пылала жаждой власти. Было ли это отражением или возмещением особенностей славянского мира, откуда она была родом, отсутствием меры в расстояниях, размерах, психологии? Она мечтала только об одном: одухотворять дипломатию союзников, стать Сивиллой Европы, как ее будут называть, когда она свяжет свою судьбу с Парижем и сделается тайной советчицей Гизо. В целом, современники ее ненавидели. В ее кислой реакции на игру Гортензии и Жюльетты не было ничего удивительного.

***

Карнавал продолжался: череда маскарадов в бальных залах и на улицах, скачки берберийских лошадей на Корсо, конфетные сражения… Однажды, когда Амелия вместе с тетей и Адрианом направлялась в кукольный театр в палаццо Фиано, ей за шиворот набили целую кучу конфетти… Вскоре начался Великий пост: Жюльетта как будто уже устала от «карнавальных безумств», а вновь наступивший покой как нельзя лучше подходил для размышлений. По словам Амелии, ее «сильно взволновало» «натянутое, но такое печальное» письмо Шатобриана. Идет ли речь о письме от 28 января или о другом, утраченном? Шатобриан писал:

> Какая Вы счастливая, что находитесь среди римских развалин! Как бы я хотел быть там вместе с Вами! Когда я вновь обрету свою независимость, когда Вы вернетесь в келью? Скажите мне, напишите. Не пишите этих сухих и коротких записок, подумайте о том, что Вы несправедливо причиняете мне боль. Вдвойне тяжело страдать, не заслужив ту боль, которую тебе причинили. Ваш, Ваш на всю жизнь.

Жюльетта пока не имела ни малейшего желания вернуться в маленькую келью. Она писала Полю Давиду, что с человеком,

скрывающим истину, — Шатобрианом, — никогда ни в чем не уверен, и что она решилась не подвергать себя снова этим треволнениям. В следующем письме она пояснила свою мысль:

> Если бы я вернулась теперь в Париж, то вновь окунулась бы в переживания, которые заставили меня уехать. Если г. де Шатобриан будет плох со мной, меня это сильно опечалит; если хорош — смутит, а я решилась отныне этого избегать. Здесь я нахожу развлечение в искусствах и поддержку в религии, которые спасут меня ото всех бурь.

Как можно убедиться, Жюльетта на пути к исцелению…

Смерть герцогини Девонширской

Конец Великого поста был отмечен новым испытанием: Жюльетта лишь недавно вновь обрела свою подругу Элизабет Форстер, герцогиню Девонширскую, и теперь вдруг потеряла ее. 30 марта 1824 года, после скоротечной болезни, она угасла на родине, которую себе избрала. Из родственников герцогини рядом с ней находился ее пасынок, наследник одного из крупнейших состояний и самых блестящих имен Англии. Поговаривали и даже писали, что он был ей не пасынком, а сыном, которого выдала за своего первая герцогиня Девонширская, законная супруга герцога Джорджина Кавендиш, разродившаяся дочерью. В те несколько дней, что длилась ее болезнь, к герцогине не допускали ее друзей, и молва приписывала инициативу этого заточения молодому герцогу Девонширскому, якобы опасающемуся, что правда выйдет на поверхность. В день агонии, когда герцогиня уже не могла говорить, герцог краткой запиской вызвал к ее одру г-жу Рекамье и герцога де Лаваля. «г-жа Рекамье опустилась на колени, взяла руку своей подруги, поцеловала ее и стояла так, рыдая, зарывшись лицом в ее постель. Герцог де Лаваль встал на колени с другой стороны. Больная уже не говорила; она узнала своих друзей, и тревога, написанная на ее лице, ненадолго уступила место радостному просветлению: она слабо сжала руку г-жи Рекамье. Тишина этой агонии, прерываемая все более затрудненным дыханием больной, через некоторое время стала полной. Герцогиня умерла», — пишет г-жа Ленорман. На следующий день герцог Девонширский прислал г-же Рекамье перстень, который был на его мачехе в ее последний миг и который она завещала Жюльетте. Ампер отметил еще одну деталь, усугублявшую готический характер сцены смерти: агония протекала на фоне страшной грозы, и всю ночь лил проливной дождь.

***

Римский мирок был потрясен еще одной смертью, и более всех, как и в случае кончины герцогини-кузины, переживал Адриан: юная мисс Батерст, восхищавшая всех своей воздушной грацией, выступавшая вместе с Амелией на подмостках во время тройного театрального представления в палаццо Венеция, жизнерадостная танцовщица, которой любовался Делеклюз,

утонула в Тибре во время конной прогулки, устроенной герцогом де Лавалем. Спасти ее так и не удалось… Ее гибель всех оглушила. Адриан был неутешен: он корил себя за то, что в некотором роде был причиной драмы.

Умы были заняты этим настолько, что долгое время спустя еще продолжали вспоминать юную красивую девушку, очаровавшую Рим, но танцевавшую только одну зиму… Стендаль неоднократно вернется к этому ужасному происшествию, Шатобриан тоже.

В довершение черной полосы королева Гортензия узнала в апреле о внезапной болезни и преждевременной кончине своего любимого брата, принца Евгения, — «упрямой головы», как говорил Наполеон, опираясь при этом на его повиновение и преданность… Жюльетта не колебалась ни минуты: она нанесла визит соболезнования своей подруге, явившись к скорбящим Бонапартам, презрев сплетни, которые не могли не родиться в атмосфере всеобщей недоброжелательности. Ее верность тем, кого она любила, стояла превыше всего и придавала ей мужества: «В подобном случае я не могу принимать во внимание интересы партии или общественное мнение: меня часто за это порицали и, возможно, еще будут порицать; мне придется смириться с этими упреками, ибо я чувствую, что буду заслуживать их постоянно».

Гортензия и Жюльетта встретились в последний раз 26 апреля, перед возвращением дочери Жозефины в Швейцарию: они решили прогуляться в Тиволи. Королева со своей свитой приехала туда в обществе лорда Киннэрда, пэра Ирландии, который участвовал в 1817 году в заговоре против Веллингтона и решил покинуть родину. Обе женщины любили эту сильную личность, несмотря на злобные слухи, касавшиеся его личной жизни и состояния, периодически приходивших в беспорядок. Г-жу Рекамье сопровождали Балланш и Ампер.

Г-жа Рекамье осталась в Риме, Гортензия же вернулась в Арененберг.

***

Мрачные часы миновали, весна завершалась в череде новых развлечений, неустанных поездок, паломничеств к самым замечательным памятникам. Жюльетта с замирающим сердцем вернулась в Альбано. Как и десять лет назад, когда она делила летний кров с семейством Канова, она играла на органе в церкви на рыночной площади. Она так была поглощена задумчивым и мягким обаянием замков, что потеряла шаль, спеша в Арриччу,

откуда отправлялись верхом на ослах к дикому и древнему озеру Неми… Адриан не отходил от нее в тот день ни на шаг, предупредительный, внимательный, как в первый день их знакомства. Юный Ампер был мрачен: ему было неприятно видеть свою богиню «умиленной» воспоминаниями, и этот избалованный ребенок странным образом был несколько разочарован всеми этими красотами.

Каждое утро ходили на прогулку к вилле Боргезе, вилле Медичи. Когда смеркалось, предпочитали Пинчио. Амперу нравилось читать Данте, Ариосто или Байрона в тени деревьев. Настроение Жюльетты было безоблачным. Возможно, блуждая по огромным садам виллы Дория Памфили, вдоль излучин Яникула, она выискивала взглядом сосны, посаженные Ленотром, которые так любил Шатобриан… Ей было радостно вновь увидеть собор Святого Петра и Колизей в лунном свете. Она вновь проходила по улицам Древнего Рима. Опять сидела под дубом Торквато Тассо (еще не превращенным молнией в обугленный пень) и наведывалась на могилу поэта в церкви Святого Онуфрия… Побывала ли она в церкви Святого Людовика Французского? Там покоилась г-жа де Бомон, а неподалеку, в ногах у Караваджо, теперь еще и бывший друг Жюльетты в дни изгнания, маркиз Серу д'Аженкур…

Близился летний зной, побуждая строить планы. Может, поехать освежиться на берег моря? В Неаполь?

И вдруг в мирном салоне на улице Бабуина узнали новость, которая не могла не обратить на себя внимание: известие об однозначном и безвозвратном падении Шатобриана.

И все-таки Неаполь…

Это случилось утром на Троицу, но в Риме об этом узнали лишь десятью днями позже, а точнее, 16 июня: министр иностранных дел был низвергнут так же неожиданно, как и вознесен. Явившись в Замок засвидетельствовать свое почтение графу д'Артуа, он не был принят. Швейцар проводил его к частному секретарю графа, Гиацинту Пилоржу, которому было поручено передать ему в собственные руки приказ об отставке. Господство Шатобриана во французской дипломатии продлилось полтора года, после чего он узнал на своем горьком опыте, что значит воля государя. Его первая отставка — с посла государственного министра без портфеля, в 1817 году, — была предсказуемой. Эта же — ни в малейшей мере. Шатобриан был сражен: в два часа он очистил улицу Капуцинок. Но, как обычно, в невзгодах он не терялся: в очень скором времени он перешел в оппозицию, которую сам потом назовет «систематической»…

Ему как никогда нужны были заботы г-жи Рекамье, но г-жа Рекамье не имела никакого желания возвращаться во Францию. Ей было бы легче легкого уехать из Рима, где она еще находилась при получении известия об опале Рене. Она же, напротив, предпочла задержаться в Италии и решила провести несколько месяцев в Кьяйе, в Неаполитанском королевстве.

Она пустилась в путь 6 июля при обстоятельствах, которые заслуживают описания. Понтийские болота, кишащие разбойниками, были, как никогда, опасны для путешествующих, поэтому обычно передвигались группами по несколько экипажей, в сопровождении военного эскорта. Молодой Ампер, всегда восприимчивый к окружающей обстановке, описал в дневнике необычную кавалькаду в лунном свете (в жару обычно путешествовали по ночам), продвигающуюся вперед под барабанный бой, в окружении шестидесяти солдат в мундирах и при оружии, готовых в любую минуту пустить его в ход.

Тихое счастье в Кьяйе: Жюльетта провела полгода у своих друзей Лефевров — богатого семейства, поселившегося в Неаполе в царствование короля Жозефа, процветавшего при короле Иоахиме и не пострадавшего от восстановления Бурбонов. Шарль Лефевр был активным дельцом, благодаря которому в Изола ди Сора была устроена ультрасовременная и процветающая бумажная мануфактура.

Об этой тихой и элегантной жизни на берегах одного из красивейших заливов мира нам мало известно. Всем там было хорошо. Катались на лодках, каждый вечер поднимались на Капо

ди Монте посмотреть на закат, читали, писали, и даже добряк Балланш согласился с тем, что залив — несравненной красоты. Жюльетте пришла в голову мысль совершить паломничество на мыс Мизена, где происходит действие одной из главных сцен «Коринны». По рассказам Амелии, отправились на лодке со всеми удобствами, в прекрасную погоду, по пути сверяясь со Страбоном, томик которого захватил с собой Балланш. Велико же было всеобщее разочарование, когда экспедиция наконец достигла мыса — ничем не примечательного языка суши с несколькими чахлыми тополями. Усевшись под деревом, г-жа Рекамье велела перечитать сцену из «Коринны», и все согласились с тем, что г-жа де Сталь наверняка здесь не была: описанный ею пейзаж был гораздо живописнее настоящего.

Одним из замечательных событий той поездки было представление г-же Рекамье и ее племяннице молодого археолога, друга Лефевра, — Шарля Ленормана. Сын безвременно скончавшегося парижского нотариуса, он получил солидное классическое образование, казалось, ему уготовано блестящее будущее как ученому: во время прогулок в Геркуланум, в Пестум и к мнимой могиле Сципиона молодой эрудит, надо полагать, произвел впечатление на Амелию, бывшую двумя годами его моложе. Завязался ли их роман уже тогда? Он пришелся кстати: Жюльетте незадолго до отъезда из Рима пришлось разрешить небольшую любовную проблему, вызванную ее племянницей: друг Делеклюз, остановившийся в июне на несколько дней в Вечном городе по пути в Париж, признался г-же Рекамье, что влюблен в Амелию. Он явно не понял, что не имел никаких шансов на взаимность. Жюльетта ему это объяснила и осторожно развела руками эту тучку… Этьен очень скоро вернулся к своим холостяцким привычкам.

***

Хотя молчание между Жюльеттой и Рене не нарушалось, у прекрасной путешественницы не было недостатка в новостях из Парижа. Вчитываясь в послания, которые она регулярно получала от трех своих верных друзей — Матье, Адриана (проводившего отпуск во Франции) и герцога де Дудовиля, — она могла составить представление о том, какую линию поведения избрал для себя «несчастливец», как они его называли…

Тому же пришлось прервать праздное времяпрепровождение, которому он несколько дней предавался в Невшателе: Людовик XVIII был при смерти. Жюльетте сообщил об этом герцог де

Дудовиль. Умирающий король держался очень мужественно, до конца исполнив долг правителя. Министрам он завещал ничего не менять, продвигаться прежним курсом и придерживаться существующего порядка, ведь возврат к прошлому невозможен. «Не думаю, что г-н де Шатобриан может на что-то надеяться, по крайней мере, сейчас, — писал герцог, — и для г-на де Монмо… расклад не слишком удачный. Но для последнего все скорее может перемениться».

Вскоре после смерти короля (16 сентября 1824 года) Матье послал Жюльетте траурные украшения, поскольку, вернувшись в Рим, она была обязана, как и прочие дамы из французской колонии, оплакивать утрату своего государя вплоть до следующей коронации.

«Я с сожалением покидаю прекрасную Италию…»

Вновь поселившись в Риме и решившись провести там вторую зиму, Жюльетта сняла у своего друга лорда Киннэрда прекрасные апартаменты в палаццо Колонна, на Корсо. Она очень удобно устроилась в этом внушительном жилище в стиле барокко, с монументальным порталом и колоннадой, в котором к тому же помещалась галерея живописи, высоко оцененная Стендалем. Затмило ли собой все это великолепие очарование улицы Бабуина?

Ампер вернулся в Париж, куда его уже давно требовал к себе отец, только что назначенный профессором экспериментальной физики во Французский Коллеж и испытывавший финансовые затруднения. Керубино не хотелось расставаться с легкой, обворожительной жизнью, которую он вел в свите своей графини, однако пришлось повиноваться. Он прибыл во французскую столицу 10 декабря. По дороге писал Жюльетте нежные, немного болезненные письма, ибо капризный молодой человек был словно наркоман в период ломки. Жюльетта отвечала ему время от времени. Это чувство, которое она не отвергала и которое имело свои приятные стороны, тяготило ее: Ампер был слабовольным, легко возбудимым человеком с неровным характером. Давление, которое он оказывал на нее и ее окружение, в последние месяцы усилилось, и вполне вероятно, что Жюльетта испытала облегчение от его отъезда, который без конца откладывался. В начале 1825-го, юбилейного года, в папскую резиденцию начали прибывать паломники. По обычаю, знатные дамы города должны были их принимать. Эта обязанность не нравилась Жюльетте. Вот что она пишет молодому Амперу:

> Святой год — вовсе не то, что я себе воображала. Три десятка паломников и десяток или дюжина паломниц — вот и всё, что мы видели до сих пор. Вчера мы присутствовали при ужине паломниц; им прислуживали княгиня де Лукка и все римские знатные дамы, а также принцесса Дориа, прекрасная, как ангел. Все эти дамы в черных платьях и белых передниках были заместо служанок; они мыли ноги бедным странницам, когда мы вошли. Поверите ли? Меня вовсе не растрогала эта картина, а ведь мое воображение так легко увлечь подобными вещами! Эти бедные странницы казались мне

> столь смущенными тем, что их вот так выставляют напоказ, а оказываемые им услуги — трехдневное гостеприимство — показались мне такими жалкими в сравнении со столь помпезными приготовлениями, что я почти примкнула к взглядам г-на Лемонтея и увидела в этом мимолетном и театральном уничижении знатных дам лишь новую манеру придать себе чувство собственного величия, выражение гордыни, в котором они наверняка не отдают себе отчета. Но хотя я и с легкостью проникаюсь чувствами других, мне не удалось поддаться этой иллюзии. Прощайте, прощайте. Что Вы поделываете? Работаете ли над «Еврейкой»? Напомните обо мне Вашему батюшке, Вы знаете, как я к нему привязана. Передайте г-ну Делеклюзу, что я предпочитаю не писать к нему, когда могу иметь Вас своим переводчиком. Мы с большой радостью увидимся с ним в Париже.

Жюльетта попросит Матье выполнить кое-какие поручения к некоторым ее парижским друзьям. 26 января он написал в Рим о выполнении задания, обронив: «Г-н Ампер, о котором Вы отзываетесь не столь хорошо, как я полагал…»

14 февраля Жюльетта уточняет в письме к молодому человеку: «Мне писал о Вас герцог Матье, который был очень рад Вас видеть…»

Двойная игра? Может быть, и нет… Жюльетта любила Керубино, но сознавала, насколько он пустой человек. Ему бы побольше работать, поменьше мечтать, и всё образуется…

Жюльетта не позабыла Рене. Летом она перечитала «Мучеников» и затеяла заказать иллюстрацию к одной из сцен ученику Торвальдсена, главному римскому скульптору после кончины Кановы. Она заказала молодому Тенерани барельеф, изображающий казнь Евдоры и Кимодокеи, и сама следила за выполнением работы. (Барельеф погиб в 1944 году при пожаре в Сен-Мало: Жюльетта завещала его родному городу писателя.)

Из Неаполя она переслала бывшему министру письмо, справедливо полагая, что оно будет ему приятно: в нем говорилось о тревоге, вызванной в Греции новостью об его отставке: Шатобриан, как и все союзные державы (за исключением австрияков), поддерживал движение за независимость Греции и за ее освобождение от турецкой оккупации и состоял в грекофильском комитете, созданном в Париже в его защиту.

Несмотря на это, охлаждение все еще длилось. Мы не

думаем, что после падения Шатобриана между ним и Жюльеттой продолжалась переписка или что она была уничтожена из-за возможных крайних политических взглядов, высказываемых писателем. В доказательство мы можем привести письмо, которое он написал Жюльетте 9 февраля. Балланш, живший тогда в Пизе, был немедленно о нем извещен и в своем ответе Амелии заявил об испытанном «облегчении». Вот это письмо Рене, один церемониальный тон которого о многом говорит:

> Париж, 9 февраля 1825 г. Ваше предложение, сударыня, пробудило во мне тягостные воспоминания: я не могу его принять. Я не знаю, что со мною станется, возможно, что жизнь моя окончится не во Франции. Эта жизнь была слишком бурной, и то, что мне осталось, слишком коротко, чтобы строить планы. Это Вам, сударыня, у кого есть столько преданных друзей, можно вернуться к ним, чтобы больше не расставаться. Я же, не заслуживавший повстречать неблагодарных, поскольку сделал так мало хорошего, покорюсь судьбе до конца. Пусть Ваша судьба, сударыня, будет счастливой! И да воздастся Вашей доброте, щедрости, нежности и возвышенности Вашей души, как воздалось красоте Вашей!

Предложение, на которое намекает Шатобриан, возможно, было приглашением в Рим… Непосредственный комментарий Балланша Жюльетте довольно проницателен: «Дорога домой очищена от нескольких шипов…»

Ибо надо же когда-нибудь возвращаться! Жюльетта об этом подумывает… По завершении юбилейного года ничто уже не будет удерживать ее в Италии — той Италии, которую, как она пишет Амперу, она «покинет с сожалением», потому что пресытиться ее очарованием невозможно. Она только что завязала там два новых близких знакомства: первое — с остроумной госпожой Свечиной, блестящим знатоком человеческого сердца, которая окажется замечательной подругой по переписке. Жюльетта покорила эту приятельницу Адриана, хотя та и испытывала сильное предубеждение против чар красавицы из красавиц: по ее приезде, еще не будучи с ней знакомой, г-жа Свечина сделала такое обидное замечание: «Остатки былой роскоши не производят впечатления в краю руин!» Несколькими месяцами позже она заявила Жюльетте: «Я поддалась тому проникновенному, неопределимому очарованию, которое повергает к Вашим ногам даже тех, до кого Вам нет дела».

Вторая встреча не столь замечательна: речь о г-же Сальваж, дочери одного из друзей г-на Рекамье, г-на Дюморе, французского консула в Старом Городе. Чрезвычайно богатая, довольно экзальтированная, эта пылкая роялистка влюбилась в Жюльетту, а потом в Гортензию де Богарне, с которой познакомилась через ее посредство. Она свяжет свою судьбу с королевой в изгнании, сделается ярой бонапартисткой и будет вмешиваться в денежные дела клана…

В последующие недели речь наконец зашла о приготовлениях к отъезду. Матье известил Жюльетту о том, что в начале января умерла г-жа де Монмирайль: большие апартаменты второго этажа в Аббеи освободились. Все ждали, что она вернется в Париж. На г-на Рекамье обрушились новые невзгоды, и Жюльетта знала, что по возвращении ей придется взять на себя множество финансовых обязательств, уладить или помочь оздоровить порядком расстроенные семейные дела, о чем пока еще никто не подозревал…

Она с восторгом присутствовала при пасхальных церемониях. В очередной раз — последний — слушала восхитительное «Мизерере», которое на сей раз исполнялось в Сикстинской капелле. Она признается, что расплакалась.

20 апреля 1824 года Жюльетта, Балланш и Амелия выехали из Рима. Они останавливались в Болонье и Ферраре, где еще были живы воспоминания о семействе Эсте[39] и о Тассо. Наверняка они посетили больницу Святой Анны, где содержали поэта, а также замок и дворец Скифанойя… Когда 30 апреля перед ними открылась Венеция, как никогда сонная и растворившаяся в своем заливе, к ним, по счастью, присоединился Шарль Ленорман. В городе дожей отпраздновали помолвку, решение о которой были принято еще в Риме, незадолго до отъезда. И когда молодой археолог покинул небольшой караван в надежде вскоре вновь увидеться в Париже, Жюльетта была счастлива: она подвела маленькую девочку из Белле к самому порогу жизни женщины, к тому повороту, откуда возврата нет. Амелия, воплощенное самообладание, могла сама вершить свою судьбу… С проницательным умом и непогрешимым здравым смыслом будущая г-жа Ленорман готовилась твердой рукой править лодкой своей собственной жизни и жизни своей семьи.

По дороге домой тетя Амелии сначала пожелала завернуть в Поссаньо, на родину Кановы, чтобы почтить память покойного друга, а потом в Триест, на берега Адриатики, чтобы навестить друга живого, но свергнутого и изгнанного, — бывшую королеву Неаполя, Каролину Мюрат.

16 мая приехали в Милан. Потом перевалили через Симплон в очень хорошую погоду. Наконец, разделились: Балланш поехал по дороге на Женеву, откуда намеревался отправиться в Лион. Жюльетта прибыла в Париж в воскресенье, 29 мая. «Все наши мужчины поживают хорошо, — писала Амелия Балланшу. — Только г-н Бернар немного постарел. Гг. де Монморанси и Шатобриан присутствуют на коронации. Это дает нам передышку», — добавила она…

Римские каникулы продолжались девятнадцать месяцев. Жюльетта была вправе подумать о том, как будет развиваться непоправимое противостояние, ожидающее ее с Рене… В этом и была цель долгого, но необходимого отсутствия.

Глава XI
ДРАГОЦЕННЫЕ ЧАСЫ В АББЕИ-О-БУА

Г. де Шатобриан был гордостью этого салона, но она — душой его…

Сент-Бёв. Понедельничные беседы

Аббеи, эта академия в монастыре…

Ламартин. Популярный курс литературы

Из записки г-жи Рекамье г. Шатобриан узнал, что она вернулась в келью Аббеи-о-Буа. Он примчался в тот же день, в свой обычный час, словно приходил туда накануне. Никаких взаимных объяснений или упреков не последовало; однако видя, с какой глубокой радостью он возобновил прежние привычки, с какой уважительной нежностью и с полнейшим доверием к ней относился, г-жа Рекамье поняла, что небо благословило принесенную ею жертву, и уверилась в том, что отныне, когда грозы отшумели, дружба г-на де Шатобриана станет такой, какой она хотела бы ее видеть, — неизменной, потому что она была спокойной, как чистая совесть, и благочинной, как добродетель.

Этот комментарий г-жи Ленорман — единственное существующее свидетельство о встрече Жюльетты и Рене, которая состоялась во вторник 31 мая 1825 года. Сделав скидку на поучительное разглагольствование ученицы г-жи де Жанлис («спокойствие» и «добродетель» были не в характере Шатобриана!), мы узнаем то, о чем хотели узнать: об атмосфере этой решающей встречи. Она прошла гладко и красноречиво лаконично.

Жюльетте достало ловкости и душевной силы, чтобы высвободиться из-под разрушительного влияния Рене и тем самым лишить его себя. Разлучивший их открытый конфликт

продлился около двух лет: менее прочная, менее подлинная связь могла бы не выдержать и распасться. Эта же, напротив, обрела второе дыхание, крейсерскую скорость, которая в ближайшие двадцать три года не переменится. Жюльетта выйдет из испытания победительницей: применив элегантную стратегию отступления, она первой усмирила хищника! У хищника было время как следует, можно даже сказать, окончательно осознать, что означала бы для него ее потеря… Отныне он будет ее щадить, а в случае необходимости — тщательнее скрывать свои «хождения налево»…

Теперь они поймут, что необходимы друг другу. Они почти не будут расставаться, а если и расстанутся, то с надежной на воссоединение, им будет не тягостно и не совестно сделать свое чувство достоянием гласности. Страсть сменилась любовной нежностью, и все об этом знали. Парижское общество приняло эту связь, как и связь г-жи де Буань и Паскье, а позднее — Гизо и княгини фон Ливен: эти романы были освещены временем, узаконены привычкой, защищены тщательными формальными предосторожностями. Их можно было рассматривать как образец культуры, унаследованной от прошлого века, гораздо богаче и интереснее мелких — или крупных — скандалов, вызванных шумными адюльтерами романтического поколения…

Необычная пара, которую составляли Жюльетта и Рене, была богата еще и тем, что они придерживались высокого кодекса жизни в обществе: их любовь была чем-то несравненно большим, нежели банальный союз, основанный на желании, которое сильнее тогда, когда не находит удовлетворения, или на примитивном инстинкте обладания. Она достигла своей полноты, расцветая день ото дня благодаря задушевным разговорам и взаимному сопереживанию, ширясь от постоянного взаимообмена, имея отправной точкой то, что казалось им основным, — творчество Рене. И непокорный, непримиримый Шатобриан смирился с очевидным: Жюльетта, и только она одна, становится чудесным посредником в его разговоре с самим собой, без чего невозможно писать. Он признает это:

> Чем ближе подхожу я к могиле, тем явственнее ощущаю, что все, чем я дорожил в жизни, воплотилось в госпоже Рекамье, что к ней всегда тянулась моя душа. Воспоминания разных лет, грезы и явь смешались, переплелись, перепутались, и эта смесь очарования и тихой грусти приняла зримый облик госпожи Рекамье…

Отныне Жюльетта будет рядом с Рене, затеявшим самый амбициозный свой проект — подготовить к изданию свои

обширные воспоминания. Она будет стараться развлечь и успокоить его, дать ему то, чего, по сути, он никогда не знал — домашний очаг, центр жизни, где можно встречаться, набираться сил. Это было ей под силу: она вновь обрела собственное равновесие, совладала со смятением, в котором ее некогда поддерживало поведение Рене, и усмирила опасную и бесплодную власть страсти.

Жюльетта уже не молодая женщина. Хотя, по общему мнению, она остается красавицей, и ее внутренний свет подчеркивает ее внешнюю красоту, она потихоньку клонится к пятидесяти годам. «Ее волосы поседели в Риме в 1824 году», — сообщает нам ее племянница, добавляя, что она это скрывала, благо мода позволяла это сделать тысячей удобных способов. Ее стан, походка, лицо были по-прежнему великолепны, улыбка не пострадала. Жюльетта удивляла своей свежестью, которую ей удалось сохранить. Просто она была слишком умна и честна с собой, чтобы бороться с уходящим временем. Она умела не показать себя ни самодовольной, ни озабоченной, входя в критический период, который, несмотря на устоявшееся мнение, далеко не самый неприятный в жизни женщины…

Рене же по-прежнему был само очарование: волосы его поседели, но черты стали четче, тверже, его проникновенный, магнетический взгляд вводил в заблуждение относительно его возраста: лишь периодические приступы ревматизма не давали забыть о нем совершенно. Важная деталь, особенно в глазах Жюльетты: он все так же старался быть элегантным — на его продуманную элегантность обращали внимание многие современники. В то время, когда гигиена соблюдалась лишь относительно, это отличие было заметным.

Итак, они снова вместе, пережив бурю, негласно стремясь к постоянству и внимательности друг к другу. Они составляют очаровательную пару, наделенную всей привлекательностью зрелости, силы и убежденности. Гений и Красота рука об руку пустились в путь. Куда он их заведет?

Большой салон во втором этаже

По возвращении Жюльетте первым делом пришлось реорганизовать свою домашнюю жизнь: теперь она имела в своем распоряжении апартаменты второго этажа, освободившиеся после смерти маркизы де Монмирайль.

Отныне Жюльетта занимала в Аббеи две квартиры. В первую маленькую комнату, запечатленную Дежюинном, она вскоре снова вернется: там ей было уютно и спокойно. Эту миленькую комнату, выходящую в сад, она потом сохранит для Ленорманов, по крайней мере, в первое время их брака. Причем в их отсутствие она снова поселялась там. В то же время она сделала заказ на ряд работ, чтобы освежить большую квартиру. «В нашем доме полно рабочих. На втором и четвертом этажах ремонт. Тетушка вся в хлопотах», — пишет Амелия Балланшу в конце июня. Эта просторная квартира, откуда одновременно можно было видеть вход в монастырь против дома 16 по улице Севр, парадный двор и сад, включала в себя прихожую, столовую, гостиную, два окна в которой выходили на улицу Севр, а два других — на террасу, нависающую над помещением для консьержки, спальню, будуар, кабинет в английском духе, а также комнату для прислуги. Апартаменты дополняли еще три комнаты для прислуги — на антресолях и на первом этаже, — а также кухня и кладовая. Вход был с парадной лестницы. Кроме того, как было оговорено в арендном договоре, Жюльетта могла открыть дверь на улицу, «ключ от которой будет у нее одной» и которой можно пользоваться «в дни, когда она будет принимать гостей».

По завершении этих работ Жюльетта некоторое время сдавала большие апартаменты двум знакомым английским дамам — миссис Кларк и ее дочери, которая впоследствии выйдет замуж за востоковеда Моля, оставив все же за собой право принимать в большом салоне в дни наплыва посетителей.

Она сменит убранство комнат, прежде чем окончательно поселится в них осенью 1829 года. Пока же она жила в четвертом этаже, по крайней мере, в обычные дни и, по свидетельству одной хорошо ее знавшей послушницы, располагала еще, помимо больших апартаментов, несколькими прилегающими помещениями, не указанными в арендном договоре, чем можно объяснить, что до 1829 года Ленорманы пользовались спальней четвертого этажа…

Мы можем вообразить себе ее встречи с Шатобрианом в женственной обстановке, так хорошо переданной Дежюинном. При этом с 1825 года Жюльетта принимала во втором этаже, в

обстановке, компенсировавшей простором, удобством и торжественностью утрату милого домашнего уюта.

Обстановку — и то лишь центральной части — мы можем себе представить только по акварели Огюста-Габриэля Тудуза (1811–1854), относящейся, вероятно, к тридцатым годам. «Сине-черно-белая комната в строгом, но превосходном вкусе», по словам Амелии, была выдержана в безупречном классическом стиле французского образца: высокие и светлые деревянные панно, завершающиеся округлым карнизом тонкой работы, камин из белого мрамора, справа от которого стоит кресло Жюльетты, а слева — Шатобриана, над ним — высокое зеркало с изящными пилястрами. В нем отражаются красивые бронзовые часы и два светильника, словно привезенные из старого особняка на улице Монблан, как и большинство стульев с подлокотниками в виде крылатых химер, которые, как и всю остальную мебель, Ламартин найдет «простыми и потертыми»… Арабески огромного ковра поверх паркета несколько смягчали эту относительную строгость обстановки.

На стенах — три внушительные картины: самая большая — «Коринна на мысе Мизена», которую в 1819 году заказал Жерару принц Август, чтобы подарить своей подруге в благодарность за портрет. Полотно было выставлено в Салоне в 1822 году и имело громкий успех. Сильно стилизованная г-жа де Сталь с лирой в руках импровизирует, обратив очи к небу… Жюльетта с друзьями могла на месте убедиться летом 1824 года в полном несоответствии действительности что книги, что картины, иллюстрировавшей знаменитую сцену…

По обе стороны от камина висели два портрета, изображения двух ключевых фигур в жизни хозяйки дома — г-жа де Сталь и Шатобриан. Портрет дамы из Коппе был восхитителен: внимательные взгляд и улыбка, тюрбан, оливковая ветвь, подчеркивающая красоту ее руки (Коринна с ней никогда не расставалась), — всё это приукрашено, но похоже. Это была копия, выполненная по просьбе Жюльетты Мари-Элеонорой Годфруа, под наблюдением Жерара, написавшего оригинал через два года после смерти г-жи де Сталь для герцогини де Брольи. Что касается Шатобриана, можно предположить, что ему не было неприятно каждый день усаживаться под байроническим портретом, написанным с него в 1808 году Жироде, автором «Погребения Аталы». Ему нравилось вспоминать слова Наполеона, который, увидев в Салоне 1809 года эту картину в предромантических темных тонах — развевающиеся волосы, темные плащ и галстук на фоне будто бы римских развалин, — воскликнул: «Он похож на заговорщика, спустившегося через

дымоход!»… У г-жи Рекамье был не оригинал, а копия, сделанная в 1811 году: тогда было принято заказывать копии для себя и друзей.

В этой элегантной и приглушенной обстановке (по свидетельствам очевидцев, плотные обои приглушали чересчур яркий свет, лившийся в окна) Жюльетта начала новую светскую жизнь. Примерно дважды в месяц она давала большой прием: чаще всего там были чтения, концерт или поэтическая декламация. Такие утренники или вечера, которых очень ждали, не мешали другим собраниям, посвященным только беседе. Вместо того чтобы окружать чтеца или артиста, переходили от группки к группке, дамы обычно сидели…

Делеклюз, недолго переживавший по поводу помолвки Амелии, рассказывает нам о церемониале в Аббеи, к которому он отнесся тем более внимательно, что был там новичком:

> Г-жа Рекамье подготовляла вечера, на которых гости должны были развлекать друг друга одной только беседой, с настоящим искусством, с тех пор уже позабытым. Эти обычно многочисленные собрания, естественно, состояли из различных кружков людей, которых связывали схожие вкусы, а главное — общие политические убеждения, ибо в эпоху Реставрации в обществе вовсе не было единства. Чтобы было легче сводить друг с другом гостей по мере их прибытия, г-жа Рекамье утром составляла из стульев пять-шесть кружков, довольно удаленных друг от друга, чтобы дамы могли сидеть, а мужчины — переходить между ними и останавливаться там, где им угодно. Эти своего рода коридоры, помимо прочего, давали распорядительнице вечера способ направить прибывающих гостей так, чтобы они, сами того не замечая, присоединились к своим друзьям или, по меньшей мере, к людям, идеи и вкусы которых более всего соотносились с их собственными. Когда эти кружки наполнялись элегантными беседующими обоих полов, составлялась любопытная картина всего общества, занятого разговором, среди которого проплывала г-жа Рекамье в своем платье из белого муслина с голубым кушаком и, проходя по живому лабиринту, со своим особым тактом, по-дружески заговаривала то с одними, то с другими и обращала доброжелательные слова ко всем; ее внимательность доходила до того, что она выискивала застенчивых и робких по углам, где они прятались.

27 июня 1825 года Делеклюз был среди счастливых избранников, приглашенных послушать, как прекрасная Дельфина Гей читает стихи собственного сочинения о недавней коронации Карла X. Затем Тальма декламировал избранные отрывки из Расина и Дюси. В большом салоне Жюльетты собралось около полусотни человек: изысканный и неоднородный партер.

Рядом с кумиром, Шатобрианом, яростная оппозиция которого правительству во главе с Виллелем привлекала к нему либералов, бонапартистов и республиканцев, можно было встретить официальных лиц, например Адриана, проездом в Париже, Матье де Монморанси, по-прежнему бывшего в фаворе, герцога де Дудовиля и его сына Состена де Ларошфуко (оба входили в правительство), но также журналистов — Дюбуа из «Глоб», Бертена де Во, выпускавшего вместе со своим братом, Бертеном-старшим, «Журналь де Деба», Анри де Латуша, который вскоре опубликует «Фраголетту», либералов типа графа де Сент-Олер или маркиза де Кателлана, ученых, например великого Ампера или Моля, а также старых друзей Жюльетты — братьев Паскье, графа де Форбена, Проспера де Баранта, Александра фон Гумбольдта… Не считая уже членов семьи и подруг: г-жи де Буань, г-жи де Кателлан и ее дочери г-жи де Грамон, юной поэтессы Элизы Меркёр и двух дам, жительниц Аббеи, приходивших по-соседски, — г-жи д'Опуль, дочь которой одно время брала вместе с Амелией уроки у г-жи де Жанлис, и бывшей «звезды» императорского двора, которая теперь закатилась и разорилась, — герцогини д'Абрантес, она же г-жа Жюно…

***

Шатобриан вскоре тоже сменит обстановку: после этого вечера декламации Амелия написала Балланшу письмо с подробным рассказом, в котором содержится небольшое кислое замечание: Шатобрианы купили «развалившийся сарай» рядом с больницей. Они заплатили за него сто тысяч франков: «Всё то же безрассудство!» Так что в скором времени бывший министр поселится в этом скромном жилище по улице Анфер и проживет там до 1838 года. Отказавшись от пенсиона государственного министра, на который он имел право, непредусмотрительный виконт мало тревожился о своем финансовом будущем. Однако он решится на заключение сделки со своим издателем Ладвока: публикация Полного собрания его сочинений в двадцати семи томах, в том числе семь ранее не издававшихся, должна была

принести ему пятьсот пятьдесят тысяч франков, выплаченных в пятнадцать приемов. Таким образом он надеялся на некоторое время обеспечить себе безбедную жизнь. Он ошибался.

Пока для него было важно одно: полемика по ключевой теме свободы прессы, которую он вел в речах в палате пэров, в статьях, а порой даже во Французской Академии. Он делал это столь талантливо, что его престиж в глазах нового поколения рос: парадоксальным образом этот дворянин из «крайних», защитник христианства и исключительной королевской власти, стал объективным союзником и рупором либеральной оппозиции… Однако своей главной цели — сбросить Виллеля — он из виду не упускал. Это произойдет в конце 1827 года. А до той поры, в течение двух с половиной лет непримиримой борьбы, Шатобриан опирался на Жюльетту: он знал, какой благодатной почвой для него был ее салон. Там он сколько угодно мог общаться с собеседниками всех мастей — противниками, друзьями и союзниками. Если он стал оракулом своего времени, то в том числе и потому, что этот человек, столь часто остававшийся в одиночестве, был вполне доступен у камелька в Аббеи: среди молодых посетителей, приходивших туда с ним познакомиться и часто с ним там видевшихся, можно назвать Монталамбера, Кератри или Дювержье де Оранна, которые сделают блестящую карьеру при следующем режиме.

В салоне г-жи Рекамье отстаивали и другую свободу — независимость Греции. Шатобриан упоминает об этом в своих «Записках», а Жюльетта из Неаполя сообщала ему о чувстве разочарования, которое испытали вожди национального движения при известии о его отставке… Вскоре Франция, Англия и Россия помогут им одержать победу над турецким флотом при Пилосе. В 1829 году Адрианопольский договор осветит собой вновь обретенную свободу.

Жюльетта следила за учебой Фемистокла Канариса, сына одного из героев борьбы за освобождение Греции, мстителя за резню в Хиосе, о котором упоминает Шатобриан в своих воспоминаниях, когда, получая письмо от отца, он просил сына перевести его на французский. Юный ученик часто писал к своей прекрасной покровительнице. Этот мальчик мог очаровательным образом, без всяких комплексов, попросить, например, о таком: «Прошу Вас забрать меня на один из этих трех дней, без прочих греков — они недостойны Вашей дружбы…»

Он был молодой, да ранний: всегда подписывался: «Ваш маленький должник»!

Смерть Матье

По возвращении из Рима Жюльетта ближе сошлась с приятелем прежних дней — Бенжаменом. Он сильно переменился за последние годы: постарел и влачил свою долговязую патетическую фигуру на костылях, на которых ему приходилось передвигаться после перелома ноги, от которого он так и не оправился…

За десять лет он не отступился от своего либерализма, что даже принесло ему серьезные неприятности: гражданство этого парламентария было оспорено, два процесса, затеянные прессой, принудили его столкнуться с правосудием. Дело могло бы принять серьезный оборот, если бы не вмешательство Жюльетты и ее друзей: пока Шатобриан находился на посту министра, Бенжамен наверняка угодил бы в тюрьму. Но штраф уплатить все же пришлось. Бенжамен взывал к прекрасной подруге, и всякий раз, когда нужно было защитить и по возможности спасти «политического», приговоренного к смерти, г-жа Рекамье действовала, не давая себе передышки…

Наконец, Бенжамен пожелал быть причисленным к сонму бессмертных, а Жюльетте приписывали влияние в вопросах избрания его во Французскую Академию… Осенью та как раз должна была пополниться новым членом взамен Биго де Преамене…

Когда Жюльетта отдыхала в августе в Волчьей Долине, явился еще один бывший воздыхатель — принц Август. Много воды утекло, и все же каждый раз при встрече с ней он снова загорался и на некоторое время вновь покорялся ее чарам, чарам их близости в Коппе. Он был в курсе нынешней привязанности Жюльетты к Шатобриану, с которым был знаком со времени его посольства в Берлине. Принц и посол встречались под портретом кисти Жерара, и им, возможно, казалось, будто тот задумчиво по очереди их рассматривает… Победа осталась за послом, но принц ничего не забыл.

Спокойствие Долины было возмущено детскими выходками и фантазиями: Август дал Жюльетте понять, что охотно женился бы на ней, если бы она была свободна. Если бы она была свободна — другими словами, если бы г-н Рекамье отошел в мир иной… Однако г-н Рекамье, несмотря на возраст и недавние финансовые проблемы, оставался неисправимым оптимистом! А молодой Ампер, бывший в Волчьей Долине проездом, услышал о предложении принца. Тотчас же Керубино, который как будто остепенился по возвращении из Италии, снова полюбил

Жюльетту. Почему бы ему не добиться того, что предлагает принц? Жюльетта не сказала «нет». Она даже сказала: «Все это кажется смешно, но вполне может случиться…» И Ампер размечтался… Он признался ей из Вантейля, где после погостил немного у своих друзей Жюсье, «что принц, а более его другой человек, который тоже может оказаться свободным, сильно его тревожат…».

Тем временем принц охотился в обществе французского короля. 7 октября он окажет честь прекрасной Рекамье, прислав ей часть королевской добычи — одну косулю и двадцать фазанов… А потом вернется домой.

3 ноября 1825 года кресло Бито де Преамене занял не Бенжамен Констан, а герцог Матье де Монморанси. В Аббеи ликовали! В Париже все считали, что это избрание было делом рук г-жи Рекамье; пресса повела на нее наступление. На заре следующего года вышла «Биография сорока членов Французской Академии» — естественно, без указания автора. Там была такая шпилька в адрес Матье:

«Г-ну де Монморанси не хватало только титула академика; теперь его история достигла своего завершения: полуреспубликанец в 1789 году, церковный староста при Империи, иезуит в 1821 году, восстановитель Испании в 1822-м, опальный министр, а затем академик; *abyssus abyssum avocat*»[40].

Счастье не ходит в одиночку: вскоре новоиспеченный академик был снова призван ко двору — 11 января 1826 года Матье назначили воспитателем герцога Бордоского, что было весьма завидной должностью.

1 февраля, в часовне Аббеи, Амелия стала госпожой Ленорман. Делеклюз пометил в своем дневнике, что благодаря этому случаю узнал фамилию девушки. Извещение о свадьбе было составлено таким образом: «Господин Сивокт (из Белле), господин и госпожа Рекамье имеют честь известить Вас о бракосочетании мадемуазель Амелии Сивокт, их дочери и племянницы, с господином Шарлем Ленорманом».

Несколькими днями позже, после вступительной речи Матье, в Аббеи состоялся праздник в его честь. В Академии все прошло как нельзя лучше: Матье отвечал граф Дарю, а Шатобриан по такому случаю прочитал отрывок из своего предисловия к «Историческим исследованиям». 17 февраля Бенжамен написал Жюльетте письмо с извинениями за то, что не явился к ней «ни по случаю бракосочетания мадемуазель Амелии, ни ради литературных успехов г-на де Монморанси. Надеюсь, что первое будет содействовать Вашему счастию. Вторые же — торжеству».

Торжество не продлилось долго. Матье был болен, но не до

такой степени, чтобы встревожить своих друзей. Г-жа де Буань рассказывает, что было дальше:

> Ему стало лучше; все надеялись, что он выздоровел, когда, в Страстную пятницу 1826 года, не чувствуя себя достаточно здоровым, чтобы присутствовать на богослужении, он отправился с женой и дочерью в церковь Святого Фомы Аквинского поклониться Кресту. Он преклонил колена, опираясь на стул; его молитва затянулась сверх меры, и г-жа де Ларошфуко попросила его не стоять так долго на коленях. Он не ответил, она подождала еще, потом повторила свои слова, потом перепугалась и попыталась его поднять — он был мертв. Его перенесли в ризницу. Оказанная помощь была напрасной — он уже не дышал. Сердечная болезнь оборвала его жизнь у подножия этого Креста, к которому он так горячо и, думаю, так искренно взывал последние тридцать лет.

Жюльетта примчалась в церковь Святого Фомы Аквинского и в последний раз взглянула на своего друга…

«Я всегда очень любила Матье и оплакивала его, — сообщает нам г-жа де Буань и добавляет: — Отчаянию герцогини Матье не было предела. Ее столь сухая душа вся объята страстью», что, в общем, было расхожим делом. Отчаяние Жюльетты не было шумным. Оно было глубоким, сосредоточенным. Легко себе представить, что не словами герцогини де Брольи: «Какая прекрасная смерть!» — можно было ее утешить… Альбертина права, но она выбрала неподходящий момент, чтобы говорить такое Жюльетте. Та была в состоянии шока. Матье был не только ее молодостью и самым любящим, самым бдительным из ее друзей. Он был еще ее совестью.

Жюльетта подавлена. Уже на Пасху она решила одна запереться в Долине. Она писала Амелии: «Сердце мое надорвалось, когда я вошла сюда, первые минуты были мне столь тяжелы, что я до сих пор считаю, что хорошо сделала, не позволив тебе поехать со мной…»

Затем она на несколько дней отправилась к своим друзьям в Анжервилье, как часто делала в минуты несчастий или отчаяния… Жюльетте было нужно, чтобы прошло время, чтобы свершился траур, чтобы раны зарубцевались и с ними можно было жить. Внезапные кончины не самые легкие для тех, кто остается на этом свете.

Адриан, находившийся в Риме, был потрясен; как и Жюльетта, он испытал ту же потребность бежать из города,

замкнуться в одиночестве и прислушаться к своему сердцу. Он писал ей 9 апреля, находясь «за 24 мили от Рима»: «Благодарю Вас, дорогой друг, что вы поверили мне Вашу печаль, оросили меня Вашими слезами, и если Ваше сердце разрывается от горя и ищет общества таких же несчастных, как и Вы, и по той же причине, что и Вы, вы правильно сделали, вспомнив обо мне. Вы знали все добродетели его жизни, как знали Вы и все слабости моей…»

Что хочет сказать Адриан? Любезный Адриан, само совершенство? Как странно, что под влиянием сильной боли — Матье был ему как брат, их судьбы никогда не расходились, — Адриан обронил эту откровенность, тайну своей жизни, о которой Жюльетта, разумеется, знала уже давно, которая так хорошо скрывалась за внешними приличиями, а теперь вдруг вышла на поверхность с откровенностью, уже не повиновавшейся перу. Мы об этом догадывались: Адриан был не один в своем романтическом и горестном одиночестве, в роскошной обстановке, на берегу моря, говоря о прервавшемся великом роде с отрешенностью уцелевшего, того, кто оплакивает ушедших и самого себя… Подле него был юный секретарь «семнадцати лет, поселившийся в старой хижине рядом с разрушенным старым фортом, охраняемым семнадцатью солдатами и двумя десятками рыбаков… Эти развалины, это одиночество, это море — все эти немые предметы мне по душе», — признается он…

Через некоторое время он вернется к своему юному спутнику: «Я заберу с собой это почти дитя, впрочем, уже столь рассудительное, любезное, разумное, интересное, чтобы дать ему хорошее образование, и попрошу Вас иметь к нему дружбу, обещанную ему другом моей крови…» Все понятно. Добавим, что такие излияния в подобный момент особенно показательны.

Жюльетте пришла мысль собрать воедино документы, относящиеся к христианской и поборнической жизни Матье (теперь нам известно, какую роль он сыграл во время Империи в пользу плененного папы, а затем, при Второй Реставрации, среди тайных обществ — рыцарей Веры, Конгрегации) и попросить певца христианства написать его биографию. Шатобриан подумает над этим, но не доведет проект до конца. Как и многие современники, он отдаст дань уважения Матье: в своих мемуарах он рассказывает о погребении в Пикпюсе и отмечает ужасную деталь: гроб опрокинулся, прежде чем опуститься на дно могилы, словно этот христианин «приподнялся на боку, чтобы еще помолиться…».

***

У Жюльетты был еще один дорогой ее сердцу план — обеспечить карьеру Ленорману: она хотела бы, чтобы он получил какой-нибудь государственный или дипломатический пост, и с этой целью обратилась к герцогу де Дудовилю. 30 июля тот прислал ей записку, обещая поговорить с королем.

Благодаря влиянию г-жи Рекамье Ленормана-таки «поставили на рельсы», хотя расцвет его карьеры настал лишь при Июльской монархии. У молодой семьи были далеко идущие планы, она сгорала от нетерпения…

В августе молодой Ампер, который решительно отрекся от своих поэтических и любовных восторгов, несколько напуганный матримониальными планами, которые строили в его отношении его отец и знаменитый палеонтолог Кювье, хотевший выдать за него свою дочь Клементину, отправился по совету Жюльетты в Германию. Он решил изучить на месте интересовавший его язык этой страны и ее литературу. Наконец-то обозначилось его истинное призвание!

Это путешествие, отражавшееся во взаимной переписке, стоило Жюльетте небольшой неприятности, произошедшей следующей весной: после зимы в Бонне Жан Жак приехал в Веймар и побеседовал с великим Гёте. В письме к Жюльетте от 9 мая 1827 года он подробно рассказал об этой чарующей встрече. Жюльетта «подкинула» письмо в «Глоб» (без разрешения его автора), и газета, разумеется, опубликовала отрывок из письма, в котором описывался Гёте «изнутри», а также веймарский двор. Это чуть не поссорило ее с Керубино, который решил, что она поступила нечестно. Жюльетта оправдывалась тем, что хотела «подтолкнуть» на литературном поприще своего протеже, организовав ему «дебют». По счастью, Гёте не обиделся на Ампера, которого высоко ценил, а Ампер недолго сердился на очаровательную подругу, которая была бы неважным — или чересчур хорошим — главным редактором… В то время правил профессиональной этики в журналистике почти не существовало, но все-таки!

Ампер продолжил свой путь через Берлин и Скандинавию до самого полярного круга, откуда он послал несколько изящных строчек в Аббеи… Затем снова вернулся в Южную Германию, а оттуда в Париж, уже зимой. Клементина Кювье умерла в сентябре. Жан Жак скорбел о ней, тем более что, как ему стало известно, перед смертью она была помолвлена с другим… При всем при том он вернулся излеченным.

В Аббеи радость от встречи с путешественником была велика. Сам Шатобриан проявил интерес к незаурядной личности молодого человека, его игривому уму, образному перу,

опиравшемуся отныне на пережитый опыт и подлинные знания. К тому же вместе с Ампером в салон Жюльетты явилась целая плеяда подающей надежды молодежи, по большей части ученых, но и литераторов тоже: после Жюсье, Делеклюза, Ленормана, Юлиуса Моля вскоре настанет черед Мериме и Сент-Бёва…

Могло ли это дыхание жизни смягчить траур Жюльетты?

Старый семейный круг, в основном состоявший из лионцев, с каждым годом редел: в 1821 году тихо угас Камиль Жордан, потом, пока Жюльетта была в Италии, — Анетта Дежерандо, а совсем недавно — Лемонтей, скептический завсегдатай субботних ужинов, так же как и Брийя-Саварен, упомянувший свою прекрасную кузину в «Физиологии вкуса» и ушедший из жизни вскоре после свадьбы Амелии… За ними последовали Матье, потом великий Тальма. Осенью 1827 года Жюльетта узнала о скоропостижной смерти в Коппе Огюста де Сталя — кавалера Огюста, нежного воздыхателя из Шомона, который после кончины своей матери посвятил себя ее памяти и творчеству…

26 декабря Бенжамен, справлявшийся у Жюльетты о старых письмах г-жи де Сталь, чтобы передать их Брольи, так прокомментировал это событие: «Какую благородную карьеру прервал удар молнии! Из всей семьи больше всего я гордился Огюстом…»

Аббеи снова в трауре: в марте 1828 года умерли сначала г-н Симонар, а затем и г-н Бернар, оба уже в преклонном возрасте. Мы знаем, что друзья с юных лет никогда не расставались, даже в почти одновременном уходе из жизни как будто выражалась их тайная воля не разойтись между собой… Из благородных отцов оставался только г-н Рекамье, которому г-н Бернар завещал свой серебряный таз для бритья и дорожную шкатулку из красного дерева. Казалась ли бывшему банкиру пустой квартира на улице Вье-Коломбье? Мы этого не знаем. Зато нам известно, что он продолжал вести бурную жизнь, что всегда было ему свойственно. По свидетельству Балланша, он редко ужинал в Аббеи — чаще в городе или за городом.

К этим напастям добавлялось чувство неуверенности, вызванное недавним правительственным кризисом: испытывая давление со всех сторон — недовольство общественности, оппозиция справа и слева, а главное — зажигательные речи Шатобриана, — король был вынужден расстаться с человеком, который обеспечил преемственность его политики после кончины его брата. Виллель пал, став жертвой своей попытки обновить закон о печати (Шатобриан во всеуслышание поносил проект закона, прозванного им «вандальским»), а также несвоевременного и непопулярного роспуска национальной

гвардии. Была надежда, что благородного виконта призовут в новый кабинет под председательством Мартиньяка; король его отверг, но в конце концов сделал послом в Риме. Адриана назначили в Вену.

Тревога Жюльетты по поводу скорого отъезда Шатобриана усиливалась от того, что ей предстояло расстаться с Амелией: Ленормана назначили в экспедицию под руководством Шампольона, которая должна была отправиться в августе 1828 года в Египет. Амелия будет сопровождать мужа до самой пристани, в Тулонском порту. Она намеревалась пожить там до тех пор, пока не получит первое письмо от Ленормана.

Жюльетта осталась в Париже в обществе Балланша, который как никто умел ободрить ее в трудные моменты. Но когда превосходный друг пишет к Амелии, в его словах слышатся жалобы Жюльетты:

> От этой жизни, сотканной из неуверенности, возводимых и разрушаемых планов, отъездов и отсутствий, о которых никогда не знаешь, когда они закончатся, невозможности рассчитать встречи, у меня голова идет кругом…

Амелию занимают детали протокола, которые она намерена уладить «наверху», как и положено, — то есть через неотложное заступничество тети перед адмиралом Алганом и министром военно-морского флота де Невилем: нужно добиться, чтобы Ленормана допускали за стол капитана фрегата «Эгле» наравне с Шампольоном! Жюльетта все сделала.

21 августа она изливает душу племяннице:

> Г-н де Шатобриан заболел (ревматической лихорадкой). Его отъезд по-прежнему назначен на начало сентября. Как грустно ото всех этих отъездов! Как тяжела жизнь! Когда же мы все соберемся вместе? Прощай, моя бедная дорогая Амелия, возвращайся как можно скорее отдохнуть на моей груди и ждать и постарайся усмирить свое воображение и заботиться о своем здоровье. Г-н Ленорман, когда вернется, должен найти тебя свежей, точно королева цветов.

14 сентября 1828 года Шатобрианы — ибо на сей раз виконтесса решила сопровождать мужа — отправились в Италию. Около 10 октября они прибыли в Рим. Там они пробудут примерно семь месяцев. Жюльетта надеялась к ним присоединиться и, если бы посольство продлилось подольше —

кто знает, — поселиться в Вечном городе, посреди своего маленького общества… Пока же великий человек поручил ей непростую задачу: добиться постановки «неиграбельной» трагедии под названием «Моисей», которую он написал еще при Империи…

Посольство в Рим

Это посольство будет не столь политизированным, как предыдущее, в Лондон, но таким же пышным, а в общем, более приятным. Шатобриан вновь увидел Рим, и «волшебное действие», которое оказал на него этот город, было подобно эстетической и духовной вспышке…

Не то чтобы удаление от Парижа было ему по душе: Карл X знал, что делал, отправляя его в Рим, и Шатобриан порой с горечью задумывался о возможных интригах, которые велись в Замке во время болезни его непосредственного начальника — министра иностранных дел Ла Ферроне, и хотя, в некотором роде, смерть папы Льва XII оказалась ему на руку, наделив деликатной ролью в переговорах конклава, он не строил никаких иллюзий относительно важности своей деятельности в европейской дипломатии. Как всегда, его внутренний мир отличается разнообразием: Рим приводит его в восторг, но в то же время неотступно преследует мыслями о смерти и уничтожении. Он скучает по Жюльетте. Ему тяжело от присутствия г-жи де Шатобриан. Тогда он берется за перо и с трогательной доверчивостью делится всем с той, кто ждет его в Париже, заботясь о его политических и литературных интересах.

Художник Огюст де Форбен, познакомившийся с Жюльеттой именно в Риме в 1814 году, вернулся в Вечный город в 1828 году и был принят французским послом во дворце Симонетти. По словам г-жи Сальваж, тоже отправлявшей Жюльетте подробные письма из Рима, Форбен так отозвался о Шатобриане: «Он показался мне орлом, запертым в курятнике».

Госпожа Сальваж была далеко не красавицей: у нее был длиннющий нос, и Адриан подметил эту черту, описав ее не лестно, но метко: «Нужно быть с ней поосторожнее. Если она рассердится, то проткнет вас своим носом!..» При всем при том ее письма к Жюльетте весьма забавны: в них открываешь для себя Шатобриана-человека, который смеется, как ребенок в кукольном театре (в палаццо Фиано), что супруга посла комментирует таким образом: «В Париже, когда думали, что он занят чем-то серьезным, его мысли часто уносились к Полишинелю». В то же время г-жа Сальваж посылала Жюльетте подробные и регулярные отчеты о жизни во дворце Симонетти, маленьких неприятностях, например, супруги посла: «Ей все руки расцарапал кот, подаренный папой, которого ей очень хотелось заполучить, и она выпросила его себе». Любовь этой странной пары к семейству кошачьих — не самая антипатичная его черта: 2 апреля г-жа

Сальваж сообщила в Аббеи, «что кот папы удостоен чести быть допущенным в спальню г-на де Шатобриана», супруга же его нашла утешение с котом горничной… В переписке Жюльетты как бы между прочим говорится о том, что к послу вернулись все прежние чувства к Риму…

Что это значит? Смерть папы, а затем собравшийся конклав вызвали бурю деятельности в канцеляриях, которые, разумеется, хотели попытаться повлиять на избрание нового понтифика сообразно их дружескому расположению и расстановке сил… Только ли этим можно объяснить перемену тона и настроения Шатобриана? Он вновь увлечен и явно помолодел… Как странно! Как по волшебству, всё прояснилось — и небо, и его душа: он в восторге, конклав подвигается, его архивные поиски идут хорошо, он возобновил свои прогулки и между голосованиями устремляется из Ватикана к Святому Онуфрию, чтобы проверить и сообщить Жюльетте, что за оградой растут два апельсинных дерева, а не зеленый дуб… Тон его писем к ней весел и энергичен… Куда только девались ревматизм, скука и мрачность…

Жюльетта пока ничего не знает, но вскоре ей станет известно, что Шатобриан завел сразу несколько любовных интрижек. Благодаря несдержанному на язык персоналу посольства мы узнаем, что он осыпал цветами княгиню дель Драго… а на Пасху началась связь, малейшие обстоятельства которой нам сообщит сама заинтересованная особа… Это молодая женщина (она родилась в Милане в 1801 году), которую послу рекомендовала г-жа Амелен и которая окажется привлекательной партнершей, не дикаркой, страстно желавшей заставить говорить о себе, — Гортензия Аллар.

После довольно бурной юности она выйдет в 1843 году замуж за г-на де Маритана, не зажившегося на этом свете, и получит известность в литературе под псевдонимом «г-жа де Саман». Она опубликует несколько романов, в том числе «Сикст» и «Индианка», но позднюю скандальную славу ей принесут в основном откровения о ее связях, сопровожденные предисловием Жорж Санд и озаглавленные «Очарование осторожности». Мы узнаем о ее встречах с Шатобрианом, прекратившихся весной 1830 года и впоследствии время от времени возобновлявшихся, о подробностях, ничего не добавляющих к славе писателя… Мы разделяем мнение Барбе д'Оревилли, которому претили бахвальство и бесстыдство этой книги: он не мог простить автору того, что она «раздела» на виду у всех очаровательного и стареющего мужчину, легко поддавшегося ее чарам…

Гортензия Аллар, использовавшая все средства без разбора,

лишь бы прославиться, была, впрочем, доброй, хотя и бестактной девушкой, за неимением лучшего она дала себе то, чего не добилась от славного писателя — немного известности, связанной с великим именем… Из двух литературных авантюристок, попавшихся Жюльетте на жизненном пути (вторая — Луиза Коле — появится позже), Гортензия Аллар была самой интересной. Не столько благодаря себе самой, как благодаря своему влиянию на Сент-Бёва, на которого она обратит свое благосклонное внимание после автора «Агалы», — тот читал интимные письма Шатобриана и, как и его ровесница Гортензия, был очарован великим человеком, отцом новой чувственности, которого потом захочет убить…

Сегодня, когда мы одинаково восторженно относимся ко всему, нам трудно представить, как властно Шатобриан царил тогда в мире литературы: Гюго и Бальзак только начинали, Стендаль был известен лишь узкому кругу. Ламартин оставался в тени. Мериме и Сент-Бёв почти не существовали… Опираясь на престиж своей официальной роли, Шатобриан господствовал безраздельно. Если для нас он — автор посмертного произведения, «Замогильных записок», то для людей его эпохи он в основном был творцом «Рене», «Агалы» и «Гения христианства», иными словами, представал отцом романтизма, мастером образа и слова. К тому же он был грозным полемистом и членом Академии, перед которым заискивали. Нет ничего удивительного, что дети нового века поклонялись ему, хотя впоследствии с тем же пылом отрекались от этого поклонения, не лишенного некой опаски… Вместе читая зажигательную прозу своего кумира, Сент-Бёв и его нескромная подруга, должно быть, провели сладостные минуты… Слабости великого человека, вероятно, забавляли их, а главное — ободряли.

Позже, после смерти Жюльетты и Рене, Гортензия Аллар напишет такие строки своему старому сообщнику:

> Я всегда хвалила г-жу Рекамье и никогда не оказывала ей плохой услуги. Она это знала и говорила в мой адрес тысячу приятных вещей; она считала, что я упорхнула, а она не была злопамятна. Я никогда к ней не ревновала, никогда не стремилась быть упомянутой в «Замогильных записках»: конечно, я слишком мало значила, чтобы там фигурировать, к нашим отношениям примешивались другие связи, у нас с Рене была разная вера, я была не из его лагеря и не относилась к женщинам из его свиты.

Почему она не оставалась столь же скромной до конца?!

***

Однако вернемся в Рим, где, пока Рене и Гортензия развлекались и проводили долгие часы, запершись в ее квартире на улице Четырех Фонтанов, что подле Квиринала, разворачивались пасхальные торжества, следуя неизменному ритуалу и с неизменной же пышностью… Рене откликнулся на это более чем живо; вот что он писал Жюльетте:

> Суббота, Рим, 11 апреля 1829 г.
>
> Вот уже и 11 апреля: через неделю Пасха, через две — мой отпуск, а потом я увижу Вас! Все тонет в этой надежде: я более не печалюсь, не думаю о министрах и политике. Увидеть Вас — вот и всё; остальное я ставлю в медный грош.
>
> Завтра начинается Страстная неделя. Я подумаю обо всем, что Вы мне сказали по этому поводу. Отчего Вы не здесь, чтобы слушать вместе со мной прекрасные песни скорби?!А потом мы отправились бы на прогулку в пустынные поля под Римом, теперь покрытые зеленью и цветами. Все развалины как будто помолодели с наступлением весны. Я из их числа.

Натура Шатобриана позволяла ему жить в нескольких регистрах и одновременно испытывать разнообразные чувства. Не будем обманываться, как не обманывалась и Гортензия Аллар: в центре жизни писателя оставалась его любовь к г-же Рекамье и его потребность в ней, не только каждый день, но и далее, навеки связанной с тем его образом, который он оставит потомству… Поэтому он оставлял для нее лучшее в себе, самые потаенные свои мечты, переживания, амбиции, тревоги, разочарования, канву своей души, которые питали его перо, а то как нельзя лучше передавало их в цвете и движении. И об этом знала Жюльетта.

«Это было время, когда она более всего была им довольна», — скажет впоследствии г-жа де Буань, вспоминая посольство в Рим… Какое ей было дело до возможных любовных похождений! Шатобриан великолепно умел подобрать слова, чтобы их замаскировать…

***

В Аббеи Жюльетта ждала: ее племянница снова уехала в

Тулон, откуда надеялась отплыть в Грецию вместе с мужем, который должен был за ней заехать. Она ждала также посла, не зная, сколько времени продлится его отпуск и сможет ли она его сопровождать, когда он вернется в Рим. Как всегда, Жюльетта, любившая ясность, сетовала на такую неопределенность. Амелия, называвшая «благородного друга» своей тетушки «грубияном», не умевшим оценить ее душевной привязанности, всё же надеялась, что возвращение виконта ее развлечет. Она не ошиблась. 1 июня 1829 года тетя ей сообщила:

> Г-н де Шатобриан приехал еще в четверг; я была счастлива увидеться с ним, еще более счастлива, чем я предполагала… Если г-н де Шатобриан вернется в Рим, вероятно, я проведу там зиму… Возвращение г-на де Шатобриана вернуло мне жизнь, которая уже угасала. Мои еще столь юные впечатления позволяют мне лучше понять твои.

Она шутит — и жеманится. Это сообщничество между двумя женщинами…

В салоне Жюльетты 17 июня читали «Моисея». «Лафон читал очень плохо, потому что рукопись была дурна, — писал Амелии Балланш. — Тогда г-н де Шатобриан начал читать сам: таким образом, интерес возместил то, чего могло недоставать чтению. Однако ваша тетушка была как на иголках…» Среди собравшихся было одно новое лицо — Мериме. Присутствовавший там Ламартин вспоминал, что Шатобриан, в тот день сидевший под портретом Коринны, был похож на «постаревшего Освальда, прятавшего за ширмами и дамскими креслами некрасивость своих неровных плеч, низкий рост и тонкие ноги…»

В середине июля Рене и Жюльетта расстались: он поехал на воды в Котере, в Пиренеях, где намеревался встретиться с одной из своих почитательниц, с которой переписывался уже некоторое время, — Леонтиной де Вильнёв. Эта «окситанка», разочаровавшая его при встрече, все же подала ему идею романа, к которому он сделал наброски, но так и не написал. Что важнее, он узнал о падении правительства Мартиньяка и его замене Полиньяком, бесталанным «крайним», которого считали незаконным сыном короля… Рене ухватится за этот повод подать в отставку с поста посла в Риме.

В это время Жюльетта жила в Дьепе, в компании Балланша. Она писала Амперу, который отправился в Гиер к больному отцу, что «ложится в девять часов, встает в шесть, принимает морские ванны, которые должны совершенно ее преобразить, читает, гуляет по берегу моря, думает и мечтает о своих друзьях, по

утрам делает несколько визитов и проводит вечера с г-ном Балланшем…». К несчастью, мирное течение жизни было нарушено приездом дофины и герцогини Беррийской: празднества, балы, иллюминация раздражали ее. Это чувствуется из писем герцога де Дудовиля, который, по обыкновению, ей сочувствовал: «Все эти нынешние волнения, распри, переживания ранят Вашу чувствительную душу, Ваш мудрый ум, Вашу бескорыстную любовь к добру; все эти отставки проходят не так спокойно, как моя…» Ибо, конечно, Жюльетта снова задавалась вопросом, что уготовит судьба Рене…

Все это усугублялось мелкими неприятностями: заручившись согласием Адриана, она решила оказать услугу своей соседке по Аббеи, весьма настойчивой г-же Жюно: нужно было подыскать место для одного из ее сыновей. В начале лета Адриан согласился взять его с собой в Вену. Неудачная мысль! Молодой Жюно для начала наделал долгов, отказался даже появляться в посольстве и заслужил себе у товарищей репутацию «взбалмошного, странного и непоследовательного». Пришлось оберегать его мать, тайно прибегнуть к помощи ее старого друга Меттерниха, уладить дело полюбовно… Г-жа Сальваж устраивала сцены из Альбано: она разочарована, она ждала Жюльетту. Она ревнует к г-жам Свечиной и Нессельроде, ведь они тоже в Дьепе. Несмотря на всю мягкость Жюльетты, она чувствовала горечь… В Аббеи меняют убранство — как это воспримет ее окружение?.. И самое неожиданное: у Балланша роман! Ленорман так пишет об этом Амперу: «Да, роман весьма некрасивый, с жадной старой девой по имени мадемуазель Мазюр, разыгрывающей сильную страсть к автору „Антигоны“. Бедняга не может оставаться безучастным к выражениям восторга, к которым он не привык. Но мы надеемся, что это приключение не принесет ему вреда и не выставит на посмешище…»

Осенью, устроившись, на сей раз окончательно, в больших апартаментах второго этажа, которые г-жа де Буань и Шатобриан нашли превосходными, Жюльетта встретилась с Адрианом: он выехал из Вены в Лондон «с поручениями в пользу греков»…

Жюльетта попросит его позаботиться об одном молодом друге Ампера, очень одаренном человеке, которому можно было бы подыскать место в Лондоне, как устроили юного Жюно в Вене: речь о Мериме. После нескольких переговоров герцог де Лаваль был готов принять его в число своих атташе. Увы, молодой человек раздумал быть дипломатом. Своему ходатаю — Жюльетте — он привел в пример «простого солдата», который должен следовать за «генералом»! Генералом, как можно понять, был Шатобриан… «И потом, — добавил он, — от болезни

писательства не излечиваются!» Ладно. Как можно было ожидать, Мериме обиделся на Жюльетту за то, что она попыталась сделать для него или, скорее, для Ампера…

Начало зимы выдалось мрачным: политическая напряженность с каждым днем становилась все тягостнее. Герцог де Дудовиль, так хорошо знавший Жюльетту, поделился с ней своим неодобрением того, что он называл «опасными декламациями…». В его глазах вещи представали в более темных красках. Он опасался «революционных путешествий Лафайета и компании», отмечал «брожение в умах, бред в головах, страсти, примыкающие к ним амбиции, которые сбивают с толку столько людей…». Короче, послушать его, так надлежит готовиться «к новым потрясениям, как в 1789 году». Верно подмечено, надо признать.

В этой тревожной обстановке у Жюльетты прошло чтение «Гамлета» в новом переводе Вайи, в присутствии, как она писала Амперу, «полусотни романтиков, все они в восторге, однако я остерегаюсь такого энтузиазма»… На дворе 11 октября, до премьеры «Эрнани» еще четыре месяца!.. Жюльетта сообщает Амперу, что она развлекается, помогая Шатобриану в кое-каких исследованиях: «Г-н де Шатобриан по-прежнему занят своими историческими трудами, с нетерпением ожидая увидеть историю в действии…»

Ждать долго не придется. Год, завершающийся образом Жюльетты, которая по просьбе Рене читает Тьера, Минье и Тацита, замыкает десятилетие, прошедшее для дамы из Аббеи под знаком Шатобриана, его назначений, поездок, опалы, его оппозиции и, в меньшей мере, его писательской деятельности. Но все переменится: завтра наступит 1830 год, год разрывов и разломов, переломный год в политической и литературной жизни их страны, а во многих отношениях — и их собственной жизни…

Июльские дни…

Для г-жи Рекамье первым делом изменилось ее личное положение: в понедельник 29 марта 1830 года, примерно в три часа пополудни, в присутствии Жюльетты, доктора Рекамье и еще одного врача, примчавшегося в последний момент, (беременной) Амелии и Балланша, г-н Рекамье скончался в большом салоне Аббеи. Дожив почти до восьмидесяти лет, не изменяя своему обычному оптимизму, он почти никогда не болел, если не считать непродолжительной лихорадки в предыдущем году, ничем не нарушившей его приятного времяпрепровождения. Балланш отметил, что «он на порядок сдал», но всем остальным его жизненная сила по-прежнему казалась поразительной. Ленорманы прокомментировали это событие в письме к Амперу, бывшему тогда доцентом в марсельском Атенее: «Мы потеряли бедного дядюшку 29 марта; он не страдал и ни на минуту не подозревал об опасности, но эта катастрофа после полутора суток болезни только сильнее поразила, поскольку была более неожиданной».

Балланш справедливо выразился по этому поводу: «Он забывал принимать годы один за другим, по мере того, как они приходили; пришлось взвалить их на себя все зараз».

Счастливый человек! Почувствовав, что надломился, он пришел к Жюльетте и там угас, как и жил, — самым естественным образом!

Жюльетта, по словам ее окружения, была «сильно потрясена», однако старалась держаться молодцом… Сколько воспоминаний, чувств, самокопания, должно быть, вызвала у нее эта внезапная смерть!

«Трудно было встретить менее совпадений во вкусах, настроении, уме и характере, чем между г-ном и г-жой Рекамье; одно-единственное качество было для них общим — доброта; и тем не менее в необычном их союзе, длившемся тридцать семь лет, постоянно царила полная гармония. Потеряв его, г-жа Рекамье как будто во второй раз потеряла отца…»

Г-жа Ленорман права. Из девочки, на которой он женился во время Террора, Рекамье сделал самую красивую женщину Парижа, если не самую счастливую. Никогда, разве что немного, во время изгнания, он не отказывал ей в любящем покровительстве. Рекамье любил Жюльетту, как отец, желавший ей добра. И Жюльетта платила ему тем же. Она выполняла и свои обязательства. Их заслуга и элегантность состоят в том, что они изначально сумели выйти с честью из ненормальной ситуации.

Закрыв глаза г-ну Рекамье, Жюльетта перевернула самую тайную, но не менее почетную страницу своей истории. Ей не за что было краснеть. Последний поступок элегантного банкира, продиктованный доверием, тому свидетельство. Как в случае Матье де Монморанси, друзья г-на Рекамье могли сказать: «Какая прекрасная смерть!» По крайней мере, она наступила вовремя.

Супруги Шатобриан отреагировали по-разному. Г-жа де Шатобриан — с теплотой, не совсем уместной в данном случае. Рене был погружен в задумчивость.

Адриан не забыл ее и прислал соболезнования из Лондона. Госпожа Сальваж оказалась довольно проницательной: «Вы говорите, что Ваше будущее холодно и мрачно. Если я знаю Вас так хорошо, как Вы говорите, если я верно оценила Ваши впечатления в тот момент, когда порвались связывавшие Вас узы, я не могу подумать, что это событие послужило к упадку духа, заставляющему Вас смотреть на будущее сквозь черную пелену. Есть ли у Вас какое-нибудь горе?»

9 апреля Жюльетта решила провести две недели в Боннетабле, у герцогини Матье. Зациклившаяся на своем непримиримом ультрароялизме и моральном конформизме, она выглядела карикатурой на женский тип, получавший все большее распространение: старая вдова-святоша, утрированная утонченность которой сравнима только со скупостью. Последнюю черту не без иронии подмечает г-жа де Буань — у этой «странной особы» она особенно бросалась в глаза:

> Она не обделена умом, рассказывает довольно смешно и непревзойденным образом считает свои экю. Поскольку она всегда больше всего любила деньги, то полагает, что Бог разделяет ее вкусы. Когда она чего-либо хочет, то отправляется к алтарям и обещает доброму Боженьке более-менее круглую сумму, в зависимости от важности предмета. Если ее желание исполняется, она добросовестно платит. Но ничего не дает, если ничего не вышло…

Как и мы, г-жа де Буань, наверное, спрашивала себя, о чем могут говорить эти две столь непохожие вдовы…

Возможно, Жюльетта искала в Боннетабле лишь немного покоя и живые воспоминания о Матье. Властная Гортензия попытается — безуспешно — вовлечь ее в литературный проект: вместе публиковать… цензурованные произведения г-жи де Жанлис! Вот, наверное, посмеялся Шатобриан, когда об этом узнал…

Тем временем Аббеи казалось пустым без своей хозяйки.

Амели без зазрения совести напоминает ей об этом в длинном письме от 14 апреля, которое выражает извечную любовную собственность окружения Жюльетты на нее саму: без нее все идет наперекосяк, она должна вернуться. Балланша разбил ревматизм, дело с наследством г-на Рекамье оборачивается плохо, Амелия скоро родит, и сколько бы ни насмешничали «эти господа» насчет того, что здесь вряд ли пригодится опыт г-жи Рекамье в данной области, все-таки… Амелия опасается перепадов настроения в «монастыре», надеется, что тетушка «проводит больше времени на прогулке, чем на мессе» (!), что «ее герцогиня не слишком ее утомляет»… И потом все эти дамы рвутся на ее террасу, чтобы посмотреть на кортеж, когда раку святого Винсента де Поля будут переносить к лазаристам, г-жа де Шатобриан и ее кузина уже записались первыми… Высший аргумент: в Аббеи скоро зацветет сирень!

Жюльетта вернется. Но скоро, в июне, снова уедет в Дьеп. Тем временем Амелия произвела на свет девочку, названную в честь двоюродной бабушки. Или приемной бабушки — как угодно. Жюльетте, которой исполнилось пятьдесят два года (и Жерар написал ее сидящей, в профиль, все такой же грациозной), наверное, было тяжеловато смириться со своим новым качеством, новым гражданским статусом — вдовы и бабушки.

***

Во вторник 27 июля 1830 года Шатобриан приехал к Жюльетте в Дьеп и провел несколько часов в ее обществе, в отеле «Альбиан», «беседуя и глядя на волны». Политическая обстановка была напряженной: в мае палата депутатов воспротивилась королю и в своем «Обращении 221-го» ясно дала понять, насколько она не одобряет правительство Полиньяка. В ответ Карл X ее распустил. Несмотря на недавние успехи в Алжире, новая палата в большинстве своем была либеральной. Король должен действовать. Опасаются попытки государственного переворота. Появляется добрый Балланш со свежими новостями: публикация четырех королевских ордонансов, отменяющих свободу прессы, распускающих новый парламент, изменяющих закон о выборах и назначающих выборы на следующий месяц. Шатобриан не ошибся: момент серьезный, ему нужно немедленно возвращаться в Париж. Он «сел в карету в семь часов вечера, оставив своих друзей в тревоге»…

По дороге Шатобриан перечитал в «Мониторе» королевские ордонансы: они ужасно нескладны и выражают «полное

неведение о состоянии современного общества»… Брожение умов таково, что Париж может восстать… Шатобриану не хочется такое пропустить…

Он прав. В тот день король остался в Сен-Клу, тогда как Мармон развернул королевские войска в столице. Вечером начались первые столкновения, из мостовых вынимали булыжники, в бедных кварталах строили баррикады. Шатобриан, подробно рассказавший об этих днях в «Записках», писал, что тогда «старые тактики революции еще помнили пути к ратуше, а прежние мятежники наставляли молодых инсургентов». И добавляет — потрясающий ракурс: «В Сен-Клу играли в вист».

В среду 28-го, в пять часов утра, Париж был объявлен на осадном положении. Восстание ширилось. Три колонны, развернутые Мармоном, чтобы ему противостоять, потерпели поражение. Бились на Аркольском мосту и на подступах к ратуше, на которой удалось поднять трехцветный флаг.

В четверг 29-го Мармон, отступивший к Лувру и Тюильри, был вынужден оставить свои позиции. Как национальные гвардейцы накануне, два из его полков примкнули к мятежникам. Мармону пришлось вывести войска из Парижа. Под вечер «трех славных дней» Бурбоны, не покидая Сен-Клу, были побеждены.

В тот же день Шатобриан сообщил обо всем Жюльетте.

> Четверг, утро, 29 июля 1830 г.
>
> Пишу Вам, не зная, попадет ли к Вам мое письмо, ибо почту больше не отправляют.
>
> Я вступил в Париж: под звуки канонады, перестрелки и набата. Сегодня утром набат еще звучит, но, выстрелов больше не слышно: говорят, что происходит организация и сопротивление будет продолжаться, пока ордонансы не отзовут. Вот непосредственный результат, не говоря уже об окончательном результате клятвопреступления, по меньшей мере явную вину за которое мерзкие министры возложат на корону. Национальная гвардия, Политехническая школа — всё в этом участвует. Я еще никого не видел. Можете судить, в каком состоянии я нашел г-жу де Шатобриан. Люди, которые, как и она, уже видели 10 августа и 2 сентября, остались под впечатлением террора. Один полк, 5-й линейный, перешел на сторону Хартии. Ясно, что г-н де Полиньяк и его правительство — главный виновник [sic], какой только есть. Его бездарность — плохое оправдание: амбиции при отсутствии талантов — преступление.

Говорят, что двор в Сен-Клу готов уехать.

О себе не говорю. Мое положение тягостно, но ясно. Взвился трехцветный флаг. Я же признаю лишь белое знамя. Я не предам ни короля, ни Хартию, ни законную власть, ни свободу. Так что мне нечего говорить и делать, только ждать и оплакивать мою страну.

Несмотря на жгучее желание видеть Вас, несмотря на то, что мне всего недостает в Ваше отсутствие — счастья, чтобы жить, и воздуха, чтобы дышать, — оставайтесь, где Вы есть, выждите несколько дней; я буду писать Вам каждый день. Мне было бы весьма сложно, из-за страхов г-жи де Шатобриан, выехать и отправиться к Вам, оставайтесь же, пока все не уляжется. Одному Богу известно, что теперь будет в провинции; уже поговаривают о восстании в Руане; с другой стороны, Конгрегация вооружит шуанов и Вандею. От чего только зависят империи! Одного ордонанса и шести жалких, бесталанных или бессовестных министров достаточно, чтобы превратить самую спокойную и цветущую страну в самую мятежную и несчастную.

Полдень.

Стрельба возобновилась; как будто атакуют биржу, где окопались королевские войска. В предместье, где я живу, начинается восстание; поговаривают о временном правительстве, вождями которого стали бы генерал Жерар, герцог де Шуазель и г-н де Лафайет.

Вероятно, это письмо не удастся отправить. Париж объявлен на осадном положении. За короля командует маршал Мармон; говорят, его убили, но я не верю. Постарайтесь не тревожиться. Да хранит Вас Бог! Мы еще увидимся.

Жюльетта не прочитает это письмо в Дьепе, откуда она выехала в пятницу 30 июля. У ворот Парижа, в Шапель-Сен-Дени; ей пришлось оставить карету и идти через город пешком в сопровождении Ампера и горничной, чтобы добраться до Аббеи. За несколько часов до того она могла бы повстречать странный кортеж — несколько молодых людей узнали Шатобриана и несли на руках до Люксембургского сада: в его лице приветствовали борца за свободу печати.

Бурбоны побеждены, но кто придет на их место? Парижане склонялись к кандидатуре героя войны за независимость Америки, старика Лафайета, который не замарался ни при

Терроре, ни при Бонапарте, ни при власти «крайних». Восстановит ли он республику, как того требовала часть восставших?

Лафайет сознавал, что сторонники республиканского варианта еще находились во Франции в меньшинстве. Тьер предложил выход из сложившегося кризиса: Луи Филипп Орлеанский, осторожный, популярный, либеральный сын Филиппа Эгалите, ждущий своего часа.

В субботу 31 июля Лафайет принял в ратуше главу младшей ветви королевского дома. Луи Филиппа сделали королевским наместником. Он обратился к парижанам с прокламацией, восстановил трехцветную кокарду, назначил временное правительство и очень ловко отказался от королевского звания: он-де хочет получить трон только от парламента… Это произойдет 7 августа: республику задвинули в пользу буржуазной монархии, но на сей раз божественное право умерло окончательно.

В первых числах августа, до памятного заседания палаты пэров, 7-го числа, Шатобриан должен был принять решение. Он написал королю в Сен-Клу, предоставляя себя в его распоряжение. О нем никто не вспомнил, он был удручен… А король теперь отправлялся в третье изгнание… Что станет делать благородный виконт? Его роль в падении Бурбонов была немаловажной. Яростному защитнику свободы самовыражения как будто нечего было опасаться от королевского наместника, к которому стремились примкнуть не только буржуазия, но и интеллектуальная элита… Кстати, Пале-Рояль был готов его принять. Ему делали авансы… Сама г-жа де Буань вместе с прекрасной Рекамье отправилась к нему. Всем известны были ее связи с младшей ветвью… Как рассказывает г-жа де Буань, Шатобриан был «обижен на Карла X, который не ответил на его письмо; возмущен пэрами, не избравшими его руководителем палаты; в ярости на королевского наместника, не облекшего его властью, к которой его призывали события». Шатобриан зачитал дамам речь, которую он готовил для выступления в палате пэров. В одном из ее пассажей герцог Орлеанский изображался шествующим к трону с двумя головами в руках; всё остальное было выдержано в том же духе. Обе дамы наперебой старались его убедить, что он нужен палате и Франции и что ему уготовано великое будущее. В конце концов великий человек смягчился. В речи, которую он произнес в палате пэров, говорилось уже не о двух головах, а о том, что «он преподнес бы корону герцогу Орлеанскому, если бы она у него была».

Тем не менее Шатобриан остался непримиримым: он ни к

кому не примкнет. Непонятный человек! Падение Бурбонов, в конечном счете, его устраивало: теперь он сможет примириться сам с собой. Без всяких иллюзий относительно их неблагодарности и политической слепоты, Шатобриан будет их защищать, не столько для того, чтобы они вернулись, сколько, чтобы свести воедино свою неоднозначную мысль и свою противоречивую борьбу. Таким образом, государственный министр, отозванный за поддержку Хартии, глава французской дипломатии, восстановивший инквизицию и божественное право в Испании, полемист, который затем клеймил посягательства на свободу печати и тем самым укреплял либеральные чаяния своих сограждан, аристократ, в большой мере способствовавший падению старшей ветви, с достоинством и ясностью решился на почетную отставку. Он послужил старшей ветви, он сражался со старшей ветвью, он будет жалеть о старшей ветви… Расставшись с мечтой о председательстве в правительстве (но расставшись ли?), Шатобриан окончательно предпочел оппозицию. Ее заслугой были достоинство и идеологическая последовательность постфактум. Шатобриан избрал отречение из верности, а также то, что теперь так ему шло — честь.

7 августа он произнес перед немой, оцепеневшей палатой пэров великолепную речь о верности побежденным, которые, если бы ее услышали, не поверили бы своим ушам! «После всего, что я сделал и сказал для Бурбонов, я стану последним из презренных, если отрекусь от них в тот момент, когда в третий и последний раз они отправляются в изгнание». Прекрасный ораторский прием. Освободившись от дела, Шатобриан предстал тем, кем он был — человеком слова.

Подавляющим большинством пэры поддержали новый режим. А Шатобриан завершил свою политическую карьеру.

***

Июльские события произвели важный поворот в жизни Жюльетты: ее старые друзья ушли в отставку, молодые — напротив, заявили о себе… Все это отразится на Аббеи.

Герцог де Дудовиль и герцог де Лаваль отошли от дел одновременно с Шатобрианом. Первый уехал в Монмирайль, откуда желчно писал Жюльетте:

> Передайте от меня поклон госпоже Ленорман и ее счастливому супругу, счастливому благодаря своей жене, счастливому благодаря своей приемной тетушке и

> трижды счастливому благодаря счастливой революции, которая сделает столь счастливыми французов, бывших столь несчастными пятнадцать лет. Сколько счастья! Боюсь, у нас случится от этого несварение желудка, а излишек во всем есть недостаток.

Адриан же отправился на воды в Экс-ан-Савуа, что всколыхнуло воспоминания о былом… Он столь же сильно не одобрял революции, как и герцог де Дудовиль, но его чувства смягчало новое присутствие в его жизни:

> Я нашел в этом потаенное утешение, наполняющее мое сердце тайной и нежностью. Вы представить себе не можете, к какому невинному, прекрасному и очаровательному предмету оно привязалось. Мне бы хотелось, чтобы Вы убедились собственными глазами, до какой степени сие суждение, не являющееся преувеличением с моей стороны, соответствует действительности…

Адриан намеревался провести зиму в Пьемонте и Тоскане: с течением времени сопровождавший его молодой человек, несмотря на все заботы, которыми его окружали врачи, слабел, подтачиваемый туберкулезом… Письмо к Жюльетте с описанием агонии «бедного маленького больного» такое же душераздирающее, как некогда послания князя Пиньятелли…

Что до Шатобриана, то он, если не считать кое-каких перипетий и путешествий, посвятит остаток своих дней завершению труда, за который он взялся много лет назад и который был важнее его жизни, поскольку воссоздавал ее, возвеличивая, придавая ей выпуклость, связность, осмысленность, — «Замогильных записок». Жюльетта решила ему помогать. И отныне она сумеет сохранять безмятежность. Она совладает с тревогами, и ее связь с Шатобрианом в некотором роде примет обратную направленность: психологический переворот станет следствием переворота политического, который только что пережил Рене. Свидетельствует г-жа де Буань: «Разившие его грозовые удары заставили его *привязаться* к ней, вместо того чтобы *привязать* ее к себе…» Одним словом, Шатобриан положился на Жюльетту, которая беспрестанно будет трудиться рядом с ним, поочередно усмиряя его, сдерживая и ободряя в его предприятии.

Жюльетта сумеет превратить свой салон в святилище старого воина, где она будет оберегать его отдых, его настроение и его работу. Не стоит, однако, думать, что Аббеи становилось

окаменелостью, как полагал Ламартин, видевший в нем «академию в монастыре», место, где «учтивость и этикет раскладывали все по полочкам». Другое поколение. Закружившись, поэт забыл, что несколько лет назад он сам дебютировал в этой неофициальной академии и что его дебют походил на воцарение на Олимпе. С течением времени процент «бессмертных» в окружении Жюльетты возрастет, ее салон станет необходимым трамплином, откуда можно было перенестись на набережную Конти, а ее покровительство часто завершалось избранием в Академию — в этом не было ничего несовместимого с талантом, однако это дарило ей не только друзей…

Еще один упрек из уст Ламартина: «Если салон г-жи де Брольи был палатой пэров, салон г-жи де Сент-Олер — палатой депутатов, салон г-жи де Жирарден (урожденной Дельфины Гей) — республикой, то салон г-жи Рекамье был монархией…» Монархом, как можно понять, был Шатобриан. Конечно, но Аббеи ничего не потеряло от этого ни в насыщенности, ни в разнообразии.

После смены династии Жюльетта оказалась в ладу с новыми властями, где у нее было много друзей. Сразу по окончании траура она открыла двери своего салона и продолжала принимать еще чаще, чем раньше, выдающихся мыслителей и литераторов. Освободившись от некоторой сдержанности, навязанной ей официальной ролью, на которую претендовал Рене, она свободно предавалась тому, что ее интересовало: открытию и слушанию новых талантов.

Она уже вышла из возраста празднеств и представлений, выезжала все реже и реже, не поддерживала официальную жизнь (в отличие от своей подруги г-жи де Буань, лично связанной с юных лет с королевой Марией Амелией): она позволяла свету приходить к себе. В центре ее забот оставался, с одной стороны, Шатобриан, а с другой — семейный круг, но она, как всегда, превосходным образом сочетала свои многочисленные дружеские связи с притяжением нарождающегося поколения, этого цветника романтиков, начинавших приобретать известность…

Вопреки расхожему представлению, Реставрация способствовала несравненному расцвету культуры. Выросшие при мире, процветании и обучении парламентаризму дети века, которые теперь получали власть или общественное признание, этого не забывали. Один из самых выдающихся, Виктор Гюго, воздаст Реставрации должное в «Отверженных», заметив: «Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках Провидения».

В тот переломный год, отмеченный кончиной двух крупных

литераторов — Бенжамена Констана, который в последний раз обратился к Жюльетте, чтобы заручиться поддержкой Шатобриана в Академии (но та предпочла ему Вьенне), и г-жи де Жанлис, которая умерла счастливой, увидев восшествие на трон своего бывшего ученика, — пришла блестящая смена: Стендаль вернулся к аналитическому роману, написав «Красное и черное», Гюго поставил своего «Эрнани», смелость которого вызвала жгучую полемику, Ламартин опубликовал «Гармонии», Сент-Бёв — «Утешения», а совсем молодой человек, Мюссе, — «Сказки Испании и Италии»…

Все они прошли или пройдут через Аббеи. Хотя бы для того, чтобы увидеть там возвышающегося надо всеми великого человека. Стендаль после своего визита в Аббеи говорил, что как будто созерцал великого ламу… Сент-Бёв, пославший свои стихи Рене, выждал некоторое время, прежде чем быть ему представленным: он чересчур весело приветствовал политическую отставку великого писателя в газете «Глоб»… Жорж Санд довольно глупо побоялась скомпрометировать себя визитом в салон! Что до дикаря Мериме, «этого молодого человека в сером рединготе, которого очень портил вздернутый нос», по замечанию Стендаля, то он окажется посмелее ее, хотя украдкой не жалел желчи для хозяйки салона. «Не забывай остерегаться», — говаривала ему мать. Он превратил эти слова в свой девиз. Этому можно предпочесть его литературный принцип: «Ничего лишнего…»

На самом деле Мериме не мог простить Жюльетте того, что она отвратила Ампера от великого поэтического будущего… Нам же, напротив, кажется, что именно благодаря г-же Рекамье Ампер смог встать на путь своего призвания, слегка поблуждав в потемках. Под влиянием дамы из Аббеи он становился тем, кем мог и должен был стать: историком и великим компаративистом. Язвительный ум Мериме не узрел корня: он был необъективен в отношении Ампера и еще менее — в отношении Жюльетты. Соперничество было скрытым и относилось к области чувств.

Симпатичный толстый юноша — вот он-то не станет злословить в адрес хозяйки дома, а придет в искренний восторг от оказанного ему приема и чуть ли не бросится в объятия всех присутствующих — введен в Аббеи старой герцогиней д'Абрантес. Он пишет небольшой роман под заглавием «Шагреневая кожа». Его зовут Оноре де Бальзак, но кто тогда о нем знал[41].

Жюльетте в очередной раз приходилось выступать в роли мягкой и деятельной посредницы между старым львом и юными романтическими львятами, расхаживавшими в ее салоне…

***

Однако, несмотря на гибкость и прозорливость нового государя, буржуазная монархия рождалась в муках: к финансовому кризису добавилось некоторое политическое смятение, даже правящие партии укреплялись и сталкивались между собой. Наряду с оппозицией легитимистов, бонапартистов и республиканцев, сцепились ультралиберальная партия движения и партия сопротивления под руководством Казимира Перье, Тьера и Гизо, удовлетворившаяся пересмотренной Хартией.

Когда Казимир Перье возглавил правительство, стабильность восстановилась. Но напряженность оставалась сильной, опасность восстания — постоянной. В такой обстановке Шатобриан вновь взялся за перо полемиста, написав в несколько дней разящий памфлет против предложения об изгнании Карла X и его потомков, поданного одним депутатом, — «О Реставрации и выборной монархии». Брошюру, вышедшую тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров, расхватывали, как горячие пирожки!

Для великого ламы это был просто подарок судьбы, ведь его финансовые проблемы принимали тревожный характер: всю зиму он работал над «Историческими исследованиями», чтобы выполнить контракт на Полное собрание своих сочинений, заключенный с издателем. К несчастью, Ладвока разорился! Бывший министр в свое время решительно отказался от всякого содержания и пенсиона, так что теперь ему предстояло найти выход из тупика. Он решил продать свое маленькое владение на улице Анфер, а также мебель, за счет чего предполагал провести лето в Швейцарии с наименьшими расходами, в обществе своей неизбежной супруги…

Не самая вдохновляющая программа действий… Однако это добровольное изгнание вылилось в несколько прекрасных страниц об обездоленности и верности себе… Шатобриан жил в основном в Женеве, где его любезно принимали, но все равно скучал. Чтобы развеять скуку, писал Жюльетте. Он также посвятил ей стихотворение под названием «Кораблекрушение»[42].

Буря, крушение, бездна, могила… Видно, что настроение его довольно мрачное. «Я совсем не работаю; я ничего не могу делать; я скучаю, но такова моя природа, я словно рыба в воде: если бы только вода не была такой глубокой, мне бы, возможно, было лучше».

Узнав, что в палате депутатов снова поднимался вопрос о запрете на возвращение изгнанной королевской семьи,

Шатобриан написал другой памфлет, который, вопреки ожиданиям, расходился еще лучше предыдущего. Герцог де Дудовиль писал Жюльетте:

Это настоящий подвиг, как смело — опубликовать подобное произведение и сорвать овации роялистов, бонапартистов, либералов, даже республиканцев, не тревожась о правительстве, которое половины бы этого не потерпело в газетах любой окраски. Сен-Жерменское предместье было единственной силой, которой страшился Бонапарт, а г-н де Шатобриан — та сила, которой больше всего боится правительство.

После такого успеха Шатобриан решил вернуться в Париж. Благородный виконт еще слишком живой, чтобы наслаждаться сладкой негой отставки: конечно, он работал над своими «Записками», но он готов в очередной раз их забросить, лишь бы только представилось развлечение, а еще лучше — сражение, на которое можно идти в открытую. Вскоре ход событий предоставит ему такую возможность.

Арененберг, Коппе: поездка-паломничество…

26 марта 1832 года, в долгожданный день возвращения масок и карнавала, весь Париж в ужасе содрогнулся, когда его облетела страшная весть: холера! В памяти оставались далекие воспоминания о средневековой чуме, но было ровным счетом ничего не известно о новой каре, вышедшей из дельты Ганга в 1817 году, которую прозвали «европейской холерой» и которая медленно, беспощадно и без всякой логики охватывала Европу. В Париже она взорвалась подобно бомбе. В один месяц умерло тринадцать тысяч человек. Первая волна выкосила самые бедные и нездоровые кварталы столицы. После передышки — вторая волна эпидемии, накрывшая остальных…

Всеобщее ошеломление: никто не знает, желая родным доброй ночи, кто из них к утру останется в живых. Г-жа де Буань, оставившая в своих мемуарах потрясающие страницы об этих ужасных днях, говорит, что «из дому не выходили, не приведя в порядок свои дела, ожидая, что тебя принесут с прогулки умирающим». Когда паника первых дней улеглась (из-за слухов об отравлении в одном квартале вспыхнули беспорядки, приведшие к резне), общество неслыханным образом сплотилось.

Город, пораженный недугом, в котором ничего не понимал и принимал его с античным фатализмом (большинство врачей ничего не смыслили в инфекционных заболеваниях!), принимал меры, чтобы ухаживать за больными, вывозить и хоронить трупы. Катафалков и гробов не хватало, использовали тяжелые телеги для перевозки мебели, превращали дома в больницы, оборудовали пункты первой помощи на каждом углу. Врачи, священники, молодые люди доброй воли, дамы-патронессы не считались с расходами: любезный герцог де Роган, кардинал-денди, умрет, выхаживая больных… Власти делали, что могли, принцы нарочито посещали больных, утешали их. К несчастью, сопровождавший их премьер-министр, Казимир Перье, тоже подхватит заразу…

Г-жа де Буань жила как все, в своем кругу: заботилась о гигиене в доме, присматривала за своим окружением и вела внешне обычную жизнь. Шатобриан рассказывает: «Каждый продолжал заниматься своими делами, зрительные залы были полны. Я видел пьяниц, сидевших у дверей кабаре, пивших за маленьким деревянным столиком и провозглашавших, поднимая бокал: „Твое здоровье, Холера!“ Холера оказывалась тут как тут, и

они валились мертвыми под стол. Дети играли в холеру».

Вместе с эпидемией в оборот вошло выражение «синий ужас», вызванное цветом трупов. Именно это испытывала Жюльетта, которая, в отличие от своей подруги Адели, не умела бравировать и не скрывала своего страха. Она чувствовала «непреодолимый и почти суеверный ужас» перед холерой, пишет ее племянница. Словно предчувствовала свою судьбу… Улица Севр сильно пострадала, и Жюльетта предпочла оттуда уехать, поселившись у г-жи Сальваж, которая, находясь проездом в Париже, жила на улице Пэ. Жюльетта бы не преминула, при первой возможности, удалиться из столицы, бежать от ее зловония с примесью хлора…

В апреле, в самый разгар эпидемии, одно событие, почти незамеченное большинством парижан, взбудоражило круги легитимистов: говорили, что герцогиня Беррийская высадилась в Провансе и готовится разжечь огонь в Вандее. Амазонка, опираясь на помощь Фелиции де Ларошжаклен, старшей дочери г-жи де Дюрас, тайно — и несвоевременно — ступила на землю Франции, горя решимостью восстановить на троне Карла X. Эта романическая вылазка, которая закончится плачевно, скомпрометирует ряд лиц, в том числе Шатобриана, они обошлись бы без этой рекламы: когда в Париже узнают, что принцесса якобы назначила членами своего тайного правительства герцога де Фитц-Джеймса, барона де Невиля и виконта де Шатобриана, последует суровое возмездие.

16 июня три предполагаемых сообщника были арестованы, им было предъявлено обвинение в заговоре против государственной безопасности. Дело было не из легких, но разрешилось проще, чем можно было ожидать: через две недели Рене был освобожден за отсутствием состава преступления. Его заключение не было ему в тягость: префект полиции содержал его в своем доме! Жюльетта и Балланш посещали его в салоне супруги префекта…

Этот эпизод не покрыл его позором, но и славой тоже. В глубине души Рене был уязвлен. Г-жа де Буань сообщает о разговоре, состоявшемся 3 июня предыдущего года, у камелька Жюльетты, когда, в присутствии Шатобриана, речь зашла о деятельности герцогини Беррийской.

> Говорили, что он назначен наставником герцога Бордоского и едет в Эдинбург. Я спросила его, есть ли в этом слухе доля правды. «Я?! — воскликнул он с неподражаемым высокомерием. — Я! Господи ты боже мой, что мне делать рядом с этой эдинбургской пожирательницей реликвий и итальянской акробаткой?»

Пожирательницей реликвий была досточтимая дочь Людовика XVI… Акробаткой — герцогиня Беррийская, та самая, которой он торжественно заявил: «Сударыня, Ваш сын — мой король!» Резкость Шатобриана порой смущала, но его чувство формы потрясающе. И вот теперь угодить за решетку по делу акробатки — какое оскорбление!

После этой передряги Рене одолела охота к перемене мест. 8 августа 1832 года он уехал в Швейцарию. Жюльетта не замедлит к нему присоединиться.

***

Когда, несколькими днями позже, Жюльетта, в свою очередь, отправилась в Швейцарию в компании г-жи Сальваж, она вздохнула свободно: она была рада покинуть столицу, опустошаемую холерой, сотрясаемую попытками разжечь гражданскую войну, как того хотела герцогиня Беррийская… Жюльетта заперла Аббеи, ее маленький мирок был цел и невредим, Ленорманы уезжали в Дьеп, а «господа» — иначе говоря, домашнее трио, состоявшее из Балланша, Поля Давида и Ампера, — были живы-здоровы. Над ней больше не довлела тревога за благородных отцов, как всегда во время путешествий… Она надеялась встретиться с Шатобрианом, который, направляясь к подножию Альп, должен был завернуть в Лугано, а оттуда к Констанцу, куда ехала и она.

Г-жа Сальваж направлялась в жилище королевы Гортензии, с которой решилась связать свою судьбу, и Жюльетта была рада увидеть очаровательный домик своей подруги. Хотя они больше не виделись со времени поездки в Тиволи, Жюльетта знала, что Гортензия тайно приезжала в Париж после Июльской революции, пытаясь добиться от нового государя смягчения запретов, распространявшихся на семью Бонапартов. Напрасно… Затем бывшая королева Голландии потеряла старшего сына, ввязавшегося в восстание Романьи против папы…

В середине августа Жюльетта поселилась в замке Вольфсберг, в одном лье от Арененберга, за озером, у его юго-западной оконечности. Мадемуазель Кошле, бывшая однокашница Гортензии, ставшая ее чтицей, приобрела его после своего замужества с Паркеном, командиром эскадрона гвардейских егерей. Обычно она жила там, а летом содержала пансион для иностранцев или проезжающих друзей своей государыни. Прежде чем явиться к подруге, Жюльетта убедилась, что ее «ящики» отстали и что из всех платьев у нее только старое черное да

дорожная шляпа. Она легко смирилась с этим небольшим неудобством, которое сильно огорчило ее горничную…

Арененберг, бывший Нерренберг, — «гора безумца», симпатичное жилище, построенное в конце XVIII века, о чем свидетельствуют его четкие пропорции и портик с колоннами, возведенное на высоком мысе напротив озера и острова Рейхенау: отсюда открывается чудесный вид, который покажется Шатобриану печальным из-за сопутствующих обстоятельств — свергнутая королева… Заручившись гостеприимством швейцарского кантона Тургау, Гортензия обустроила свое новое имение: в отдельном здании жил ее сын, а также ее свита. Внутреннее убранство представляло собой элегантную репродукцию Мальмезона в уменьшенном варианте. Ни в чем не было недостатка — ни в мебели, ни в картинах, ни в многочисленных семейных сувенирах, ни в устройстве салона, скопированного с «зала Государственного Совета» императора и обтянутого, словно палатка, шелком в темно-синюю полоску… Обстановка без лишней роскоши, милая и удобная. Королева оставалась все такой же приветливой, веселой и музыкальной, хотя судьба ее была такой переменчивой! Детство прошло в страданиях, рожденных Революцией, — на гильотине погиб ее отец, а мать была брошена в тюрьму… Затем она вознеслась на высшую ступень благодаря порывистому, властному Бонапарту. Слава, почести, брак по принуждению, не принесший счастья, королевство, дети… Потом — крушение мечты, один траур за другим: мать, брат, два сына, и наконец — эта жизнь в уединении, летом в Тургау, а зимой, если позволят, в Риме…

Но Гортензия стойко переносила испытания. Ее многочисленное окружение, сплоченное воспоминаниями об Империи, а также неумирающей надеждой однажды ее восстановить, ее творческая и открытая натура помогали ей никогда не скучать и не впадать в отчаяние. Она продолжала рисовать, петь романсы собственного сочинения, как в двадцать лет, и несмотря на годы, заботилась о своей внешности. «Нос ее немного длинноват, рот большой, губы толстые, а зубы фальшивые», — отметила ее новая компаньонка, Валерия Мазюйер, когда была ей представлена в сентябре 1830 года, но неважно: Гортензия оставалась подвижной и отличалась «утонченностью всей своей особы и всех своих движений».

При долгожданном появлении г-жи Рекамье присутствовал один свидетель — Александр Дюма. Его мнение нас интересует, тем более что он не был знаком с Жюльеттой:

Я вошел в гостиную вместе с королевой Гортензией,

через десять минут объявили о г-же Рекамье, еще бывшей королевой ума и красоты; так что королева Гортензия приняла ее как сестру. Я часто слышал споры о возрасте г-жи Рекамье, правда, я видел ее только вечером, одетую в черное и с вуалью того же цвета, но по красоте глаз, по форме рук и по звуку голоса не дал бы ей больше двадцати пяти лет.

Жюльетта часто будет приезжать к Гортензии на музыкальные вечера и даже на праздник в честь ее сына Луи: будут представлять пословицы, играть на пианино, петь романсы, забавляться, обмениваться воспоминаниями, но ничего мрачного — это не в духе дома…

В конце месяца Жюльетта отправилась на Боденское озеро дожидаться Шатобриана. В письме к Полю Давиду она рассказывает о доброжелательном приеме, который был ей оказан, радуется за королеву, что у нее столь умное окружение, что в Арененберге ведутся такие добрые беседы. 29 августа Шатобриан в ее обществе отправился на ужин в логово бонапартистов. Можно сказать, что он там произвел сенсацию. По словам Валерии Мазюйер, между защитником королевской власти, принцем и королевой возникла взаимная симпатия.

Жаль, что Шатобриан не узнает, чем все кончится! Но Жюльетта увидит, как сын хозяйки дома (который во время ее посещения нарисовал для нее сепией очаровательный вид озера и Арененберга, на переднем плане которого был пастух, играющий на свирели) станет президентом Республики. Его мать, безвременно скончавшаяся осенью 1837 года, была бы в восторге от этого апофеоза, а еще больше от того, во что он его превратит[43]…

***

После этого милого визита Жюльетта жила в Женеве в обществе Шатобрианов. Коппе был слишком близко, чтобы не совершить туда паломничество. Паломничество, потребовавшее напряжения душевных сил. 15 сентября она писала «доброму Полю»:

> Я снова увидела Коппе с очень горестными чувствами, я впервые была там с г-ном де Шатобрианом, но когда мы подъезжали, мужество оставило меня, и я вернулась туда одна на другой день, видела могилу, сердце мое разбилось. Мне было бы еще тяжелее

сдерживать свое волнение или предаваться ему при свидетеле, ведь в конце концов скоро настанет и наш черед… так грустно пережить своих друзей.

24 сентября: Я вернулась в Коппе с г-ном де Шатобрианом. Мы понимали друг друга благодаря восхищению, которое он испытывает к де Сталь. Я хотела сказать последнее «прости» этой могиле: завтра я покину г-на де Шатобриана. Вот так проходит моя жизнь. Прощайте.

Сдержанность в выражении чувств: в этом вся Жюльетта. Версия Рене, изложенная в «Замогильных записках», вылилась в две небольшие главки под названием «Коппе. Могила госпожи де Сталь» и «Прогулка».

Первые чтения «Замогильных записок» в Аббеи

На берегах Женевского озера, в последние дни уходящего лета, Шатобриан вдруг принимает важное решение: посвятить Жюльетте книгу своих воспоминаний (несмотря на нежелание заинтересованной особы выставлять себя таким образом на показ), а потому он чувствует властную потребность продвинуть и завершить как можно скорее произведение, начатое в 1803 году, после смерти г-жи де Бомон, строй и оформление которого, отражавшие скитания писателя, необходимо пересмотреть. Хотя Шатобриан постоянно размышлял о своих «Записках», работал он над ними лишь наскоками. Отныне он вступил в решающую пору жизни и сосредоточил всю свою энергию на мемуарах. Присутствие рядом Жюльетты, их первое общее путешествие, их разговоры и насыщенные минуты, в которые они как бы сливались друг с другом, без всякого сомнения, были для Рене главным побуждением приняться за работу…

Ему было нужно как можно скорее вернуться в Париж, не теряя при этом лица. Предлогом для возвращения послужили арест герцогини Беррийской в Нанте и ее заключение в Блэ. Забыв обиду на принцессу, сообщает нам г-жа де Буань, он вскочил в почтовую карету и помчался в Париж к ней на помощь. По дороге обдумал текст брошюры «Записка о пленении герцогини Беррийской», в которой пел гимны материнским добродетелям бесстрашной Марии-Каролины и сказал несколько восхитительных фраз о дофине[44] — все это совершенно искренне.

Брошюра вышла 29 декабря 1832 года. А 26 февраля 1833 года «Монитор» оповестил о тайном браке принцессы, все еще бывшей узницей, хотя с ней и обращались со всем уважением, положенным по ее рангу. «Все читали „беременность“ вместо „бракосочетание“», — комментирует г-жа де Буань… Для легитимистов это была катастрофа: их принцесса, вдова с 1820 года, была в положении! Граф де Луккези-Палли предложил себя в качестве супруга и предполагаемого отца ребенка, который должен был родиться 10 мая…

Шатобриан сохранил самообладание: принцесса поручила ему неофициальную миссию к своему свекру, Карлу X, который тогда жил в Праге. Он должен был объявить о случившемся и по возможности способствовать сближению, в котором, разумеется, будет отказано. Рене рассказал на роскошных страницах

«Записок» об этой безнадежной миссии, однако не лишенной величия. Встреча со старым королем, с детьми Франции, скачка в Карлсбад, чтобы попытаться склонить на свою сторону несгибаемую дофину… Уехав 14 мая, благородный виконт вернулся назад 5 июня.

Он уехал 3 сентября в Венецию и Феррару, куда его посылала герцогиня Беррийская, отправленная в Палермо французским правительством. Он путешествовал в коляске, принадлежавшей когда-то Талейрану, и когда снова пустился в дорогу, искушенный слуга свергнутых государей не мог не зацепить, хотя бы мысленно, блестящего посла Луи Филиппа в Лондоне, умного старика, снова впрягшегося в лямку и заканчивавшего таким образом (решая судьбу Бельгии) свои труды в области европейской политики:

> Пока я странствовал в коляске князя Беневенто, тот ел в Лондоне из кормушки своего пятого хозяина, в ожидании несчастного случая, который, возможно, позволит ему упокоиться в Вестминстерском аббатстве среди святых, королей и мудрецов — усыпальнице, честно заслуженной его набожностью, верностью и добродетелями…

Автор «Гения христианства» никогда не страдал христианским милосердием, но его нетерпимость к Талейрану сродни неизлечимой аллергии… Шатобриан редко упускал возможность «прищучить» беспечного вельможу, высшие мотивы действий которого были ему непонятны, а потому возмущали. «Когда г-н де Талейран не плетет нити заговора, он плетет интриги», — яростно выводило его перо: маловато! Но бретонский кадет терял всякое хладнокровие перед великим государственным деятелем. По правде говоря, жаль — каждый из них господствовал в свою эпоху, по-своему и на своей территории… Во всяком случае, политическая мысль Шатобриана ничего не выиграла он этого ослепления страстью в отношении Талейрана. Последний лишь обронил небрежную фразу в адрес Рене, вечные метания которого и навязчивая занятость самим собой, равно как и недостаток дипломатического размаха, не ускользнули от его внимания: «Ему кажется, что он оглох, если о нем больше не говорят!» В городе дожей Шатобриан не забывает о Жюльетте. Через день, сидя на берегу Адриатики, он размышляет о мире и о самом себе, смягчившись душой под грузом лет:

> Что делаю я теперь в степи Адриатики? Безумства возраста, уподобляющегося младенчеству: я написал

одно имя совсем рядом от пенной сети, где испустила дух последняя волна; следующие валы медленно слизывали утешительное имя, лишь на шестнадцатый раз они унесли его буква за буквой, словно нехотя, — я чувствовал, что они стирают мою жизнь.

Утешительное имя… Как он торопится теперь вручить себя ему… Он вернулся в Париж 6 октября, сделав ненужный крюк через Богемию, ради последней встречи с Карлом X, завершившейся такими словами:

— Куда вы теперь, Шатобриан?

— Да просто в Париж, сир.

— Да нет, не просто…

***

Шатобриан вновь принимается за работу: до конца года он напишет большое предисловие к «Запискам», переделает и расширит рассказ о годах юности и начнет, по горячим следам, повествование о своих миссиях в Прагу и Венецию. Жюльетта, всё такая же внимательная к нему и к продвижению работы над рукописью, убедила его почитать свой труд в узком, избранном кругу, чтобы прямо или косвенно привлечь к нему интерес прессы, а возможно, и какого-нибудь издателя, чтобы разрешить финансовые проблемы писателя и тем самым охранить его спокойствие. Прием сработал превосходно.

О первых чтениях «Записок» рассказывает и рассуждает привилегированный свидетель — Сент-Бёв. Молодой критик, как мы уже сказали, был очарован Шатобрианом, но одновременно боялся — очень современное чувство, делающее ему честь, — утратить объективность, став завсегдатаем кружка в Аббеи-о-Буа. Тщетно он пытался не поддаваться чарам г-жи Рекамье, по крайней мере, впоследствии он в этом признается. Когда в феврале 1834 года начались чтения, он пылал воодушевлением. Он посвятил им первый из своих «Литературно-критических портретов».

Что именно читали Ампер или Ленорман перед небольшим собранием, состоявшим, кроме гостей, из Адриана, герцога де Дудовиля, герцога де Ноайля, Балланша, Сент-Бёва, Эдгара Кине, Дюбуа, Лаверня, аббата Жербера, г-жи Тастю и г-жи Дюпен? Скажем вкратце, что в целом рукопись 1834 года была составлена как «драма в трех актах, представляющая драму века», по выражению г-на Левайяна, Шатобриан планировал описать три

свои карьеры: юность, когда он был воином и путешественником, свои писательские успехи при Империи и деятельность на государственном посту при Реставрации. В 1834 году было написано восемнадцать книг: двенадцать первых касались его юности, шесть остальных повествовали о поездках в Прагу. В просторном здании «Записок» не хватало еще книги, посвященной Веронскому конгрессу, которая выйдет отдельно, так же как и третья часть, охватывающая две эпохи: конец Ста дней и обе Реставрации вплоть до июля 1830 года. В центре всего этого — книга о Жюльетте.

Собрания в Аббеи получили мощный резонанс: репутация автора, тщательный отбор, проведенный Жюльеттой, пламенный текст прельщали Париж. Пресса о них заговорила: Жюль Жанен, не присутствовавший при чтениях, непонятно каким образом опубликовал о них хвалебный отчет… Шатобриана поощряли продолжить работу: в 1836 году издатель Деллуа и его компаньон Сала решили создать коммандитное общество, чтобы использовать права на «Записки». Теперь-то уж он успокоится — так, по крайней мере, полагали окружающие…

Во всяком случае, это был ключевой момент истории Жюльетты и Аббеи, своего рода апогей, причем общепризнанный. Во время своей блестящей светской жизни при Консульстве и в начале Империи Жюльетта воплощала собой благовоспитанность на французский манер, теперь же она представала покровительствующей силой, способной поощрить, раскрыть и позволить раскрыться тому, что было самого состоявшегося в литературе ее эпохи и ее страны.

Глава XII
ЗАКАТ

Это ведь Вы мне сказали: «В нашем сердце нет ничего, что не открылось бы со временем…»

Адриан де Монморанси — Жюльетте Рекамье

Все покинуло меня, кроме Вашего образа, который следует за мной повсюду…

Шатобриан — Жюльетте Рекамье

Да, красавица из красавиц, богиня хорошего вкуса, могущество, покровительствующее талантам, символ своей эпохи — Рекамье, ради которой вся Европа устремлялась на улицу Монблан, несравненное, блестящее воплощение женственности… Теперь нам придется последовать за ней спокойным путем ее осени.

Можно ли в это поверить? Годы, мирно протекавшие со времени первых чтений «Замогильных записок» в Аббеи до самого их завершения в 1841 году, годы, струившиеся на фоне политической безмятежности и мещанского процветания, были самыми волнующими в жизни Жюльетты, ибо были самыми счастливыми: годами свершений и плодотворного умиротворения, годами любовной нежности и сопричастности с Рене, гармонии между семьей и светом…

Во-первых, Жюльетта мало и «хорошо» постарела, возможно, в этом наилучшим образом отразилось ее искусство жить. Ее ясная и ровная натура, не поддающаяся на обман — ни чужой, ни свой собственный, — к тому располагала. Она принимала реальность, вместо того чтобы бороться с ней, и потихоньку кое от чего отказывалась. Она сменила свой «фирменный» белый цвет на серый — новый символ. Сент-Бёв сообщает о том, как она ответила одной своей знакомой даме, которая, после долгой разлуки, сделала ей комплимент по поводу ее внешности: «Ах, дорогой друг, нечего больше строить иллюзий. С того самого дня, когда я увидела, что молодые савойцы больше не оборачиваются на улице, я поняла, что все кончено».

С определенной точки зрения это было правдой. Но что ей было за дело? Ее красота смягчилась, ее собственный блеск отошел на второй план перед тем, что казалось ей важным: принимать других, заботиться о счастье окружавших ее людей, оберегать главную свою любовь — Рене. Чем больше проходило времени, тем больше ему требовались присутствие и нежность Жюльетты, ее участие в нем самом и в его трудах. Все это было ему необходимо для единения с самим собой, которого он тщетно пытался добиться благодаря светскому обществу и которое могла ему дать только Жюльетта.

Вторым моментом, наполнявшим жизнь Жюльетты, было как раз поведение Шатобриана. Она хотя и не преобразила его кипучую и сильно ранимую натуру, но умерила его резкость, эгоцентризм, капризность, из-за которых с ним было трудно, если не сказать невозможно, жить. Маленький дикарь из Сен-Мало, мечтавший о славе, как будто не имевший никакой другой веры, кроме веры в свое величие, заставлявший вращаться вокруг собственной особы все, что попадалось ему на пути — пейзажи, события и лица, — наконец-то достиг уравновешенности. Случилось чудо, и этим он был обязан как самой Жюльетте, так и той атмосфере, которой она умела его окружить, той ритуальной регулярности, в которой они проводили время… Под семьдесят лет Шатобриан был способен осуществить тот грандиозный замысел, к которому его привели все его скитания, все его любовные и политические приключения. Наконец на него снизошла некая благодать, он достиг внутреннего примирения, особого настроения, делавших возможным создание магистрального произведения, позволявших облекать в возвышенные слова свою историю, поставленную в сердцевину истории его века. Поскольку Жюльетта поощряла глубинное слияние между тем, каким он хотел быть, тем, каким он был, и тем, каким он хотел, чтобы его запомнили, шедевр Шатобриана близился к завершению. Шедевром же Жюльетты, разумеется, было сделать так, чтобы он увидел свет.

Отныне страсть Жюльетты преобразилась в неизменное участие, и этим определялось ее отношение к писателю: ее свобода, терпение, знание людей, ее спокойствие служили Рене.

Сент-Бёв анализировал это следующим образом:

> Г-н де Шатобриан в последние двадцать лет был средоточием ее мира, высшим интересом ее жизни, которому она не то чтобы жертвовала всеми остальными (она не жертвовала никем, кроме самой себя), но подчиняла все вокруг. Что-то вызывало у него

антипатию, отвращение или горечь, о чем довольно ясно говорится в «Замогильных записках». Она все это умеряла и исправляла. Как ловко она умела разговорить его, когда он молчал, вложить в его уста любезные и благожелательные к другим слова, которые он якобы недавно сказал ей наедине, но не повторил при свидетелях! Как она кокетничала ради его славы! Как ей удавалось порой заставить его быть действительно веселым, любезным, всем довольным, красноречивым — таким, каким ему с легкостью удавалось быть, когда он того хотел! Своим мягким влиянием на него она подтверждала слова Бернардена де Сен-Пьера: «В женщине есть легкая веселость, рассеивающая печаль мужчины». А с какой печалью приходилось сталкиваться ей! Печалью, которую Рене вынес из чрева матери и которая лишь увеличивалась по мере того, как он старел! Никогда г-же де Ментенон не приходилось так изощряться, чтобы развеселить Людовика XIV, как приходилось это делать г-же Рекамье ради Шатобриана. «Я всегда замечал, — говорил Буало, возвращаясь из Версаля, — что, когда умолкали похвалы в его адрес, король сначала начинал скучать, потом зевать и был готов уйти». Любой стареющий великий поэт — немного Людовик XIV в этом смысле. Каждый день она изобретала тысячу милых способов, чтобы возобновлять и освежать эти похвалы. Она снискивала ему новых друзей, новых почитателей. Она всех нас приковала золотой цепью к пьедесталу его памятника.

Жизнь Шатобриана была совершенно размеренна: он вставал на заре и в халате садился за стол. Одевался, потом, после обеда, пунктуально ехал с улицы Анфер на улицу Севр. Он являлся туда в три часа и запирался с Жюльеттой, которая подавала ему чай. В четыре часа двери салона раскрывались для близких и гостей — писателей, поэтов, критиков, историков, редко политиков. Около пяти Рене уезжал, рано ужинал и ложился неизменно в девять часов. Случалось, что он задерживался в Аббеи: забыть о времени было легко, так как на камине в салоне вместо часов стояла ваза с цветами. Однажды Шатобриан спохватился только в шесть часов, когда ему уже полагалось ужинать у себя дома. Уже на пороге он сказал: «Я не успеваю проголодаться до семи часов. Но г-же де Шатобриан всегда хочется ужинать в пять; так что мы решили садиться за стол ровно в шесть: эдак мы оба недовольны, а это и называется хорошо ладить!» Какая пропасть между улицей Анфер

и улицей Севр!

Жюльетта клонилась к шестидесяти годам, но ее талант общения разворачивался в полную силу, не допуская промахов, и это просто поразительно. Не будучи ни в коей мере «синим чулком» (слава богу, у нее для этого слишком тонкий и верный вкус!), она оставалась в центре спаянного ею общества, которое сама избрала и которое частично обновлялось путем кооптации, жило в подлинном интеллектуальном единении и подпитывало ее, не растворяясь в ней. Ее кружок, наследник кружка г-жи Жоффрен, был образцом искусства жить на французский манер, примером обогащающего и творческого совместного времяпрепровождения, в котором не было места склокам и чопорности, столь распространенным в Париже. У Жюльетты нельзя было встретить вульгарного в своей пошлости остроумия, дешевой виртуозности, разлада — напротив, там все дышало умом и гармонией. Наверное, в этом и состоял ее секрет: это тонкое и неизменное согласие между ней и другими, узы которого понемногу начинали связывать всех между собой. Угадывать нюансы, противоречия, маски, чаяния и способности людей, начиная с себя… И пользоваться этим наитием, чтобы помогать другим цениться больше и дороже… Как не припомнить замечательное выражение Сент-Джона Перса, которое, наверное, понравилось бы ей и гостям Аббеи: «Женщина живет на берегу, мужчина безбрежен…»

Она была счастлива жить на берегу, и прочные связи с друзьями, начиная с ближайшего окружения, это доказывают. Кто теперь составлял ее ближний круг?

В первую очередь — Ленорманы, которые процветали и плодились. Они шли в кильватере своего друга Гизо: когда тот, в 1830 году, был назначен министром внутренних дел, он призвал к себе Шарля и сделал его начальником отдела изящных искусств, который тогда находился в его ведении. После отставки министра, осенью 1832 года, Ленорман стал хранителем печатных изданий Королевской Библиотеки, а затем перешел в отдел медальонов, которым руководил долгие годы. С 1835 по 1844 год он был к тому же заместителем Гизо, который руководил кафедрой современной истории в Сорбонне, что в результате привело его во Французский Коллеж.

Хотя они жили отдельно от тетушки, бдительности они не теряли. Любовь к ней «очаровательной четы», как назвал Ленорманов Гизо, была властной в самых мельчайших деталях. Не стоит и говорить, что Жюльетта сопротивлялась им мягко, но стойко. Им пришлось сдаться и согласиться с тем, что было волевого и «авантюрного», по их же собственному выражению, в

личности г-жи Рекамье. В одной частной записке Шарль Ленорман анализирует неизменную черту характера Жюльетты — «пламенную страсть к личной независимости, неприятие самой мысли о том, чтобы *смешать свое существование с другим*»… Они с женой боролись против пагубного влияния некоторых лиц, начиная с Шатобриана (к этому мы еще вернемся), стремились отслеживать появление новых посетителей в Аббеи, навязывать там кое-какие из своих нравственных и интеллектуальных категорий, которые со временем принимали узкий и конформистский характер. Жюльетта, родившаяся в другом веке, пережившая ужасные времена беспорядков, раскола в обществе и войны, была гораздо гибче их и гораздо более открытой. Новые ригористские тиски, в которые загоняли общество с приходом к власти определенных буржуазных кругов, а также народившееся общественное устройство, предвещавшее «викторианскую модель» второй половины XIX века, не впечатляли г-жу Рекамье. Она ничего не говорила, но думала, а главное, действовала по-своему.

Ближе к Жюльетте стояло кроткое домашнее трио: три верных рыцаря, столь отличные один от другого, но собравшиеся под одной эгидой, сплавив свои характеры, свои занятия, свои чаяния в служении единому интересу — Аббеи. Самым старым, но и самым деятельным из них был Поль Давид — теперь маленький, грубоватый человек, постоянно занятый большими и маленькими переговорами в интересах дома, усердно, как в первый день, исполняющий все поручения, которыми нагружала его Жюльетта каждое утро. Как и двое остальных, он жил лишь ею, существовал лишь благодаря ее поручениям и откровениям, которыми она их сопровождала. Он приносил свежие новости, передавал записки, привозил почту, вызывал слуг, подбирал платки дам, все слушал, мало говорил и время от времени ерепенился. Луи де Ломени рассказывает, что однажды одна немецкая августейшая особа пожелала, чтобы он расписался в ее альбоме вслед за всеми знаменитостями Аббеи. Поль отказался, дама настаивала. В конце концов он взорвался: «Э, сударыня, оставьте же меня в покое! Говорю вам: я человек маленький!»

Балланш не был столь скромен. Он обожал Жюльетту, понимал ее, был своего рода зеркалом, в котором отражался самый лицеприятный ее образ, всегда проникался малейшими ее неприятностями, проблемами или расстройствами… При всем при том Балланш, лучший из наперсников, умел обеспечить себе и частную жизнь: его исследования, переписка, некоторые дружеские связи проходили вне стен Аббеи. Он, например, был связан с графиней Шарль д'Отфей — владелицей замка де Сен-

Врен, под Арпажоном, муж которой был представлен в Версале одновременно с Шатобрианом (не путать с ее родственницей, графиней Эжен д'Отфей, которая, поселившись в Аббеи незадолго до Июльской революции, устраивала там чтения). От этой прекрасной подруги, у которой он часто гостил, Балланш добился того, чего так и не добился от Жюльетты, — она начала писать! Под псевдонимом Анна-Мария, ставшим ее прозвищем в кругу друзей, она сочинила несколько произведений, в том числе роман под заглавием «Душа в изгнании».

Что до Ампера — самого молодого, недавнего и, возможно, любимого члена трио, — то когда страсти улеглись, он стал душой кружка Жюльетты: он умел казаться веселым, оригинальным, полным воодушевления, его блестящий разговор действовал и на нее, и на Рене; можно сказать, что Жюльетта в некотором роде делила с Балланшем родительские обязанности по отношению к Амелии, а Жан Жака воспитала вместе с Шатобрианом. Не будучи их духовным сыном, он все-таки был самым умным из их наследников. Отсюда некоторый конфликт с Ленорманами, на стороне которых было право, но не хватало остроты чувств, чтобы поддерживать воспоминания о блеске Жюльетты…

В те годы в Аббеи была особенная стабильность: все писали. Когда, летом 1835 года, переехали в Дьеп, в отель «Альбион», Балланш размышлял над переводом Вергилия, Шатобриан переводил Мильтона и работал над «Записками», Ампер начал роман… За ними последовал новый адепт — юный герцог де Ноайль, владелец роскошного замка Ментенон, который был замечен благодаря своим частым выступлениям в палате пэров (в 1848 году он оставил политическую жизнь и сменил Шатобриана во Французской Академии). Он не был обласкан природой, но был прекрасным спутником. Герцогиня де Дино, которая, вслед за своим дядей Талейраном, в свое время давала уроки остроумия, но была лишена всякой доброты, признавала за ним «способность к суждению, уверенность, вкус, принципиальность», однако выдала ему такую характеристику: «Вся эта семья осталась тем, чем была двести лет назад: Ноайли — род больше известный, чем древний, они больше придворные, чем слуги, больше слуги, чем фавориты, больше интриганы, чем честолюбцы, и больше светские люди, чем вельможи, больше знать, чем аристократы, а прежде всего и превыше всего — Ноайли!»

Впрочем, Ноайли окажутся надежными и верными друзьями для Жюльетты и Рене. Они заменят г-же Рекамье клан Монморанси. Ментенон будет открыт для ближнего круга Аббеи, которому там нравилось, так как там можно было вволю работать

и отдыхать. В своих «Записках» Шатобриан посвятил несколько прекрасных страниц историческому замку — возможно, в благодарность за прием и заботу, которую хозяева оказывали в старости ему самому и Жюльетте…

Г-жа Рекамье обычно принимала в четыре часа. При этом она почти всегда была занята вышиванием или другой работой. В салоне могло поместиться не более тридцати человек, и он был полон только во время званых вечеров, примерно дважды в месяц. Как вспоминает один немецкий журналист, Жюльетта обладала редчайшим даром выслушивать и воспринимать все, что говорилось вокруг нее, давая возможность прозвучать противоречивым мнениям по одному вопросу и обогащаясь всеми новыми и возвышенными идеями, витавшими в ее салоне.

Однажды, в начале 1836 года, в Аббеи явился Ламартин, чтобы выслушать комплименты по поводу недавно вышедшего «Жослена». Как вспоминает Сент-Бёв, г-жа Рекамье рассыпалась в похвалах его стилю, твердя о том, что Шатобриан был просто восхищен, тогда как сам Шатобриан в это время молчал, закусив шейный платок и дергая его за кончики, — друзья называли это «звонить в колокол». Ламартин подсказывал г-же Рекамье, что еще надлежит похвалить в его произведении, сработанном «просто ювелирно», и когда оба ушли, Шатобриан разжал наконец зубы и обронил: «Индюк!»

Хотя отзвуки внешнего мира доносились до Аббеи лишь приглушенно, они все же его достигали: летом 1835 года Шатобриан и Балланш прервали свое пребывание в Дьепе после покушения Фиески на короля[45]. Балланш описывает Жюльетте ужасный кортеж жертв — четырнадцать катафалков: «впереди — гроб девушки, позади — маршала Мортье», — за которыми шли потрясенные парижане. Никто не остался безучастным во время молебна, который отслужили на следующий день, и государь впервые публично присутствовал на богослужении… Когда, годом позже, блестящий журналист «Насьоналя» Арман Каррель был убит на дуэли в Венсенском лесу директором «Пресс» Эмилем Жирарденом, Аббеи разделяло чувства Ампера и Шатобриана. А когда осенью того же года Жюльетта узнала о Страсбургском заговоре (заговор не удался, но его зачинщик, Луи-Наполеон, оказался в тюрьме), то расстроилась, подумав о своей подруге Гортензии. Они еще увидятся, когда Гортензия остановится проездом в Вири у г-жи Мармон — это будет их последняя встреча…

Одной из постоянных забот для Жюльетты, с самого момента их знакомства, была почти патологическая нестабильность Рене. С тех пор как вся его энергия сосредоточилась на литературной

работе, поскольку договор, заключенный с издателями, надолго обеспечил его в финансовом отношении, Шатобриан стал более рассудительным, большим домоседом: ему уже не претила мысль окончить свои дни во Франции, тогда как он годами, совершенно или наполовину искренне, намеревался отправиться с Жюльеттой жить в Италию, о которой еще грезил… Вскоре, летом 1838 года, он переселится с улицы Анфер на первый этаж дома 112 по улице Бак (сегодня это номер 120, смежный с помещением иностранных представительств), чему был очень рад, ибо оттуда до улицы Севр было десять минут пешком…

И жизнь продолжалась: летом выбирались из Парижа в Дьеп, Пасси, Ментенон, порой и в Шапель-Сент-Элуа — маленькое поместье, приобретенное Ленорманами; зимой были собрания и чтения у камелька в салоне Жюльетты. Тихая жизнь, нанизывающая дни за днями, часы за часами, когда и умом, и сердцем ощущаешь утекающее время, а главное — любовь, из которой оно соткано.

Decrescendo [46] …

Тем временем Жюльетта вступила в критический период, за развитием которого все внимательно следили. В январе 1836 года Балланш писал г-же д'Отфей: «Госпожа Рекамье была нездорова; мы даже за нее тревожились…»

Она лишилась сна, пять раз за две недели ей пускали кровь. Летом ее самочувствие улучшилось, но осенью все пошло по-старому: Жюльетту утомил несвоевременный приезд в Аббеи г-жи Сальваж, с которой ей пришлось прожить в одной квартире несколько дней. К зиме Жюльетта потеряла голос и постоянно кашляла; ее врач, доктор Рекамье, определил недомогание на нервной почве.

В феврале 1837 года на столицу обрушилась эпидемия гриппа. «Половина Парижа больна», — писал Балланш своей знакомой. Жюльетта не избегла этой участи: «Пришлось лечить ее, как при воспалении легких. За сутки ей трижды пускали кровь». Вскоре Жюльетта пошла на поправку; она не могла говорить, пила молоко ослицы, а со своим окружением общалась при помощи грифельной доски в кожаном футляре, на которой писала все, что не могла сказать или объяснить знаками…

Жюльетта не могла удаляться от Парижа, хотя ей наверняка хотелось бы повидаться с Адрианом, удалившимся на покой в свой замок Монтиньи и увлеченно предававшимся его отделке (он шутя называл это своей реставрацией). В прошлом году ее лагерь восхищался чудесным жилищем бывшего посла, террасой в обрамлении лимонных и апельсинных деревьев, подстриженных шаром, — предмет его особой гордости… Но увы! Адриан был нездоров. 16 мая герцогиня де Дино пометила в своих бумагах, что ему во второй раз делали кровопускание и что, по мнению всех врачей, состояние его тревожно. 7 июня все его друзья были застигнуты врасплох вестью о его смерти. Балланш писал в Сен-Врен: «Госпожа Рекамье, которая уже начала было поправляться, крайне расстроилась и получила большой удар».

Действительно, ужасный траур: Адриан был не только самым старым, самым близким, самым постоянным спутником Жюльетты, но и еще в большей степени, чем Матье, неотъемлемой ее частью. В одном из последних писем к ней Адриан так об этом говорил: «Вы, знававшая все привязанности, все несчастья, все раны, слабости и тайны моего сердца…»

Адриан, который больше любого другого, за исключением, возможно, г-жи де Буань, понимал Жюльетту, был поверенным ее радостей и горестей, разделял с ней праздники, меланхолию,

трудности, поддерживавший ее в изгнании, принявший ее в Риме — с пышностью, но и с самым нежным и братским участием… Адриан, обладавший «душой-женщиной», изяществом, даром выражать полусловом то, что он постигал в полной мере и гораздо скорее другого, Адриан, воздыхатель ее юности, воплощение древнейшего и любезнейшего рыцарства… Адриан, безупречный друг, который никогда, ни при каких условиях, ни в одну эпоху их жизни, их дружбы не изменил себе… В очередной раз, как и на могиле г-жи де Сталь, Жюльетта поняла, как горько пережить своих друзей… Амелия недаром писала Балланшу после этого испытания: «Мы пережили монархию, революцию, трудные времена, а теперь наступили времена невозможные». Теперь эту политическую метафору можно было применить и к чувственной жизни г-жи Рекамье…

Осенью, так и не оправившись от нервного расстройства, Жюльетта, под давлением своего окружения, решилась на время оставить Аббеи. Она согласилась провести зиму в лучше отапливаемой квартире, которую предоставил ей канцлер Паскье в своем особняке на улице Анжу, сам же поселился в Люксембургском дворце, на что имел право как председатель палаты пэров. Итак, на несколько месяцев Аббеи перебралось через Сену и обосновалось в центре предместья Сент-Оноре; Жюльетте там было несравнимо лучше.

Когда, следующей весной, снова открылся ее салон, весь Париж занимало прощание с миром князя Талейрана (после блистательного публичного прощания перед Академией моральных и политических наук). Госпожа де Буань, как всегда прекрасно информированная, держала Жюльетту в курсе событий: вопрос был в том, почиет ли бывший епископ Отенский как христианин или нет. 17 мая все было кончено. Благодаря совместным усилиям г-жи де Дино, недавно ставшей герцогиней де Талейран, ее дочери Полины и аббата Дюпарлу, если не дух, то форма религиозного обряда была соблюдена.

Жюльетта уже достаточно оправилась, чтобы посетить 21 мая Комическую Оперу в сопровождении Ампера. 3 сентября она присутствовала на репетиции «Бенвенуто Челлини» Берлиоза, которого поставили в Парижской Опере, и была несколько разочарована: она призналась, что место у нее было неудобным и что она, как и многочисленная публика, в общем, осталась к опере холодна.

В начале лета, когда упорно трудившегося Шатобриана одолело желание к перемене мест (он колесил по югу Франции), Жюльетта поселилась у своей подруги г-жи де Буань, в Шатене. Письма Рене были нежными и очаровательными:

> Я думаю и уповаю лишь на одно — окончить свои дни подле Вас. Я умираю от радости при мысли о будущем устройстве, когда я буду жить в десяти минутах от Вас; живя прошлым в своих воспоминаниях, настоящим и будущим с Вами, я твердо настроен все обращать в счастие, даже Вашу несправедливость. Как будет чудесно покинуть этот мир под защитой Ваших взглядов, Ваших слов и Вашей привязанности. А потом — Господь, небеса и Вы, по ту сторону жизни…

Можно ли поверить, что эти подвижные и полные жизненной силы слова принадлежат семидесятилетнему мужчине?.. Как права была Жюльетта, воскликнув, когда ей говорили о ее *молодых* друзьях: «Но господин де Шатобриан из них самый молодой!»

По словам Амелии, которая держала Ампера в курсе всех дел Аббеи (в сентябре он отправился в Тоскану и Ломбардию по следам Данте), в тот год зима выдалась ненастной, дождливой и холодной. Г-жа Рекамье переносила ее стоически. По вечерам, дважды в неделю — в четверг и в воскресенье — она принимала у себя, а с ноября, по воскресным утрам, в ее доме началась серия чтений «Записок», что приводило ее в восторг. Страницы, написанные за четыре года, произвели мощное впечатление на Аббеи: Балланш признавался г-же д'Отфей, что они все «потрясены»… Через несколько месяцев Жюльетта, несколько смущенная тем, что ей посвящена целая книга, попросила знакомую Балланша поделиться своими «впечатлениями»: не соблаговолит ли она «беспристрастно прочитать» рукопись, которую передал ей Шатобриан?

В том 1839 году Жюльетта не уезжала из Парижа: ее не оставляли одну. Ее часто посещала одна очаровательная поэтесса — Марселина Деборд-Вальмор, которая сильно привязалась к ней. В прежние времена Жюльетта вместе с Матье помогла финансово этой женщине, страдавшей от своей трудной бродячей жизни: несчастная любовь, в том числе страсть к Анри Латушу, горький траур питали ее поэтический дар, ее нежное, естественное, элегическое перо… Очень жаль, что Марселина Деборд-Вальмор, женщина хрупкая, принесенная в жертву, еще не занимает подобающего ей места в романтическом пантеоне. Она напоминает молодого, возможно, лучшего Ламартина, только с меньшей уверенностью в себе, зато с большей непосредственностью… Как бы там ни было, эта скорбящая душа любила Жюльетту — по-своему, преданно и негромко. Она умела распознать ее редкую добродетель — безмятежность.

Жюльетта как могла скрывала свою усталость. Ее кружок раскрывался лишь для кое-каких чтений: новых страниц Шатобриана и «Пор-Рояля» Сент-Бёва. Снова пришла весна, а Жюльетта не выздоровела. Ее окружение и врачи были непреклонны: ей нужен покой и одиночество. С болью в сердце она решилась уехать одна на воды в Эмс.

Бедная Жюльетта! Чувствуется, какой она была печальной, неутешной «изгнанницей», как она писала Полю Давиду, на этом блестящем курорте, где ей предстояло провести два месяца… Летом 1840 года, по неизвестной причине, в Эмс понаехала «туча русских», их шумные развлечения не нравились Жюльетте: она виделась в основном с двумя особами, отличавшимися живым умом. Первой была знатная ломбардская дама, княгиня Бельджиойозо, лет тридцати, не больше, однако ее либеральные идеи и подспудная роль в тайных обществах, боровшихся с австрийской оккупацией Северной Италии, делали ее подозрительной в глазах миланских властей. Второе эмсское знакомство Жюльетты было не новым: речь идет об Астольфе де Кюстине, сыне Дельфины — той самой дамы из Фервака, которую некогда любил Шатобриан, — племяннике Эльзеара де Сабрана, который, как мы помним, очаровывал своими романсами и улицу Монблан, и Коппе… Этот эстет, искренне восхищавшийся Жюльеттой и несколько двусмысленно, по-сыновнему почитавший Рене, был необыкновенным путешественником, сильно отличавшимся от Шатобриана. Кюстин не искал себя через то, что открывал: он наблюдал, исследовал увлеченно, дотошно, старался увидеть и понять. Его книга «Россия в 1839 году» (опубликованная в 1843 году) остается классическим репортажем «с натуры». Благодаря глубине описания и уверенности, с какой разбираются социальные и культурные механизмы, эта книга до сих пор с успехом служит учебным пособием… Скромное ухаживание Астольфа за нежной Жюльеттой могло ей только польстить: насчет гомосексуализма этого запоздалого поклонника никто не обманывался, из-за него даже разразился скандал, а Кюстин мог похвастать тем, что отверг две самые блестящие партии во Франции: Альбертину де Сталь и Клару де Дюрас…

Хотя Жюльетта проявляла «железную волю», следуя предписаниям врачей, ее удручала разлука со своим привычным мирком. «Чем дальше продвигаешься по жизни, — говорила она тогда, — тем больше потребность в любви». Все регулярно писали ей теплые письма, включая Сент-Бёва, который был в восторге от недавнего назначения в библиотеку Мазарини, но это не помогало. Возникла новая проблема, к которой отныне ей

пришлось отнестись со всей серьезностью: ее зрение ухудшалось. Она жаловалась, что ей трудно читать письма. Драматизма ситуации придавало то, что рука Шатобриана все больше дрожала: недалек тот день, когда им обоим придется прибегать к чужой помощи, чтобы сообщать друг другу самые потаенные мысли… Какое признание содержится в такой фразе Рене: «Если бы я мог обновить истоки моей жизни моими годами, чтобы сделать их достойными Вас!»

Хотя она сетовала на бесполезность и дороговизну своего путешествия, Жюльетта вернулась в Париж в лучшем состоянии: первая тревога, продлившаяся более двух лет и частично напоминавшая запоздалый климакс (ей было шестьдесят три года), серьезно не отразилась на ее здоровье. Жюльетте придется беречь голос и бронхи, но только и всего. Беда в другом — но сознает ли она это? Жюльетта теряет зрение. Однако в эти годы заката ее отрежет от мира вовсе не слепота, а постепенное исчезновение ее друзей, жестокое, неизбежное разрежение воздуха, которым она дышит и без которого ее жизнь теряет смысл.

Зов умерших

Осенью 1840 года, пока Париж готовился к помпезному возвращению праха Наполеона (Виктор Гюго оставил длинное описание этого события, назвав его «монументальной галиматьей»), в Академии освободились два места. Жюльетта подумала о Балланше, тот снял свою кандидатуру в пользу Виктора Гюго. А госпожа де Буань подумала о Моле, друге юности Рене, блестящем слуге Луи Филиппа. Она попросила Жюльетту о поддержке.

Избрали Моле. Между Аббеи и Шатене состоялся обмен любезностями: в феврале 1842 года в Академии снова освободились два места, и любезная Адель сообщила Жюльетте, что Моле готов отдать свой голос Балланшу и «сыскать ему еще пять»:

> Сообщите мне за то, что я могу пообещать г-ну Моле: лучше ли ему поблагодарить г-на де Шатобриана или попросить его голос. Он готов сделать либо то, либо другое, в зависимости от того, что мы сочтем предпочтительным.

Возможно, речь шла об избрании Паскье… На сей раз избрали Балланша и Токвиля. В день их представления, 21 апреля 1842 года, Паскье тоже вступит в почтенное братство: Шатобриан появится там в последний раз, и это его усилие, сделанное ради друга г-жи Рекамье, вызовет долгую овацию присутствующих…

Аббеи очнулось от своего относительного оцепенения лишь ради последнего широкого жеста: зимой 1840/41 года родной город Жюльетты сильно пострадал от разрушительного наводнения, и она, желая помочь своим землякам, устроила вечер по подписке в их пользу — это было одно из ее последних публичных деяний. Герцог де Ноайль частично взял организацию вечера на себя. Сначала должен был состояться концерт, а затем — сеанс декламации восходящей театральной звезды Рашели. Было разослано двести билетов по двадцать франков, но люди платили по сорок, пятьдесят и даже сто франков за билет, так что удалось собрать пять тысяч. Рашель приехала поздно, часов в одиннадцать, так как комитет Французского Театра по злобе заставил ее в тот вечер играть в «Митридате». Она очаровала всех своей искренностью и непретенциозностью и читала очень хорошо. Шатобриан, который обычно ложился в девять, в тот вечер просидел до полуночи, а после выступления подошел к

Рашели и сказал ей, волнуясь: «Как печально видеть рождение столь прекрасного существа, когда сам скоро умрешь!» — на что она ответила ему с неподражаемым очарованием: «Но, господин виконт, есть люди, которые не умирают!..»

Утешило ли это старого писателя, которому все труднее было сносить беспрерывные и уже видимые удары старости?

Шатобриан продолжал чтение своих «Записок» у г-жи Рекамье, сообщает все тот же герцог де Ноайль. Г-жа Гей млела от восторга, а г-жа де Буань морщилась; это было особенно заметно, когда автор привел свой блестящий портрет герцога Бордоского. Герцогиня де Грамон-Гиш, присутствовавшая при чтениях, не слишком оценила один пассаж, где говорилось о ней и где Шатобриан сказал: «Госпожа де Гиш *была* очень красива…»

Госпоже де Гиш еще не было сорока лет…

Однако «Записки» все еще не закончены. Шатобриан, страдая от ревматизма, в свою очередь поддается на уговоры и один отправляется на воды в Нери (департамент Алье): там он приобрел только насморк и множество неприятностей. Его письма к Жюльетте исполнены горечи:

> Я хотел бы написать Вам сам, но моя спутница боль и колыхание кареты заставляют так сильно дрожать мою руку, что я не смог бы нацарапать ни слова. Вот до чего дошел Ваш бедный друг.

У Жюльетты дела обстояли не лучше. Ее письмо к герцогине де Ларошфуко-Лианкур после смерти ее друга герцога де Дудовиля писала Амелия. (Оборвалась еще одна ценная и доверительная связь из внутреннего мирка Жюльетты.)

В начале лета г-жа Рекамье с помощью Поля Давида взялась разбирать свои бумаги. Их сортировали на те, что надлежало сохранить, и на те, что предстояло уничтожить. Жюльетта слишком хорошо сознавала, что представляют собой автографы г-жи де Сталь, Бенжамена Констана или Шатобриана, чтобы подумать об их уничтожении; гораздо больше ее смущали ее собственные письма, которые она всегда просила вернуть, сжигала сама или просила сжечь. Но кое-что она перепутала, и бумаги, которые должны были быть сохранены, пропали. По чьей вине? Полетели ли они в печку из-за некоего внутреннего кризиса? Или просто плохое зрение Жюльетты привело к роковой ошибке? Это возможно: в конце лета она была в Аббеи одна. Ампер, Ленорман и Мериме уехали на Восток, Шатобриан был в Нери, Балланш — в Сен-Врене, а Поль Давид был занят умиравшим Огюстом Паскье, братом канцлера, с которым он водил дружбу уже сорок лет. Жюльетта признавалась, что боялась

скуки. Продолжала ли она это путешествие по воспоминаниям, горькому и печальному прошлому, перечитывая письма? Возможно, поддавшись меланхолии, она однажды и совершила непоправимое? Или, что более вероятно, немного растерялась и ошиблась?..

***

Шли дни, походка г-жи Рекамье становилась неуверенной, оба ее глаза заволокло катарактой. Она почти не могла путешествовать. Летом 1842 года она поселилась в Нейи, в Фоли-Сент-Джеймс, на вилле, которую после брюмерского переворота занимали Люсьен Бонапарт и его сестра Элиза, а потом — Лаура Жюно, во время своего бурного романа с Меттернихом. Теперь этот дом был переделан под чинный семейный пансион. Жюльетта настолько удалилась от света, что, лишь приехав на ужин к г-же де Буань в Шатене, узнала о трагической смерти герцога Орлеанского, случившейся 13 июля 1842 года совсем недалеко от нее.

Шатобриан продолжал лечение, сначала в Нери, потом в Бурбон-ле-Бэн, что отнюдь не улучшило его состояния: его рукам и ногам грозил паралич… И все же, разбитый ревматизмом, Шатобриан сохранил свою стать, стиль и ясный ум. Он поставил последнюю точку в своих «Записках» — в их наиболее полном варианте, который будет потом восстановлен Левайяном.

Писательский труд определил жизненный путь Шатобриана и помогал ему стареть… Так же как и Жюльетта, он был отдушиной и утешением, его царством вне великой и мелкой человеческой низости… То воодушевление, с каким он работал над «Жизнью Ранее», достаточно на это указывало.

В июле 1843 года, когда Рене снова уехал в Бурбон, Жюльетта потеряла еще одного своего друга, еще один кусок своего прошлого — прусского принца Августа, сраженного апоплексическим ударом во время военной инспекции в Бромберге. Еще в феврале он писал ей: «Ни время, ни расстояние не смогли ослабить нежной дружбы, которая связывает меня с Вами самыми прекрасными воспоминаниями моей жизни».

Завещание принца вызвало скандал: он разделил свое внушительное состояние между прусской короной и своими многочисленными внебрачными детьми, лишив таким образом наследства свою сестру, княгиню Радзивилл. Эта история взбудоражила весь Берлин, ибо Радзивиллы попытались воспротивиться последней воле принца, но, вопреки всякому

ожиданию, проиграли процесс. Зато исполнение другой воли принца Августа — возврат г-же Рекамье ее портрета работы Жерара, а также нескольких предметов искусства, которые он хранил в своем кабинете, — не встретило никаких препятствий.

Госпожа де Сталь, ее сын, Матье де Монморанси, Бенжамен Констан, Альбертина, Сисмонди, Адриан, а теперь и принц Август… Немного осталось тех, кто помнил о прекрасных днях в Коппе. Один из них остался верен Жюльетте и, правда, все реже и реже писал ей и навещал ее — Проспер де Барант, которого Луи Филипп сделал своим послом в Санкт-Петербурге и который оказался солидным историком, не утратив несколько мрачного изящества, восхищавшего подружек его юности. Когда, в конце 1835 года, он направлялся к месту службы, то остановился в Берлине и повидался с принцем Августом. В письме, в котором он рассказывал об этой встрече Жюльетте, была такая малорадостная фраза принца: «Годы уходят, и наступит конец, прежде чем удосужишься записать свою волю…»

Жюльетта любила получать письменные свидетельства дружбы со всех концов света. Кюстин регулярно делился с ней впечатлениями во время своего путешествия по России. Вскоре после кончины принца Августа он написал ей из Кобленца, шутливо и весело, чтобы ее развлечь: на сей раз он описывал железную дорогу, «путешествие на пару», которое показалось ему убийственным: «Раньше путешествие было образом свободы; теперь же оно становится обучением рабству…» Только что опубликовали его «Россию в 1839 году»; он получил похвалу принца Густава Мекленбургского, праздного старого холостяка, колесившего по европейским курортам, и поспешил передать их Жюльетте с такими словами: «Вы более чем кто-либо поощряли меня говорить правду, вот почему я не боюсь похвастаться перед Вами таким суждением…»

Осенью того же года граф де Шамбор, бывший герцог Бордоский, пожелал увидеться с Шатобрианом; в ноябре старый легитимист в очередной раз явился на зов старшей ветви. Последняя поездка в Лондон; очень теплый прием, оказанный ему «наследником веков», утешил Шатобриана в его усталости. Почти каждый день он посылал весточку Жюльетте, и мысль о ней сводилась почти к одной патетической фразе:

«Любите меня немного, несмотря на все бури и грозы…»

«Любите меня подольше…»

«Какое счастье вновь увидеться с Вами! Вернуться в Ваш салон, ко всем друзьям! Ваш!.. Ваш!..»

Через несколько месяцев Аббеи покинул Ампер: он затеял долгое путешествие к истокам Нила, откуда писал Жюльетте:

«Мне отрадно принести мысли о Вас под пальмы Нила, как в молодости они сопровождали меня среди норвежских елей…»

Он вернется весной 1845 года, совершенно больной.

А Рене в то же время в последний раз отправляется в дорогу: граф де Шамбор увидится с ним в Венеции. Окружение писателя справедливо тревожилось: разумно ли в его возрасте и в его состоянии трястись на почтовых? Вопреки всякому ожиданию, он перенес эту поездку «как молодой», по словам Балланша… С каждой почтой из Венеции летел вопль любви к даме из Аббеи, которую он впервые называл по имени: «Прощай, Венеция, которую я наверняка больше не увижу. Только Вас, Жюльетта, я не соглашусь покинуть никогда…»

В конце лета, вновь поселившись в Париже, Рене ждал Жюльетту, которая отдыхала в Ментеноне, потом у своих племянников в Сент-Элуа: он признавался ей, что ему уже грезится его смерть. Попрощавшись с Венецией, надо было готовиться к прощанию с белым светом; оно несколько затянется.

По возвращении Жюльетты в Париж началась новая серия чтений «Записок», на сей раз в самом узком кругу. Маленький кружок зябко сжимался с наступлением вечера: Жюльетта теряла зрение, Шатобриан — ноги, Ампер еще не оправился от дизентерии, подхваченной в Египте, один из завсегдатаев Ментенона, старый академик Брифо, здорово сдал, только Балланш еще держался… В этой тяжелой атмосфере умы овеяло неожиданным порывом щепетильности. Какая жалость! Шатобриан, под двойным нажимом своей жены и Жюльетты, решил пересмотреть написанное: он справедливо опасался условий будущей публикации, переписал предисловие, что-то вычеркнул, что-то подсократил…

Жюльетте бы хотелось, чтобы та часть, где говорилось о ней, не была опубликована. Г-жа де Буань так объяснила дело г-же Ленорман, через четыре месяца после смерти г-жи Рекамье, когда «Записки» уже давно печатались в газетных подвалах с продолжением и на условиях, не делавших чести Жирардену, который отвечал за публикацию:

> Мне написали из Парижа, но я этому не верю, раз Вы мне об этом не говорили, что том «Записок», который г-н де Шатобриан посвятил г-же Рекамье, не был в наборе и что Вы надеетесь помешать г-ну де Жирардену его опубликовать. Я бы желала этого, тем более что она сама не была бы этому рада, ведь она часто мне говорила, что это лишь фигура воображения, очаровательная, каким ей казалось все, что выходило из-под его пера, но не

имеющая ничего общего с истиной ни в поступках, ни в чувствах; она заметила это г-ну де Шатобриану, но тот не учел ее слов и даже ответил: «Какое дело потомству до прозаической истины?» Она, хоть и скрепя сердце, признала свое поражение (Вы знаете, как она боялась идти ему наперекор), но не была удовлетворена.

Прекрасная Рекамье предпочитала историческую правду легенде, что было на нее похоже… Как это достойно, когда ты сам — предмет лестного преображения! Эта требовательность, эта справедливость в оценках окрыляют исследователя…

Именно в это время, и возможно, исходя из тех же принципов, Жюльетта позволила себя облапошить Луизе Коле, проникшей к ней, несмотря на преграды, выставленные Ленорманами. Жюльетта из лучших побуждений разрешила ей опубликовать копию писем Бенжамена Констана (которые та забрала себе). На память ее друга покушались, и Жюльетта искренне думала, что таким образом восстановит истину о противоречивом человеке, к которому она все же хранила преданную привязанность.

***

Госпожа де Шатобриан скоропостижно скончалась 9 февраля 1847 года; ее похоронили тремя днями позже, под алтарем часовни при больнице Марии Терезии, которой она посвятила себя со свойственными ей воодушевлением и авторитетом. Нельзя позабыть сочные страницы, которые посвятил Виктор Гюго в «Былом» этой неотразимой и неукротимой патронессе, не имевшей себе равных, чтобы заставить купить у нее шоколадные конфеты, изготавливаемые ее монахинями…

Селеста оставила Рене в плачевном состоянии: в конце сентября он сломал ключицу, выходя из экипажа, и его растущая немощь вызывала все большую тревогу. Жюльетта навещала его каждый день. «Удрученность г-на де Шатобриана глубока и ясна, — писал Балланш, — печаль г-жи Рекамье беспредельна…» Добрый Балланш, озабоченный, как и все в Аббеи, мыслью о том, что великий человек предоставлен сам себе, предпринял шаги с целью снять у своей домовладелицы часть первого этажа для Шатобриана: так он оказался бы еще ближе к улице Севр.

Когда время глубокого траура окончилось, Рене предложил Жюльетте дать ей свое имя. Она задумалась. Помимо чисто сентиментального аспекта, это бы вызвало пересмотр дел того и другого. Адвокат Мандару-Вердами отсоветовал ей это делать.

Хотя Жюльетта восприняла такую мысль с волнением, ее окружение не хотело и слышать ни о чем подобном. Амелия этого не скрывала. 30 августа 1847 года она писала тетушке:

> Мне также сказали, что он упорно настаивает на своих бранных планах. Вы знаете, что я вообще большая ему потатчица, чем некоторые из ваших друзей, однако я не думаю, что эти планы вам подходят. Но я благодарна ему: меня всегда трогало желание наделить своим именем женщину, которую любишь, будь он помоложе, я бы не возражала.

Весной снова начались утренние чтения «Записок», на сей раз у Шатобриана. На них присутствовали Ампер, Балланш, Ноайль, молодой критик Луи де Ломени (который потом женится на второй малышке Ленорман) и г-жа Кафарелли. Еще, конечно, Жюльетта, которая входила в эту квартиру неуверенным шагом. Она решилась на операцию катаракты: доктор Бланден назначил дату операции на май.

Пока же, 22 апреля, Аббеи собралось в полном составе, чтобы отпраздновать избрание во Французскую Академию Жан Жака Ампера, сменившего Александра Гиро. Все завсегдатаи салона Жюльетты окружили его: Брифо, специально приехавший, чтобы проголосовать, Шатобриан, который отныне мог выходить из дома, Барант, Сент-Олер… Последняя радость — коронация Керубино — среди этого собрания верных призраков.

3 мая состоялась операция. Она прошла быстро, успешно и безболезненно. Г-жа Рекамье убедилась, что может видеть, после чего ей закрыли глаза повязкой.

Хороший знак. Если Жюльетта будет очень осторожна и станет беречь глаза, она может надеяться на серьезное улучшение своего состояния. Но все расчеты перечеркнуло несчастье, которое всех поразило: в пятницу 4 июня Балланш заболел. Воспаление легких. В субботу 12 июня он умер.

Жюльетта не покидала его ни на мгновение. Она, наверное, и на секунду не задумалась о том, что таким образом окончательно отбирает у себя надежду вновь обрести зрение… Неважно: эта болезнь и кончина отняли у нее последние жизненные силы. Г-жа д'Отфей высоко оценила преданность г-жи Рекамье: «Больная, лишенная света, она осталась во весь тот жестокий день и не менее жестокую ночь (агонии) подле него. Он поминутно справлялся о ней, и лишь когда его взгляд перестал ее искать, стало заметно, что он без сознания. Один раз в ту ночь он попросил у нее позволения поцеловать ей руку — возможно, это была единственная милость, о которой он когда-либо ее просил».

«Он умер девственным», — говорили его друзья. Выйдя из его комнаты, священник, только что принявший исповедь умирающего, воскликнул: «Этот человек — ангел!» Балланш посвятил всю свою жизнь Жюльетте; с того самого дня, как он повстречал ее в Лионе, во время ее изгнания, он не успокоился, пока не соединился с ней, не соединил свою жизнь, полную ученых изысканий, с ее, столь непохожей, жизнью. Это тоже говорит в пользу Жюльетты, хотя об этом часто забывают.

Балланш придал Жюльетте глубины, она предавалась размышлениям о смысле бытия, заглядывала внутрь себя, переняла более проницательный подход к литературе, ибо он всегда умел незаметно увлечь ее к более возвышенным сферам, более чистым чувствам и мыслям. Жюльетта же дала незаметному Балланшу свет, силу, обоснование для самореализации и свершения своего труда, и тот земной путь, для которого он как будто не был создан.

Балланш был похоронен в склепе Рекамье и Бернаров, на кладбище Монмартр. Ампер и Ленорман носили траур. Прекрасные незрячие глаза Жюльетты отныне могли только плакать.

***

Вскоре после смерти Балланша Жюльетте сделали новую операцию на том же глазу, но она не удалась. Осенью предприняли новую попытку на другом глазу, но с тем же результатом. Жюльетта была обречена на почти полную темноту. Рене, съездив по делам в Дьеп, потом под Бурж, к своему старому другу де Невилю, приехал в Париж, чтобы провести там свою последнюю зиму. Последние, почти нечитабельные слова, обращенные к Жюльетте, были таковы:

> Сохраните Вашу дружбу ко мне. Я не перестану думать о Вас. Не может быть, чтобы несколько месяцев отсутствия пробили брешь в столь длительной связи, как наша. Она будет длиться столько же, сколько моя жизнь.

Сент-Бёв писал тогда о нем: «Он витает в мечтах…» Вынужденная неподвижность была для него как тюрьма. Тишина, мечты, в которых мелькали образы былого, ожидание Жюльетты… Что еще ему оставалось?

Февральская революция 1848 года, которая положила конец не принятой им Июльской монархии, словно пробудила его; он будто бы воскликнул, услышав о свержении Луи Филиппа:

«Отлично!» Провозгласили Республику. Нависла угроза гражданской войны; Шатобриан собирался покинуть этот мир на фоне назревающей грозы — его излюбленной атмосферы… Г-жа Ленорман, присматривавшая за тетушкой и сопровождавшая ее на улицу Бак, рассказывает нам об агонии Рене:

> Г-н де Шатобриан, как можно было догадаться, не сожалел о падении Луи Филиппа; но когда конец близок, о событиях уже не судят с точки зрения партийных страстей: в этом большом и благородном сердце осталось лишь одно чувство — любовь к родине; он всегда молился за ее свободу. В июньские дни[47] он жадно расспрашивал всех, кто мог сообщить ему новости. Рассказ о героической смерти архиепископа Парижского живо его взволновал; храбрость бесстрашных детей из мобильной гвардии заставила слезы навернуться ему на глаза; но он уже давно замыкался в длительном молчании и выходил из него лишь наедине с г-жой Рекамье, роняя краткие реплики. Последние несколько дней он лежал в постели, попросил о последнем церковном утешении и получил его, не только находясь в полной и твердой памяти, но и с глубоким чувством веры и смирения.
>
> Последнее время г-на де Шатобриана легко было растрогать, и он укорял себя за это как за слабость. Я думаю, ему было страшно поддаться чувствам, обратив накануне смерти несколько слов к своей безутешной подруге; но, получив Святое причастие, он уже больше не говорил.
>
> От жара у него пылали щеки, а глаза сверкали необычайным блеском.
>
> Я несколько раз оставалась одна, вместе с г-жой Рекамье, у одра этого великого человека, боровшегося со смертью; каждый раз как г-жа Рекамье, задыхаясь от горя, выходила из комнаты, он провожал ее взглядом, не окликая, но с тоской, в которой сквозил страх больше не увидеть ее.
>
> Увы! Она не могла видеть, приходила в отчаяние от этого молчания. Из-за ее слепоты они расстались еще прежде смерти.
>
> Госпожа Рекамье ни за что на свете не хотела покидать дом, где господин де Шатобриан сопротивлялся концу, ежеминутно грозившему наступить; но она также боялась встревожить его,

проведя ночь в его комнате, чего он конечно же не потерпел бы из-за состояния ее собственного здоровья. Она мучилась в этом тягостном замешательстве, когда одна любезная, умная и добрая англичанка, некогда жившая в Аббеи-о-Буа (г-н де Шатобриан познакомился там с ней и с удовольствием с ней виделся), — госпожа Моль — предложила от чистого сердца приютить ее на одну ночь у себя. Она жила этажом выше в том же доме и в том же подъезде, что и г-н де Шатобриан. Госпожа Рекамье с благодарностью приняла ее предложение и бросилась прямо в одежде на кровать; утром она вернулась к своему другу, состояние которого еще более ухудшилось.

Г-н де Шатобриан отдал Богу душу 4 июля 1848 года. Говорили, что при его кончине присутствовал Беранже, это не так: он скончался в присутствии лишь четырех человек — графа Луи де Шатобриана, аббата Дегерри, сестры милосердия и госпожи Рекамье.

Когда молитвы оборвались, Жюльетта поняла, что Рене умер. Она срезала несколько прядей его волос, положила ему на грудь несколько ветвей вербены, половину которых забрала обратно перед погребением и благочестиво раздала его друзьям. Покорно, даже несколько пассивно, она исполнила все, что должна была исполнить. Не тогда ли окружавшие ее наконец поняли, что и ее жизнь остановилась?

***

Прах великого писателя был перенесен в его родной город; 19 июля 1848 года он был захоронен на морском утесе. Отныне он покоился в высшем одиночестве, против моря, которое так любил. Где бы он ни был, Жюльетта не замедлит присоединиться к нему.

Тщетное утешение: Жюльетта осталась жить. Она согласилась погостить некоторое время, в сентябре, у г-жи де Буань, которая ухаживала за своим старым канцлером в Туре. Госпожа де Буань была, возможно, единственной, кто умел найти успокаивающие слова. Она написала Жюльетте восхитительное письмо соболезнования:

Этот мощный гений износил себя прежде, чем свою оболочку; теперь от него остались Ваша нежность и его слава; Вам без труда удастся соединить их вместе, вот из них Вам и должно черпать самые нежные

воспоминания…

Ваша нежность и его слава… В двух словах это и было смыслом жизни Жюльетты в последние тридцать лет.

Зима прошла между Давидом и Ампером, сменявшими друг друга в Аббеи. С потрясающим терпением Жюльетта слушала разговоры, чтение, принимала редких друзей… В последнем жизненном порыве она по собственной инициативе уехала из Аббеи на Пасху 1849 года, спасаясь от новой эпидемии холеры, обрушившейся на Париж. Поселилась у Ленорманов, в их служебной квартире при Национальной Библиотеке. В четверг 10 мая, одеваясь к ужину, она почувствовала себя нехорошо и легла. Как сообщает ее племянница, ложась в постель, г-жа Рекамье потеряла сознание, а очнувшись, пожелала остаться наедине с Амелией, чтобы изъявить ей свою последнюю волю. Черты ее лица были так искажены, что Амелия перепугалась. Послали за доктором, тот сразу же распознал холеру, не скрыл от Ленормана, что надежды нет никакой, добавив, однако, что страдания будут недолгими.

Жюльетта вызвала к себе исповедника и была соборована, она хотела также получить последнее причастие, но это благочестивое желание не было удовлетворено из-за постоянных приступов рвоты.

Ампер и Поль Давид провели эту ночь вместе с Ленорманами в гостиной, примыкавшей к комнате г-жи Рекамье. В полночь она попросила, чтобы они зашли к ней, и попрощалась с ними без всякой торжественности, будто расставалась на ночь.

Госпожа Рекамье скончалась 11 мая 1849 года в десять часов утра.

Ахилл Девериа нарисовал ее портрет на смертном одре: красота ее осталась нетронутой.

В следующее воскресенье состоялось отпевание в церкви Нотр-Дам-де-Виктуар, потом погребение на кладбище Монмартр. В тот день проходили выборы, и все же народу пришло много: в церкви собралось «более трехсот женщин» — редкая вещь по тем временам. Распорядитель церемонии просто опешил, видя, как нескончаемая череда женщин подходит под благословение… Мертвой Жюльетте, как и живой, удалось в наихудших условиях собрать многочисленное общество, явившееся само собой отдать ей последние почести. Как будто Париж в тот день осознал, что вместе с той, кого он столь часто славил, ушло все, что было лучшего в этом веке.

ЭПИЛОГ

Нам бы хотелось завершить на этом нашу историю, оставить Рене и Жюльетту почивать последним сном: его — одного в гранитном мавзолее, с распятием на груди и ветвью вербены рядом (символ христианства и священное растение древних друидов были эмблемами двух изначальных граней его личности и творчества), ее — завернутую в лен и кружева, покоящуюся среди своих, не так, как она когда-то желала, — «под кедром, посаженным на могиле ее матери, на кладбище Монмартр», но в том самом склепе, где лежали господин и госпожа Бернар, господин Рекамье и Балланш, неподалеку от Стендаля и Берлиоза — последняя парижская компания…

К несчастью, едва они отошли в мир иной, как для них настала долгая пора незаслуженного забвения. Началась она с серии осложнений и мышиной возни, клубок которых распутал Морис Левайян. В общем, «Замогильные записки», каковы бы ни были предосторожности, принятые душеприказчиками писателя (к счастью, к ним принадлежали Шарль Ленорман и Ампер), стали добычей хищного издателя Жирардена, который расчленил их, чтобы опубликовать частями в газете. Нерегулярная и недобросовестная публикация привела к результату, обратному ожидаемому: вместо триумфа обезображенные «Записки» познали сомнительный, скандальный успех, полный противоречий, на первый план вышли основные недостатки автора. Злой язык и раздутость стиля разожгли еще свежие обиды и злобу, скрыв под собой красоту и размах планов Шатобриана. Он надолго стал жертвой этой поспешной и уродливой публикации. Первую попытку реабилитации «Записок» предпринял Эдмон Вире в конце XIX века, но ее оказалось недостаточно: пришлось ждать, пока великодушие и терпение Левайяна ознаменуются появлением после Второй мировой войны «издания Века», чтобы мы могли оценить посмертный шедевр Рене.

Были еще отягчающие обстоятельства: во второй половине XIX столетия к отцу-основателю романтизма относились сурово и даже несправедливо, и если не считать двух молодых критиков — Шарля Монсле и Луи де Ломени, все литераторы поспешили свести с ним счеты; даже бывшие его ученики, во главе с Сент-Бёвом, поторопились после его ухода отмежеваться от довлеющего над ними патриарха, иго которого они в прежние времена терпели и обаянию которого поддавались. Третья Республика, как можно догадаться, не стремилась извлечь из чистилища министра от «крайних» и защитника законных прав на

престол. И тут тоже потребовалось время, чтобы наконец посмели восхищаться и любить этого человека, «его великолепие, его убогость и его химеры», как говорилось в заглавии работы одного из его последователей.

Пока Жирарден кромсал «Записки», наследники госпожи Рекамье боролись на несколько фронтов, защищая память о ней: им пришлось смириться с публикацией книги, которую посвятил ей Рене и которую она не хотела выносить на суд публики, но, что важнее, им пришлось остановить печатание тем же издательством писем Бенжамена Констана, копию которых, вместе с разрешением на публикацию, Жюльетта неосторожно передала проныре Луизе Коле. Им это удалось после весьма неприятного процесса, заручившись поддержкой сводной сестры Бенжамена.

Последние распоряжения Жюльетты в том, что касалось ее бумаг, были четкими и осмотрительными: она различала то, что можно сохранить, то, в чем она полагалась на усмотрение ее наследницы, госпожи Ленорман, и то, что надлежит уничтожить, «сжечь, не читая», в присутствии ее душеприказчиков, самый усердный из которых, Поль Давид, поспешил исполнить последнюю волю госпожи Рекамье, несмотря на уговоры Амелии. Получив остальное — около дюжины тысяч листков, ныне хранящихся в Национальной Библиотеке, госпожа Ленорман сумела сохранить это наследие. Она устояла перед настойчивостью герцога де Брольи, который хотел вытребовать себе письма госпожи де Сталь к подруге, чтобы, выполняя волю своей покойной супруги Альбертины, навсегда оградить их от общественного любопытства. Умиротворяющее влияние Гизо, который развел обе стороны, помогло уладить этот неприятный спор.

Под постоянной угрозой злоупотребления, нескромности и извращения памяти Жюльетты госпожа Ленорман приняла мужественное и осторожное решение: предотвратить любое предприятие такого рода, опубликовав самой те из бумаг и писем своей тетушки, которые она считала подходящими для этого.

Мы уже высказали наше мнение по поводу выбора Амелии. Тем не менее она сумела сохранить и передать потомству то, что Жюльетта доверила ее здравому смыслу и любви. Именно благодаря ее бдительности и уму ее потомков мы получили возможность независимо судить и говорить сегодня о необыкновенной женщине, рядом с которой ей было суждено вырасти.

Париж — Фонтанильо. 1980–1986 гг.

ЗАВЕЩАНИЕ ГОСПОЖИ РЕКАМЬЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 1846 ГОДА

Составлено в присутствии госпожи Жанны Франсуазы Жюли Аделаиды Бернар, вдовы Жака Рекамье, проживающей в Париже в Аббеи-о-Буа по улице Севр.

Находясь в здравом уме и твердой памяти, в чем могли убедиться нотариусы и свидетели по ее разговору, названная особа продиктовала нотариусу в присутствии свидетелей свое завещание.

В доказательство любви и доверия к г-же Шарль Ленорман, племяннице г-на Рекамье, к которой я всегда относилась как к своей приемной дочери, я назначаю ее моей единственной наследницей и поручаю ей проследить за исполнением последних моих распоряжений, содержащихся в настоящем завещании.

Поскольку состояние мое очень ограничено, я прошу тех лиц, кому предназначены ниже перечисленные вещи и суммы, рассматривать их лишь как простые сувениры.

Я заявляю, что безоговорочно полагаюсь на деликатность и здравый смысл моей любимой племянницы и наследницы, которой сообщу на словах те распоряжения, что не могут быть приведены здесь.

Оставляю мадемуазель Дельфине Тарле, племяннице моей матери, сумму в шесть тысяч франков, которую прошу принять в память о моей матери и в знак моего дружеского участия.

Оставляю мадемуазель Софи Бинар, также племяннице моей матери, сумму в четыре тысячи франков, которую равно прошу принять в память о моей матери и в знак моего расположения.

Завещаю г-ну Полю Давиду, племяннику г-на Рекамье, пожизненную ренту в шестьсот франков, чтобы он, следуя велениям своего ума и сердца, продолжал заниматься благотворительностью, коей всегда столь щедро предавался вместе со мной.

Оставляю мадемуазель Терезе Тьебо, моей горничной и чтице, пожизненную ренту в триста франков, которая будет возрастать на пятьдесят франков в год во все то время, что она будет находиться у меня в услужении, начиная с сегодняшнего дня.

Оставляю г-же Фанни Окутюрье, моей бывшей горничной, ныне находящейся в услужении у г-на Балланша, сумму в пятьсот франков, а также еще тысячу франков, которой она распорядится по своему усмотрению в пользу своего сына Жюля Окутюрье,

чьими крестными являемся я и г-н Балланш.

Оставляю моей бывшей горничной Адель Ток сумму в пятьсот франков в знак моего неизменного к ней участия.

Г-н Балланш, дабы сберечь остатки состояния, вручил мне по моему совету сумму в двадцать тысяч франков, благодаря чему я могу предоставить ему две части ренты общей суммой в две тысячи сто двадцать пять франков в год. В обеспечение и под гарантию этой годовой и пожизненной ренты в две тысячи сто двадцать пять франков, которые я должна г-ну Балланшу, я присовокупляю узуфрукт с двадцати четырех тысяч франков, полагающихся мне в качестве ипотеки от бывшего нотариуса г-на Маршу. По истечении срока пожизненной ренты тот же капитал в двадцать четыре тысячи франков, вместо того чтобы немедленно перейти в качество моего наследства, послужит для уплаты пожизненной ренты в тысячу двести франков, которую я завещаю г-ну Амперу, чтобы он таким образом наследовал своему другу Балланшу, бывшему другу его отца, и в будущем несколько компенсировал себе потери, которые может вызвать ослабление его здоровья.

Передаю музею Лиона картину «Коринна» кисти Жерара, ныне находящуюся в моей гостиной в Аббеи-о-Буа, и желаю, чтобы на раме сей картины было написано, что она была мне подарена Его Королевским Высочеством принцем Августом Прусским, чтобы таким образом в этом даре моему родному городу соединилась память о г-же де Сталь и принце Августе.

Присовокупляю к этому копию моего портрета, нарисованного Минарди с картины Жерара.

Оставляю также музею Лиона малую скульптурную композицию «Грации» из глины, первый эскиз Кановы, вылепленный им самим, который впоследствии был воплощен этим великим художником в мраморе.

Оставляю музею Сен-Мало, родного города г-на де Шатобриана, мраморный барельеф, изображающий Эвдору и Кимодокею, выполненный в Риме Тенерани.

Оставляю тому же музею рисунок «Атала», копию с картины Жироде, и рисунок Фрагонара, на котором он изобразил меня, сидящей на берегу моря.

Расходы на упаковку и перевозку предметов, предназначенных для музеев Лиона и Сен-Мало, покрываются за счет моего наследства.

Оставляю г-ну Балланшу портрет г-жи де Сталь работы Жерара, чтобы затем он перешел в музей Версаля.

Оставляю также г-ну Балланшу небольшую картину кисти Массо, на которой изображены г-жа де Сталь и ее дочь

Альбертина де Сталь, в замужестве герцогиня де Брольи; эта картина, подаренная мне г-жой де Сталь, после г-на Балланша отойдет к принцу де Брольи, сыну г-жи герцогини де Брольи, ибо я не сомневаюсь, что он дорожит возможностью сохранить эту реликвию в своей семье.

Оставляю доктору Рекамье рисунок барельефа Эвдора и Кимодокеи работы Минарди.

Оставляю г-же Рекамье чашку севрского фарфора, на которой г-жа герцогиня Ангулемская велела скопировать портрет г-жи де Сталь для г-на Матье де Монморанси и которая была завещана мне нашим святым другом.

Оставляю Библиотеке Лионской Академии экземпляр «Антигоны», напечатанный на пергаменте, с оригинальными рисунками Буйона.

Что касается картин, рисунков, гравюр и книг, не перечисленных здесь, оставляю за собой дать г-же Ленорман указания по уготовленному мной для них предназначению.

Мое распоряжение касательно бумаг моих следующее:

Рукописи и письма, предназначенные для сохранения, будут переданы в запечатанном виде г-же Ленорман, чтобы храниться согласно указаниям, которые я ей дам.

Прочие бумаги, рукописи и переписка, о которых я не делаю никаких распоряжений, я вверяю ее чуткости и осторожности, и она вольна уничтожить их или сохранить по своему усмотрению.

Но все бумаги, находящиеся в сумке с надписью «сжечь, не читая», будут сожжены в присутствии моих душеприказчиков.

Мне бы хотелось быть похороненной под кедром, который я посадила на могиле моей матери на кладбище Монмартр, но поскольку это желание неисполнимо, назначаю местом моего погребения склеп, где покоится прах моих родителей.

Прошу г-жу Ленорман продолжать в течение года раздачу милостыни, которую я производила регулярно и о которой необходимые сведения даст мадемуазель Тереза Тьебо.

Назначаю своими душеприказчиками гг. Балланша, Ленормана и Поля Давида совместно с четвертой особой, о которой я их уведомлю.

Настоящее завещание было продиктовано нижеподписавшемуся нотариусу, записавшему его своей рукой и затем прочитавшему г-же Рекамье, признавшей документ соответствующим ее воле и подписавшей его, все это в присутствии свидетелей.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ГОСПОЖИ РЕКАМЬЕ

Между 1744 и 1748 годами — Рождение Жана Бернара в Лионе.

1751 — 9 марта — Рождение Жака-Роза Рекамье, крещенного на следующий день в лионской церкви Сен-Низье.

1756 — Рождение Мари Жюли Маттон в Лионе, в Ла Гильотьер.

1775 — 25 февраля — Нотариус Жан Бернар становится королевским советником.

14 сентября — Бракосочетание в Ла Гильотьер мэтра Жана Бернара и Мари Жюли Маттон. Известная связь г-жи Бернар с Жаком-Розом Рекамье.

1777 — 3 декабря — Рождение в Лионе, на улице Каж, Жанны Франсуазы Жюли Аделаиды Бернар, крещенной на другой день в церкви Сен-Пьер-и-Сен-Сатурнен.

1786 — 1 сентября — Мэтр Клод Ворон сменил мэтра Жана Бернара. Супруги Бернар и Жак-Роз Рекамье поселяются в Париже. Жан Бернар назначен сборщиком податей. Пребывание Жюльетты в Вильфранш-на-Соне, затем в монастыре Дезерт, в Лионе.

1787 — конец года — Жюльетта Бернар приезжает к родителям в Париж, на улицу Святых Отцов.

1791 — весна — Первое причастие Жюльетты в Сен-Пьер-де-Шайо.

1793 — 22 февраля — Жак-Роз Рекамье объявляет своей лионской родне о своей скорой свадьбе с Жюльеттой Бернар.

24 апреля — Гражданское бракосочетание Жюльетты Бернар и Жака-Роза Рекамье.

9 и 10 сентября — «Революционный обыск» в конторе Рекамье на улице Майль.

1796 — лето — Г-н Рекамье снимает замок Клиши. Его племянник Поль Давид, привязанный к его банковскому дому, отныне живет в его семье.

1797 — весна — лето — г-жа Рекамье является на катаниях на Лоншан. Представление в Османском посольстве.

10 декабря — Праздник в честь Бонапарта в Люксембургском дворце. Г-жа Рекамье обращает на себя внимание.

1798 — 16 октября — Рекамье покупает особняк на улице Монблан, принадлежащий Неккеру. Первая встреча Жюльетты с г-жой де Сталь.

1799 — весна — Встреча Жюльетты с Люсьеном Бонапартом.

9 ноября (18 брюмера VIII года) — Бонапарт приходит к власти. Некоторые приготовления к перевороту происходили в замке Клиши, у Рекамье.

Середина декабря — Становление Консульства; Рекамье переезжают на улицу Монблан.

Между 24 декабря и 18 января 1800 года — Вечер у Люсьена Бонапарта, на котором присутствуют первый Консул и г-жа Рекамье. Г-н Бернар назначен главой почтового ведомства.

1800 — 16 февраля — Г-н Рекамье избран девятым управляющим Французского Банка.

Весна — Давид берется за портрет г-жи Рекамье и бросает работу в сентябре. Обращаются к Жерару.

1801 — январь — Отстранение г-на Бернара.

4 апреля — г-жа Рекамье собирает пожертвования в церкви Святого Рока.

Между 2–3 апреля и концом мая — Шатобриан встречает Жюльетту Рекамье у г-жи де Сталь. Он побывал на улице Монблан во время зимних крупных торжеств.

1802 — май-июнь — г-жа Рекамье с матерью путешествуют по Англии. Возвращаются через Голландию и Спа.

1803 — февраль — По неофициальному распоряжению Тюильри салон г-жи Рекамье закрыт Лето г-жа Рекамье проведет в Сен-Брисе, а не в Клиши.

15 октября — г-жу де Сталь уведомляют о приказе выехать за сорок лье от Парижа. Вскоре она совершит поездку по Германии.

1804 — 25 мая — Открытие процесса Моро-Кадудаля, на котором присутствует г-жа Рекамье.

1805 — лето — Фуше побуждает г-жу Рекамье просить о месте при новом императорском дворе.

13 ноября — Объявление о банкротстве Рекамье взволновало Париж. 16 ноября Рекамье ставит в известность родных. 17-го друзья Жюльетты начинают проявлять себя.

1806 — 10 января — Подведен итог банкротства Рекамье.

Май — Жюльетта навещает г-жу де Сталь, поселившуюся в замке Венсель, под Осером.

15 июля — В обществе Бенжамена Констана Жюльетта снова посещает Осер. Состояние г-жи Бернар вызывает тревогу.

1807 — 14 января — г-жа Бернар составляет завещание.

20 января — г-жа Бернар скончалась в Париже.

2 июля — г-жа Рекамье отправляется в Коппе, где она пробудет до осени.

11 августа — Приезд в Коппе прусского принца Августа.

28 октября — Обмен письменными клятвами между принцем

Августом и г-жой Рекамье накануне разлуки.

Зима 1807/08 года — Жюльетта пытается покончить с собой.

1808 — 22 марта — Разрыв с принцем Августом.

Лето — Жюльетта поселяется на улице Басс-дю-Рампар, 32. Особняк на улице Монблан продан банкиру Моссельману.

1809 — 26 января — Г-н Рекамье возвращается к свободному управлению своими делами. Проспер де Барант влюблен в Жюльетту. Охлаждение между ней и г-жой де Сталь.

18 июня — г-жа Рекамье приезжает в Лион к г-же де Сталь. Отправляется на воды в Экс-ан-Савуа. В июле гостит в Коппе.

Зима 1809 года — Огюст де Сталь влюбляется в Жюльетту.

1810 — весна-лето — г-жа Рекамье на водах в Эксе, потом в Шомоне-на-Луаре. По дороге она останавливается в Бюже.

Сентябрь — г-жа де Сталь, принужденная покинуть Шомон, поселяется в Фоссе, Жюльетта отправляется туда. 25-го она возвращается в Париж с поручением добиться позволения передать в цензуру третий том «О Германии». Тщетно. Произведение запрещено, г-жа де Сталь вынуждена удалиться, она выбирает Коппе.

18 декабря — Скончалась Мариетта Сивокт, племянница г-на Рекамье и мать маленькой Жозефины, которая через полгода поселится у Рекамье, своих приемных родителей. Окрещенная Амелией, будущая г-жа Ленорман больше с ними не расстанется.

1811 — 17 августа — Имя г-жи Рекамье внесено в список внутренних эмигрантов.

21 августа — Матье де Монморанси приговорен к изгнанию во время пребывания в Коппе.

23 августа — г-жа Рекамье уезжает вместе с Амелией в Коппе, где проведет только полтора суток.

3 сентября — Приказ г-же Рекамье выехать за сорок лье от Парижа оглашен, в ее отсутствие, ее супругу.

18 сентября — Проведя инкогнито два дня в Париже и Анжервилье, Жюльетта уезжает в Шалон-на-Марне, где проживет более восьми месяцев.

1812 — июнь, Великий пост 1813 года — Жюльетта отправляется в Неаполь, где царствуют Мюраты.

1813 — март — Отъезд в Италию. Жюльетта и Амелия поселяются в Риме.

Начало июля — Балланш на неделю приезжает к г-же Рекамье.

Август-сентябрь — Отдых в Альбано.

Начало декабря — Жюльетта отправляется в Неаполь к Мюратам.

1814 — 11 января — Мюрат вступает в коалицию против

Наполеона. Он открывается г-же Рекамье.

Святая неделя — Жюльетта возвращается в Вечный город, чтобы присутствовать при церковных службах.

Апрель — Короткое пребывание в Неаполе.

23 мая — Возвращение папы в Рим. Молебен в соборе Святого Петра, на котором присутствует Жюльетта.

Середина июня — Возвращение г-жи Рекамье в Париж.

До 19 июля — Чтение «Абенсерагов» Шатобриана в салоне Рекамье в присутствии автора.

31 августа — Жюльетта просит Бенжамена Констана составить записку в пользу Мюратов. Констан сражен любовью к ней, его конвульсивные ухаживания продлятся четырнадцать месяцев.

1815 — 19 марта — Яростно антибонапартистская статья Бенжамена Констана в «Журналь де Деба».

14 апреля — Встреча Наполеона с Констаном.

22 апреля — Новая встреча. Констан назначен государственным советником. Окончательная редакция Аддитивного акта.

14 июля — 23 октября — г-жа Крюднер поселяется в Париже. Г-жа Рекамье и Констан будут посещать ее сеансы медитации.

17 августа — Шатобриан — пэр Франции.

1816 — июнь — г-жа Рекамье гостит у своих кузенов Далмасси в замке Ришкур.

Июль — Пребывание на водах в Пломбьере.

20 сентября — Шатобриан лишается титула и пенсии государственного министра.

Конец октября — Выдав дочь замуж и приведя в порядок свои дела, г-жа де Сталь поселяется в Париже.

1817 — апрель — Волчья Долина выставлена на лотерею. Библиотека Шатобриана продана с молотка.

28 мая — Ужин у г-жи де Сталь, на котором встретились г-жа Рекамье и Шатобриан.

14 июля — Смерть г-жи де Сталь.

Лето — Балланш покидает Лион и приезжает жить в Париж.

7 ноября — Смерть г-жи де Далмасси.

1818 — 18 марта — г-жа Рекамье и Матье де Монморанси снимают Волчью Долину.

21 июля — Матье де Монморанси приобретает Волчью Долину.

3 августа — Проведя несколько дней в Дьепе, г-жа Рекамье приезжает в Ахен на воды. Там она встречается с принцем Августом. 1 октября возвращается в Париж.

Октябрь — Рекамье поселяются в доме 31 по улице Анжу-

Сент-Оноре.

1819 — январь — Новые финансовые затруднения г-на Рекамье.

Между 13 января и 20 марта — Осуществление связи между Жюльеттой и Рене.

Лето — Жюльетта в Волчьей Долине.

Начало октября — г-жа Рекамье с племянницей поселяются в Аббеи-о-Буа. Гг. Рекамье, Бернар и Симонар — на улице Вье-Коломбье, 26.

1820 — 1 января — Жан Жак Ампер представлен в Аббеи.

1821 — 1 января — Шатобриан отправляется с посольством в Берлин.

26 апреля — Возвращение Шатобриана в Париж.

1822 — апрель — Шатобриан отправляется с посольством в Лондон.

Октябрь — Матье де Монморанси и Шатобриан на Веронском конгрессе.

Конец декабря — Шатобриан сменяет Матье де Монморанси на посту министра иностранных дел.

1823 — 24 октября — Жюльетта решает уехать в Италию.

2 ноября — Она покидает Париж вместе с Амелией. Балланш и Ампер следуют за ней.

19 ноября — 10 декабря — Остановка во Флоренции.

15 декабря — Приезд в Рим. Улица Бабуина, 65.

1824 — 21 февраля — Начало римского карнавала. Праздник во французском посольстве.

30 марта — Смерть герцогини Девонширской.

Февраль — апрель — Королева Гортензия в Риме; частые встречи с г-жой Рекамье.

6 июня — Отставка Шатобриана, о которой в Риме узнали 16-го числа.

6 июля — Жюльетта уезжает на полгода из Рима в Неаполь.

1825 — начало февраля — Возобновление переписки между Жюльеттой и Рене.

20 апреля — конец мая — Возвращение г-жи Рекамье через Феррару, Венецию, Поссаньо и Триест.

29 мая — г-жа Рекамье вновь поселяется в Аббеи, располагая отныне большими апартаментами во втором этаже.

Осень — Жюльетта в Волчьей Долине.

3 ноября — Матье де Монморанси избран во Французскую Академию.

1826 — 1 февраля — Свадьба Амелии и Шарля Ленормана в Аббеи-о-Буа.

Страстная пятница — Смерть Матье де Монморанси в

церкви Святого Фомы Аквинского.

1827 — 9 мая — Письмо Жан Жака Ампера к г-же Рекамье о Гёте и Веймаре.

1828 — 19 марта — Смерть г-на Бернара.

5 августа — Из Тулона отправляется экспедиция с участием Шарля Ленормана.

14 сентября — 27 мая 1829 года — Посольство Шатобриана в Рим.

1829 — лето — Жюльетта в Дьепе.

Октябрь — г-жа Рекамье окончательно переезжает в большие апартаменты второго этажа, отремонтированные летом.

1830 — 29 марта — Г-н Рекамье скончался в большом салоне Аббеи.

Апрель — Жюльетта гостит в Боннетабле.

Конец июня — Жюльетта в Дьепе.

27 июля — Шатобриан приезжает туда к ней, однако события вынуждают его немедленно вернуться в Париж.

30 июля — Возвращение г-жи Рекамье в Париж.

7 августа — Речь Шатобриана в палате пэров в обоснование его громкого ухода из политики.

8 декабря — Смерть Бенжамена Констана.

1831 — Представление молодого Бальзака в Аббеи.

1832 — середина Великого поста — В Париже эпидемия холеры.

Июнь — Арест Шатобриана.

16 августа — г-жа Рекамье в Арененберге, у королевы Гортензии.

27 августа — Шатобриан приезжает к г-же Рекамье на Боденское озеро.

15 и 24 сентября — Посещения Коппе.

1833 — 14 мая — 5 июня — Шатобриан едет с поручением в Прагу.

3 сентября — 6 октября — Шатобриан с поручением в Венеции.

1834 — февраль — Чтения «Замогильных записок» в Аббеи.

1835 — лето — Аббеи переносится в Дьеп, потом в замок Ментенон.

1836 — конец октября — Последняя встреча с королевой Гортензией.

Зима — Ухудшение здоровья г-жи Рекамье.

1837 — июнь — Смерть Адриана де Монморанси-Лаваля.

Октябрь — Смерть королевы Гортензии.

Конец октября — г-жа Рекамье, заболев, поселяется в особняке канцлера Паскье на улице Анжу и проведет там зиму.

1838 — конец ноября — Новая серия чтений «Замогильных записок» в Аббеи.

1839 — ноябрь — Чтение в Аббеи «Пор-Рояля» Сент-Бёва.

1840 — лето — г-жа Рекамье на водах в Эмсе.

1841 — февраль — Вечер в Аббеи в пользу пострадавших от наводнения в Лионе.

Лето — Шатобриан в Нери. Жюльетта разбирает свои бумаги.

1842 — 17 февраля — Балланш избран во Французскую Академию.

21 апреля — Прием Балланша. Последнее появление Шатобриана в Академии.

Лето — г-жа Рекамье в Фоли-Сент-Джеймс, в Нейи, затем в Ментеноне.

1843 — шюль — Смерть принца Августа Прусского.

Ноябрь — Шатобриан отправляется в Лондон по просьбе графа де Шамбора.

1845 — конец мая — Шатобриан в Венеции.

1847 — 9 февраля — Смерть г-жи де Шатобриан.

22 апреля — Ампер избран во Французскую Академию.

3 мая — Жюльетту оперируют по поводу катаракты.

12 шюня — Смерть Балланша.

1848 — 4 шюля — Смерть Шатобриана.

1849 — Пасха — Жюльетта покидает Аббеи, спасаясь от холеры, и поселяется у Ленорманов, в Национальной Библиотеке.

11 мая — г-жа Рекамье умирает от холеры.

13 мая — Похороны г-жи Рекамье на кладбище Монмартр.

Иллюстрации



Госпожа Рекамье. *1802. Ф. Жерар.*



Вольтер. *Скульптура Ж. Гудона.*



Мария Антуанетта.



Людовик XVI.



Калонн. *Ж. Дюплесси-Берто.*



Жак-Неккер. *Гравюра Сент-Обена.*



Поль Баррас.



Барер *1792 Ж.-Л. Ланевилль.*



Автопортрет. *1794. Ж.-Л. Давид.*



Мадам де Сталь.



Госпожа Рекамье. *1800. Ж.-Л. Давид.*



Элиза Бонапарт. *П. Прюдон.*



Луи Бонапарт, король Голландии.



Гортензия Богарнэ, королева Голландии.



Бонапарт — Первый Консул. *Ж. Изабе.*



Императрица Жозефина в Мальмезоне. *П. Прюдон.*



Анлре Массена, маршал Франции, герцог Риволи и князь Эслингский.



Жан Батист Бернадот, маршал Франции, получивший в 1818 г. королевскую корону Швеции и Норвегии (Карл XIV Юхан).



Наполеон в рабочем кабинете. *1812. Ж.-Л. Давид.*



Казнь герцога Энгиенского.



Шарль Морис Талейран (Талейран-Перигор). *П. Прюдон.*



Жозеф Фуше. *Гравюра Ф. Велена.*



Папа Пии VII. *Ж.-Л. Давид.*



Госпожа Рекамье. *1802. Скульптура Ж. Шинара.*



Мадам де Сталь в образе Коринны.



Берега Соны. *1835. Н.-М.-Ж. Шапюи.*



Карл X, король Франции с 1824 по 1830 г. *Ф Жерар.*



Луи Филипп, король Франции с 1830 по 1848 г.



Людовик XVIII в своем рабочем кабинете. *Ф. Жерар.*



Франсуа Рене до Шатобриан. *А. Жироде-Триозон.*



Бенжамен Констан.



Шарль Огюстен Сент-Бёв. *Фото Брауна.*



Виктор Мари Гюго. *Литография.*



Герцогиня Беррийская с детьми. *Ф. Жерар.*



Госпожа Рекамье. *А. Гро.*

notes

Примечания

1

Напротив, она бежала от высокого фавора, и даже великому Наполеону не удалось ее «приручить».

2

Hernot É. Madam Récamier et ses amis, Paris, 1904 (2 V), 2-e éd — Paris, 1934.

3

Jenormant A. Souvenirs et Correspondance tirés des papiers de Madame Récamier, Paris, 1859.

Так, например, в объемистой книге Г. Кирхеизена «Женщины вокруг Наполеона» (М, 1991) мадам Тальен посвящено 15 страниц, а мадам Рекамье — две строчки.

5

Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы заглянуть в капитальный труд Луи-Блана (*Луи-Блан А.* История французской революции 1789 года. Т. XII. СПб., 1909. Гл. II). См. также: *Матьез А.* Термидорианская реакция. М.;Л., 1931. Гл. IX.

6

Высшее педагогическое учебное заведение [здесь и далее (если это не оговорено) — примечания переводчика].

7

Древнейшая муниципальная больница Парижа при Нотр-Дам. — *Прим. ред.*

8

Известные деятели Великой французской революции, возглавлявшие партию жирондистов. — *Прим. ред.*

То есть Лиона.

10

О Барере все сказано неточно: он отнюдь не «провозглашал террора» и, вопреки прозвищу «Анакреон гильотины», принадлежал к «умеренным» и был типичным приспособленцем и активным участником Термидорианского переворота, покончившего с якобинским террором. — *Прим. ред.*

11

Здесь и далее цит. по: *Шатобриан Ф. Р.* Замогильные записки. М., 1995.

12

Неудавшаяся попытка Людовика XVI и Марии-Антуанетты тайно покинуть Францию. — *Прим. ред.*

13

Речь идет об убийствах в тюрьмах, стихийном «правосудии» санкюлотов, спровоцированном их вожаками. В числе последних был Жорж Дантон. — *Прим. ред.*

14

Речь идет о восстании 10 августа 1792 года, обозначившем важнейший этап в революции. Во французской исторической литературе восстание 10 августа рассматривается как «вторая революция». — *Прим. ред.*

15

Обычно, если это не оговаривалось, репрессии не сопровождались конфискацией имущества. — *Прим. ред.*

То есть «непреодолимое препятствие». — *Прим. ред.*

17

Здесь автор противоречит себе, поскольку ранее называла Барера «провозглашателем террора» и «Анакреоном гильотины». — *Прим. ред.*

18

Возрождение для толстосумов, в то время как санкюлоты предместий умирали от голода и вспоминали время Робеспьера словами: «У нас был тогда хлеб». — *Прим. ред.*

19

Эти «стиляги» были в основном головорезами и убийцами, проводниками «белого террора» (1791–1795). — *Прим. ред.*

20

Одна из любовниц Людовика XIV.

21

Один из представителей франкской династии Меровингов. — *Прим. ред.*

22

Первый слог фамилии «Шатобриан» — *chat* — означает «кот».

23

Карл фон Клаузевиц (1780–1831) — известный теоретик и историк военного искусства. — *Прим. ред.*

24

Имеется в виду бегство Людовика XVI в Вварены 21 июня 1791 года. — *Прим. ред.*

25

Официальным предлогом для отъезда в 1823 году было состояние здоровья Амелии. Реальным побудительным мотивом — любовное разочарование. Какую причину назвал Матье своей родственнице? — *Прим. авт.*

26

Речь идет о стажировке молодых французских художников в Риме. — *Прим. ред.*

27

Не все, но большая часть *(итал.)* — игра слов: «буона парте» (большая часть) — «Бонапарт».

28

Речь идет о расстреле герцога Энгиенского (1772–1804), сына Конде, по приказу Наполеона. — *Прим. ред.*

29

Сказано не совсем точно: Россия получила часть бывшего герцогства Варшавского, польская Познань осталась за Пруссией, а Краков стал «вольным городом». — *Прим. ред.*

То есть Наполеона. — *Прим. ред.*

31

Якобинский герцог *(англ.)*.

32

Древнейшая муниципальная больница Парижа при Нотр-Дам. — *Прим. ред.*

33

Во время якобинского террора будущая герцогиня Ангулемская оставалась узницей Тампля после казни родителей — Людовика XVI и Марии-Антуанетты. — *Прим. ред.*

34

Древнее название Бретани.

35

Велледа — германская жрица и пророчица, жившая в I веке н. э. Она поддержала мятеж батавов против римского императора Веспасиана, а после их поражения была выдана римлянам и подвергнута унижениям. Шатобриан использовал этот образ в «Мучениках».

Речь идет о перепланировке Парижа в XIX веке. — *Прим. ред.*

37

Стендаль жил в Риме с начала декабря 1823 года. Он пробудет там весь следующий январь. Хотя он часто виделся с Ампером и Делеклюзом, совершая в их обществе многочисленные прогулки и визиты, на улице Бабуина он не бывал. Его «Прогулки по Риму» выйдут только в сентябре 1829 года. — *Прим. авт.*

38

Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюк (1814–1879) — французский архитектор и реставратор. Пламенно увлекался Средневековьем, руководил реставрацией собора Парижской Богоматери.

39

Итальянская семья, правившая в Ферраре с 1240 по 1597 год и в Модене с 1288 по 1796 год.

40

Бездна бездну отзывает *(лат.)* — переделка библейского выражения «Бездна бездну призывает», то есть «Беда не приходит одна».

41

Это не совсем так. Бальзак выпустил в свет исторический роман «Шуаны» о крестьянах Бретани, впервые подписанный его именем, «Физиологию брака» и, наконец, «Шагреневую кожу» (1831), отрывки из которой читал в салоне мадам Рекамье и которая снискала ему славу не только во Франции, но и за рубежом. — *Прим. ред.*

42

Первая часть стихотворения — описание бури, разбивающей некогда прочный корабль, которому Шатобриан уподобляет свою жизнь, вторая же практически совпадает с русским романсом «Гори, гори, моя звезда».

43

Речь идет о Луи-Наполеоне Бонапарте (1808–1873), ставшем президентом Франции (1848), а затем императором Наполеоном III (1852–1870). — *Прим. ред.*

44

Речь идет о внуке Карла X, никогда не царствовавшем Генрихе V (графе Анри Шамборе). — *Прим. ред.*

45

Итальянский революционер Фиески 28 июля 1835 года взорвал «адскую машину» на улице Тампль, во время смотра национальной гвардии. Всего было убито и ранено 40 человек. — *Прим. ред.*

Затихая *(итал.)* — музыкальный термин.

47

Восстание парижских рабочих 23–26 июня 1848 года, подавленное правительственными войсками. — Прим. ред.